

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

7

НОВОБЫИ МИР

1982

7



1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО — Мама и нейтронная бомба, поэма	3
ИОН ДРУЦЭ — Белая церковь, роман. Окончание	42
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Потоп, роман. Продолжение. Перевела с англ. ийского Е. Гольшева	147
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. Г. ПАУСТОВСКОГО. Публикация Г. А. Арбузовой	182
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
П. РЕБРИН — Улица воспрянувших	192
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
С. ПОТАПОВ — Канада перед выбором	225
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АРК. ЭЛЬЯШЕВИЧ — Учителя и ученики	237

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

250

Ким Селихов. Ступени наших дней.

Марина Борщевская. Музыка и слово.

Г. Белая. Не только дорога — все поле.

Политика и наука

261

Ю. Каграманов. Путешествие в историю Дикого Запада

В. Лобачев. «Дом со многими комнатами».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Евгения Зубарева.— Александр Кулешов. Избранные произведения в 2-х тт. ✦

Вл. Блок.—В поисках реалистической образности. Проблемы советской режиссуры 20—30-х годов. ✦

Ст. Золотцев.— Геворг Эмин. Избранные произведения в двух томах. Геворг Эмин. Стихи. ✦

В. Переведенцев.— А. Удальцов Поезд надежды. Экологические меридианы и параллели. ✦

А. Преображенский.— Г. П. Куропятник. Россия и США. Экономические, культурные и дипломатические связи, 1867—1881

266

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

270

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО



МАМА И НЕЙТРОННАЯ БОМБА

Поэма

Наша фирма принимает заказы на специальные бункера типа люкс, полулюкс и одинарные, которые вас спасут от любых атомных бомб, включая нейтронную... Оплата по соглашению.

Из западных газет.

1

Моя мама была комсомолочкой
в красной косынке
и кожаной куртке.
Теперь этой курткой,
облупленной,
в трещинах и морщинах,
мать иногда
закутывает кастрюлю,
в которой томится картошка
или пшенная каша,
и от дыханья кастрюли
кожанка становится теплой,
словно от юного тела мамы,
потерянного кожанкой,
так и не обожженной
в огне мировых революций
и не пробитой пулями
ни на каких баррикадах.
Но есть на кожанке дырка,
похожая на пулевую,
от ввинченного когда-то
и вывинченного затем
значка,
на котором горели
четыре буквы: МОПР.
Я принадлежу к поколению,
которое еще помнит,
что это обозначает...
Напомню и вам,
подростки семидесятых,
меняющие воспаленно
значок «Роллинг стоунз»
на «АББА»
и «АББА» на «Элтон Джон»:
МОПР —
Международная организация помощи борцам революции.

Я успел поиграть этим значком,
когда его перестала носить моя мама.
Что было на этом значке?

Я, кажется, помню:

решетка тюремная,
руки, вцепившиеся в нее.

Руки,
ломающие решетку?

Или решетка,
ломающая руки?

МОПР...

У этого слова запах той старой кожанки.

Моей маме — Зинаиде Ермолаевне Евтушенко —
семьдесят два года.

Мама вышла на пенсию,
но продолжает работать
и только поэтому не умирает.

Мама продает газеты
в киоске у Рижского вокзала,
и ее окружает собственный маленький мир,
где мясник

интересуется еженедельником «Футбол-хоккей»,
зеленщик —

журналом «Америка»,
а продавщица молочного магазина —
журналом «Здоровье».

Эти благодарные читатели
оставляют для мамы в своих магазинах
то мороженую курицу —

соотечественницу Мопассана,
то пару кило апельсинов —
соотечественников Лопе де Веги,
то уважительно завернутый

целый килограмм сыра,
соотечественника Майи Лассила,
кстати говоря, прекрасно переведенного Михаилом Зощенко.
Поэтому мама,

как знатная леди социализма,
говорит

«мой мясник»,
«мой зеленщик»,
«моя молочница»

и с гордостью чувствует,
что от нее зависят

люди,
от которых зависит она.

Мама также продает значки
с Гагариным,
с олимпийским мишкой.

Мамина внучка,
дочка моей сестры,
пятнадцатилетняя Маша

с мозолями на подушечках пальцев
от фортепианных гамм,

на майке,
уже приподнимающейся
в двух

отведенных природой для
приподниманья мест,

носит значок «Иисус Христос суперстар»,
но этот значок
не из маминого киоска.

2

Мои взаимоотношения с Иисусом Христом
были сложными,
как у любого советского ребенка,
воспитанного на книге «Павлик Морозов».
В церкви я не ходил —
это не полагалось,
и креста не носил —
это не было модно,
как сейчас,
когда в зимнем бассейне «Москва»
в раздевалке увидел я пионера,
деловито повесившего на гвоздик
красный галстук,
оставив на шее дешевенький крестик.
Давным-давно на месте бассейна «Москва» был храм
Христа-спасителя.
Храм когда-то взорвали,
и один позолоченный купол с крестом,
не расколовшись от взрыва,
лежал,
как будто надтреснутый шлем великана.
Здесь начали строить Дворец Советов.
Все это закончилось плавательным бассейном,
от испарений которого, говорят,
в музее соседнем
портятся краски импрессионистов,
и жаль,
что разрушили храм,
а уж если разрушили —
жаль,
что не был построен
рукой облака рассекающий Ленин.
Христа я впервые увидел не в церкви —
в избе.
Это было в Сибири
году в сорок первом,
когда старуха молилась за сына,
пропавшего без вести где-то на фронте,
и била поклоны перед иконой,
похожей
на бородатого партизана
из фронтового киноборника,
сделанного в Ташкенте
под мирное журчание арыков.
Старуха кланялась богу,
как бьют поклоны пшенице,
когда ее подсекают
серпом, от росы запотевшим.
Старуха кланялась богу,
как бьют поклоны природе,
когда в траве собирают
грузди или бруснику.
Старуха молилась богу,
едва шевеля губами,

Кисть выпрыгнула из ведра и стала
 частью руки одного из подростков.
 Второй подросток,
 взглянув с усмешкой
 на этот оркестр, на сидящих под тентом
 глотателей музыки вместе с кофе,
 один за другим стал клеить плакаты
 на шатком заборе
 и на соборе,
 от края эстрады до мостовой,
 и, перечеркнутая крест-накрест,
 возникла нейтронная черная бомба
 под пританцовывающими каблуками
 пожарников,
 не замечавших пожара,
 который к эстраде уже подползал.
 И закричали сквозь венские вальсы,
 как на пиру Валтасара, буквы:
 «Остановите нейтронную бомбу
 и прочие бомбы!»

И два подростка в толпе исчезли,
 используя эту простую возможность
 исчезнуть в толпе,
 пока не исчезла толпа.
 И один казанова провинциальный,
 рванувшись за тоненькой тайландкой,
 вляпался джинсовым мокасином
 с белой веревочной подошвой
 в лужицу клея и дергал ногою
 не в силах ее отодрать от земли.
 Вот это был клей!

 Как он склеил кусочки
 и площади этой, и этой эпохи,
 казалось, расколотой навсегда,
 и меня самого, расколотого эпохой.

И я
 сквозь приторный запах фабрик,
 делающих шоколад и бомбы,
 сквозь попури всех запахов смерти
 почувствовал запах той старой кожанки,
 как будто бы два итальянских подростка,
 морщины разглаживая на плакатах,
 морщины разгладили и на ней.

А в галерее муниципальной
 дремал,
 переваривая «минестрони»,
 смотритель музея,
 давно привыкший
 к обществу сотен Иисусов Христов,
 но тот Христос —
 бескостный, бестельный —
 вздрогнул и стал наполняться жизнью,
 а если не жизнью —
 надеждой на жизнь.

Если эти подростки не ходят в церковь,
 то Христос им простил.

 Он давно уже понял:
 христианней святош с крестом и напалмом
 те, кто хочет спасти от войны христиан.

Мы молча брели из «Форума»
 в наш дом на Четвертой Мещанской,
 и концертное платье мамы,
 отдавшее танкам все блески,
 по асфальту шурша, зацепилось
 за лежащий совсем одиноко
 лейтенантский погон,
 на котором
 чуть блестели три звездочки.

Больше
 не блестело вокруг ничего.
 Дома
 мама сняла свой парик морковного цвета,
 и ее голова,
 обритая после тифа,
 стала совсем беззащитной,
 как голова молоденького солдата,
 когда он снимает
 свою ненадежную каску.

И я зашептал,
 глотая сухие слезы позора:

«Мама,
 ты больше не будешь петь!»

И мама заплакала,
 но послушалась.

Мама
 выиграла
 Отечественную войну
 и проиграла
 свой голос.

5

Мама стала работать в Мосэстраде
 администратором детского отдела,
 волоча на себе меня
 и сестренку,
 брошенную моим отчимом
 (одновременно кудрявеньким и лысеньким аккордеонистом)
 после ее нежелательного появления
 в мире,

наверное, состоящем
 наполовину
 из детей нон грата.
 Мама брала домой работу налево
 и переписывала рапортчики концертов,
 где проставляла
 фамилии авторов исполняемых произведений,

после чего
 на их сберегательные книжки
 капали деньги.

Единственная сберкнижка мамы
 была все та же коробка «Ландрин»,
 где очень редко соприкасались
 деньги
 с медалями Отечественной войны.

Покачивая кровать сестренки
 носком ботинка;
 разбитого вдребезги
 на пустырях о консервные банки;
 и слушая хриплую скороговорку

Вадима Синявского с берегов
весьма туманного Альбиона,
где Бобров прорывался к воротам «Челси»,
я переписывал эти треклятые рапортчики
и добросовестно увеличивал вклады
Блантера,
Соловьева-Седого,
Фатьянова,
Цезаря Солодаря,
а после фамилии Дунаевский,
так часто встречавшейся,
что темнело
в глазах от усталости,
ставил «И. Дун.».

Из-за этого
у меня навсегда испортился почерк.
Но когда попадалась фамилия
Шостакович,
я почему-то старался ее выводить покрупней.
Иногда,
почти засыпая
от переписывания чужих фамилий,
где-нибудь
между «Матрешкин» и «Трешкин»
я ставил свое
никому не известное имя
и смотрел на него с непонятым чувством,
а спохватившись,
зачеркивал...

К маме приходили гости —
елочные деды-морозы,
из красных шуб доставая
черноголовую водку,
и пожилые снегурочки,
одна из которых была
второй или третьей женой
полузабытого имажиниста,
чье имя Вадим Шершеневич
я не встречал в рапортчиках.

Женщина-каучук,
уставшая быть змеей,
превращалась в домашнего котенка
и, свернувшись калачиком в кресле,
вязала моей сестренке пинетки.

А Змей Горыныч, по прозвищу Миля,
расчерчивал пульку для
преферанса
и очень старался проигрывать маме,
потому что он знал,
какая у мамы зарплата.

Красная Шапочка жаловалась на фронтовые раны,
а сорокалетняя крошечная травести
с глазами непойманного мальчишки,
хлопоча у плиты,
умело скрывала от мамы,
что меня после школы
она обучает любви
в своей чистенькой комнатке на Красносельской,
где над свежими сахарными подушками

осыпавшиеся с пальцев обручальные кольца,
опавшие с женских мочек

бирюзовые и другие сережки,
и только целехонькие пустые перчатки будут сжимать
целехонькие баранки целехоньких автомобилей.

Вся международная выставка ног в Перудже
испарится:

останутся лишь опустевшие туфли
с горсточками пепла на стельках с золотым тиснением,
и между этих замшевых и лакированных урн
будет ползать,

обнюхивая каблуки,
полурасплавленная цепочка
со щиколотки

испарившейся перуанки.
Мамы тоже не будет.

Останется только киоск,
на котором перелистывает атомный ветер
ставшие антикварными плесневеющие издания:
еженедельник «Футбол-хоккей»,

журналы «Америка» и «Здоровье».

И только призрак превратившегося в пар

маминогo мясника
будет по привычке оставлять призраку моей мамы
призрак мороженой курицы —
соотечественницы Мопассана
из страны,

где на книжных полках целехонький Мопассан
и ни одного уцелевшего соотечественника.
И увидит, нажав хиросимскую кнопку,

новый майор Фирби,
как превратится Европа

в мертвую Евросиму,
и майор не успеет сойти с ума,

ибо сам превратится в призрак.

Мама редко высказывается о политике,
но вот что она сказала однажды,
вернувшись из магазина обоев,
расположенного на бульваре Звездный,
где ей пуговицы невзначай оборвали,
когда «выбросили» обои из ГДР:
«Боже,

до чего доводит жадность к вещам.

Из-за этого, наверно,

и придумали нейтронную бомбу...»

И я представил миллионы магазинов мира,
набитых обоями,

норковыми манто,
бриллиантами,

итальянскими сапогами,

японскими проигрывателями,

датским баночным пивом,
где будет все,

но исчезнет одно —

покупатель.

Подушки начнут воровать из музеев

неандертальские черепа.

Рубашки
 сами себя натягивают
 на статуи и скелеты.
 Детские коляски будут качать
 заспиртованных младенцев из мединститутов.
 Бритвенные лезвия
 захотят зарезаться
 от одиночества.
 Состоится массовое повешение
 галстуков на деревьях.
 Книжки устроят самосожжение,
 тоскуя по глазам и пальцам.
 Вещи, возможно, адаптируются.
 Вещи сами начнут ходить в магазины
 и, наверно, устроят всемирную свалку,
 когда пройдет непроверенный слух,
 что в каком-нибудь магазине на окраине
 «выбросили» человека.
 Вещи обязательно политически перессорятся,
 и, возможно, какой-нибудь зарвавшийся холодильник
 придумает новую нейтронную бомбу,
 уничтожающую только вещи
 и оставляющую целехонькими
 людей...
 Но что останется,
 если людей не осталось?
 Поднявший атомный меч
 от него и погибнет!

7

Над обезрыбевшим Тибром ночью
 витают не призраки легионеров,
 а наркоманов дрожащие тени
 с ноздрями, белыми от кокаина,
 с руками, исколотыми насквозь.

По старой своей подмосковной привычке
 я каждое утро бегал над Тибром
 и слышал под кедами тоненький хруст.
 Я остановился однажды

 и вздрогнул,
 увидев десятки разбитых ампул
 и одноразовых шприцев,

 а рядом
 валявшееся в итальянской крапиве
 чье-то растоптанное лицо.
 Лицо было русским.

 Было крестьянским
 с красным гончарным загаром работы,
 с белыми лучиками морщинок
 возле особенных —

 вдовьих глаз,
 чуть притененных белым платочком
 в черную крапинку —

 будто остался
 пепел войны на платке навсегда.
 А почему глаза были вдовьи —
 я объяснить бы не смог, наверно,
 но женщина эта сноп обнимала
 на поле, остриженном по-солдатски,

и так прижималась к снопу головой,
 словно к чему живому, родному,
 будто она прижималась к мужу,
 войной отобранному у нее.

Эта вдова оказалась в Риме
 среди пейзажных цветных фотографий
 на смятой рекламке Аэрофлота,
 кем-то забытой на берегу.
 Был скомкан в гармошку Василий Блаженный,
 разодраны тоненькие березы,
 и грязный оттиск чьего-то ботинка
 как штемпель забвенья

лежал на лице.

Подошва неведомого наркомана
 на это лицо невзначай наступила,
 когда, закатав свой левый рукав,
 он правой рукой вводил себе в вену
 забвенья о будущем атомном пепле,
 который возможен,

если возможно

забвенья о пепле прошедшей войны.

Забвенья уроков истории —

это

не что иное,

как наркоманство.

Какая разница,

что за наркотик:

ампула

или просто поллитра

за пазухой у наркомана футбола!

А телевизорные наркоманы!

Для них телебашни —

гигантские шприцы,

вкалывающие под кожу забвенья.

И даже невинный зубной порошок —

наркотик,

если трусливый язык

держат за вычищенными зубами.

Мебель,

сервисы,

машины —

для многих

это наркотики в твердом виде.

Были бы в жидком виде дубленки,

шприцем

их впрыскивали бы под кожу

жалкие наркоманы вещей!

А наркоманы власти и денег!

Неужто всемирным штемпелем черным

подошва атомного наркомана

наступит

сразу

на все

лица,

как на крестьянское вдовье лицо?!

«Да,

наркомания — это проблема...» —

кто-то вздохнул у меня за спиной.

Это сказал пожилой итальянец,
привязывая пропотевшую майку
вокруг добродушного живота
и прямо на россыпи ампул разбитых
перешнуровывая свой кед.

«А может быть, —

он усмехнулся, —

мы с вами

тоже немножечко наркоманы?
Бегаем как сумасшедшие утром,
а не убежишь от себя никуда!
Так спрашивается —

для чего нам бегать?»

Но все-таки он побежал,

и неплохо.

Сквозь кеды просматривался артрит,
но икры пружинили как молодые,
и капли с облезлого носа летели
в крапиву

на ампулы

и на песок.

И я побежал.

Через Тибр перепрыгнул
и оказался в Москве у киоска,
где мама раскладывала газеты,
как будто бы свой ежедневный пасьянс.
Я тихо сказал ей:

«Одну «Вечерку»...»

«Послезавтрашнюю?» —

спросила мама,

не поднимая усталых глаз
и голос мой не узнав из-за шума.
Я оторопел.

Мне порой давали
в редакциях завтрашние газеты,
но послезавтрашние —

никогда.

Я потоптался.

Сказал: «Не надо...»

Лучше вчерашнюю, если можно...»
И мама вздохнула грустно и горько:
«Никто послезавтрашних не берет...»
И я побежал от мамы,

от страха

взглянуть в послезавтрашние газеты
и оказался в Италии снова
и в каждой встреченной итальянке
видел будущую вдову.

Вдовы будущие в соборах
с трупами будущими венчались.

Вдовы будущие рожали
будущих убитых младенцев,
которым одна достанется елка —
всемирная елка погибших детей.

И мне закричал мальчишка-газетчик,
роняя сопли на заголовки:

«Синьор,

послезавтрашние газеты!

кубанских казаков,
 плясавших тогда на экране,
 где сладенького счетовода
 играл молодой Любимов,
 пряча под смушкой кубанки
 мысль о захвате Таганки...
 Я увидел стилиг на одной из елок в Колонном.
 Их волосы были приклеены к маленьким лбам бриолином,
 галстуки —
 как опахала из павлиньих перьев,
 ватные плечи
 похожих на полупальто пиджаков,
 ботинки вишневого цвета на рубчатой каучуковой подошве,
 презрительный взгляд

поверх магазинно одетых людей...
 А на моих плечах
 был кургузый пиджачок из Мосторга
 и темно-серая рубашка
 «смерть прачкам».

Но в руке я сжимал номерок от гардероба,
 где висела

тогда мне бывшая впору
 и заменявшая мне пальто
 мамина старенькая кожанка
 с дыркой от мопровского значка.
 Но МОПРа не было.

Были стилиги:
 первые диссиденты —
 диссиденты одежды,
 мятежники танцплощадок,
 интернационалисты вещей,
 герои — родоначальники будущего вещизма.
 Дружинники с ними боролись при помощи ножниц,
 отхватывая слишком длинные,
 по мнению общественности,
 волосы,
 или после обмера портновским клеенчатым сантиметром
 разрезая слишком узкие,
 по мнению общественности,
 брюки.

Но стилиги в Колонном зале
 были суперстилиги.
 Информированные дружинники
 соблюдали дистанцию с ними.
 У подъезда стилиг поджидал
 катафалковый черный «ЗИМ».

«В кок», —
 процедил один из подростков шоферу
 (так называли стилиги тогда коктейль-холл).
 И «ЗИМ» желтоглазый
 обдал кожанку мою
 грязью нового,
 только что наступившего сорок девятого года,
 и я ощутил
 не кожанкой моей,
 а кожей
 ввинченность мопровского значка.

«Сын академика...» —
 раздался завистливый шепот.

Лестница покачнулась,
 как будто по ее ступеням
 запрыгала эйзенштейновская коляска
 из «Броненосца «Потемкин»
 с развалившимся в ней стилиягой.
 Через несколько лет был фельетон «Плесень»
 и состоялось историческое закрытие коктейль-холла,
 ибо коктейли были названы буржуазным ядом,
 и было непредставимо,
 что пустые бутылки пепси
 когда-нибудь станут
 обычной сдаваемой стеклотарой.
 Времена менялись.
 Ножницы дружинников разрезали
 слишком широкие,
 по мнению общественности,
 брюки,
 а сын академика Лева
 из человека-антиплаката
 превратился в довольно способного художника-плакатиста.
 Он уже одевался на свои,
 а не папины деньги.
 Но мало-помалу иностранные шмотки
 перестали быть привилегией узкой касты.
 Каста расширилась,
 включая в себя сыновей
 мясников,
 зеленчиков
 и продавщиц молочных магазинов.
 Все трудней становилось
 «выделяться из масс»,
 ибо массами овладело желание выделяться.
 Бывшие суперстиляги
 решили выделяться по-иному,
 создав микромир из длинноногих манекенщиц.
 Женились на них,
 разводились,
 меняли между собой,
 как некогда яркие галстуки,
 привезенные китобоями Одессы.
 Но у новых московских девочек,
 воспитанных на болгарских соках,
 ноги росли с катастрофической быстротой.
 Манекенное телосложение
 приняло массовый характер,
 и манекенщицы-профессионалки
 бледнели на этом фоне.
 Лева решил переменить фон.
 Лева уехал в Израиль.
 Но в Тель-Авиве Леве не показалось.
 Не показалось в Париже —
 художнику сложно выделяться в городе,
 где семьдесят тысяч
 художников,
 желающих выделяться.
 Я встретился слевой случайно в Нью-Йорке
 в доме миллионера Питера Спрэйга,
 где тогда служил мажордомом
 бывший харьковский поэт Эдик,

получивший это место
 благодаря протекции мажордомши-мулатки,
 которую вызвала мама,
 медленно умирающая в Луизиане.

Эдик,
 по мнению эмигрантской общественности —
 чеховский гадкий мальчик,
 приготавливающий динамит
 под гостеприимной крышей капиталиста,
 тогда писал
 свою страшную потрясающую исповедь эмигранта
 в комнатушке с портретами Че Гевары
 и полковника Кадаффи.

Миллионер отсутствовал.
 Он улетел на «конкорде»
 в Англию
 на собственную фабрику автомобилей «Остин Мартин»,
 и Эдик пил «Шато Мутон Ротшильд» 1935 года,
 если я не ошибаюсь,
 года собственного рождения,
 и заедал щами из кислой капусты,
 купленной в польской эмигрантской лавке на Лексингтон-авеню.
 Бывший одесский пианист,
 смущенно сказав, что он знает
 по работе мою маму,

смахнув слезу,
 заиграл на Бехштейне «Хотят ли русские войны?».
 Бывший переводчик грузинских и азербайджанских поэтов,
 а ныне владелец галереи «неофициального русского искусства»,
 и бывший московский сутенер,
 сочинивший роман «ЦДЛ»

на единственном
 хорошо знакомом ему материале,
 занимались коммунальными выяснюшками,
 кто из них «агент КГБ»,
 в результате чего
 пустая бутылка ни в чем не повинной
 «столичной»

разбила
 ни в чем не повинное окно,
 выходящее во двор Курта Вальдхайма.
 А Лева, пришедший по инерции судьбы
 с манекенщицей по кличке Козлик,
 бывшей женой Эдика,
 а ныне женой итальянского графа,
 молча разрывал руками
 ставшую импортной воблу
 на мятой «Нью-Йорк таймс»,
 исполняющей роль «Вечерки».

Лева постарел.
 Он был одет магазинно,
 ибо в Нью-Йорке,
 чтобы стать диссидентом одежды,
 мало того,
 чтобы даже вообще не одеваться.
 Лева теперь занимается сварочной скульптурой.
 Пальцы в ожогах
 что-то рисовали карандашиком на газете,
 жирной от воблы, —
 может быть, собственную дорогу,

которую Лева не сумел нарисовать.

Лева поднял глаза

с подглазными мешками, набитыми пылью скитаний,
и вдруг спросил

совсем по-московски,

вернее по-улицегорьковски:

«Старичок,

только без трепа,

как ты думаешь,

будет война?»

9

Итальянский профессор

с глазами несостоявшегося карбонария

меня пригласил в его холостую квартиру в Ассизи

как в свое единственное подполье.

Он заметно нервничал.

Заранее просил прощения за пыль:

и говорил, как трудно достать приходящих уборщиц,

с трудом поворачивая ключ в заржавелом замке,

вделанном в дверь,

обитую средневековым железом.

Против моих ожиданий

увидеть обителище Синея Бороды,

я увидел две комнатки,

набитые пыльными книгами,

идеальными для дактилоскопии,

подернутую паутиной

флорентийскую аркебузу,

индийскую благовонную палочку,

сгоревшую наполовину,

русскую тряпичную купчиху,

предлагающую жеманно

пустую чайную чашечку

небольшому мраморному Катулли,

а также письменный стол на бронзовых львиных лапах,

на котором скучала чернильница венецианского хрустала

с несколькими мухами,

засохшими вместе с чернилами.

«Я здесь пишу... —

застенчиво пояснил профессор

и, пригубив из рюмки с крошками пересохшей пробки,

доверительно добавил: —

И здесь я люблю».

Профессор вздохнул

мучительным вздохом отца семейства,

и только тогда я заметил главный предмет в квартире:

тахту.

На тахте были разбросаны

в хорошо продуманном беспорядке

пожелтевшие козьи шкуры,

подушечки в виде сердец.

Как бы случайно

с края тахты свисала

как бы забытая

женская черная перчатка,

от которой не пахло никакими духами,

и пыль на подушечках

жаловалась беззвучно

А потом эти избранные
 вылезут из бронированных берлог,
 писая от радости —
 кто на Лувр,
 кто на Сикстинскую капеллу,
 и будут пересыпать в ладонях с бессмысленным торжеством
 бессмысленные деньги,
 примеряя по-дикарски то корону Фридриха Барбароссы,
 то тиару последнего папы —
 если, конечно, он сам не окажется
 в бункере.

Они захватят
 особо избранных женщин
 в свои бункера
 и, побряхтывая, приступят
 к размножению исчезающей человеческой
 расы.

Но все это кончится пшиком.
 Откроется грустный секрет:
 все
 так называемые сильные мира сего —
 законченные импотенты.

Они и не догадаются
 захватить в бункера крестьян
 и будут сеять медали
 и пуговицы от мундиров,
 и будут жрать консервированным
 даже хлеб,
 и будут слышать кудахтанье
 лишь консервированных куриц.

Они и не догадаются
 захватить в бункера
 пролетариат
 и будут ковыряться
 серебряными вилками
 в автомобильных моторах,
 и будут колоть дрова —
 пилой,
 а пилить дрова —
 топором,

и канализацию разорвет
 от особо избранных экскрементов.

Сильные мира сего
 и до взрыва жили как в бункерах,
 соединенные с миром
 посредством телефонов и кнопок,
 и взорванные телефонистки
 и взорванные секретари
 мстительно захохочут
 над беспомощностью шефов.

Сильные мира сего
 бессильно начнут замерзать
 и будут отапливаться
 Данте и Достоевским,
 а когда закончится классика,
 доберутся и до моего альбома,
 сжигая с ним вместе все
 о всех, кого я любил...

А когда станет пеплом все то,
 что может сделаться пеплом,
 последний сильный мира сего
 в горностаевой мантии Людовика
 закричит: «Вселенная — это я!» —
 и превратится в ледышку
 под скрежет полярных айсбергов,
 разламывающих Нотр-Дам...»
 «У вас температура, профессор...» —
 я прервал его осторожно.
 Он захохотал:
 «Да, слава богу, пока еще температура,
 температура человеческого тела...»

10

Мама.
 мне страшно не то,
 что не будет памяти обо мне,
 а то, что не будет памяти.
 И будет настолько большая кровь,
 что не станет памяти крови.

Во мне,
 словно семь притоков,
 семь перекрестных кровей:
 русская —
 словно Непрядва,
 не прядающая пугливо,
 где камыши растут
 сквозь разрубленные шеломы;
 белорусская —
 горькая от пепла сожженной Хатыни;
 украинская —
 с привкусом пороха,
 смоченного горилкой,
 который запорожцы
 клали себе на раны;
 польская —
 будто алая нитка из кунтуша Костюшки;
 латышская —
 словно капли расплавленного воска,
 падающие с поминальных свечей над могилами в Риге;
 татарская —
 ставшая последними чернилами Джалиля
 на осклизлых стенах набитого призраками Моабита,
 а еще полтора литра
 грузинской крови,
 перелитой в меня в тбилисской больнице
 из вены жены таксиста —
 по непроверенным слухам,
 дальней родственницы
 Великого Моурави.

Анна Васильевна Плотникова,
 мать моего отца,
 фельдшерица, в роду которой
 был романист Данилевский,
 работала с беспризорниками
 и гладила по голове

рукой постаревшей народницы,
 возможно, Сашу Матросова.
 Рудольф Вильгельмович Гангнус,
 отец моего отца,
 латыш-математик,
 соавтор учебника «Гурвиц—Гангнус»,
 носил золотое пенсне,
 но строго всегда говорил,
 что учатся по-настоящему
 только на медные деньги.
 Дедушка голоса не повышал никогда.
 В тридцать седьмом
 на него
 повысили голос,
 но, говорят,
 он ответил спокойно,
 голоса собственного не повышая:
 «Да,
 я работаю в пользу Латвии.
 Тяжкое преступление для латыша...
 Мои связи в Латвии?
 Пожалуйста — Райнис...
 Запишите по буквам:
 Россия,
 Америка,
 Йошкар-Ола,
 Никарагуа,
 Италия,
 Сенегал...»

Единственное,
 что объяснила мама:
 «Дедушка уехал.
 Он преподает
 в очень далекой
 северной школе».
 И я спросил:
 «А нельзя прокатиться к дедушке на оленях?»

До войны я носил фамилию Гангнус.
 На станции Зима
 учительница физкультуры
 с младенчески ясными спортивными глазами,
 с белыми бровями
 и белой щетиной на розовых гладких щеках,
 похожая на переодетого женщиной хряка,
 сказала Карякину,
 моему соседу по парте:
 «Как можешь ты с Гангнусом этим дружить,
 пока другие гнусавые гансы
 стреляют на фронте в отца твоего?!»
 Я, рыдая, пришел домой и спросил:
 «Бабушка,
 разве я немец?»
 Бабушка,
 урожденная пани Байковска,
 ответила «нет»,
 но взяла свою скалку,
 осыпанную мукой от пельменей,
 и ринулась в кабинет физкультуры,
 откуда,

как мне потом рассказали,
слышался тонкий учительшин писк
и бабушкин бас:

«Пся крев,

ну а если б он даже был немцем?

Бетховен, по-твоему, кто —

узбек?!»

Но с тех пор появилась в метриках у меня
фамилия моего белорусского деда.

Мой отец

Александр Рудольфович Гангнус

не носил никакой комсомольской кожанки

и более того —

вызывающе носил галстук,

являвшийся,

по мнению общественности,

буржуазной отрыжкой,

за что был однажды чуть не исключен
из Геологоразведочного института.

Об этом отец рассказал, смеясь,
когда его

в середине семидесятых

не пропустили в ресторан «Советский»

именно из-за отсутствия

«буржуазной отрыжки»

на шее.

Когда я принес моей маме рукопись «Братской ГЭС»,
мама заплакала и достала из коробки «Ландрин»
одно пожелтевшее фото.

Там

юная геологиня —

мама

неловко сидела на шелудивом коне,
подняв накомарник,

словно забрало,

а мой отец —

неисправимо некомсомольский —

галантно поддерживал мамино стремя,
ей помогая спрыгнуть с коня у костра.

Мама перевернула фото
и показала блеклую надпись,
сделанную отцовской рукой:

«На месте изысканий будущей Братской ГЭС.

1932 год».

Мама погладила пальцем
такое далекое пламя костра
и неожиданно отдернула руку,
как будто пламя еще обжигало.

Мама,

запинаясь,

подыскивала слова:

«У этого костра...

ты был...

начат...» —

и покраснела,

как девочка.

А почему разошлись моя мама

и мой отец,

я не знаю...

Наверно, дело в костре,
у которого пламя просто устало,
хотя иногда еще может обжечь
сфотографированное пламя.

Папа был после дважды женат.
Я любил всех папиных жен,

начиная с собственной мамы.

А еще я любил всех других женщин,

любивших моего папу,—

в их числе одну заведующую отделом в Союзводоканалпроекте,
пятидесятилетнюю мать двух кандидатов наук,
обожавшую черные шляпки с розовой лентой
и себя называвшую в письмах к папе

«твоя Ассоль».

Моей маме, естественно,

не нравилось то,

что мне нравились жены

и другие женщины папы.

Иногда,

осуждая меня за что-то,

мама горестно вздыхала:

«Вылитый отец!»

А отец,

которому несвойственно было осуждать,
разводил руками:

«Вылитый мама!»

Поэтому

если я окажусь гениальным,
не надо меня отливать из бронзы,
а пусть отольют

моих папу и маму —

и это буду

вылитый я...

Мой отец,

когда мама была беременна мной,
написал такие стихи,

и, по-моему, неплохие:

«Когда же стянется сизый дым

моих костров к берегам,

ты, наверно, пойдешь,

мой старший сын,

по моим неостывшим следам.

И я знаю, что там, на склоне реки,

где ты станешь поить коня,

по походке твоей, по движенью руки

узнают и вспомнят меня...»

Через сорок лет

я и трое моих друзей

спрыгнули с катера Лимнологического института

после двухдневной байкальской качки

на что-то,

напоминающее землю.

Окруженное месивом грязи,

во мраке возникло кафе.

В просторном — стекляшка,

оно показалось хрустальным дворцом,

где за прозрачными стенами танцевали виденья
 в белоснежнейших босоножках и черных лакированных штиблетах.
 пока в фойе ожидали хозяев резиновые сапоги.

Швейцар,
 по-наполеоновски скрестив руки,
 спросил сквозь стекло,
 такой недоступный,
 как бородатая царевна в хрустальном гробу:
 «А чо ишо, окромя сапог?»
 И мы поняли,
 что хотя мы обуты —
 мы босы.

Помогла моя дешевая популярность,
 ибо в этот момент заиграли мелодию «Не спеши...» —
 и один из моих друзей,
 захлебываясь,
 объяснил,

что именно я,
 несмотря на пролетарскую оболочку ног,—
 автор слов этой всемирно известной исторической песни,
 а мои резиновые сапоги —
 это признак слиянья с народом.

Швейцар подозрительно посопел,
 но решил ситуацию гибко:
 «Тады—босиком...

А «Бухенвальдский набат»,
 случаем, не ты сочинил?»

Мы вошли в носках,
 как домушники,
 в зал
 и, спрятав неэстетичные ноги под скатерть,
 робко спросили меню,
 но угрюмая официантка
 сдернула скатерть с небесного пластикового стола.
 Хрустальный дворец закрывался.

Я был делегирован к стойке,
 ибо у меня на носках
 было меньше дырок, чем у друзей.

Пожилая буфетчица
 с фальшивой жемчужной ниткой на борцовской
 шее,

напоминавшая русскую тряпичную купчиху
 в холостой ассизской квартире профессора из Перуджи,
 меня отнюдь не восприняла

как мраморного Катулла
 и не протянула никакой
 столь вожденной чаши.

Я решил бить на жалость.
 Я поставил на стойку левый локоть,
 а правой ладонью стал мучить свое лицо,
 как это делал всегда мой папа,
 когда ему очень хотелось чего-то.
 И вдруг буфетчица приостановила

государственное дело
 протиранья фужеров

и, вздрогнув
 одновременно глазами и пышным телом,

спросила:

«Постой,
тебя как зовут?»

«Женя...» —

ответил я, приосанясь
и радуясь, что дырявые носки

прикрываются буфетной стойкой.

«А маму — как?»

Я ответил: «Зиной...» —

не понимая,

при чем тут мама.

«А папа твой —

не Александр Рудольфич?» —

быстро спросила она,

поблуднев,

хотя это было нельзя представить
по ее купчихиным румяным щекам.

«Александр Рудольфович...» —

я ответил,

уже немножечко испугавшись.

А она,

роняя фужеры и рюмки,

перегнулась всем телом ко мне через стойку
и прошептала:

«А Сашенька — жив?»

«Жив...» —

я ей в тон прошептал невольно,

и тогда она,

улыбаясь сквозь слезы.

засуетилась,

закопошилась:

«Так чо же мы тут...

Пойдем до избы...»

А в избе,

поставив на стол омулька, и бруснику
и бутылку виски «Белая лошадь»,
доскакавшую неизвестно как до ее буфета,
рассказала она,

что была поварихой

у костра,

который на мамином фото,

и таскала записки из палатки в палатку,
от отца —

к неприступной до времени маме,

и всплакнула потом,

ничего не добавив,

лишь вздохнула:

«Ну, главное, Сашенька жив...»

И я понял все,

что за этим вздохом.

Я спросил:

«Ну а как вы меня узнали —
ведь вы же меня не видели никогда!»

А она засмеялась:

«Да как не узнать-то!

Только Сашенька так елозил рукою
по лицу,

если чо-нибудь шибко хотел...»

В понедельник за дедом приходила «эмка»,
и он опохмелялся вишнями в шоколаде,
а однажды чокнулся конфетой со мной,
почему-то вздохнув

и горько заплакав.

Но в один понедельник за дедом пришла не «эмка»,
а совсем другая машина,

и дед исчез навсегда.

Мама никогда не бывала в Полесье,
но знала, что там у деда остались
две сестры,

одна из которых, Ганна,
приезжала однажды в тридцатых к нам в гости
и привезла мне постолы —

белорусские лапоточки, —

а еще корзину,

где было штук сто яиц.

Мама забыла название отцовской деревни,
но когда мы однажды при маме с друзьями
вспоминали о славном прошлом футбола —

о Хомиче,

о Боброве,

мама вскрикнула: «Хомичи!

Хомичи — это село!»

После полуторачасового полета из Минска на вертолете
мы ехали на военном «газике»

с драматургом Андреем Макаенком

и генералом ВВС Белорусского военного округа.

Мы ехали по проселку

среди болотных кочек Полесья,
похожих на голубые шапки.

сшитые из незабудок.

На проселке стоял необыкновенный старик.

Необыкновенность его состояла

из эсэсовского унтер-офицерского мундира,
на котором болтался Георгиевский крест
рядом с партизанской медалью.

а также из новеньких постолов,

где в переплетениях лыка
застряли небесные незабудки.

«Вам в Хомичи, дедушка?»

«А то куда ж!»

И в «газике» сразу запахло

ядренейшим самосадам
от домовито расположившегося старика.

Я осторожно спросил:

«Кто-нибудь из семьи Евтушенко живы?»

«Ды як же не живы —

половина Хомичей усе Явтушенки...» —

«А Ганна — жива?» —

«Ого, ды яще якая живая —

надысь,

кали лишку хватил — кочергой чуть-чуть не огрела...» —
«А ее сестра?» —

«Евга?

Мучается ад ревматизму...»

Я ей гаварыл,
што самсонный кампресс памагае,
а яна не паверыла. .» —
«А Ермолая вы знали?» —
«А як же не знать...
Трохи смурый был хлопец,
но жвавый.

З им и свиней пасли,
и утыкали з германского полону у пятнадцатом годе,
и разом Георгиев атрымали.
А потым он вышел у великие красные командиры
и запропал у Маскве...

«А какой он был?» —
«Лепш — сядел бы у хате...» —
«Дуже до девок ласый...

На носу раздвоинка,
як у тябё...»
Мы въехали в Хомичи.

Деревня была пуста,
но ни один замок не висел ни на чьей двери.
«Почему нет замков?» —
я спросил у деда.

«Да няма ничо́го,
каб хавать...» —
«А где же люди?» —
«Усе на поли...»

Мы вышли на поле,
и я увидел
копавших картошку детей и женщин,
а еще я увидел —

впервые в жизни —
младенцев,
еще ходить не умевших,
но по полю
ползавших
с пользой —

выгребая
пальчиками
картошку.

И какая-то непостижимая сила
меня толкнула
к махонькой ловкой старушке,
которая, взяв за шкуру мешок,
наполненный наполовину,
встряхивала его,
как сонного пьяного мужика.

«Вы — Ганна?»
«Ну я буду Ганна... —
она отвечала,
вытирая руки о старенький сарафан.—
А вы будете хто?»

«А я — ваш внук Женя...»
«Ды як же ты Женя?
Хиба ж ты з голоду не помёр на войне у Маскве?»
«Не умер...»

И тогда она взвыла на целое поле:

«Людцы, бяжите сюды!
Кровиночка наша знайшлася!»
И заплакали Андрей Макаенок
и генерал ВВС,
когда ко мне побежали женщины
и поползли младенцы,
все — с незабудочными
явтушенковскими глазами,
сжимая в руках картофелины
второе больше их крошечных кулачков.

А потом,
осушив граненый стакан розового свекольного первака,
в хате, в которую набилось штук шестьдесят Явтушенок,
бабка Ганна вспомнила деда:
«Калі возвернуўся з гражданки
Ярмола,
то усе образы спалілі,
только один схавать удалося.
Бачишь,
Хрыстос висиць —
однюсенький ва усим селе?»
У дру́гий раз возвернуўся твой дед
у пачатку трыдцать семаго,
и ходил по хатам,
и просил пробаченья у всех,
у кого спалілі образы,
а потым у Маскву зъехал
и згинуў...»
И бабка Ганна выпила второй стакан первака
и спросила:
«А ким ты працуеш?»
«Пишу стихи».
«А што яно такое?»
Я пояснил:
«Ну как песни...» —
а бабка Ганна засмеялась:
«Дык песни пишуть для задавальнення...
Якая же гэто праца!»
А потом бабка Ганна выпила третий стакан первака.
Я спросил: «Не много?»
«Дык я же з Палесья — я паляшучка!
А тябе повезло, унучек,
што твоя родня — добрыя люди.
Не дай, бог мы были б якіе-небудзь уласовцы
ці спекулянты!»
И бабка Ганна подняла сарафан
не стесняясь
и показала на старческих высохших желтых грудях ожоги:
«Гляди, унучек,
гэто ад фашистских зажигалок.
Мяне пытали,
дзе партизаны...
Але я не сказала нічо́го...»
А потом бабка Ганна выпила четвертый стакан первака
и спросила:
«А ты бывал у других краинах?»

«Бывал».

«А сустракал там яще Явтушенок?»

«Нет, не встречал...»

А что, разве есть Евтушенки—эмигранты?»
И бабка Ганна выпила пятый стакан первака.

«Ды я гавару не аб радне по прозвищу —
аб радне по души.

И кали дзе-нибудь —
у Америцы
ци у Африцы

ёсць добрыя люди —
мне здаёцца —
яны усе Явтушенки...

И ты не стамляйся
шукать радню по белому свету.

Шукай родню,
и завсёды родню отшукашь,
як нас отшукал,
и за гэто дякую,
унучек...»

И заплакала бабка Ганна,
и заплакала бабка Евга,
и заплакали все шестьдесят Явтушенок,
и заплакал спасенный бабкой от деда Ярмолы
изможденный Христос на иконе,
похожий
на белоруса из поэмы Некрасова «Железная дорога».

Бабка Ганна,
над могилой твоей голубые шапки
из незабудочных глаз твоих внуков.

Бабка Ганна,
белорусская бабушка
и бабушка всего мира,
если в Белоруссии был убит каждый четвертый,
то в будущей войне
может быть убитым каждый.

Бабка Ганна,
ты живая не была ни в каких заграницах.

Пустите за границу
хоть мертвую бабку Ганну —
крестьянскую Коллонтай партизанских болот!

Товарищи,
снимите шапки —
характеристика бабки Ганны
написана фашистскими зажигалками
на ее груди!

ЭПИЛОГ

Сто тридцать два яйца,
проколотых личной иглой дуче
и выпитых им для смазки
голосовых связок,
в маленькой траттории
сохраняются религиозно
как самое белоснежное,
оставленное фашизмом.

Каменный профиль дуче
 рядом высечен в скалах.
 Профиль взрывали-взрывали,
 да только чуть нос повредили!
 В яйцах фашистские знаки,
 словно змееныши, скрыты,
 и надписи прямо на стены
 из скорлупы выползают:
 «Мы сына назвали Бенито... —
 Джузеппе с Терезой из Пизы»,
 «Да здравствует дуче! —
 Марчелло
 семнадцати лет
 из Навоны»,
 «Гордимся, что жили в эпоху
 великого человека
 и с именем этим сражались... —
 Неапольские ветераны».

Какая проклятая глупость
 в любви к фальшивым великим!
 Великих диктаторов нет.
 Зачем на их профили тратить скалы!
 А я называю великой
 мою белорусскую бабку Ганну,
 которая была диктатором
 только гусей и куриц.
 Это летит не ангел
 над шоссе Перуджа—Ассизи:
 это летит,
 облака загребая рукавами,
 старенькая кожанка мамы
 с кусочком утреннего солнца
 в дырке от мопровского значка,
 а на руках участников марша мира
 качается не деревянная богоматерь,
 а бабка Ганна из партизанского Полесья
 с мопровскими значками ожогов
 на высохшей желтой груди.
 Бабку Ганну несут подростки с фабрики «Перуджина»,
 где они,
 как скульпторы,
 шлепают по глыбам теплого шоколада,
 и бабка Ганна их спрашивает:
 «А можете зробиць
 петушков на палочке для усих моих унуков?»
 Бабку Ганну несут рабочие с фабрики «Понти»,
 сотни раз обвинившие шар земной
 золотыми нитями спагетти,
 а бабка Ганна им пальцем грозит:
 «У Хомичах наших
 я шо-то такой вермишели не сустракала...»
 Бабку Ганну несут студенты университета Перуджи,
 изучающие Кафку,
 структуру молекул
 и кварки,
 а бабка Ганна знает не Кафку,
 а лишь огородную кадку
 и про кварки, наверно, думает,
 что это шкварки.

Бабку несут
 и Толстой
 и Ганди,
 и превращается непротивление —
 в сопротивление.

Бабку Ганну несет Иисус
 в пробитых гвоздями ладонях,
 и она его раны,
 шепча,
 заговаривает по-полесски.

Бабка Ганна покачивается
 над людьми и веками
 в руках Эйнштейна
 и Нильса Бора
 и страшный атомный гриб
 не хочет
 класть в свою ивовую корзину.

А за бабкой Ганной ползут по планете
 ее белые,
 черные,
 желтые
 и шоколадные внуки,
 и каждый сжимает в руках
 картофелину земного шара.

и бабке Ганне кажется,
 что все они —
 Явтушенки.

А у поворота шоссе Перуджа — Ассизи
 стоит газетный киоск
 с Рижского вокзала,
 где мама продает
 послезавтрашние газеты,
 в которых напечатано,
 что отныне и навсегда
 отменяется война.

Сентябрь — декабрь 1981 года.

Перуджа — Ассизи — Гульрипш — Москва.



ИОН ДРУЦЭ

★

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ *

Роман

Глава шестая

ОЧКО

Страх может убить преступление, но он также убивает добродетель.

Екатерина II.

От канцлера до последнего протоколиста все кралось и все было продажно.

Пушкин.

Екатерина любила по вечерам проводить часок-другой за картами, которые были, по ее словам, незаменимы для отдохновения от державных дел. Играла не спеша, тщательно контролируя свои эмоции, не рвалась к выигрышу любой ценой, но брала каждую копейку, которую можно было выжать при ее картах. Старые придворные шельмы, промотавшие за игорным столом не одно состояние, склонны были видеть в государыне врожденного игрока и очень жалели, что не удастся вывести ее на крупную игру. Екатерина, однако, больше рубля в банк не ставила, а намекать на увеличение взноса считалось нарушением этикета.

Красота золота не в его количестве, а в его блеске, говаривала Екатерина, но ее верноподданные были явно другого мнения, и за годы ее правления погоня за драгоценным металлом лихорадила Россию как никогда. Круглый год вечер за вечером тот, у кого водился хотя бы грош в кармане, шел испытывать свое счастье. Играла дома, играли в гостях, играли в дороге. От бар стали заражаться этой страстью слуги, от слуг — крепостные. Играла в трактирах, на почтовых станциях, в казармах, на кораблях, в острогах. Крупнейшие западноевропейские типографии не успевали выполнять заказы русских купцов на изготовление красочных игральных карт; когда власти попытались ограничить их ввоз через таможенный контроль, их стали ввозить контрабандным путем в еще большем количестве.

И настал день, когда государыне открылось, что эта невинная забава не так уж невинна. Хозяйство страны было полностью разрушено. Голодали Север и Поволжье. Вечно не хватало провианта для армии, приходилось закупать его за границей, а плодороднейшие земли пустовали, потому что, в самом деле, кому о них печься, если баре сидели за игорными столами, а сами поместья не успевали переходить из рук в руки. Армии угрожал полный разброд, ибо, когда начальник садится играть за один стол с подчиненными, действие устава прекращается и вступают в силу законы карточной иг-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

ры. Каторжники играли со своими конвоирами, чиновники сделали вечеринки с картами одной из главных статей дохода, ибо на вечеринке трудно проследить, кто кому проиграл, а кто дал взятку.

В конце концов Екатерина вынуждена была издать свой знаменитый манифест, запрещавший азартные игры, в том числе игры в карты. Во избежание искушения полиция конфисковала около ста тысяч колод, публично сожгла их, но ни сам манифест, ни публичное сожжение раскрашенных дам и валетов не дали желаемого результата. Строгости строгостями, а между тем всей державе было известно, что вечерами государыня любит проводить часок-другой за картами. У России тоже были свои нервы, она тоже нуждалась в разрядке, и потому, как только наступали сумерки, зажигались свечи, завешивались окна и начиналась раздача. Для везунчиков и шулеров наступали счастливые минуты, но для огромного большинства часы отстукивали приближение неминуемой катастрофы...

Поручик Барятинский добрался до Ясс только к полуночи. Отпустив сопровождавшую его команду, он направился через дорогу к дому своего полковника, чтобы доложить о прибытии. С этим нелегким докладом можно бы, конечно, и повременить, но нервы у бедного поручика были на пределе и он решил бросить судьбе вызов — да так да, нет так нет.

На крыльце полковничьего дома, сметая снег с сапог, он услышал доносившийся из дому капризный, истерический фальцет, и это состояние полковника лишало поручика последней надежды. Благо-разумно обогнув дом, он вышел на главную улицу этого уютного, расположенного на семи холмах, сладкого, как говорят молдаване, города. «Ну что за невезение, бог ты мой, что за дикое невезение!»

Мягкий, небритый Барятинский в свои двадцать два года чувствовал себя совершенно раздавленным судьбой. При таких обстоятельствах, рассуждал он, боевому офицеру разумнее всего пустить себе пулю в лоб, но невозможно покинуть этот свет и явиться на тот, по крайней мере предварительно не помолившись, желательно в каком-нибудь храме.

Поплутав по окраинам города, подергав ручки многих запертых на ночь церквей, он вдруг вспомнил рассказ какого-то солдата, заядлого курильщика, который говорил, что как-то ночью в поисках огонька он добрал до монастыря Голии, ибо в соборном храме, дескать, служба идет непрерывно... Поручик сомневался в правдивости этого рассказа, но на всякий случай, пробравшись через узкую калитку внутрь двора, двинул плечом огромную, тяжелую дверь...

Храм был открыт. Тускло горели лампы, скудный свет свечей едва дотягивался до ликов святых, а посреди храма высился на носилках гроб. Кругом — ни души. Походив вдоль стен, приглядевшись к ликам святых, Барятинский вдруг обнаружил, что не может молиться по той простой причине, что не помнит молитв. Ни «Отче наш», ни «Царю небесный», ни «Верую», ну ни единого святого слова... «Господи,— подумал он,— если бы бабушка увидела, до какой жизни я дошел, она бы умерла с горя...»

Вдруг ему почувствовалось какое-то движение в алтаре. Осторожно покашлял раза два. Немного погодя открылась одна из боковых дверей алтаря и оттуда вышел тощий молодой монах, примерно одних лет с Барятинским.

— Слушаю вас, сын мой...

«Да он что, смеется надо мной? Какой я ему сын, он небось мо- ложе меня...»

— Мне бы молитвенник....

— У вас горе?

— Я не исповедоваться сюда пришел.

— Молитву-то вам по какому случаю?

— То есть как по какому случаю?

— Ну, бывают молитвы человека больного, одинокого, отчаявшегося...

Поручик подумал.

— Мне бы молитву человека обреченного...

Монах внимательно на него посмотрел и чуть заметно улыбнулся, потому что был Барятинский до того юн и лицо его было до того прекрасно своей первозданной чистотой, что с него иконы бы писать, а он искал молитву обреченного... Тем не менее, подавив улыбку, монах сделал ему знак следовать за ним. С правой стороны алтаря, рядом с клиросом для певчих стояло в уголке распятие. Это древнее деревянное распятие было сделано, может, и не очень умело, но истинно верующей рукой. На кресте висел пригвожденный такой молодой, такой измученный спаситель, что рядом с его страданиями все другие беды казались сущими пустяками. Около распятия стояла конторка, на конторке, слабо освещенной одной-единственной свечой, лежал раскрытый молитвенник, сплошь закапанный воском. Поручик наклонился над книгой и, отметив пальцем выбранную строчку, прочел: «Аз есмь червь земной, Господи, и недостойн я следов Твоих...»

«Нет,— сказал себе Барятинский,— помолиться мне сегодня не суждено». Страдания распятого спасителя сводили на нет все его горести. Покойник посреди храма тоже угнетающе на него действовал. К тому же это странное место в молитвеннике — «Аз есмь червь...». Представить себя в свои двадцать два года червем он решительно не мог...

«Если хорошенько подумать,— стоя перед алтарем, говорил себе поручик,— то непременно должен какой-нибудь выход сыскаться! Ну, положим, полковник — каналья. Полковник тут же отдаст под суд, но есть же люди и повыше его. Вот взять главнокомандующего. Любый офицер знает, что, в чем бы он ни провинился, если пройти во дворец Маврокордата, в котором расположена главная штаб-квартира, и упасть ниц перед всемогущим князем, рассказав ему все как на духу, светлейший может и простить. У Потемкина все зависит от настроения, от таинственного положения созвездий, и если хорошо угадать время, то самое что ни на есть скверное дело может в один миг получить благоприятное разрешение».

Оставив храм, поручик опять пошел бродить по ночному городу. Выход как будто бы найден, но добраться до главнокомандующего — вот задача. Поручику всегда нелегко дойти до фельдмаршала, особенно когда он кругом виноват и сам понимает свою вину. Морозно скрипевший под ногами снег далеко и остро отзванивал в глубине темных кривых переулков. Вид унылого, задавленного ночной тенью и холодом города нагонял новую тоску.

Тут что-то не так, подумал Барятинский. В его отсутствие произошли какие-то чрезвычайные события. Мыслимое ли дело, чтобы в столь ранний час город уже спал? Две недели тому назад об эту пору в Яссах только-только начиналась жизнь. Сани и кареты, запряженные цугом, неслись во всех направлениях, предстоящие балы и вечеринки придавали всему азарт и красоту. Празднично сверкали окнами каменные дома на всех семи холмах, артиллеристы пускали фейерверки, толпы живописнейших зевак наводняли улицы города. Теперь всего только первый час ночи, а дороги пусты, сани и кареты окоченели во дворах, заваленные снегом, и редко где мелькнет отражение горящей печки в темном проеме окна.

Штаб-квартира главнокомандующего, этот вечно расpiraемый весельем двухэтажный дворец, на сей раз тоже как-то затих, замер, потонул вместе со своими неиссякаемыми затеями в холодном мраке ночи. Всего четыре окна светились — два на первом, два на втором этаже. На первом свет горел у дежурного адъютанта, а на втором,

подумал поручик, должно быть, спальня главнокомандующего. Что, опять хандра?!

За свою недолгую службу поручик уже свикся с тем, что временами на Потемкина находила хандра. Недели две или три фельдмаршал валялся на кожаном диване, никого не принимая, ничего не желая слушать, ничем решительно не интересуясь, и тогда такая тоска опускалась на армию, на молдавскую столицу, что хоть волком вой. Главное, решительно было невозможно предугадать заранее причины, по которым у светлейшего возникали приступы хандры. Какая-нибудь пустячная новость, каприз какой-то дуры, далекое, ничего не значащее воспоминание детства — все могло в одну минуту произвести глубочайший переворот в настроении этого гиганта.

«А не сходить ли к грекам, разнюхать, в чем дело?..»

Сразу за монастырем по склону холма тянулся длинный ряд погребков, в которых ночи напролет лилось вино, жарилось мясо и пели цыганки. Содержали эти погребки греки, тоже по преимуществу константинопольские. Эти носатые бестии, думал поручик, сдирают шкуру с посетителя, но к ним охотно идут, потому что там можно хорошо выпить, хорошо закусить, а далее, смотря по средствам, все что душа пожелает.

Как ни странно, атмосфера всеобщего уныния, царившего в городе, докатилась и до погребков. И хотя под прокопченными каменными сводами по-прежнему горели свечи, звучно лилось вино из глиняных кувшинов, всюду пахло фриптурикой — жареным мясом с отличной острой подливой, — народу было мало, а знакомых так просто никого. Только в третьем или даже в четвертом погребке Барятинский откопал сидевшего в уголке прыщавого интенданта своего полка.

Охмелевший малый, усевшись за отдельным столиком, следил как замороженный за движениями молодой цыганки, разносившей вино и угощение. Когда цыганка подходила совсем близко, к соседнему столику, за которым шумно гуляла компания драгун, переполненный эмоциями интендант становился совсем невменяемым.

— Что, гуляем, капитан? — спросил Барятинский, без особых церемоний присаживаясь к его столу.

— Это как сказать, — уклончиво ответил интендант, раздосадованный тем, что гость мешает свободному процессу созерцания.

— Послушай, — вспомнил вдруг Барятинский, — ты же не вернул мне карточный долг. С тебя сто рублей причитается!

Интендант на миг прищурился, припоминая, когда и по каким делам поручика командировали. Вспомнил. Усмехнулся каким-то своим мыслям, точно хотел сказать: разве я не говорил, что этим дело и кончится?! После чего ответил несколько высокомерно, поучительно:

— К грекам ходят не для того, чтобы долги возвращать.

— Да я его с тебя и не требую. Хотя знаешь что? Десять золотых — и черт с тобой.

— Нуждаешься? — спросил интендант

— Очень!

— Золотой возьмешь?

— Рубль вместо ста рублей?!

— Рубль вместо ста.

Поручик свирепым взглядом послал интенданта в самое необходимое место, но делать было нечего.

— Давай сюда.

Получив новенькую золотую монетку с профилем Екатерины, отчеканенную в честь вступления русских войск в пределы Молдавии, Барятинский заказал кувшин «Монастырской польни», фриптуру и калач, великодушно отказавшись как от сдачи, так и от возможности совсем близко поглазеть на роскошные формы молодой цыганки.

О, как давно он не пил вина, как давно не ел мяса! С каждым глотком, с каждым куском он медленно, виновато возвращался откуда-то из немыслимой дали. Он вкушал эти земные блага, точно это была первая трапеза в его жизни. Новизна возвращения была для него так приятна, так дорога, что он, дабы не заглушить в себе эту праздничность, и мясо не доел и вино не допил.

Барятинский собирался уже покинуть погребок, когда шумная компания драгун за соседним столом привлекла его внимание. Сквозь бурный поток солдафонских непристойностей начала пробиваться какая-то странная история, о которой поручик ничего не знал, но которая, судя по всему, владела умами молдавской столицы. Речь шла о невероятном любовном приключении какой-то красавицы. Поручик подумал было, что это проделки графини Софьи Витт, красивой гречанки, державшей Яссы в напряжении вот уже второй год, но вдруг над шумным драгунским застольем взлетел молодой майор с повязкой на лбу.

— Господа! — завопил он на весь погребок. — Все они шлюхи!!! Они отдаются кому попало, но, господа! Среди этой дикой вакханалии нашлась-таки одна, которая не согласилась отдаться без любви. Удивления достойно, господа, что женщина эта — красивейшая дочь России, а мужчина, которому она отказала, могущественнейший и богатейший из сильных мира сего. Так выпьем же, господа, за женщину, достоинство которой не уступает ее красоте!

— О ком речь? — спросил Барятинский у прыщавого интенданта.

— Отстань, — огрызнулся тот, не спуская глаз с молодой цыганки.

Драгуны за соседним столом закричали «ура», потом спели многие лета. Окрыленный успехом драгунский майор стал оглядывать погребок, чтобы выяснить, как воспринята окружающим миром его здравица. Заметив за соседним столом двух скучных офицеров, которые как будто вовсе не разделяли его восторга, он немедленно вышел из-за стола и направился к ним.

— Разве вы, господа, не цените достоинство красивых дам?

— Извините, — сказал Барятинский, — я не знаю, о ком речь.

— О княгине Екатерине Долгоруковой.

— О, за княгиню-то я выпью! — И, вскочив на ноги, заявил: — Многие ей лета, господа!

Прыщавый интендант, ополоумевший, должно, от долгого томления, сидел сонный за столом, не проявляя никакого интереса ни к майору, ни к последним событиям ясской придворной жизни.

— А вы, господин капитан?..

— Я не поддерживаю здравниц, которые прямо или косвенно могут быть истолкованы как свидетельство неуважения к моему вышестоящему...

— Ах ты мельничная крыса!..

Поручик Барятинский не стал ввязываться в драку — с него было достаточно и того, что на нем уже висело, и потому, выбравшись из погребка, тут же направился в главную штаб-квартиру. Сгореть, так по крайней мере на большом костре, а не в дерьмовой печке старого, выжившего из ума полковника.

У подъезда стояли чьи-то роскошные сани. Тройка лошадей дождалась, видимо, так давно, что кучер укрыл коней попонами, уж и попоны все в снегу, а сани все ждут у подъезда. Несколько конных курьеров дремлют на лошадях в ожидании срочных распоряжений, и светятся все те же четыре окошка — два на первом, два на втором этаже.

Что ж, сказал себе поручик, трус в карты не играет. Ввалившись в дежурку, не видя перед собой от волнения ни лица, ни чина дежурившего адъютанта, он вытянулся по уставу и выкрикнул каким-то чужим голосом:

— Господин адъютант! Прошу немедленно доложить светлейшему, что по чрезвычайному, личному и срочному делу, от которого зависит, можно сказать...

К величайшему своему удивлению, вместо обычного, сухого, казенного «в чем дело, поручик?» он вдруг услышал:

— Алеша, голубчик, да что с тобой?!

Голос, о бог ты мой, голос далекого друга, но, однако, откуда тут мог взяться Чижииков, и в самом деле он ли это? Сделав несколько шагов в глубь слабо освещенной комнаты, он увидел друга и одноклассника по конногвардейскому полку.

— Вольдемар,— сказал он тихо, и подбородок его обиженно, по-детски задрожал.— Я погиб, Вольдемар. Будучи командированным в Подолию для закупки лошадей и фуража, я проиграл все отпущенные мне суммы.

— О господи... Что ж, не попробовал отыграться?

— Много раз. Я проиграл все, что на мне было, все, что было у сопровождавших меня солдат. Уже возвращаясь, столкнулся на Днестре с турецким конвоем, пленил его, продал пленных, вернулся в Подолию и опять же проиграл. Мне дико не везет, Вольдемар, две недели подряд набираю карты — и все мимо!

— Мало ему казенных растрат, он еще и пленными торгует! Кому же ты их загнал, отчаянная твоя голова? Где нашел покупателей в этом собачьем холоде?

— Какой-то архиерей в монастыре тут, под Яссами, купил...

Дежурный адъютант стоял растерянный. Потемкин терпеть не мог ходатайств. Девиз фельдмаршала был — каждый должен стоять за себя, каждый должен сам себе пробивать дорогу. Он вставал на дыбы, чуть только кто-нибудь о ком-нибудь попросит...

— Алеша, друг, ты попал в самое неудачное время. Послушай, что у нас тут творится.

Со второго этажа, словно далекий гул, доносились тягостные стоны. Светлейший в самом деле стонал, лежа в своем кабинете на диване. Собственно, он не то что стонал, а постанывал, как бы убаюкивая свое горе, но при могучем телосложении Потемкина и при его густом басы эти постанывания превращались в мрачный рык, навещающий ужас на весь дворец.

Шумный обычно кабинет теперь был сиротлив и пуст. У изголовья в тяжелых золоченых подсвечниках горели две свечи, отбрасывая на противоположную стену изящный силуэт красавицы, сидевшей в ногах князя в качестве сиделки. То была знаменитая графиня Софья Витт, la Belle Phanariote, как ее называли всюду. О ней ходили легенды, и действительно ее жизнь была замешана на самых невероятных приключениях.

Гречанка по происхождению, она родилась и выросла на окраинах Константинополя, в том же злополучном Фанаре. В тринадцать лет она отличалась такой красотой, что ее невозможно было выпускать одну на улицу, а поскольку ее мамаша была занята своими делами, она сочла за благо продать дочь польскому посланнику в Константинополе, который коллекционировал юных красавиц для своего короля Станислава Понятовского.

В тот безумный, не признававший ничего святого XVIII век оказалось невозможно довести это прелестное создание из Константинополя до Варшавы. По дороге ее перекупил за тысячу рублей золотом сын каменец-подольского коменданта Иосиф Витт. Женившись на ней, он тут же вывез ее в Париж, где красивая фанариотка, отличавшаяся помимо красоты еще и умом, стала любимицей высшего света. По возвращении из Парижа она изъявила желание быть представленной Потемкину. В результате этого знакомства Иосиф Витт получил должность коменданта Харькова, но его красивая супруга

не пожелала последовать за мужем к месту его новой службы и была оставлена Потемкиным при своем дворе.

Пресыщенный женской красотой, Потемкин быстро остыл и к графине, но продолжал держать при себе, пользуясь ее услугами для проникновения в европейские дворы. Кстати, в окружение Потоцкого, за которого она впоследствии вышла замуж, графиня проникла тоже по поручению Потемкина; это ему она обязана тем, что вошла в историю как графиня Софья Потоцкая.

В свободное от тайных поручений время графиня поражала Яссы своими экстравагантными любовными похождениями, своими выдумками, своим веселым характером и здравым умом. Цenia эти ее качества, Потемкин при тяжелых приступах хандры посылал за ней.

— Не надо, ваша светлость,— говорила гречанка низким, грудным голосом, когда стоны светлейшего становились невыносимыми.— Не стоит она ваших страданий...

— Слов нет, не стоит, но, однако, как она посмела?! Она же мне обязана всем! Ей не было еще и двенадцати, когда я заприметил этого бесенка, резвившегося в аллеях Царского Села. Я тут же предсказал ей славу первой красавицы России. Я настоял на том, чтобы ее отец, гофмаршал двора, человек пустой и недалекий, отправил эту козочку на два года в Париж к своему дяде, нашему посланнику Барятинскому, дабы этот алмаз там отшлифовали и придали ему неповторимый блеск...

— Париж ее испортил?

— Да нет, конечно, нет! То, что мы получили из Парижа, не поддавалось описанию! Когда ей исполнилось шестнадцать, для того чтобы достойно вывезти такую красавицу в свет, я устроил в Аничковом дворце гигантский бал-маскарад. Он обошелся в полмиллиона. Я собрал весь цвет столицы, послов иностранных держав, я предоставил ей неповторимый шанс...

— Моя мама говорила — начинать с высокой цены значит испортить самому себе торговлю.

— Ну не скажите. Она свой шанс не упустила. Будучи тут же пожалована фрейлиной, она вышла замуж за генерала Долгорукова, но мне уже было тяжело с ней расстаться. Во все свои дела я брал с собой этого олуха, так как не мог себя лишить общества юной красавицы. Я отдал этому индюку лучшую из своих дивизий, вношу его во все наградные листы, саму княгиню не устаю одаривать — и что же она в ответ на все мои заботы?

— Цену себе набивает.

— Да о какой цене может идти речь, душа моя! Под видом празднования именин императрицы я каждый год справляю именины княгини Долгоруковой. В этом году я ложками отсыпал бриллианты дамам из бокала; ей как имениннице высыпал все, что осталось в бокале, там было тысяч на триста, не меньше. И что же? Вздрогнуло сердце, вспылала плоть? Да ничуть. Когда я пригласил ее осмотреть мои покои, она отказалась, сказав, что если когда и согрешит, то не иначе как в обыкновенной солдатской землянке...

— Завезли бы в землянку какую-нибудь...

— Ну нет, на землянку я ни за что не соглашусь! Как можно, чтобы главнокомандующий, фельдмаршал, граф священной Римской империи...

Вдруг неожиданно взметнулось пламя обеих свечей. Фельдмаршал, оторвав голову от подушки, выжидательно посмотрел в сторону чуть приоткрытых дверей. Дежурный адъютант Чижиков едва успел просунуть голову и пролепетать:

— Ваша светлость, по очень срочному, чрезвычайному...

— Во-он!

И поскольку адъютант замешкался, Потемкин, нагнувшись, нацупал на полу комнатную туфлю и запустил ею в дежурного. Туфля

была еще в воздухе, когда створки дверей сомкнулись, и она, шлепнувшись, осталась лежать у порога. Графиня Витт, легкая и грациозная, поднялась и пошла за ней. Растроганный Потемкин поцеловал ее обнаженную ручку.

— О моя красавица, стоила ли эта туфля вашего внимания...

— Стоила, потому что на ваших комнатных туфлях бриллиантовые застёжки...

— Черт с ними, с бриллиантами. У меня их много.

— Сколько бы их ни было, вам не следовало бы ими швыряться, не выяснив истинных appetitов своей избранницы.

— Вы думаете, все еще возможно? Думаете — она вернется?

— Отчего же ей не вернуться? Дубоссары по сравнению с Яссами — дыра. К тому же это почти рядом, сутки езды.

— Да, но сутки — это долго, а у меня все нутро горит, понимаешь, горит...

— Не волнуйте себя понапрасну. Настанет день, и она вернется. Как говорила моя мама, женщина, не заработавшая ни гроша в постели, так никогда и не узнает своей истинной цены. Другое дело, что наша сестра иной раз заторгуется так, что сама уже не помнит, сколько ей предлагали, сколько сама запрашивала...

— Она меня нарочно мучает, ей просто доставляет удовольствие терзать меня.

— Зачем вам волноваться, ваша светлость, когда время работает на вас?

— Каким образом?

— Ваш товар идет в гору, ее товар катится вниз.

— Не понимаю.

— Видите ли, человеческая красота, как и все в этом мире, с годами блекнет, падает в цене, а золото все время идет в гору. Поверьте моему слову: настанет день, причем очень скоро, когда сама княгиня Екатерина Долгорукова...

Около полуночи, успокоив светлейшего, графиня покинула дворец. Спускаясь со второго этажа по широкой мраморной лестнице, она наметанным глазом светской тигрицы заметила у входа стройную фигуру поручика, его продолговатое, нервное, тонкой лепки лицо. Подойдя ближе, она заметила, что поручик небрит, и тут же потеряла к нему интерес. Небритые мужчины вызывали в ней отвращение. Но сам поручик, похоже, дожидался именно ее. Открыв тяжелые входные двери, перед тем как выпустить ее, он тихо прошептал:

— Графиня, вы когда-то пообещали мне свою любовь...

Чернобровая гречанка гордо пронесла мимо него свою соболью шубу. Поручик, однако, не отставал. На улице, уже садясь в сани и еще раз мельком взглянув на точеный профиль поручика, графиня так же тихо спросила:

— Когда я тебе обещала?

— О, это было, разумеется, шуткой, но было сказано на самом деле два года тому назад в Петербурге, на Разъезжей, в доме моей двоюродной сестры...

— Княгини Долгоруковой, что ли?

Поручик едва заметно кивнул, но этого было достаточно для острых глаз пронырливой фанариотки. Отодвинувшись, она освободила место рядом с собой, приглашая юношу сесть. Они долго катались по спящему городу. Проникшись сочувствием к судьбе молодого поручика, графиня повезла его к себе, заставила побриться, накормила, усадила перед горящим камином, после чего сказала:

— Есть только один выход. Напиши княгине, чтобы она немедленно, сию же минуту вернулась в Яссы.

— Вы хотите,— спросил поручик, содрогаясь от низости, на которую его, по-видимому, толкали,— вы хотите, чтобы я свою двоюродную сестру затащил своими руками в постель к этому сатрапу?! Да я лучше застрелюсь.

— Не будь глупцом,— сказала графиня.— Чего ее туда затащить, когда она еще в детстве сиживала у него на коленях! Просто ей хочется сначала помучить своего будущего любовника. Есть у нашей сестры такой каприз — помучить человека, довести его до белого каления... Так стоит ли из-за того, что у нее такой каприз, пускать себе пулю в лоб?

— Нет,— сказал поручик.— Уступит она или нет — это ее дело. Я в это вмешиваться не буду.

— Подожди,— сказала графиня после некоторого раздумья,— если ты уж так заупрямился, я сама позабочусь о ее возвращении. Но, по крайней мере, несколько слов можешь ей написать?

— О чем?

— Ну, о том, что ты жив, что любишь ее, гордишься ею...

— О, это сколько угодно...

Получив от поручика ничего не значащую записку, она ушла в соседнюю комнату и там под его строчками дописала по-французски: «Княгиня! Над Алешей нависла смертельная угроза. Только мы с вами можем его спасти. Приезжайте поскорее». Запечатав письмо, написала на пакете — срочно, курьером, в Дубоссары, генералу Долгорукову, для его супруги княгини Екатерины Федоровны.

Отправив пакет, она вернулась в каминную, подошла к разомлевшему у огня поручику и сказала воркующим голосом:

— Что до давних моих обещаний, то я никогда от своих слов не отказываюсь...

Всю ночь до утра, а затем еще день курьеры скакали в Дубоссары. В полночь письмо уже было в руках княгини, а еще через сутки в Яссы въезжали голубые крытые сани княгини Долгоруковой. Целый божий день ушел на переговоры. Сани графини Витт метались как угорелые от штаб-квартиры главнокомандующего до дома боярина Стамати, в котором обычно останавливалась княгиня Долгорукова. И снова дворец, и снова дом Стамати.

К концу дня соглашение было достигнуто, и вздохнул наконец полной грудью город на семи холмах. И снова достаем вино из подвалов и готовим голубцы. Улицы полны народа, в церквах и храмах идет служба, празднично светятся окна домов на всех семи холмах, и звон бубенцов сыплется из всех переулков.

Через несколько дней причисленный к штабу главнокомандующего поручик Барятинский, выходя из дворца Маврокордата, увидел в сером ночном небе огромный купол соборного храма Голии и почему-то смутился. Была некая тайна между ним и этим храмом. Там возле клироса в уголке стояло деревянное распятие, которое знал о нем то, чего никто в мире не знал. Не навестить, не отблагодарить, не помолиться было не по-христиански, и, не откладывая этого дела, благо храм бывал открыт постоянно, поручик направился к узкой калитке меж двумя каменными столбами...

На этот раз в храме было полно народу. Прихожане пели псалмы, и, протискиваясь сквозь толпу, поющую на непонятном для него языке, Барятинский в конце концов добрался до древнего распятия. Увековеченный в минуты высших страданий спаситель так и продолжал висеть, пригвожденный к кресту. Молитвенник лежал там же. Осенив себя крестным знаменем, поручик принялся подбирать святыне слова с закапанных воском страниц, складывать их в фразы, в образы, в мысли, но в то самое время, когда он это проделывал, юная

душа его ликовала. Лицо пылало от счастья, и кто-то, поднявшись на цыпочки, из-за тех закапанных воском страниц его голосом повторял без конца:

— Слава богу! Наконец — очко!!

Глава седьмая

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество вам перечить, кто предпочитает ваше доброе имя вашим милостям.

Екатерина II.

В длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории.

Пушкин.

Дворец князя Маврокордата весь сиял от предчувствия предстоящего празднества. Юные, только что завезенные из Парижа танцовщицы спешат по высоким мраморным лестницам на последнюю репетицию, но у них слетают туфельки. Присев, они их аккуратно надевают, но туфельки слетают снова, и присутствующие при этом штабные офицеры исходят истомой:

— Позвольте, мадемуазель, предоставьте такую редкую возможность...

— Ах, сделайте одолжение, месье...

На втором этаже светлейший полулежит на том же кожаном диване в своем знаменитом вишневом халате, обшитом золотом. Человек пять прислуги одновременно ухаживают за ним — массируют, укладывают, подпиливают, пудрят, примеривают. Попов, помощник светлейшего, явившись для ежедневного доклада, перелистывает у окна последние донесения штаба, а в дверях стоит, понуря голову, худенький монах из Палермо.

— Нет, каков мерзавец! — воскликнул вдруг Потемкин, орлом взглянув на своего помощника. — Он, видишь ли, не расположен, он, видишь ли, хотел бы откланяться. — И вдруг свирепо, уже обращаясь прямо к монаху: — Да я тебя, подлеца, с самого начала спросил, готов ли ты вести со мной ученый диспут о догме триединства — отце, сыне и духе святом? О том, как его понимают католики и как его следует понимать в духе учения православной церкви?

— Какая диспут, какая триединство, когда я вас ожидаю два месяца! Я не могу отсутствовать от свои пастор неизвестное количество время!

Ответ Потемкину понравился. В этом был резон. Но, однако, какой нахал! Как он смеет так разговаривать с главнокомандующим?!

— А чего бы ты хотел? Чтобы я бросил воевать с турками и засел бы тут с тобой? Ты хоть и монах, должен иметь соображение, должен по крайней мере понимать, что я человек занятой. На мне огромная сухопутная армия, на мне Черноморский флот, весь Южно-российский край, оборона Кавказа и на мне же еще и эта печень, будь она неладна.

— Когда вы говорите о свой печень, у меня есть смех.

— То есть как у тебя есть смех?! Что же я, по-твоему, жаловаться на свое здоровье не могу?

— У вас била хандра, и я не могу оттого, что у вас хандра, ожидает все свое жизнья.

Князь поднял огромную взлохмаченную голову, не знавшую, кроме пятерни, другой расчески, и долго удивленно смотрел на монаха.

— А это уж не твое собачье дело, чем и как я болел. Твое дело — жить при штабе и ждать моего вызова. Или, может, тебя плохо содержали?

— Моя пища есть только бог и слово его.

— Бог богом, но, как мне сказывали, эти два месяца ты жрал за двоих и даже, говорят, винцом баловался.

— Один раз я биль простужайт и попросил немного вина.

— Ну, не важно для чего, важно, что попросил. И, стало быть, хлеб мой — ел, вино — пил, а когда я наконец пожелал вступить с тобой в ученый диспут, тыходишь ко мне в кабинет и говоришь в лицо такие гадости, за которые тебя, подлеца, повесить и то мало!

Оскорбленный монах вдруг выпрямился, как свеча. Теперь не только нос с горбинкой и идеально округлый череп — теперь весь он с головы до ног был гордым римлянином.

— Обязанность христианина, — сказал он, — есть говорить правду и никого, кроме бога, не бояться. Ви можете мне за те слова прощайт, ви можете мне казнить. В любом случае позволяйт откланяться.

— Но, — грозно зарычал Потемкин, — как воспитанный человек, ты, конечно, понимаешь, что после сказанных тобою слов ты не можешь так запросто откланяться и уйти?

— Как же мне в таком случае ретироваться?

— Ретироваться ты можешь только будучи вышвырнутым вон. Поди сядь в тот дальний угол.

— Зачем?

— Как зачем? Вот чудак. Что мне за удовольствие вышвыривать тебя вон, когда ты и так стоишь у дверей? Не успел за шиворот сцапать, а тебя уж и след простыл. Нет, ты сядь вон туда, в дальний угол, чтобы я тебя через всю эту залу поволок...

Став пунцовым от нанесенного ему оскорбления, монах тем не менее гордо прошествовал в указанное место и сел.

«А он, между прочим, ничего, — подумал Потемкин. — По крайней мере не трус».

— Василий Степанович, — сказал он вслух своему помощнику, — поди и выбрось вон. Неохота с утра руки марать.

Положив приготовленные для доклада бумаги на стол, Попов энергично схватил монаха за ворот, поволок его через всю залу, но в дверях, грузный неудобной ношей, столкнулся со штабс-капитаном Чижиковым.

— Боярин Мовилэ, ваша светлость, просит срочного приема.

— Как?! — возмутился Потемкин. — Этот наглец, этот предатель посмел явиться, да еще и требует срочного приема?!

Попов мигом вытолкнул монаха за дверь.

— Григорий Александрович, — сказал он как можно примирительней, — Мовилэ был и остается одним из самых верных наших союзников. К тому же он фигура чрезвычайно влиятельная среди молдавских бояр.

— Да я и сам люблю его, — сказал Потемкин, — но что толку, раз он меня предал! Надо же быть таким ослом: именно когда матушка государыня слила обе армии в одну, назначив меня единственным главнокомандующим, именно тогда этот Мовилэ не нашел ничего лучшего, как предложить смещенному Румянцеву дом под Яссами, посадив мне, таким образом, этого старого мерина под бок.

— И все-таки, ваша светлость, его надо бы принять. Грибовский располагает секретными данными, что в Петербурге депутация молдавских бояр ищет возможности приема у государыни.

— На какой предмет?

— Просить государыню о скорейшем заключении мира с турками.

— Что-что-что? Да это же — удар в спину! Передайте им, что

мира не будет, пока на развалинах Оттоманской империи не будет провозглашена возрожденная Византия!

— Весьма возможно,— продолжал Попов, пропустив мимо ушей ораторскую патетику своего главнокомандующего,— весьма возможно, что депутация была благословлена в этот путь фельдмаршалом Румянцевым.

— Жареных голубей он ему готовит,— вдруг вспомнил Потемкин.— Нет! Гнать Мовилэ в шею — и дело с концом.

— Ваша светлость,— сказал Попов,— боюсь, что у меня не поднимется рука выталкивать боярина, как обыкновенного монаха.

— Это почему же?

— Да уж по одной той причине, что из этого корня вышел пресвятейший Петр Могила, основатель Киевской духовной академии...

— Да разве тот Могила и этот Мовилэ...

— ...один и тот же господарский род.

— Вон!!! — завопил вдруг фельдмаршал и, скинув с себя всю ораву прихорашивающих его слуг, поправил халат, надел на босу ногу туфли с бриллиантовыми застежками и сказал дежурному адъютанту: — Приси.

Основательный, грузный, добропорядочный Мовилэ, едва переступив порог, поклонился в пояс и начал длинное цветистое приветствие, от которого фельдмаршал уклонился. Поднявшись с дивана, разведя свои огромные лапы, пошел навстречу своему гостю, обнял его и облобызал.

— Рад видеть тебя, мэрия та,— так, кажется, у вас величают? Извини, что мое изучение молдавского языка остановилось на этих двух словах, что поделаешь — война! Вот сокрушим турок, твоя барыня, даст бог, в очередной раз разрешится от бремени, ты позовешь меня в кумовья, я посажу всех твоих чад на колени — и побей бог, если не заговорю с ними на самом что ни на есть нашем языке!

— До того дня еще нужно дожить,— сказал Мовилэ, и голос его дрогнул.

— Ты пришел ко мне с плохими новостями?

— Никаких новостей, кроме той, что погибла Салкуца.

— Салкуца — это княжна ваша какая-нибудь?

— Салкуца — это деревня.

— И что с той деревней стряслось?

— Ее больше нету. Она сметена с лица земли.

Потемкин склонил набок огромную нечесаную голову и долго, как произведение искусства, изучал опечаленного боярина. Вот уж действительно некстати — впереди бал, впереди первая красавица России, мечта его жизни, а тут опять эти распроклятые дела...

— По существующему соглашению,— сказал он,— ее императорское величество гарантирует возмещение всех понесенных убытков.

Мовилэ грустно улыбнулся:

— Речь не об этом, ваша светлость. Возвращают копейку к рублю, возвращают слово к песне, возвращают ребенка к матери при условии, что есть что к чему возвращать. А если порушен корень, если сама основа порушена...

— Друг мой, деревни продаются и покупаются наравне со всем прочим товаром — разве это не так?

— Продаются и покупаются — это так, но отправленные на тот свет деревни обратно не возвращают.

— Запросите штаб,— сказал главнокомандующий, несколько понизив голос, Попову.

— Нет надобности, Григорий Александрович. Я только что на ваших глазах знакомился с донесением об этом деле.

— Почему не доложили по разряду чрезвычайное?

— Ничего чрезвычайного в этом не усмотрел. Турки пленили один наш дозор. Генерал Каменский их наказал, разбив целый конвой. Поскольку обе операции произошли неподалеку от деревни Салкуца, турки заподозрили ее в кознях против них. Напав ночью, они сожгли ее, уничтожив при этом мужское население, которое, впрочем, было не так уж велико.

— О, если бы все было так кратко, если бы все было так просто,— простонал Мовилэ.

— Тогда расскажи подлиннее и посложнее,— предложил Потемкин.

И Мовилэ принялся рассказывать. Он рассказал, как его люди нашли в поле полумороженного попа, как, отогрев, отпоив его, они узнали, что, собственно, с тех самых колядок все и началось... Потемкин слушал, откинув назад огромное туловище, слушал не мигая, не дыша, и только его единственный зрячий глаз пытался в каком-то отчаянном прыжке настигнуть уже происшедшие события и повлиять на них. Увы, сто человек так и гибли, прижатые холодом и янычарами к стенам своего храма, и одинокий поп долгую неделю блуждал по заснеженным полям...

— Что ж,— сказал фельдмаршал.— Я дал клятву сокрушить эту империю, и я не уйду из жизни, не сокрушив ее.

— Это и будет вашей резолюцией? — спросил Мовилэ.

— Тебе этого мало?

— По сегодняшнему дню мало.

Это вывело Потемкина из себя — нет, каков наглец!

— Да что может быть выше этой победы, дурья твоя голова!

— Выше любой победы стоит мир, ваша светлость.

— Нет, друг мой, о мире забудьте! Слишком много крови пролито, чтобы довольствоваться ничем не значащим миром. Война до конца и великая, на всю эпоху, победа!

— Боюсь, что до той великой победы моя страна не дотянет и, может статься, разделит участь Салкуцы...

— Забудь на минуту о Салкуце,— сказал Потемкин,— и давай посмотрим, что творится вокруг. Мороз, метель, и при такой холодине мои солдаты зимуют в палатках. Пробовали в землянках — от тесноты и испарины одни болезни. Вернули армию в палатки. Ну, занесенная снегом палатка — это еще ничего, а как ты в ней перезимуешь на пустой желудок? Шляхтичи вон предали, не хотят больше продавать провианту. Мы не в состоянии даже раз в сутки дать теплую похлебку своим воинам. Выдаем по сухарю и по пригоршне крупы на день в надежде, что как-нибудь тот солдатик изловчится и сам себе кашу сварит. А как ты ее сварить, когда снег метет, отовсюду дует! Вот он и стоит, мой бедный рекрут, по пояс в снегу, с котелком, крупой и двумя хворостинками. Стоит и прикидывает — как бы так подгадать, чтобы и ветер крупу не унес, и вьюга бы искру не погасила, и хворостинки бы дружно занялись. Твои люди худобно зимуют в теплых глинобитных домиках, а ты поди посмотри, как зимует моя армия!

— Я это видел,— сказал Мовилэ.

— Видел — и что же?

— Содрогался.

— Так,— сказал Потемкин, довольный направлением, которое принял их разговор.— А коли ты видел страдания моей армии и содрогался, что же ты идешь ко мне со своей болью, прежде нежели принять, как то подобает истинному христианину, сначала мою боль в свое сердце?

— Вашу боль я давно ношу с собой.

— Ну тогда и я твою боль принимаю в свое сердце.

Обняв и троекратно расцеловав гостя, он пожаловался Попову:

— Вот сам не знаю за что, а люблю его. Предал он меня, а я его все равно люблю!

Проводив боярина, Попов подошел с приготовленными для доклада бумагами, но Потемкин вдруг отошел к затянутым толстым слоем льда окнам, долго вслушивался в однообразный, унылый вой метели за окном.

— Вася, а что, если бросить все это к черту и уйти в монастырь? Я ведь уже был около года монахом и как хорошо вспоминаю то время...

— Что ж,— сказал Попов,— в проигрыше не будете. Ваша стихия — это сила, а монахи — тоже сила, причем немалая... Они живут за своими каменными стенами как у бога за пазухой. Харч свой, вино преотличнейшее свое, монашки, прелестные в своем роде, свои, золото, и притом немалое, свое...

Потемкин нахмурился. Что-то он поручил разузнать относительно монастырского золота, что-то очень важное...

— Выяснено, кому поручик Барятинский продал пленных?

— Как же! Хушскому епископу Стамати.

— Разве Стамати так богат, что может позволить себе бросать деньги на ветер?

— Глупый старик, ваша светлость. Уже купив их, он наконец сообразил, что они ему ни к черту, и, поразмыслив, решил подарить их турецкому султану, отправив в Константинополь с особым от себя письмом.

— Глуп-то он глуп, спору нет, но если при этом принять во внимание, что депутация молдавских бояр ищет приема у государыни, чтобы склонить ее к миру, может оказаться, что епископ не то что глуп, а умен, и, может быть, даже слишком. Чей он человек?

— Я думаю, об этом лучше всего спросить у главного священника армии митрополита Амвросия.

— Послать за ним,— сказал светлейший.— И немедленно.

Едва Попов вышел, как с первого этажа донесся глухой удар, сопровождаемый звоном разбитого стекла. Немолодой уже солдат, согнувшись в три погибели, стоял с огромным бревном на плечах. Он внес его в дежурку и, ошалев от тяжести, ничего не видя вокруг, проткнул им насквозь застекленный шкаф, в который обычно вешали одежду дежурные.

Штабс-капитан Чижиков был в отчаянии:

— Ну куда ты прешь, дуб неотесанный!

— А сказали, чтоб несть сюда.

— Что несть сюда приказали?

— Ну, то, что вы и говорите,— неотесанный дуб...

В минуту полного взаимного непонимания в дежурку вошел грузный инженер-майор и, видя, что солдат с бревном застрял в какой-то дискуссии, спросил сурово:

— В чем дело?

— Он шкаф разбил,— сказал дежурный.

— Черт с ним, со шкафом. Нам приказано — к обеду оборудовать в кабинете светлейшего солдатскую землянку в натуральную величину. Стены из дуба. Настил — дуб. На полу — высушенный в печах дерн, на дерне сухой дубовый лист, на листе персидские ковры. Сказано — к обеду.

— Да вы бы хоть бревна эти обтесали, что ли!

— Ни в коем случае! Приказано — даже двери, выходящие из кабинета в большую залу, заменить дверьми из грубо сколоченных досок, какие обычно навешиваются в солдатских землянках...

— И все это вы будете таскать через мою дежурку?!

— Непременно. И просьба не мешать, а всячески содействовать.

Вдруг, увидев солдата, который все еще сипел под бревном, крикнул:

— Ну пошел же, дубина!

Молельня Потемкина представляла собой вытянутое в длину помещение в два окна, чем-то напоминавшее монашескую келью, если бы, конечно, не обстановка. Собственно, вещей было мало. В глубине на столике — небольшой складень из трех позолоченных икон. Отдельно от них стояла икона благословляющего Христа — это был подарок государыни в день назначения Потемкина наместником Новороссийского края, и он возил эту икону с собой всюду, уверенный в ее чудотворности.

В тяжелых бронзовых подсвечниках горело несколько свечей. На высоком пюпитре лежало раскрытое Евангелие. Огромный голубой ковер с белыми летящими ангелами во весь пол, атласная подушка под колени во время молитв.

— Благословите, — сказал Потемкин, входя к ожидавшим его пастьрям.

— Пусть бог единый...

— Так. Теперь скажите мне, святой отец, штурмовать мне Бендерскую крепость или нет? Аккерман брать или нет? Спустить флотилию из Черного моря в устье Дуная? Начинать штурм Измаила или нет?

Митрополит Амвросий обожал своего горячего главнокомандующего. За годы войны он привык ко всем его капризам, но такое начало его совершенно огорошило.

— Ваша светлость, будучи лицами духовного звания...

— А я вас как лиц духовного звания и спрашиваю. И не просто как лиц духовного звания, а как главу, экзарха молдавской церкви спрашиваю — готово ли молдавское духовенство поддержать наш решительный прорыв к Дунаю?

Недоумевающий митрополит переглянулся со своим викарием епископом Банулеско.

— Наше дело, — сказал он наконец, — молиться богу о победе вашего славного оружия. В молитвах мы всегда рядом с вами. Что до остального, то, я полагаю, если командование примет решение, войско произведет движение, какое ему будет указано.

— Это все так, спору нет, но мне как главнокомандующему, прежде нежели принять решение, крайне важно знать, что думает молдавское духовенство по этому поводу. С падением вышеозначенных крепостей я вывожу армию за Дунай. Впереди — Константинополь, мечта моей жизни. Но для того, чтобы овладеть Константинополем, я должен прежде укрепить тыл. А мой тыл уже не Россия, нет, я слишком далеко из нее вышел. Теперь мой тыл — Молдавия и Валахия. С целью укрепления тыла я намерен сразу после переправы армии через Дунай провозгласить на этих землях возрожденную Даккию, поднять над всей Европой корону этого нового государства. И не как военных, а именно как лиц духовного звания я спрашиваю — готово ли духовенство обоих государств к провозглашению возрожденной Византии?

— Война идет слишком долго, — после некоторого раздумья уклончиво сказал митрополит. — Эти маленькие страны почти полностью истощены, и не следует ожидать от них слишком большого восторга...

— Ну а церковь?

— Молдавская церковь, как и весь нынешний христианский мир, переживает период глубокого упадка. Война всегда отбрасывала человечество назад, к гнусному варварству, тут уж ничего не поделаешь. Конечно, среди местного духовенства есть разные настроения...

— Это вы называете настроениями?! — вдруг взорвался Потем-

кин.— Под вашим носом хушский епископ перекупает у моих кирасир пленных турок и с особым от себя письмом препровождает их турецкому султану в качестве презента, а вы это называете настроениями?!

— Что ж,— сказал спокойно митрополит,— если епископ Стамати так понимает свой христианский долг...

В соседней с молельней зале шла генеральная спевка хора. Григорий Александрович, владыка всех художественных фантазий при своем дворе, ведя спор с митрополитом, все время прислушивается к спевке. Некоторые фрагменты, исполненные хором, его как будто удовлетворяли, другие, ничем не хуже первых, буквально выводили из себя.

— Да зачем обрывать, зачем басы обрывать! — кричал он кому-то через стену.— Басы должны тихо, как летний закат, гаснуть вдаль!

Но поскольку послать туда было некого, он возвращался к превранному разговору.

— Христианство христианством, но меня тревожит мысль — не скрывается ли за этим поступком хитрый политический расчет? Русским, должно быть, подумал Стамати, и на этот раз не удастся сломить сопротивление турок. После заключения мира турецкий полумесяц опять повиснет над Карпатами. А если это так, то не лучше ли заранее открыть ворота с юга...

— Это, конечно, тоже не исключено,— согласился митрополит.

— Теперь, если идти дальше в направлении этого рассуждения, нетрудно догадаться, что сам по себе епископ никогда не решился бы на такой дерзкий поступок, не будь у него сильной поддержки.

Митрополит вопросительно посмотрел на своего vikария, трансильванца по происхождению, который, разумеется, был лучше знаком с подспудными течениями в среде молдавского духовенства. Потемкин напряженно ждал ответа.

— Как известно,— сказал vikарий,— епископ Стамати — ученик, причем любимый ученик, старца Нямецкого монастыря Паисия Величковского. Поговаривают, что он не раз ездил с посланиями от Паисия к константинопольскому патриарху.

— Разве Паисий настолько близок к патриарху, что состоит с ним в переписке? — изумился светлейший.

— Они в большой дружбе,— сказал митрополит.— Это одна из легенд всего христианского мира. К прославившемуся своей святостью монаху пришел сам патриарх, поклонился и омыл ему ноги. Потом они часто вдвоем служили литургии в Пантократиевском монастыре на Афоне. С тех пор дня не проходит, чтобы они не молились друг о друге и не писали бы друг другу.

— Ба-ба-ба! — воскликнул вдруг Потемкин.— А почему мне до сих пор не представили этого Паисия?

— Невозможно, ваша светлость. По причине старости отец Паисий уже не покидает монастырь.

— Что же, разве туда к ним война еще не дошла? Разве они стоят в стороне от той великой борьбы, которую мы ведем?

— Нет, зачем же,— сказал епископ,— в стороне они не стоят. Под каменными стенами монастыря круглый год варится в огромных котлах мамалыга и фасолевая похлебка для беженцев.

— Мамалыга и фасолевая похлебка — это прекрасно, но не слишком ли это мало? Мы вправе были ждать от Нямецкого монастыря гораздо большей помощи, тем более что во главе монастыря стоит полтавчанин. И как бы он ни одряхлел на старости лет, думаю, в решительную минуту голос славянства, голос родины возьмет в нем верх!

Светлейший произнес это точно выстрелил и, застыв в полуобороте, сверлил своим зрячим оком митрополита, что обычно означало,

что он произнес главное, составляющее суть беседы, и теперь ждет ответа.

— Видите ли, Григорий Александрович,— сказал мягко, несколько даже виновато митрополит.— Паисий Величковский пошел так далеко навстречу богу, что для него земные дела...

— Разве монах — это человек без рода, без племени?

— Нет, конечно. Но, как сказано, для истинного христианина нет ни элина, ни иудея...

— Да, но когда идет война, и палят пушки, и льется кровь!!!

— Истинный христианин,— сказал уклончиво митрополит,— всегда должен находиться под сенью божьей благодати — независимо, стоит ли мир, идут ли сражения...

Глубоко верующий фельдмаршал долго гулял по молельне, стараясь привести христианские догмы в соответствие с интересами своего отечества. Нет, благодать — это свято, это трогать невозможно. «Ах, как он мне сегодня нужен, этот старец, с его огромным авторитетом, с его умом, с его близостью к патриарху...»

— Послушайте,— осенило Потемкина вдруг,— а может, он на нас обижен? Может, мы ему чего-то недодали? Держава мы щедрая, а у щедрых одна забота — кому-то можешь не одождать...

— Недодать ему не мудрено, поскольку он вообще ничего не берет.

— Если не берет мирское, суньте ему церковное. Позолоченное Евангелие, пастырский крест с крупными бриллиантами. Титул какой-нибудь... Привяжите его к моей армии так, чтобы это было навеки. У него есть Белый клобук?

— Какой клобук! — сказал викарий.— Его пять лет уговаривали принять сан священника. Поговаривают даже, что на Афоне он оказался потому, что бежал от священнического сана. Когда его наконец уломали, он плакал, как дитя... Мне, говорит, трудно перед богом за одну свою душу держать ответ, куда мне еще и чужие грехи на себя взваливать...

— Но потом он получал милости и звания от патриарха!

— Какие милости, какие звания, когда он до сих пор не имеет права рукоположения!

— Он что, даже не архимандрит?

— Да откуда у него архимандритство!

— Попов! Немедля отправить курьера в святой Синод...

— Ваша светлость! — встревожился митрополит.— Для начала надо бы получить его согласие. Представляете, в каком положении окажемся, если мы ему присвоим, а он возьмет да выплюнет изо рта...

Потемкин прошелся еще раз по молельне.

— А давайте,— сказал он,— прижмем старика в угол! У них когда престольный праздник?

— На вознесение,— сказал викарий.

— Прекрасно. На вознесение будем и мы участвовать в празднествах. Наша армия будет представлена вами, святой отец. Вы отслужите вместе с Паисием литургию, после чего с амвона при всем соболе объявите о присвоении старцу звания архимандрита. Старику деваться будет некуда.

— Как вы считаете, сын мой? — спросил митрополит епископа.

— Это может получиться,— сказал викарий,— если делать все не торопясь...

— Торопить не будем,— сказал Потемкин,— но вас, отец викарий, как человека местного, знающего язык и обычаи, я попрошу позаботиться о том, чтобы весь цвет Молдавии, все, что еще от нее осталось, присутствовали на вознесении в Нямце. Вы что на меня так уставились? — спросил он вдруг.

— Какая-то печаль вас гложет, ваша светлость.

— Да вы что! Оглянитесь вокруг — все кипит во дворце, у меня сегодня гигантский бал!

— И все-таки — я вас уже третий раз на этой неделе вижу, и все время какая-то печаль вас гложет...

— Отец викарий, послушайте моего доброго совета, — сказал, несколько понизив голос, Потемкин. — Никогда не беритесь читать на лбу вашего начальства больше того, чем позволяет вам ваша должность.

Дверь моельни приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить длинный артистический нос Сарти, известного итальянского композитора, украшавшего собой и своим искусством многие европейские дворы и приглашенного к концу жизни в Россию.

— Ваша светлость, не пожелаете ли присутствовать на последней, так сказать, генеральной?..

— Да, непременно, друг мой, как можно такое пропустить! Святые отцы, пойдите с нами, право, не пожелаете...

— Что вы, Григорий Александрович, как можно такое предложить лицам духовного звания...

— Ну, тогда благословите — и с богом!

Не дождавшись благословения, он тут же выскочил из моельни и, подхваченный цветником готовых к выступлению танцовщиц, исчез в сумраке длинного коридора.

На первом этаже перед вконец взмокшим от хлопот этого дня штабс-капитаном Чижиковым уселись два полковника.

— Мне чтобы инструкция была, — сказал полковник-пехотинец.

— Какая инструкция?

— Я готов, — продолжал полковник сердито развивать свою мысль, — готов выстроить в каре любое количество солдат, но мне должно быть строго указано место и образец построения. Не надо думать, что многократное «ура» может быть произведено где угодно и как угодно.

— С вашего позволения, — подал голос более миролюбивый полковник артиллерии, — и я желал бы получить разъяснения. Уж если пехота нуждается в инструкциях, то мне по крайней мере нужна схема расположения орудий и система сигнализации. Двадцать шесть артиллерийских залпов — это уж как-никак малая канонада...

— Да зачем многократное «ура»? Кому нужна малая канонада? Полковники переглянулись — он что, с луны свалился?

— Готов разъяснить, — сказал полковник артиллерии. — Количество залпов, говорят, определено возрастом той особы, в честь которой дается бал. Без точной сигнализации мы не сможем увязать канонаду с наступлением того решительного момента...

— Да какой решительный момент может быть во время бала?

— Он совсем еще дитя, — пожаловался полковник артиллерии полковнику пехоты.

— Видите ли, господин штабс-капитан, — сказал более напористый, но и более щедрый на подробности пехотинец. — По существующему расписанию во время этого бала двое лиц, не будем их называть поименно, должны удалиться в некое подобие землянки. В дверях землянки будет дежурить Боур, самый посвященный из всех адъютантов фельдмаршала. При наступлении решающего момента он должен подать сигнал на улицу, и тогда последует многократное «ура», сопровождаемое двадцатью шестью артиллерийскими залпами...

У Чижикова лицо побелело, вытянулось. Такое неведение было равносильно смещению с должности.

— Погодите минутку. Я сбегая наверх и выясню.

Едва он вышел, как в дежурку ввалился усатый капрал. Поглазев на полковников, он в конце концов обратился к тому, который сидел к нему ближе:

— Господин полковник, разрешите доложить! Братья Кузьмины доставлены мной с Кавказа и ожидают дальнейших распоряжений.

— Братья Кузьмины?!— переспросил полковник пехоты.— В каком они звании?

— Рядовые оба, но прославили себя тем, что изрядно пляшут цыганочку.

— Позвольте, как они могут плясать цыганочку, будучи оба мужского пола?

— А это ничего. Один из них повязывается платочком, одевает юбочку и легко сходит за цыганочку. У них все свое — и платочек и юбочка.

— Но позвольте,— не унимался полковник,— если взглядеться, разве не видно, что это никакая не цыганочка, а переодетый солдат?

— Если взглядеться, оно, конечно, видно, да зачем взглядываться?

— Интересное вы мне дело предлагаете — посмотреть цыганочку, не вглядываясь, однако, в сам предмет!!

Более миролюбивый и потому более склонный к юмору полковник артиллерии спросил:

— Что же, за этими двумя плясунами вы ездили на Кавказ?

— На самый что ни на есть. Шесть недель пути — три туда, три обратно.

— И кому они тут, в Яссах, понадобились?

— В точности не могу доложить, но, говорят, у светлейшего есть одна красавица, обожающая цыганские пляски. Говорят — что ни покажи ей, все не то. И вот прослышав от штабных врачей, что на Кавказе есть такие братья Кузьмины, князь отдал приказ немедленно выехать за ними...

Тем временем с верхнего этажа слетел по мраморным лестницам штабс-капитан Чижиков. Все уладилось, он продолжал оставаться при своей должности.

— Господа, вот схема размещения солдат, а вот выделенные места для артиллерии. О сигнализации узнаете дополнительно вечером. Слушаю тебя, капрал.

— Господин штабс-капитан! Братья Кузьмины доставлены мной...

— Наконец-то!— обрадовался Чижиков.— Наконец-то! Светлейший уже который раз о них справлялся... Гони их сюда.

Ровно в десять в переполненную гостями залу под звуки фанфар вошел светлейший. Его встречали как коронованную особу. Гости, выстроившись вдоль стен в два ряда, замерли в глубоком поклоне, а он шел по образовавшемуся проходу, кого-то высматривая своим единственным глазом, но нет, он ошибся, если думал, что та, которую он высматривал, будет дожидаться его в толпе гостей.

Когда он дошел до середины залы, появилась наконец княгиня Долгорукова. Она шла с противоположной стороны. Это была неслыханная дерзость — войти уже после хозяина бала, но княгиня была так хороша, так грациозна, светлейшему ее так недоставало, что даже если бы она с потолка свалилась, он бы все равно принял ее благоговейно, на вытянутые руки.

Она медленно шла, одетая на манер греческих богинь — в светло-вишневом хитоне, ниспадавшем свободно с плеч до самого пола. Точный нос, гордый профиль римлянки, тугий узел черных волос удивительно сочетались с этой вишневой мантией. К тому же сама мантия была в некотором смысле одеянием условным, потому что при движении сквозь боковые разрезы выглядывал дымчатый костюм одалиски.

— Бог ты мой! — воскликнул светлейший, неисправимый раб женской красоты.— Поклониться — и помереть!

Грянул оркестр, и долгожданный праздник вырвался на волю. Более четырехсот музыкантов, находившихся на содержании князя, принялись показывать свое искусство. Венгерские скрипки, молдав-

ские свирели, еврейские и цыганские оркестры. Бал разворачивался во всю удаль потемкинских загулов. Вино лилось рекой, труппа молодых парижских танцовщиц исполнила на редкость смелый дивертисмент, доведя винный хмель до апогея.

Весь вечер Долгорукова танцевала только со светлейшим. Частые выступления на сцене придворного театра научили ее долго и тонко управлять всеобщим вниманием. Глаза светятся азартом, лихостью, выдумкой. Она только-только разошлась, когда вдруг сама же первая заметила, что грузному, не совсем еще поправившемуся после болезни фельдмаршалу становится все тяжелее и тяжелее выдерживать ее молодой задор.

Славившаяся не только красотой, но и умом, княгиня, улучив минуту в разгар всеобщего веселья, спросила Потемкина громко, на всю залу:

— Князь, вы дразните нас нашим же любопытством! Скажите наконец, что там у вас, за дверьми из грубо сколоченных досок?

Она была мастерицей ошарашивать гостей. Но и Потемкин был не последним мастером этого дела. Приняв предложенную игру, он ответил тоже громко, на всю залу:

— Душа моя, за теми дверьми находится то, что вы пожелали увидеть в моем доме,— солдатская землянка в натуральную величину. Одна из тех, в коих проходит жизнь нашего воинства.

— А можно мне одним глазком взглянуть?

— Она — ваша!

Княгиня подошла к дверям, посмотрела в щелку.

— Бр-р, да там страшно и темно. Горит всего одна свечка.

— Что поделаешь,— сказал князь.— В землянках канделябров не бывает, они по уставу там не положены.

— А вдруг мне станет скучно или страшно? — не сдавалась княгиня.— Я могу туда кого-нибудь с собой пригласить?

— Я полагаю,— сказал светлейший, тяжело дыша от нахлынувших чувств,— я полагаю, тот, на кого падет ваш выбор, будет счастливейшим человеком...

— В таком случае возьмите это счастье себе.

То ли выпитое шампанское подействовало, то ли кровь молодая выиграла, но княгиня решительно дернула створку дверей и скрылась за ними. Бал притих, гости замерли. События разворачивались с невероятной быстротой. Светлейший подошел к столу, взял бокал с шампанским. Около пятисот гостей молча подняли бокалы, как бы поздравляя главнокомандующего с этой невероятной победой.

Адъютант фельдмаршала Боур, дежуривший в дверях землянки, подал на улицу первый сигнал, и морозная ночь взорвалась мелкой дробью полковых барабанчиков. Глубоко вздохнув, расправив богатырские плечи, орлиным оком окинув залу с гостями, всю державу, весь мир, гордый и счастливый баловень судьбы отпил всего несколько глотков и направился в землянку.

Когда он уже был в дверях, вдруг откуда-то выросла перед ним фигура неповоротливого Чижикова. Он стоял до того глупо, неловко, что могло создаться впечатление, будто он хочет преградить светлейшему путь в землянку.

— Прочь,— тихо, одними губами приказал князь.

— Ваша светлость,— пролепетал Чижиков,— очень вас прошу, всего одну минуточку, ваша светлость...

Он говорил и все смотрел куда-то в глубь залы. Потемкин повернул туда голову и увидел семенившего к нему Попова.

— Ваша светлость,— сказал взволнованный Попов,— срочный пакет из Петербурга.

— Нашел, дурак, время для доклада. Вон!

— Ваша светлость, на пакете помечено рукой государыни: «Вскрыть немедленно при получении».

«Либо шведы напали,— подумал князь,— либо Пруссия объявила войну. В любом случае приятного мало».

— Ну, князь, что же вы? — спросили из землянки.

На улице мороз. Барабаны бьют, многотысячная толпа замерла в переулках, прилегающих к дворцу, гости стоят с поднятыми бокалами, греческая богиня волнуется за дверьми из грубо сколоченных досок, а светлейший князь, склонив огромную голову набок, прищурив свой единственный зрячий глаз, размышляет.

— Отнесите пакет в молельню. Я ознакомлюсь с его содержанием тотчас, как только освобожусь.

— Но,— сказал Попов тихо,— это тоже невозможно сделать. Пакет все еще находится в руках курьера государыни, и он настаивает, чтобы непременно в ваши руки...

— Кто таков?

— Поручик Зубов.

— И ты не можешь отобрать пакет у поручика Зубова?!

— Затруднительно, ваша светлость, по той причине, что с некоторых пор поручик Зубов состоит среди самых доверенных ее величества...

— Да с каких это пор Зубовы стали известной фамилией?! — загрохотал на весь зал Потемкин.

— Ваша светлость,— залепетал совсем уже тихо Попов,— за время вашей болезни произошли важные события, о которых ввиду вашего самочувствия не было вам своевременно сообщено.

Потемкин стоял огромный, свирепый, готовый выбросить в окно своего помощника. Но — сдержал себя. Хоть и главнокомандующий, хоть и могущественнейший вельможа, друг и, по утверждению многих, супруг государыни, Потемкин прекрасно понимал, что нет в мире ничего быстротечнее власти. И чем больше ты ее накопил, тем большая вероятность ее потерять, ибо сам процесс накопления власти сверх всякой меры есть начало ее потери.

— Если за время моей болезни,— сказал Потемкин, чеканя каждое слово,— произошли какие-то чрезвычайные события, о которых мне не было своевременно сообщено, доложите немедленно.

— М-м-м... — начал было Попов, но Потемкин прервал его:

— Короче.

— Князь Дмитрий Мамонов, друг и воспитанник государыни, как известно, получил отставку.

— Это для меня не новость. Пустой был малый. Теперь я сам подыскиваю подходящего друга для нашей матушки.

— Поздно, ваша светлость. Этой старой лисе, Салтыкову, удалось продвинуть своего ставленника.

— О ком речь?

— О командире караульной роты ротмистре Зубове.

— Как?! Да возможно ли, чтобы ротмистр...

— Генерал, ваша светлость, генерал-адъютант ее величества.

— Что, уже и генерал?

— Генеральство — это что! Ему, говорят, оказывают такое доверие, он, говорят, вошел в такой фавор, что вознамерился переменить направление всех государственных дел. Не случайно же он дошел в своей наглости до того, что направил своего родного брата с донесением к вам...

— Поручик с пакетом — его родной брат? Гм. Пакет придется принять.

Штабс-капитан Чижииков крикнул:

— Поручика Зубова!

Другой адъютант, дежуривший над мраморными лестницами, повторил команду, и вот через всю залу идет розовощекий красивый поручик, сияющий от мороза, от молодости, от предчувствия предстоящей блистательной карьеры.

— Ваша светлость! Поручик Валериан Зубов с личным от ее величества государыни пакетом.

Получив пакет, Потемкин тут же, не распечатывая его, передал Попову. Взаясь было за створку дверей, там его ждала красивейшая женщина России, но поручик пожирал его глазами, выклянчивая хоть какое-нибудь слово в награду за долгий путь из Петербурга в Яссы. Гости следили не дыша за этим нахалом.

— Скажите, — нарочито высокомерно спросил фельдмаршал, — вы родственник того самого ротмистра Зубова, который, сколько мне помнится, командовал караульной ротой дворца?

— Так точно, ваша светлость. Родной брат генерал-адъютанта Платона Зубова.

— Кому же он, получив генеральский чин, передал свою караульную роту?

— С вашего позволения, командовать караульной ротой дворца поручено мне.

Князь долго разглядывал розовощекого нахала.

— Что ж, — спросил он наконец, — много вас, Зубовых?

— Четыре брата, не считая отца, который еще находится на службе и тоже, вообразите себе, возымел желание быть представленным ее величеству.

— Ну еще бы, еще бы... При таких молодцах! Ладно, поручик, — сказал он наконец, — отдохните с дороги, а завтра чуть свет вас будет ждать ответ для государыни.

— С вашего позволения, светлейший князь, я хотел бы остаться при вашей армии. Кстати, государыня тоже просит об этом.

— Вот как! Вы имеете доступ к содержанию писем ее величества?

— Государыня меня балуют, — признался, краснея, поручик. — Они меня ужасно как балуют. В день моей отправки стояли на редкость сильные морозы, и государыня в знак особого ко мне расположения... Оставьте меня, князь, при своем штабе. Право, не пожалеете.

— Хотите большой чин получить в деле?

— До большого чина я вряд ли дослужусь, потому что, как известно, и дел-то особых тут, на юге, не предвидится.

— Откуда вам, поручик, может быть известно, предвидятся ли тут, на юге, большие дела или нет?

И вдруг этот юный птенец, расправив тощие крылышки, пошел на всесильного орла.

— В своем письме, — сказал он несколько назидательно, — государыня настаивает на том, чтобы как можно скорее заключить мир с турками и вернуть армию в собственные ее пределы.

Поскольку фельдмаршал стоял огушенный этой наглостью, поручик, передохнув, пошел еще дальше:

— Государственные дела, светлейший князь, начинают принимать другое направление.

— Уже?

— Уже.

С досады рука светлейшего толкнула двери землянки, но сам он все еще раздумывал. Нет. Предстояло много осмыслить, прежде чем войти туда, и потому, аккуратно прикрыв двери, бледный, усталый, он прислонился к ним, потому что его вдруг качнуло. Болезнь, видать, все еще не отпускала. Надо бы выпить глоток и пожевать чего-нибудь, чтобы успокоить нервы. Полтысячи народу у него в гостях, и никому в голову не придет подать бокал, потому что всем бесконечно сладко смотреть, как всесильный Потемкин вдруг качнется. Ах сукины сыны...

Медленно, неохотно вернулся к столу. Гости встретили его возвращение с недоумением и на всякий случай высоко подняли бокалы. Потемкин подумал, что, вероятно, с той же готовностью, с которой они сегодня подняли бокалы, завтра будут гулять на балу у Зубовых. Ближится это времечко, увы, против этого ничего предпринять невозмож-

но. Он давно предчувствовал неминуемость перемен, даже, можно сказать, способствовал их приближению, но чтобы так вдруг...

Эпохи создаются личностями, в этом князь был уверен, потому что сам всю жизнь в поте лица созидал то, что принято было потом именовать екатерининской эпохой. Беда, однако, в том, что не только крупные личности создают эпохи. Сильные личности, как правило, опираются на то, что есть сильного в народной массе; серые впитывают в себя всю бесцветность эпохи, ну а ничтожество взлетает на гребень волны, опираясь на то ничтожное, что заключено в человеческой природе.

Теперь вот опять смена караула... Больше всего светлейший боялся, что на русском небосклоне появится некое заведомое ничтожество, которое засучив рукава, рьяно примется за дело, и полетят к дьяволу все его замыслы, все его труды. Кто бы мог подумать, что это наступит так скоро и что ими окажутся эти прохвосты Зубовы...

Хотя не в них же суть. Теперь, самое главное, выгадать время, хотя бы четверть часа выиграть, чтобы сделать свой ход. Но как тяжело думается на глазах огромной хмельной толпы! Чтобы как-то освободиться от назойливого внимания своих гостей, светлейший вдруг надумал исповедаться им.

— Кто из вас смог бы мне объяснить,— загрохотал он на всю залу,— что есть жизнь человеческая?! Вот возьмем, к примеру, меня. Хотел славы — имею все знаки отличия, какие только существуют. Хотел власти — меня всюду встречают с почестями. Хотел богатства — и нету счета моему золоту или моим имениям. Хотел, чтобы меня всегда окружали искусство и красивые женщины,— и вот они, рядом, они все — мои; но скажите, почему во все эти дни побед, благополучия и всяческого удовлетворения меня все время грызет червь сомнения, повторяя без конца, что все это — суета сует и всяческая суета? Я тружусь день и ночь, я строю новый мир, в моих руках этот мир обрел жизнь, дыхание, а душа без конца твердит, что все это есть суета сует и ничего более!!!

Сказавши это, он вдруг схватил со стола гигантскую вазу с фруктами, поднял ее над головой и что было силы грохнул об пол. Осколки хрустала брызгами разлетелись во все концы залы. Дежурный у окна, сообразив, что остальная часть программы отменяется, подал на улицу сигнал отбоя, но находившийся на улице офицер, ожидавший совсем другого сигнала, автоматически скомандовал начало триумфа.

В темной морозной ночи целый полк завопил многократное «ура», после чего за монастырской стеной стали палить пушки. Растерянные гости не придумали ничего лучшего как считать вслух залпы. Их было в самом деле двадцать шесть. И когда умолкла канонада, скрипнули двери и в залу вошла, щурясь от обилия света, виновница торжества, воистину красивейшая женщина державы.

— Что случилось, ваша светлость?— спросила она встревожено.— Чем объяснить столь раннее «ура» и ничем не обоснованные залпы?

Потемкин подошел, грузно опустился на колено, поцеловал край вишневой мантии и ту таинственную дымчатую ткань.

— Душа моя, это прямо рок какой-то. Меня всю жизнь обвиняли в медлительности, в нерешительности при осаде и штурме крепостей. Похоже, и на этот раз я дам пищу моим врагам оклеветать меня, но поверьте, душа моя... Отложить штурм — это еще не значит отказаться от лавров победителя.

— Ну, это еще куда ни шло,— ответила княгиня.— А то я поначалу, услышав эти вопли, подумала: неужели светлейший по дороге ко мне нашел себе другую?

— Любовь моя, отпусти ненадолго, дай сокрушить Оттоманскую империю — и я не то что землянку во дворце, я, наоборот, в землянке для тебя дворец построю...

Последовала минута глубокого оцепенения. Как-то так получилось, что этот блистательный бал оборачивался началом зимней кампании, а такая перспектива решительно никому не улыбалась. Один только Боур, любимый адъютант Потемкина, лучше всех знавший, когда князь шутит и когда говорит всерьез, подошел к нему и вытянулся в струнку:

— Приказывайте, ваша светлость.

— Поднять по боевой тревоге войска гарнизона. Выдать солдатам трехсуточную норму питания и по флаге водки. Оставить в Яссах один батальон для охраны магазинов и лазаретов. Легкую и тяжелую артиллерию, весь запас фуража, питания и снарядов — все немедленно погрузить на фуры и, выстроив войска в маршевые колонны...

— Ваша светлость,— попытался было вмешаться в события Попов,— это будет равносильно нарушению заключенного на период зимы перемирия. Можем ли мы взять на себя ответственность, не согласовав...

Потемкину только этой реплики и недоставало, чтобы выплеснуть клокотавшую в груди лаву:

— Мы не можем предаваться удовольствиям, когда наши братья во Христе гибнут мученической смертью, прижатые к стенам своего храма! Всевышний нам этого не простит. В обращении к молдавскому народу по случаю начала войны государыня писала: «Се тот день, се тот час!» Да будет вам известно, господа, что слова эти обращены не только к молдаванам. Эти слова обращены и к нам, русским, и ко всему православному миру, и потому, принимая сегодня решение начать штурм последних турецких крепостей на Дунае, я повторяю за нашей государыней и говорю вам: «Господа! Се тот день! Се тот час!»

После мучительно долгой паузы княгиня спросила:

— И что же? Ратные дела в который раз задуют наши свечи?

— Ни в коем случае! — сказал князь.— Праздник продолжается.

— Но каким образом? Ведь назначен сбор! Мужчины уходят, а бал, состоящий из одних дам, очень быстро превращается в скучный базар, на котором все продают и никто ничего не покупает.

— Какая может быть скука, душа моя! Да у меня такой сюрприз приготовлен, что пальчики оближете! Дежурный, где там братья Кузьмины? Сarti, кинь этим молодцам под ноги пару огненных цыганских переплясов...

В зимней ночи за окном трубачи играли тревогу. Ржали кони, неслись курьеры во всех направлениях, строились в маршевые колонны полки. Артиллеристы грузили на сани снаряды, огромные армейские фуры с трудом, со скрипом снимались с места. Хмурая, придавленная холодом армия, кляня судьбину, уходила куда-то в ночь, а во дворце Маврокордата двое солдат, привезенных с Кавказа, на удивление, на заглядение всем легко и лихо плясали цыганочку.

Глава восьмая

БЛАГА ЗЕМНЫЕ

Всякий народ имеет свой смысл.
Екатерина II.

Бог помочь вам, друзья мои.
Пушкин.

Всю зиму продержались холода, а к весне Екатеринина шестерка тяжело и долго болела. Особенно меньшому досталось. На страстной неделе казалось — все, отдает богу душу, тельце совсем остыло. Обливаясь слезами, Екатерина прижалась щекой к его головке и уговаривала — пусть он хоть чего-нибудь да загадает, пусть пожелает себе чего-нибудь, а уж она постарается ему это достать. Посиневшие губы мальчика пролепетали — сладку ягодку хочю...

Екатерина бросилась на колени перед образом пречистой девы — она с ней разговаривала как с живой соседкой, с госпожой, с повелительницей. Она так любила меньшого, что готова была для него на все, но в том-то и беда, что, по ее представлению, просить у бога о земном не пристало: бог есть отец небесный, а не земной. И все-таки: «Господи, ниспошли свою благодать на наши земли, сады, виноградники...»

Времена были тяжелые, бога просили обо всем со всех сторон, и только к концу войны судьба улыбнулась истстрадавшемуся миру сельских беженцев. После знойного засушливого лета наступила мягкая, печально-задумчивая осень, и по дубовым лесам прошел слух о небывалом урожае на виноградниках. Бедные люди! При своих вечных скитаниях они и думать забыли, что есть такое чудо на свете — виноградная лоза, отягощенная сладкими гроздьями, но вот поди ж ты...

Заброшенная вместе с отчим домом, запущенная вместе с родными полями, забытая вместе с мечтой о лучшей доле, эта славная лоза в назначенный срок нашла в себе силу и выпрямилась, расцвела, завязала плоды и теперь стоит счастливая, согнутая в три погибели под бременем своего сладкого, хмельного груза. Вместе с ней ожил, заулыбался мир тружеников земли. Задумчиво, любовно светятся глаза в теплых лучах заката, и как там ни толкуй, а жить кому не хочется!

Страна ожила. Вот уж когда воистину оправдалась народная посьвица, гласившая, что и погибая виноградная лоза плодоносит. Приняв этот небесный дар как подтверждение мудрости своих предков, сельские беженцы, на этот раз задолго до опадания дубового листа, начали возвращаться к своим очагам. Спешили, потому что виноградная ягода чуть что — и уже осыпается. А еще спешили потому, что, как там ни толкуй, жизнь у каждого своя и такая единственная, и такая недолгая, и так мало радостей на долю каждого перепадает, что если упустить этот самим богом дарованный случай, то с чем же явиться на тот свет, когда надо будет предстать перед всевышним?

Стучите — и вам откроется, просите — и вам воздастся... Околичане первыми спустились к Днестру мыть бочки, первыми начали снимать урожай, и над их селом первым взметнулся сладкий дух виноградного сока. Неповторимая, божественная пора уборки винограда! Господины, взяв себе в помощники малышню, собирают гроздья. Господари, используя свой вес, закатав штаны до колен, давят ягоду в большой дубовой кадке. Сыновья постарше несут и сливают эту размолотую массу по бочкам, и тихими лунными ночами кисло-сладкий запах только что нарождающегося вина наполняет надеждами приднестровские селения.

Выше голову! — сказали виноградники, и ожили днестровские долины. Даже праведная Екатерина, унаследовавшая от родителей домик в низине и прозванная односельчанами полевичкой, поскольку там, у реки, виноградник не особенно идет, и то собрала со своих пяти-шести кустов около двух-трех ведер гроздьев. Накормив досыта ребятшек, чтобы они потом всю зиму помнили, как в тот день наелись сладких ягод, она раздавила руками оставшиеся гроздья и оставила на несколько дней бродить. Едва только сладкий сок начал пощипывать кончик языка, она собрала свою славную шестерку и тихим голосом, точно речь шла бог знает о какой тайне, поведала им, что это и есть знаменитый тулбурел, то есть молодое вино. Пить его много нельзя, это грешно, да и голова потом болеть будет, но если так, глоток другой для бодрости духа, тогда можно...

Угостив ребятшек, она подумала, что хорошо бы немного вина сохранить для нужд храма. Весной ей не раз приходилось бегать по селу. Она, бывало, выпечет просфору, а хорошего вина для причастия нет, потому что хоть и много виноградников в селе, пьют его в три глотки, а то, что остается на дне бочки, стыдно нести в храм.

Хорошей пшеницы у нее немного было. Еще в начале войны отец Гэинэ дал ей на хранение миски две, и она берегла ее как зеницу ока.

Теперь важно запастись хорошим вином с осени. Не особенно надеясь на свои винодельческие способности, Екатерина, взяв пустую бутылку, пошла по селу, пока еще вина было у всех много, с тем чтобы выпросить для нужд местного храма.

— Да какой там храм,— отвечали охмелевшие селяне.— Та наша церквушка, она же совсем развалилась. Лучше знаешь что? Давай танцевать. Говорят, ты кого хочешь перетанцуешь. Но не меня! А то знаешь что? Полюби меня. Это будет не задаром, я человек порядочный, вот те крест...

У виноградарей есть одна великая радость — рождение, как они говорят, молодого вина. Дожив до этого славного дня, Околина медленно погружалась в трясину сладкого хмеля, и то ли от вина, то ли от радости околичане как бы слегка ополоумели. У хмельного, как это давно замечено, язык становится неповоротливым, человек начинает изъясняться все туманней, приблизительней. В этой слабости Околина зашла так далеко, что даже, как это показалось Екатерине, стала говорить на каком-то странном, непонятном наречии. Во всяком случае, при всех своих стараниях они никак не могли уразуметь, о чем эта бедная женщина их просит, так же как и сама Екатерина не могла понять, что они такое несут в ответ. Потеряв попусту половину дня, она вернулась домой удрученной и с пустой бутылкой.

Околина была не просто селом, в котором Екатерина жила. Околина была смыслом ее жизни. Если бы ей предложили на выбор — переехать в другое село или броситься в Днестр, она, ни секунды не медля, кинулась бы в воду. Ради Околины и ее храма она оставалась с шестью ребятишками с весны до поздней осени на берегу реки. В долгие, мучительные ночи одиночества, когда село пряталось в кодрах и околичане дичали там в бездомности, она чувствовала себя воином, охранявшим обжитые Околиной кручи, могилы предков, храм, наливающиеся соком гроздья. Бедная Екатерина! Никогда, даже в самые черные дни, она не могла себе представить, что настанет день, когда она придет с детьми по селу как по бесконечной пустыне.

— Это все моя вина,— пожаловалась своей шестерке Екатерина.— Мне не следовало просить отца небесного о благах земных. За эти годы они в лесах так одичали, что о боге совсем забыли.

Шестерка была полностью на ее стороне, и Екатерина, быстро прибрав в доме, выкупав в Днестре ребятишек, взяла небольшую икону пречистой девы, единственное, что осталось от их сельского храма, и пошла по селу. Приливы отчаяния у нее, как правило, чередовались с приливами мужества.

Впереди торжественно, с пониманием важности своей миссии шла сама Екатерина, неся икону, обращенную ликом ко всем встречным. Следом за ней, чуть поотстав, шла смущенная своим, как ей казалось, непомерным ростом Марица, старшая из ее дочерей, девочка светлая, разумная, молчаливая, готовая в любую секунду кинуться Екатерине на помощь. За ней шли две смугленькие, застенчивые сплетницы. Они шли, взявшись за руки, и все, что видели их глаза, тут же превращалось в сплетни, которые они немедленно передавали друг дружке. За сплетницами шли два худеньких мальчика. Шли они дружно и похожи были друг на друга как две капли воды, но видно было, что они находятся в конфликте, суть которого им не до конца понятна.

Замыкал это шествие независимый мальчик, виновник неожиданного обилия в ОкоLINE, четырехлетний карапуз, которого наряжали главным образом в то, что оставалось от старших. В соответствии с доставшимися нарядами у него менялись имена — то он числился у них как Ницз, то его звали уже Аницей. По правде говоря, неустойчивость пола, в котором он пребывал, его совершенно не тяготила, и теперь он шел в свое удовольствие, хозяйственно разглядывая рассыпанные по склонам домики. Увлечшись каким-нибудь щенком, он

часто отставал, к великой досаде девочек-сплетниц, которые должны были всякий раз, когда он исчезал из виду, прерывать на минутку-другую свои сладкие перешептывания и возвращаться за ним.

— Я вхожу в ваш дом с ликом пречистой деви Марии, единственно сохранившимся образом нашего храма, которому молились ваши деда и прадеды...

Околина вся была в хлопотах. Туго налитые сладостью и хмелем гроздья ложатся в корзины, тяжелые корзины качаются на умеющих носить тяжести плечах. Забрызганные розовым соком ноги давят ягоду в кадках, а из гигантской бочки, охваченной тайной брожения, мутные струйки уже переливаются через край. У хорошего хозяина, однако, эти струйки тоже даром не пропадают. Как бы они ни растекались, в конце концов попадут в желобок, выдолбленный в камне, на котором стоит бочка. По желобку они собираются в большую глиняную миску, и по старому закону виноградарей, кто бы ни проходил мимо, может зайти, поднять миску и причаститься трудам и радостям дома сего.

Для хозяев же эта миска с вытекшим соком — нужнейшая вещь: по ней можно составить себе более или менее точное представление о таинственных процессах, происходящих в бочке, а кроме того, вкусно ведь как! Другой раз прямо нету сил пройти мимо, без того чтобы не поднять эту липкую миску, потому что в ней, кажется, все, чего в жизни хотел, все, чего ты в жизни добивался...

— Я вхожу в ваш дом с образом пречистой деви Марии, последней иконой, оставшейся у нашей общины, чтобы смиренно просить вас прийти завтра чуть свет помочь нашему храму подняться из руин, дабы и он в свою очередь помог нам встать на ноги...

Опустив тяжелую миску, вытерев фиолетовые губы рукавом, околичане, подобрешшие как никогда, приходили в восторг от ее посещения. Нет, вы посмотрите, какая умница, вы только послушайте, как красиво она говорит. А и вправду от той старой церкви одна только эта иконка осталась? Хорошо хоть ее сохранили. Тоже могла пропасть. Она же ее и сохранила — умница, ну прямо совсем молодчина. А то, что все это время, пока идет война, она торчит в низине со своей ребятней, думаете, даром пропало? Думаете, бог не увидел ее, не услышал ее молитвы? Думаете, свалилась бы на нас эта манна небесная, если бы она с этими вот крохами не пела псалмы в той полуразваленной церкви?! Екатерина, милая ты наша, положи икону на травку, ничего с ней не сделается. Возьми вот эту кружку, зачерпни из той вон крайней бочки — ну до чего вкусно, прямо сил никаких... А отчего не хочешь? Ну, если ты фасоны при этом выказываешь, тогда вовек тебе остаться без храма. Скажи пожалуйста, мы к ней всей душой, а она — фасонит! Короче говоря, выпьешь полкружки — придем завтра. Не выпьешь — сама же и меси ту проклятую глину, мало мы ее перемесили на своем веку, вон все ноги перекалечены...

Два раза ей все же пришлось уступить. Первую кружку она выпила в доме старого Пасере, и, видит бог, деваться было некуда. Старика Пасере, настоящая фамилия которого была Крунту, шел восьмой десяток. У него давно выпали зубы, нижняя челюсть подходила к кончику острого носа, но шальные глаза по-прежнему смотрели молодого и воровато, откуда и прозвище пошло — Пасере, то есть птица. Человек он был коварный, разумнее всего было с ним не связываться, но у него были три здоровенных сына, живших с ним под одной кровлей. И хотя сыновья, как и их папаша, были шальные, все они были хватки, крепки, мастеровиты. Без их помощи и думать нечего было о восстановлении храма.

— Я вхожу в ваш дом с образом пречистой деви Марии, последней иконой, оставшейся от нашего храма, и смиренно прошу вас...

— Чего-чего-чего?

У старика Пасере был лучший в Околине виноградник, и он тоже давил за домом ягоду в кадке. Почти совсем оглохнув от старости, он

сохранил звериный нюх, когда дело касалось его добра, и стоило хотя бы тени коснуться его забора, он уже был тут как тут.

— Чего она такое говорит?

Сыновья, сидя на завалинке, обставленные со всех сторон кружками с молодым вином, чистили свою амуницию. Совместно с русской армией в сражениях участвовало несколько полков молдавских добровольцев, так называемых арнаутов. Сыновья старика Пасере тоже были арнаутами. Кроме добытых в бою трофеев, они получали от русской царицы по рублю в месяц, харч и фураж для лошади. В зимнее время, когда воюющие стороны заключали меж собой перемирие, сыновья Крунту возвращались к отцу и всю зиму зубоскалили, попивая винцо, вплоть до наступления следующей летней кампании.

— Чего она хочет-то?

Будучи глухим, старик каким-то образом слышал решительно все, что говорили сыновья, и пользовался обычно их услугами, когда нужно было с кем-нибудь объясниться.

— Народ созывает,— сказал старший из сыновей.— Хочет церковь починить.

— Чего ее чинить, когда она развалилась.

— Без церкви нельзя,— передала ему через сыновей Екатерина.

— Ясное дело, нельзя. Но это дело не наше. Это дело попа.

— У нас нету священника,— ответила тем же способом Екатерина.

— Чего она такое говорит?

— Говорит, попа нету.

— Ну а если попа нету, зачем нам церковь?

— Чтобы замаливать грехи.

— Что она сказала?

— Говорит, грехи замаливать...

— Да какие могут быть грехи во время войны?— хихикнул старик.— Во время войны один капитан ответчик перед богом, а все остальные — пей да гуляй!

При этих словах старик Пасере вспомнил, что был тут где-то еще один бочонок, который он совершенно упустил из виду, а этого ни в коем случае делать не следует... Первые же глотки привели его в состояние совершенного восторга. Зачерпнув полную кружку, он направился к Екатерине.

— Ну что вы, как можно!

— А почему же нельзя?

— Потому что при мне дети, при мне образ пречистой девы.

— А что такого? Вино, если хочешь знать, это самое что ни на есть чистое дело. Разве не сказал господь: пейте, это моя кровь...

— Он сначала сказал — ешьте, это мое тело, и только потом сказал о вине.

— Хлеба ты спрости в соседних селах, у полевиков, мы этим не занимаемся.

— Ну так вы придете завтра помочь?

— Выпьешь — придем.

— Вчетвером?

— Если до дна выпьешь — вчетвером.

И она выпила. С трудом, даваясь и захлебываясь. Дети, собравшись вокруг, в ужасе следили во все глаза, потому что кружка была огромная и в кислотоватом мутном соке плавали кожа от ягод, темные зернышки и бог знает что еще. От этой бродившей массы человек не пьянеет, но у него слабеют ноги, они вдруг становятся совсем как ватные. Ходить дальше по селу после своего грехопадения Екатерина уже не могла и, выбравшись из Околины, долго шла по днестровской круче в сторону леса.

Вторую кружку ей пришлось выпить в доме некоего Тайки, родича старика Пасере. Его фамилия тоже была Крунту, но в селе никто фамилий не признавал, обходясь прозвищами. Этот Тайка жил в двух вер-

стах от села, под самым лесом. Судьба вынудила Екатерину метаться меж этими двумя Крунтулами, ибо если у первого, по кличке Пасере, было трое крепких сыновей да и сам старик был еще в силе, то второй Крунту, по прозвищу Тайка, был богат. Каким образом и откуда к нему пришла удача, так никто толком и не знал, и злые языки утверждали, что он потому и перебрался почти в самый лес, чтобы это навсегда оставалось тайной.

Собственно, большой тайны тут не было, ибо если у Пасере нос был острый, то у Тайки он был крупный, мясистый, всегда в работе. Этот нос, по утверждению многих, из-под земли мог разнохнуть все что угодно, и Екатерине, надумавшей хоть как-нибудь поправить храм, нужно было не столько богатство Тайки, сколько его большой мясистый нос...

Шла она к нему долго. Во-первых, ноги были как ватные, во-вторых, дети все время отставали, в-третьих, Тайка был для нее большой загадкой. Он совершенно не почитал храма, никогда туда не показывался, даже детей своих жена крестила без него, ссылаясь на то, что муж в отъезде. Но при всем своем безбожии он по каким-то таинственным причинам глубоко уважал Екатерину, никогда не проходил мимо, не обменявшись с ней хотя бы двумя-тремя словами. Екатерина была уверена, что о чем бы она его ни попросила, он это сделает, но, будучи верующей, считала большим грехом брать что-либо у язычников, как она обычно называла людей, не признававших бога. Она и теперь ни за что бы не пошла, если б не та кружка вина...

Единственное, в чем Екатерина была уверена, это что ее там не заставят пить мутную брагу, ибо у Тайки не было ни одного виноградного листочка во дворе. Весь свой двор Тайка засадил сливами. И перед домом, и за домом, и в глубине, за хозяйственными постройками, — всюду, где можно было втиснуть сливовое деревце, оно было втиснуто, причем не тот распространенный всюду в Молдавии чернослив, а другие, мясистые, завезенные им из Валахии...

Осенью, собрав горы слив и дав им чуть подгнить, он начинал гнать из них особую водку, называемую цуйкой. Долгие недели курился дымок над хозяйственными постройками, потом полные бочки цуйки зарывались в землю, чтобы отбить запах, затем в середине зимы или ближе к весне Тайка доставал те бочки, снова принимался перегонять цуйку и снова закапывал в землю.

Кроме слив и цуйки, у него была еще одна страсть в жизни — интриги. Его огромная голова, похожая на спелую тыкву, распираемую собственными соками, кажется, была нарочно создана для того, чтобы прикидывать, кого на кого можно натравить. Он с малых лет знал, кто с кем не ладит, но помирится, а кто с кем хоть и дружит, но станут со временем смертельными врагами. К пятнадцати годам Околины ему было уже мало, он стал шнырять по соседним селам, а потом ему и днестровские долины стали тесны, и он, как утверждали знатоки, принялся заглядывать через забор в соседние страны.

Это было похоже на правду, он действительно по временам исчезал. То были странные, загадочные исчезновения. И хотя он с пустыми руками уходил и с пустыми руками возвращался, недостаток его каким-то образом рос после каждого такого путешествия. Вероятно, именно для того, чтобы скрыть эти свои дальние исчезновения, он и построился далеко от деревни и, расположив кругом дом с его постройками, соединил их меж собой высоким каменным забором, который потом обмазал глиной, отчего все это заведение под лесом и было прозвано в селе Глиняной крепостью.

Война для Тайки была самой что ни на есть горячей порой. Он ни у кого ничего не выпрашивал, ни от кого ничего не пытался узнать, но когда его толстый мясистый нос говорил ему, что пора отправляться в путь и именно в ту вот сторону, он грузил на телегу бочонки с цуйкой, запрыгал, и кажется, за все годы войны ни одно крупное сра-

жение не прошло без того, чтобы на его периферии вместе с другими маркитантами не торчал Тайка со своим товаром.

Трофеи, как известно, играли в те войны большую роль, и, одолев врага, солдаты тут же на поле брани начинали дележ и распродажу имущества, захваченного в бою. Основной разменной монетой было крепкое вино, и Тайка, по слухам, разбогател неслыханно. Из одной очень удачной поездки он даже привез с собой молодую красивую монашку. И хотя у Тайки жена была еще молода и здорова, бывает же, чтобы в богатых домах жили еще какие-то женщины на каких-то правах, а если это водилось в других богатых домах, почему это не может водиться и у Тайки?..

— Я вхожу в ваш дом вместе с образом пречистой девы Марии, последней иконой, сохранившейся в нашей общине, чтобы просить вас прийти завтра, помочь нашему храму подняться из руин, дабы и он в свою очередь...

Тайка стоял в чуть приоткрытых воротах своей Глиняной крепости и, занятый сверх всякой меры, морщился от того, что никак не мог взять в толк, чего она от него хочет. В длинном, почти до земли, грязном переднике он был похож на кузнеца, и только его огромные, волосатые, сильные руки были в сливовой жижице. Четверо отчаянных шавок пытались проскочить меж его ног, с тем чтобы броситься на Екатерину и ее малюток. Тайка отпихивал их ногами обратно во двор, сердился оттого, что тратит время впустую, но уйти, не выяснив, что нужно Екатерине, не мог, потому что какие-то смутные инстинкты велели ему оказывать ей почтение.

— Я вхожу в ваш дом с образом пречистой девы просить вас помочь...

— Да ведь церквушка-то совсем развалилась,— сказал Тайка.

— В том-то и дело, что развалилась...— вздохнула Екатерина.— Потому-то и ходим по домам.

— А чего тут ходить! — сказал рассудительно Тайка.— Если что развалилось, ну так тому и быть...

— Но она не вся, не до конца развалилась,— возразила Екатерина.— Стены еще стоят и крыша тоже. И я подумала, если вы придете и если братья Крунту придут, а они тоже обещались прийти, то вы все вместе обязательно придумаете, как ее починить.

— С ними придумаешь, как же,— сказал Тайка, презиравший своих родичей до того, что отрицал всякое с ними родство.— Они только и знают что сосать круглый год эти кислые помои... У тебя отчего губы посинели? Неужто и тебя они совратили этим пойлом?

— Угостили.

— Чем занимаются, олухи... Народ спаивают... И еще намекают на то, что, мол, их род основал Околину... Они ее по миру пустили, а не основали!

У Тайки была слабость — он до смерти хотел быть чего-нибудь да основателем. Он и с родичами ссорился из-за времени и обстоятельств основания Окоliny. В конце концов село прозвало его Тайка, то есть папаша, как бы признавая, что он в самом деле когда-то что-то основал. Без этого показываться сюда было нечего, и Екатерина, притащившись из села, желая всей душой отстроить церковь, вынуждена была в разговоре вскользь намекнуть, что, хотя она и дала себя угостить старику Пасере, истинные околичане прекрасно знают, что, когда и кем было основано...

Преисполненный внутреннего удовлетворения, Тайка исчез ненадолго в глубине двора и тут же вернулся.

— Вот,— сказал он, протянув ей жестяную кружку с какой-то теплой жидкостью.— За помин предков, основавших, так сказать...

Бедную Екатерину мутило от одного вида, от одного запаха, но она прекрасно сознавала, что откажись она — и порвется та таинственная

ниточка, которая связывала ее с этим человеком, а жизнь впереди была еще такая долгая и дети были такие маленькие...

— За помин всех наших,— сказала она и, взяв кружку, куда-то уплыла вместе с ней.

Екатерина почти не помнила, как вернулась домой. Под утро ее начало рвать так, что, казалось, все, отдает богу душу, но на следующий день чуть свет, вспомнив, что созвала село, быстро собралась и вместе с сонной ребятней, вместе с верной Ружкой взбежала по крутой тропке наверх. Пока за Днестром занималась заря, она натаскала воды, замочила гору глины, сложенную прямо посреди храма, заткнула край юбки за пояс и залезла ногами в ту холодную массу. Шел час за часом, она месила глину медленно, добротню, все ниже опуская голову, чтобы дети не видели ее растерянной, чтобы дети не видели ее печальной, чтобы дети не видели ее плачущей...

Увы, плачущей, ибо солнце уже заглядывало из-за Днестра во все окна, а она по-прежнему трудилась в одиночку. Она месила глину и думала про себя: господи, кто бы мог знать четыре года назад, что, прощаясь с отцом Гэинэ, она видит его в последний раз! А между тем как взобрался он тогда на ту телегу, так она его больше и не видела. Тем же летом, застудив свои старые болячки, он помер где-то там, в лесах. Унесенную им утварь поделили меж собой бесприходные попы, хоронившие его в лесу. Говорилось, правда, поначалу, что они берут все это временно, как бы на хранение, а теперь поди ищи, где та утварь, где те попы.

Евангелие, за которое в свое время отец Гэинэ отдал кобылку с жеребенком, матушка, оставшись с детьми на руках, выменяла на мешок кукурузной муки, потому что, перебираясь жить к своей сестре в соседнюю деревню, не могла же пойти туда с пустыми руками. В конце концов от всей околинской церкви осталась одна икона пречистой девы, Екатерина забрала ее к себе домой, чтобы и та не пропала. А между тем война все шла и сельские храмы делили участь полей, участь сел, участь народа, молившегося в них...

Стали налетать дикие голуби из соседних лесов. Они и раньше налетали, эти дикие голуби, и покойный отец Гэинэ, царствие ему небесное, целыми днями сиживал на церковных ступеньках и гонял их, чтобы не садились на крышу храма. Кидал в них камнями не хуже сельских мальчишек, так что в деревне по этому поводу строили смешки. Сама Екатерина, грешным делом, корила его — слыханное ли дело кидать камнями в голубей, когда в священном писании сказано, что дух святой снизошел над спасителем в виде голубя?!

После смерти отца Гэинэ дикие голуби день и ночь гуляли по соломенной крыше околинского храма. Они обжили ту крышу до того, что стали пролезать в щели на чердак, вили там гнезда, выводили птенцов. Радости Екатерины не было конца — целые тучи святых духов налетали, гуляли по крыше церкви в свое удовольствие, а между тем они своими розовыми лапками размолоти ту крышу в труху, и когда пошли обильные дожди, потолок церкви провалился вместе с опустевшими гнездами диких голубей.

Все следующее лето бедная Екатерина очищала храм от мусора. Она таскала на себе балки, куски глины, утешаясь тем, что, покуда стоят стены, алтарь и окна, все еще поправимо. Вон в соседних селах чуть ли не в каждом доме проваливались потолки — и что же? Принимаются люди из-за этого заново отстраивать дом? Даст бог, кончится война, созовут в ОкоLINE клаку — это когда весь народ кидается на выручку, чтобы сразу порешить с каким-нибудь делом. А когда ОкоLINE собирается на клаку с хорошим настроением, да еще заведет длинную старинную песню, она может за день не то что потолок — новый храм поставить может!

А между тем война все шла. И по-прежнему поздней осенью возвращались беженцы в свои полуразрушенные, полусгоревшие

деревни. Зимовать в доме без окон и без дверей — дело невеселое. Нужно что-то придумать. Уж так устроен глаз мужика, он все берет на примету, все помнит, и когда прижал холод, вспомнили, что в соседней, не горевшей еще ни разу ОкоLINE церковь полуразрушена, но окна и двери там сохранились.

Он уходил в небытие, этот скромный околинский храм, а жизнь в селе, в котором нет храма, казалась Екатерине невыносимой, невозможной, непостижимой. Потребность хотя бы два раза в день опуститься перед иконой на колени, чтобы очистить свой дух покаянием, для нее была так же органична, как потребность в хлебе и в воздухе. Каждый день она готовилась к возрождению храма. Она накопала самой лучшей глины, какую только можно было найти, она натаскала мелкой соломы и конского навоза, чтобы было с чем глину перемешать. Она рассчитывала свою жизнь до того дня, когда соберется село, чтобы возродить храм, но вот этот день настал, а она месит глину в одиночку, низко опустив голову...

Шестеро ребятишек, присмирив, сидят у стен на корточках и, склонив головы, стараются разглядеть снизу, как там матушка — сильно ли убивается или, может, отлегло? Чувствуя на себе их взгляды и будучи не в силах совладать со своим горем, Екатерина опускала голову все ниже, ниже и вдруг неожиданно вздрогнула, выпрямилась, и ее залитое слезами лицо замерло от удивления.

Ангел возвестит тебе-е-е...

Каким-то чудом все вдруг ожило, высветилось, осмыслилось. Развален храм — ну так что же? А мы на что? Не бросилось село на помощь — ну так что же? А мы на что? Упали духом? А дух на что? Все это и еще многое другое вместил в себя удивительный по красоте, по чистоте голос, который вдруг взметнулся под съехавшей набок крышей полуразрушенной церкви. Стоя посреди глиняного замеса, Екатерина быстро принялась креститься. Ребятишки дружно пошли за ней работать правой ручкой, и только тут Екатерина увидела в проеме одного из окон, служившем теперь второй дверью, красивую молодую монашку.

Она пела не так, как обычно поют в сельских храмах — встав кое-как, сложив руки на животе. Она развела руки в стороны ладонями вверх, точно держала на них огромный таинственный сосуд. С этим сосудом, обратив взор к хмурому небу, проглядывавшему сквоз дырявую, съехавшую набок крышу, она пела ровно, красиво, торжественно, и ее голос, возвышенный мелодией и словами, казался храмом уже сам по себе.

С заткнутым за пояс подолом юбки, по колено в мокрой глине, Екатерина стояла с открытым ртом, потому что никогда еще божеское чудо и божеская милость не казались ей столь явными и близкими. А монашка все пела. Темная широкая юбка и такая же кофточка скрывали крепкое молодое тело, которому это пение было в радость, и только при самых высоких нотах монашка чуть откидывала назад юное, сохранившее детские черты лицо, и на ее высокой шее показывались дрожащие в такт псалму тонкие жилки.

«Господи,— подумала про себя Екатерина,— да ей петь в перво-стольных соборах, а не в этой развалюхе... и я как дура торчу в глине во время такого божественного пения...»

Высочив на улицу, вымыла ноги у колодца, заново повязала платок, вернулась, готовая хоть целую вечность слушать удивительное пение, но, когда она вернулась, монашки уже и след простыл.

— Куда же она девалась?

Дети пожимали плечиками.

— Стояла вот тут, а теперь нету ее...

В конце концов Екатерина ее отыскала. Монашка уходила высоким берегом вниз по Днестру, к той Глиняной крепости, под лесом.

Должно быть, это и была та монашка, которую Тайка откуда-то привез и про которую в селе говорили всякие гадости. Господи, о ком в селе не говорят гадостей! А между тем праведные околичане торчат с утра у бочек, в храм носа не кажут, а именно эта монашка, хоть и чужой человек, пришла и божественным пением освятила развалины...

От отца Гэинэ Екатерина знала, что, когда знаменитые певчие посещают храмы и поют, им за это полагается вознаграждение. Увы, храм у них был бедный, совсем разрушенный, но все-таки это был храм и его доброе имя, его достоинство не позволяли, чтобы после такого пения человек ушел просто так, без всякой благодарности.

— Ребятки, пошли домой...

У нее оставался припрятанный узелок пшеницы, выданный ей когда-то священником для просфор. Недолго думая Екатерина кинула ее в свои маленькие жернова, смолочила, замесила тесто, развела огонь в печи. Поздно ночью, когда ребятишки спали, она достала из печи прелестный румяный калач, и то, что ей этот калач особенно удался, она тоже отнесла за счет всевышнего благоволения.

Всю ночь ребятишки маялись, их тревожил сквозь сон запах свежее выпеченного хлеба, священный запах жизни земной. Чтобы не мучить их, Екатерина, пока они еще спали, завернула калач в чистое полотенце, вышла из дому и отправилась вниз по Днестру, к той одинокой Глиняной крепости. Чем ближе, однако, она подходила, тем больше ее охватывало какое-то странное волнение. Что-то там, около леса, происходило этим ранним утром. Не дымятся больше задворки, царня умолкла, ворота настезь открыты...

Какое-то чувство подсказывало не спешить, и она, прислонившись к створкам открытых ворот, выглядывала из этого укрытия, чтобы уяснить себе, что же там происходит. А там ничего особенного и не происходило. Просто-напросто мясистый нос куда-то в большой спешке собирался. Посреди двора стояла готовая в дорогу телега с крытым верхом. Кроме запряженных лошадей, другая пара запасных была привязана к задку телеги. Жена Тайки и обе его дочери стояли на завалинке, как обычно стоят жены, отправляющие в дальний путь своих близких, а голосистая монашка, стоя посреди двора, по-мальчишески посвистывала, давая выход своему хорошему настроению. Она была в той же кофточке, в той же юбке, но, увы, ни следа от вчерашнего благочестия. Теперь она казалась этаким мясистой глупой кобылкой, ни о чем, кроме как о пастбище и водопое, не помышлявшей.

Стоя посреди двора, она насвистывала и при этом зазывно качала бедрами, как это делают женщины, когда хотят выяснить, не слишком ли длинна у них юбка. Это ее ритмическое раскачивание было настолько заразительно, что Тайка, несмотря на крайнюю спешку, проносья мимо, не смог удержаться, чтобы не шлепнуть кобылку по ляжке. Девица с ангельским голосом приняла шлепок как должное, и только отмеченная хозяином ляжка азартно дернулась, как бы говоря — попробуй еще...

«Мамочка, да это же грешница каких мало!» — в ужасе подумала Екатерина и, благо никто ее не заметил, тихо-тихо, спиной, стала отходить от Глиняной крепости. Когда она была уже довольно далеко, Тайка наконец выехал со двора. Рядом с ним на правах компаньонки сидела монашка. Грузенная бочонками телега булькала вовсю на ухабах, но очень спешивший Тайка погнал прямо по полям на запад, туда, куда вел его мясистый нос в поисках удачи и счастья.

Проводив их, Екатерина возвращалась кружным путем. Она шла по деревне такая одинокая, такая растерянная, что все ей виделось как в тумане. К тому же этот на славу удавшийся калачик своим бессмертным запахом поджаренной хлебной корки добивал ее шаг за шагом.

— Ты откуда идешь, несчастная?

Братья Крунту, сидя на завалинке, отмечали очередную чистку амуниции большим кувшином, который попеременно переходил из рук

в руки. Обиженная на них Екатерина еще вчера поклялась, что в жизни с ними не заговорит, но теперь она была в таком смятении, что любое человеческое лицо, любой голос были в помощь и в радость.

— Знали бы вы, откуда я иду...

Братья Крунту выслушали историю испеченного калача, хохоча во все горло.

— Дура, как ему ее не шлепать, раз он с нею живет?

— Как живет?

— Ну, не знаешь, как мужик с бабой живут? Ложатся оба...

— Так он же венчаный...

— Ну, то жена. А то — содержанка.

— Что значит — содержанка?

— Ну, кормишь бабу, содержишь и за то живешь с ней.

— Разве так можно?

— Если у кого есть лишние деньги — отчего нельзя!

— Но ведь это же тяжкий грех!

— Ничего, Тайка и на том свете не пропадет! Он взял себе монашку в расчете на то, что, перед тем как пойти по рукам, она там, в монастыре, хоть сколько-нибудь да молилась...

— Вы сказали — перед тем как пойти по рукам?!

От хохота братья Крунту чуть не уронили кувшин.

— Да они оба на пару торгуют! Чуть только мясистый нос учует, что дело идет к заварухе, тут же грузятся на телегу. Он со своим товаром, она со своим — и живо, чтобы поспеть к окончанию сражения...

— Вы думаете, что и сегодня рано утром, выезжая со двора...

— То есть как выезжая? — наострили братья уши. — Разве он куда-нибудь собирается?

— Собирается? Да он уже бог знает где!

Озадаченные арнауты замерли — сукин сын, опять надул их.

— Ты слышал, папаша? Мясистый нос улизнул. Только что.

Вся Околина знала, что у старика Крунту и его сыновей, помимо виноградника и походов на войну, была только одна забота — следить во все глаза за Тайкой. Приладившись к нюху своего родича, они довольно успешно устраивали собственные дела, но случилось, что эта bestия их надувала, сматываясь в одну секунду.

— Что будем делать? — спросил старший.

— По коням! — скомандовал старик.

Он помог им быстро собраться в дорогу, проводил до ворот и после множества советов и наставлений крикнул вдогонку:

— Без монашки мне не возвращаться!

«Господи, — простонала Екатерина, — простишь ли ты моливших о радостях земных?»

Глава девятая

СВЕРШЕНИЕ НЕВОЗМОЖНОГО

О, если бы вместо всех этих юбок имела бы я право природное носить штаны.

Екатерина II.

Словесность отказывается за нею следовать, точно так же как народ.

Пушкин.

После четырех лет кровопролитных боев русско-турецкая война вошла в ту драматическую стадию, при которой — ни войны, ни мира. За четыре года были взяты основные турецкие крепости, прикрывавшие Оттоманскую империю с севера, — Хотин, Бендеры, Аккерман, а по Днестру все еще не шли баржи со снаряжением и провиантом для армии. Согласно первоначальному плану, разработанному в Петербурге, взятие упомянутых крепостей должно было открыть снабжение сотысячной армии по воде. Выйдя через днестровский лиман в Черное

море, поток грузов должен был войти в устье Дуная, с тем чтобы обеспечить армию на территории Болгарии. Но этого не происходило, потому что Измаил все еще оставался у турок, а стратегическое положение крепости было таково, что у кого был Измаил, у того был и Дунай.

Турки, несомненно, подозревали, что главное сражение произойдет именно здесь, и непрерывно укрепляли этот берег Дуная. К концу войны защищенный гигантским земляным валом, обеспеченный запасами провианта и вооружения в расчете на самую длительную осаду, насыщенный отборнейшим войском Измаил превратился в твердыню турок на Балканах, и эта крепость стала камнем преткновения во второй русско-турецкой войне. На предварительных переговорах о мире, или прелиминарных переговорах, как их тогда называли, Измаил играл главенствующую роль. Хотя саму эту крепость старались не упоминать, за каждой фразой, за каждым пунктом, за каждой недоговоренностью скрывался Измаил. Измотанная четырехлетними боями, хронической нехваткой провианта и амуниции русская армия была не в состоянии штурмовать Измаил, и турки это прекрасно знали. С другой стороны, сами турки, запершись в крепости, не решались оттуда высунуться, ибо до самого Константинополя им не на кого было рассчитывать.

Западная Европа, чрезвычайно встревоженная неожиданным расширением русских пределов, следила за балканскими событиями во все глаза. Представители Франции, Пруссии, Англии и Швеции оказывали на Константинополь чрезвычайный нажим, с тем чтобы заставить турок ужесточить свою позицию на переговорах. Порта, раздираемая внутренними смутами и военными поражениями, заявляла, что ей нужны не советы, а конкретная помощь. В результате группа французских инженеров все лето проработала над усилением оборонных сооружений измаильской крепости, особенно ее артиллерии, и к осени 1790 года Измаил считался одной из самых неприступных крепостей Европы.

Петербург в лице военного министра фельдмаршала Салтыкова настаивал на штурме и взятии Измаила. Потемкин отвечал, что без серьезного пополнения сделать это невозможно. Петербург требовал свершить невозможное. Вообще если с этой точки зрения посмотреть на русскую историю, сплошь и рядом можно встретить критические ситуации, при которых свершить какое-либо дело было невозможно, но крайне нужно. И тогда возникала заманчивая идея свершения невозможного.

Потемкин отвергал эту идею как таковую. Воспитанный Екатериной в немецком педантизме, он любил длительную подготовку операций, в результате чего многие историки склонны видеть в нем скорее мастера подготовки к войне, нежели полководца. Ненавидевший к тому же кровопролитные сражения, он всячески откладывал штурм Измаила, но в конце концов, уступив давлению из Петербурга, поручил генералу Репнину возглавить операцию. Адмиралу Дерибасу приказано было войти с кораблями в устье Дуная и отвлечь турецкую флотилию, прикрывавшую крепость, а Гудовичу тем временем начать сам штурм. Стоял ноябрь, лили сплошные дожди. Дерибас потрепал турецкую флотилию, заставив ее отплыть вверх по Дунаю, но Гудовичу никак не удавалось преодолеть глиняные скользкие склоны гигантского вала.

Турки, как только начался штурм, покинули стол переговоров. Петербург настаивал на привлечении к осаде Измаила всех имеющихся на юге резервов. По достоверным сведениям, полученным из Константинополя, турки готовили к следующей летней кампании свежую стотысячную армию. Потемкину рассчитывать на пополнение своей армии в течение зимы не приходилось — шведские и польские дела забирали у государыни все резервы. Будущий год не обещал Потемкину легкой жизни. При этом оставлять Измаил в руках неприятеля было недопу-

стимо. А братъ его — не хватало сил. Волей-неволей приходилось склоняться к мысли о свершении невозможного.

В южной армии была одна такая отчаянная голова, готовая каждую минуту идти в бой, и чем бой опасней, тем охотней, но Потемкину было очень непросто решиться поручить ей это дело. Взаимоотношения главнокомандующего с одним из самых одаренных его генералов были крайне сложны и запутаны. Суворов, несомненно любя главнокомандующего, несколько сомневался в его полководческих талантах. Потемкин, в свою очередь, бесконечно уважая Суворова, опасался его безрассудности в бою и острого языка. При штурме Очакова Суворов на свой страх и риск предпринял атаку под носом у Потемкина, не согласовав с ним это движение. И хотя бой был выигран и сам Суворов в том бою был ранен, Потемкин не мог простить ему этого своеволия и в качестве наказания подолгу томил его в бездеятельности, прекрасно зная, что для горячего генерала бездеятельность на войне хуже смерти.

Блистательные победы Суворова при Рымнике и Фокшанах, в которых он совместно с австрийским принцем Кобургом сокрушил едва ли не половину турецкой армии, мало что изменили в отношении главнокомандующего к строптивому генералу. Воздав должное победителю, он снова запер его в мертвой зоне. Всю долгую осень Суворов томился со своим корпусом под Фокшанами в ожидании распоряжений. Солдаты Гудовича мокли под стенами Измаила, турки готовили свежие силы, Петербург требовал решительных действий, а из штаб-квартиры главнокомандующего все не поступало рескрипта о выступлении.

Наконец в последних числах ноября к Суворову в Фокшаны прибыл курьер от главнокомандующего, молодой капитан с чистым, иконописным лицом. Суворов, распечатывая пакет, удивился про себя — скажи какой красавчик! Прямо не штабной курьер, а ангел с благой вестью. А не может ли так случиться, что судьба его послала, чтобы породниться? Дело в том, что у Суворова была любимейшая дочь, Суворочка, как он ее называл, и когда ему попадались на глаза стоящие молодые люди, он себя спрашивал — не этот ли? В данном случае — очень даже похоже.

Не дочитав до конца полученную реляцию, Суворов приказал поднять корпус по тревоге. Собственно, и читать там особо нечего. В туманном письме Потемкин разрешал Суворову сняться с места и идти на Измаил. С прибытием на место он назначался командующим всеми сухопутными и морскими силами, но вопрос в том, штурмовать крепость или нет, главнокомандующий предоставлял решить самому Суворову. Крепость эту, по нашему мнению, писал Потемкин, брать невозможно, но крайне нужно.

— Ответ будет, ваше сиятельство? — спросил курьер, пожирая Суворова влюбленными глазами.

— Ответ если и будет, то только после штурма.

— В таком случае разрешите мне, ваше сиятельство, остаться при вашем корпусе и участвовать в деле.

— Друг мой, штурм — это не бал во дворце.

Капитан Алексей Барятинский покраснел — должно быть, этот старик видел его где-то на балу.

— Ваше сиятельство, я хоть и не прочь при случае потанцевать, но проходил службу и получил офицерский чин в конногвардейском полку.

— В штыки умеете драться? — спросил Суворов.

— Я умею все, что мне прикажут, ваше сиятельство.

— Ну смотрите. На ваше усмотрение.

По дороге к Измаилу Суворову начали попадаться потрепанные русские части, отступающие в беспорядке после очередного штурма. Подозвав Барятинского, он приказал ему:

— Из этих отступающих сколотите мне на ходу команду, причем имейте в виду, что дело может решить любой лишний штык...

Главный вал измаильской крепости тянулся в общей сложности на шесть верст, его высота местами достигала четырех сажен. С юга крепость защищалась волнами Дуная, вокруг остальной части был вырыт глубокий ров, наполненный водой. В конце ноября, к прибытию Суворова под стены крепости, вода во рву начала затягиваться тонким слоем льда, но лед был хрупок и обманчив. Чуть ступил — и он трещит, сука, на всю округу, а уж если оповестишь турок о своем прибытии, можно сразу проваливаться под лед.

Приняв командование, Суворов начал разрабатывать план штурма. Оказалось, что в царившей суматохе не нашлось даже толкового плана крепости. У Дерибаса, храброго испанца, состоявшего на службе императрицы, было около полдюжины затопленных турецких кораблей, которые он достал со дна моря и снабдил тяжелыми осадными орудиями. С этих кораблей Суворов и решил начать. Приказав им подойти как можно ближе к крепости и начать усиленную пальбу, имитируя начало штурма, он тем временем забросил с противоположной стороны команду толковых инженеров, которые, легко взобравшись на вал, составили обстоятельнейший план крепости, со всеми внутренними постройками, переходами, мостами, складами, так что со временем многие истории склонны были в этом плане усмотреть главное условие, обеспечившее Суворову самую, может быть, блистательную победу за всю его долгую солдатскую жизнь.

Изучив доскональнейшим образом внутреннее расположение крепости, Суворов отвел войска вверх по Дунаю и в пятнадцати километрах соорудил точно такую же крепость, с таким же валом, с таким же рвом, затопленным студеной декабрьской водой. Разделив свои войска на колонны, Суворов начал репетицию штурма. Семь суток с утра до ночи суворовцы, проклиная судьбу, карабкались по мерзлым отвесным стенам, падали в ров, выплывали и снова лезли наверх, цепляясь ногтями, зубами, лишь бы добраться до того треклятого гребня, где и должен был начаться настоящий бой.

Впоследствии участники штурма Измаила вспоминали эту репетицию с ужасом и благодарностью. Зимнего обмундирования все не было, а легкое летнее изорвали в клочья, карабаясь по мерзлым склонам. Тем временем сверху непрерывно лило: то дождь, то снег. С хлебом было крайне туго. Во всем мире войны, сумятицы, революции, никто не пашет, никто не сеет. Интендантам приходилось закупать по неслыханным ценам зерновые отходы — перемывать уже было некогда. Словом, месили тесто на полковых кухнях, и чуть свет уставшие солдаты собирались в ожидании горячего хлеба, потому что, если упустить время, хлеб с песком пополам каменел, его уже было невозможно разгрызть, а без хлеба как ты на тот вал полезешь?!

7 декабря, вернув тридцатитысячную армию под стены Измаила, Суворов предложил сераскиру Айдозле сдать крепость без боя. Предложение было отвергнуто с негодованием, и Александр Васильевич собрал военный совет. Он понимал, что потери будут крайне тяжелыми, и взять перед историей всю ответственность на себя ему не хотелось.

— Братъ Измаил мы не можем, — сказал он на военном совете, — а не братъ тоже нельзя. Предоставляю вам решать. Как решите, так и будет.

Военный совет единогласно постановил штурмовать крепость. Перецеловав всех членов совета, Суворов сказал:

— Сегодня — учиться, завтра — молиться, послезавтра — победа или смерть.

10 декабря шестьсот орудий начали обстрел Измаила. Турки ответили на огонь. Непрерывные гулы **накатывали раз за разом** в течение

всего дня, так что в сумерках горел уже весь город Измаил, да и сама крепость горела. С наступлением темноты начали штурм. Это было сражение, равного которому, вероятно, не знал весь XVIII век.

В дыму и грохоте солдаты перекидывали через ров заранее припасенные фашины, но фашины не выдерживали груза, тонули, и солдатам приходилось добираться вплавь. Прислонив к стенам крепости гигантские, заготовленные накануне лестницы, они гроздьями взбирались по ним наверх, но наверху их ждали ухмыляющиеся турки. Шестами оттолкнув от вала лестницы, турки развлекались, следя за тем, как, как обешанные воинством, лестницы летят в ров с ледяной водой. Однако через минуту-другую, выплыв, солдаты снова прислоняли лестницу к тому же валу и снова карабкались по ней наверх.

К утру казачьему сотнику майору Нехлюдову, командовавшему егерями, первому удалось взобраться на северный вал. Следом за ним на восточный вал взобралась колонна, которой командовал Кутузов. Сопротивление турок было столь сильным, что вторая колонна, едва взобравшись, дрогнула и, казалось, вот-вот скатится обратно в ров. Кутузов запросил срочную помощь. В ответ он получил от Суворова записку, в которой сообщалось, что он назначается комендантом крепости. Как ни странно, этот клочок бумаги помог второй колонне удержаться.

Уже после восхода солнца на западный вал взобрался полоцкий полк. Солдаты сражались уже внутри крепости, когда прямым попаданием снаряда на их глазах разорвало на куски командира полка. Потрясенные этим зрелищем солдаты, главным образом рекруты, дрогнули и в панике начали быстро спускаться обратно в ров. И тут завопил во весь свой бас священник полоцкого полка:

— Сто-о-ой!

— Командира убило! — отвечали ему в ужасе солдаты.

Сняв с себя крест, высоко подняв его над головой, священник крикнул им:

— Вот ваш командир! За мной!

Связанные рукопашными сражениями внутри самой крепости, турки несколько ослабили давление на флотилию Дерибаса. Тонкий слух испанца сразу уловил эту перемену, он приказал кораблям подойти вплотную к стенам и высадить морской десант. Умолкли орудия, утихла ружейная стрельба. Оставались сабля, и штык, и зубы, и воля всевышнего, потому что никакой надежды, кроме как на бога, и никакой подмоги, кроме самого себя.

— Штыком! — кричал Суворов, забравшись вместе со своим штабом в крепость, как только началось сражение.— Коли штыком неверных!

Этот нехитрый на первый взгляд маневр оправдывал себя. Суворов был уверен, что Измаил можно взять только штыком. Турки в пешем бою не умеют драться. Им подавай кривую саблю, да еще хорошего коня, чтобы его разогнать вместе с той саблей, а перед русским воином, стоящим с ружьем наперевес, они бессильны. Важно было только своих солдат довести до ожесточения, до белого каления, до того немислимого состояния, при котором человек действительно совершает невозможное.

Измаил превратился в сущий ад. На небольшой, в общем, площадке был размещен гарнизон в сорок тысяч человек. К ним следует добавить не менее десяти тысяч гражданских лиц, искавших в крепости защиты себе и своему добру. В разгар штурма на эти пятьдесят тысяч была брошена почти такая же армия, и эта масса народа, связанная единым узлом в смертельной схватке, вся в крови, в ярости, в пороховом дыму, металась на замкнутом пятчке.

Бой шел с утра до полудня. Вся территория крепости была завалена трупами. Около тридцати тысяч павших, каждый третий был

убит, а бой между тем все еще продолжался, и солдаты ступали в буквальном смысле по трупам, потому что иначе передвигаться было невозможно. Упорнейший бой шел возле подвалов с боеприпасами. Русские почти полностью ими овладели, но неожиданно один из подвалов взлетел на воздух, захоронив под своими обломками добрую половину взявших эти подвалы солдат. Ободренные таким поворотом дела, турки пошли в контрнаступление, и склады стали попеременно переходить из рук в руки. А между тем их нужно было удерживать любой ценой, без этого и думать нечего было о победе. Разгоряченный зрелищем всеобщего сражения, Суворов, подобрав винтовку с прикинутым штыком у умирающего солдатика, сам кинулся в бой.

Когда склады были окончательно взяты и Суворов уже подумывал отправить курьера с донесением об одержанной победе, вдруг ему почудилось, что во время боя среди трупов на какую-то долю секунды он заметил удивительно знакомое, красивое, успевшее стать родным юношеское лицо. Ему почему-то захотелось тут же вспомнить и отыскать, непременно отыскать его. Да вот же он! Из гигантской насыпи свежей глины, вывороченной взрывом, смотрело мертвенно бледное лицо Барятинского.

— Лекаря!!!

— Не надо, ваше сиятельство,— тихо прошептали посеревшие губы юноши.— Я ведь уже на том свете, но бог сподобил меня увидеть, как следует сражаться в штыки... Благодарю вас.

Юный Барятинский закрыл глаза и умолк. Такое было впечатление, что там, в этой гряде свежей глины, туловища вовсе не было — просто одна голова лежала на насыпи и каким-то чудом, собравшись с силами, произнесла последние слова, без которых живое не может покинуть мир живых. «Господи,— подумал Суворов,— что за жуткая судьба командовать людьми в час их кончины...»

Крепость была уже взята — только одна двухэтажная казарма все еще отстреливалась, не сдавалась. Около двадцати пашей вместе с отрядом отборных янычар продержались до самого вечера, но русским удалось поджечь крышу, и вот они выходят, подняв руки. Ожесточение было столь велико, что солдаты кидались на них, едва те успевали появляться в дверях.

— Не трогать! — сказал Суворов.— Мы солдаты, а не разбойники! Мы воюем, а не убиваем.

Их было около четырехсот, пленных, весь командный состав, штаб измаильской крепости, и среди них сераскир Айдозла, только что отвергнувший предложение Суворова о сдаче. Их нужно было немедленно переправить в Яссы. За их головы можно было купить любой мир, причем немедленно, но вдруг молодой казак завопил:

— Коли неверных!

Их перебили до единого на глазах у потрясенного Суворова.

— Это нужно было предвидеть,— сказал печально Александр Васильевич.

Всю ночь, а потом еще один день и одну ночь очищали крепость от трупов. Турок сбрасывали прямо в Дунай, своих хоронили в братских могилах. А сам Суворов бесконечно грустный, усталый пошел пешком в городок, стоявший при крепости. По дороге ему попалась на глаза церквушка, наполовину снесенная прямым попаданием снаряда, так что один только алтарь выглядывал из-под руин. Пробравшись сквозь развалины, став на колени перед чудом уцелевшим алтарем, Суворов молился, клал поклоны.

В крепости вдруг обнаружили пашские конюшни. К моменту штурма в измаильской крепости было около шестидесяти пашей, а главный атрибут пашского могущества — великолепный конь с золоченой

сбруей. Всеобщее восхищение вызвал белоснежный скакун, принадлежавший самому сераскиру Айдозле. Бело-дымчатый красавец прямо завораживал. Длинное изящное тело, казалось, было создано больше для полета, чем для бега, а тонкие высокие ноги несли его легко, почти не касаясь земли.

Поначалу подвыпившие солдаты, чувствуя за собой некоторую вину, решили подарить жеребца Суворову. Они нашли своего командира там же, в полуразрушенной церквушке. Прервав ненадолго свою молитву, он поднялся, выслушал солдат, поблагодарил, но от подарка отказался, заявив, что на своей донской кобылке приехал и на ней же, даст бог, вернется.

Посоветовавшись, солдаты решили бросить жребий. Красавец конь достался рекрутику полоцкого полка, впервые участвовавшему в деле, и тот юнец, окосев от привалившего счастья, сразу выменял лошадь на два ведра какого-то горячего поила и тут же принялся угощать своих дружков с тем, однако, непременным условием, чтобы пить из ведра, раз, как говорится, жеребец угощает...

Потемкин пребывал в благостном ожидании рапорта о взятии Измаила. Было решено отпраздновать эту победу как никакую другую. Известно было, что поздно ночью Суворов прибыл в Яссы, и к утру следующего дня дворец Маврокордата готовился к встрече с легендарным героем. К сожалению, никто толком не знал, у кого Суворов остановился. Шел снежок, время было уже позднее, а его все не было.

Наконец около полудня из глухого переулка показалась длинная молдавская телега — каруца. Она так скрипела и грохотала по замерзшей, запыленной снегом грязи, что половина города посыпала на улицу. Старик молдаванин, управлявший клячами, почему-то норовил как можно ближе подъехать к дворцу Маврокордата. Каково же было удивление гостей светлейшего князя, когда из глубины этой самой каруцы показался сидевший на кучке полуобглоданных стеблей кукурузы герой Измаила!

Изумленный князь вышел ему навстречу. Выбравшись не без труда из этой допотопной телеги, Суворов подошел к фельдмаршалу и отрапортовал усталым и грустным голосом:

— Ваша светлость. Измаил взят.

Разведя свои огромные ручки, Потемкин загрохотал:

— Друг мой сердечный, иди, я тебя расцелую...

Суворов стоял не двигаясь, и тогда светлейший сам сделал несколько шагов навстречу.

— Скажи, чем мне тебя наградить?

Получалось как-то так, что, отдав несколько тысяч лучших своих воинов, Суворов теперь пришел за наградой.

— А наградить вы меня никак не можете, — заартачился он вдруг.

— То есть почему не могу?

— Потому что взятие Измаила есть дело невозможное.

— Положим, так, но ты же свершил это невозможное дело! Почему же мне тебя в таком случае не наградить?

— Потому что за свершение дел невозможных наградить может только бог. И государыня.

Эта реплика стоила Суворову фельдмаршальского жезла, который он должен был получить за взятие Измаила и которого он, конечно же, не получил. Что поделаешь! Свобода человеческого духа иной раз требует за миг рожденное слово такую немислимую цену, что мы остаемся на долгие годы нищими, но тем, кто этой свободой дорожит, приходится платить...

К новому году глухо звякнула черпалка, задев дно бочки, и сникла Околина. А какое было славное винцо, какие были славные деньки... Увы! Впереди маячила долгая, голодная, холодная зима, и как дожить до теплого лета — уму непостижимо. Во дни этих тяжких раздумий неожиданно хорошая весть взбудоражила деревню. В доме старика Пасере затевалась свадьба, а уж какое у него вино и сколько там того вина еще оставалось!..

Правда, слухи об этой свадьбе были неустойчивые и метались, как огонь свечи на ветру. Это нервировало Околину. Вникнув, чтобы докопаться до сути дела, Околина, к своему изумлению, узнала, что жениться надумал сам старик. Невесту ему отыскали сыновья. Получив от старика наказ без монашки не возвращаться, они решили не гнать коней до Измаила. Пошастав по лесам, понахватав что где плохо лежало, они где-то под Бельцами подобрали глупую толстущку и вернулись домой.

По правде говоря, она была ничем не хуже той монашки. Тоже в теле, голосистая, покладистая, но водилась за ней одна странность. В минуты близости она спрашивала с придыханием: «А потом ты женишься на мне? Покаянись, гад, что женишься потом...» Сыновья старика Пасере, жившие с ней попеременно, подсмеивались над этим ее чудачеством, но однажды, когда их не было дома, старик тоже решил попытать счастья. Его, разумеется, в критическую минуту тоже спросили, женится ли он после или нет. Старик сказал — женюсь и по возвращении сыновей заявил, что всегда был хозяином своего слова и верным ему останется и на этот раз.

Сыновья потешались над ним. Они высмеивали отца перед всей деревней, но старик твердо стоял на своем. Околине до смерти хотелось побаловать себя стаканчиком хорошего вина, и она приняла сторону старика. В конце концов, поняв, что речь идет о хорошей гулянке, не более того, сыновья сдались и свадьба была назначена.

И надо же — был прелестный зимний день и свадьба выдалась на славу. Играли лучшие музыканты, каких только можно было в ту пору сыскать. Околина, забив до отказа двор старика Пасере, пила отличное вино и, не выпуская кружек из рук, пускалась в пляс. Это как-то не понравилось жениху. То есть то, что село, заждавшись веселых мелодий, чуть что пускалось в пляс, было очень неплохо. Хуже было то, что кружек не выпускали из рук. При таком стечении народа и при такой охоте к веселью можно было за одну ночь опустошить подвалы, а старику, как бы он ни был привязан к молодой невесте, не хотелось остаться до весны с пустыми бочками.

Ему везло, ему всю жизнь везло, этому старику Пасере, и удача не отвернулась от него и на этот раз. Вдруг в какой-то миг пресеклось дыхание у трубачей и замер кувшин над недолитой кружкой, повисла в воздухе нога, которой танцор хотел припечатать землю так, чтобы это было навеки. Свадьба стихла, люди стояли, разинув рты и боясь вспугнуть эту тишину, музыканты спрашивали друг у друга — что случилось?

А случилось то, что по переулку вдоль чахлого плетня величественно плыла пара армейских волов. За ними, покачиваясь на ухабах, со скрипом плыла груженная всяким добром огромная фура. Следом за первой фурой показалась еще пара волов. Те волокли фуру еще побольше и тоже нагруженную всяким добром, а на самом ее верху полулежала уставшая от своих ратных трудов, укутанная в дорогие меха голосистая монашка. Замыкал это шествие сам Тайка. Ехал он верхом на бело-дымчатом жеребце такой удивительной стати, что замерла Околина...

Надо отдать должное жениху — несмотря на свои преклонные годы, он первым сообразил что к чему. «Только его цуйка может спасти мои подвалы от полного опустошения», — сказал он себе и, отло-

жив старые счеты и обиды, схватил кувшин и глиняную кружку, вышел и стал посреди улицы так, что его можно было раздавить, но объехать было невозможно.

— Глубокоуважаемый, высокочтимый, бесконечно родной...

Первая пара волов — ну волю, что с них возьмешь — поперла прямо на него, и действительно не успей он вовремя прижаться к плетню, было бы худо. Вторая пара волов выказала к жениху точно такое же пренебрежение. Но что ему эти глупые волю, когда следом за ними не едет, а плывет тот главный гость, родич и, несомненно, основатель...

— Глубокоуважаемый, высокочтимый и бесконечно родной...

Тайка проехал мимо, не слыша этого цветистого обращения, не видя ни жениха, ни его протянутой кружки. Сосуны несчастные. По года им показалась ужасной, до Измаила им показалось далеко. Теперь вот будут всю зиму гнуть спины и лебезить. Он настолько презирал старика и его сыновей, что предпочитал вовсе их не замечать. Собственно, по причине такого презрения он и гостей не заметил и ехал себе своим путем, понятия не имея о том, что где-то там в селе справляют свадьбу.

Волю медленно ступают по мерзлой земле, фуры поскрипывают следом за ними. Утомленная монашка полулежит в дорогах мехах, отчего кажется таким странным заморским зверем, выматривающим добычу. Сам Тайка, замыкая это шествие, дремлет, углубленный в себя, и в мыслях медленно распутывает то, что его мясистый нос успел за эту поездку разноухать.

Жених не отставал. С непокрытой головой, с кувшином и кружкой он так и семенил рядом с белым жеребцом. Сыновья как будто вышли уговорить старика отказаться от такого унижения, но не догнали, и получалось, что и они идут следом за женихом приглашать знатного гостя. За сыновьями шла невеста, за невестой — гулявший на свадьбе народ, так что вмиг крунтуловский двор опустел и все село выстроилось в гигантскую процессию. Впереди две фуры на воловьем тяге, за ними Тайка на красивом жеребце, а там жених, а там невеста, а там румяные, развеселившиеся в ожидании новых приключений свадебные гости...

«Господи,— простонала тихо про себя Екатерина,— что же я одна у тебя такая несчастливая...»

Она пришла в тот день с малышами счищать снег с церковных развалин. Ей все почему-то казалось, что развалины — это все-таки храм и грешно оставлять его неубранным, заваленным снегом. Работалось им тяжело — ни лопат, ни варежек. Намерзшись за день, уже собирались домой, когда вдруг увидели выплывавшую из переулка странную процессию. Поначалу ей показалось, что весь этот разгоряченный вином народ — сытые, счастливые, облагодетельствованные богом люди, и только ее почему-то всевышний держал в горечи и нищете... «Господи,— взвыла она,— где же твоя справедливость?!»

Вдруг поравнявшись с полуразваленной церквушкой, шествие остановилось. Белый жеребец, послушный поводку, всхрипнул и встал как вкопанный. Оказавшись в центре внимания, Екатерина нащупала под подбородком узел платка. Хваткая до работы, она всегда увлекалась, и этот треклятый платок все время сползал набок. По этой причине Околина и прозвище ей придумала, обидное такое прозвище, и кто знает, как бы ее жизнь сложилась, если бы не это дурацкое прозвище...

— Что же ты, Катинка, на свадьбу не пошла?

По законам какой-то древней, таинственной общности Тайка все еще признавал в ней человека, равного себе.

— Надо же кому-то вызволить храм из-под снега,— ответила Екатерина сухо, все еще помня ту отраву, которую она у него пила

— Да на кой ляд?!
 — Мы народ крещеный и не можем оставаться без святой обители.

— Да кто тебе сказал, что не можем? Вот нету больше у нас в селе святой обители — и что же? Усох Днестр? Накатила чума? Отвернулась от нас удача? Да нет же! Наоборот! Вон уродили виноградники. Люди ожили, повеселели, свадьбу справляют. Я вот после долгих трудов возвращаюсь домой, и тоже не с пустыми руками...

— Думаете, — сказала Екатерина, тяжело дыша и сама удивляясь той твердости, которая вдруг прорвалась в ней, — думаете, стоял бы тут храм, посмели бы вы возвращаться по этой дороге со всем своим добром?

— Почему бы не посмел?

— Бога бы побоялись.

— Почему я должен его бояться?

— Потому что бог и не таких богатырей сокрушал и не такое богатство по ветру пускал...

Тайка умолк. Это было его больным местом. Пуще всего он боялся, что уплывет накопленный достаток. Бог — да, это сила, которая вмиг может заставить выпустить все из рук. И, может, никакое не родство, а самый обыкновенный страх заставлял его при встрече с этой глубоко верующей женщиной остановиться и вступить с ней в разговор. Что-то было в ней такое, чего в нем при всем его богатстве не было; что-то она такое знала, чего он при всем старании уразуметь не мог...

— Да что ты дуру эту слушаешь! — завопил жених, став между Тайкой и Екатериной, как бы загораживая собой одну из спорящих сторон. — Что ты связываешься с ней! Нашел кого слушать! Сотни лет стояла тут церквушка — и ничего с ней такого не происходило, но взялось за ней присматривать это пугало огородное — и за каких-нибудь пять-шесть лет храма как не бывало...

Из всех его слов Екатерина услышала только обидное до слез прозвище свое — пугало огородное. Выпустив лопату, она обеими руками схватила за платок — неужели он, поганец, опять съехал набок? Это ее движение развеселило Околину — ржали гости, ржал жених, смеялась невеста, в конце концов и сам Тайка, сидя на прекрасной лошади, улыбнулся.

Искра благородного негодования всколыхнула маленького Ницэ, и, подобрав с земли камушек, он крошечными шажками пошел на обидчиков матери.

— Нет, вы посмотрите на эту сосульку! — ржала деревня. — Вы на него посмотрите!

Мальчик остановился на полпути. Посмотрел на хохотавшую толпу, на белое лицо матери, еще раз на толпу, еще раз на свою кормилицу. И заплакал. Екатерина взяла его на руки.

— Не нужно, сынок. Мы не из тех, кто поднимает камень. Бог отомстит за нас.

«Ах, она еще и грозитя!!!»

И тут Тайка наконец заметил торчавшего у стремени с кувшином и кружкой престарелого жениха.

— Глубокоуважаемый, высокочтимый, бесконечно родной...

— Да разве на свадьбу таким пойлом приглашают?

— Угостите другим. Вовек признательны будем.

— И угощу.

— Меня или всю мою свадьбу?

— И тебя и твою свадьбу. Слава богу, есть чем.

Волы передней фуры, услышав решимость в голосе хозяина, двинулись в путь. За ними последовала вторая фура, следом Тайка на ло-

шади, и вот длинная вереница свадебных гостей пошла вниз по Днестру, по направлению к Глиняной крепости...

Осмеянная и оплеванная односельчанами Екатерина, собрав свою ребятню, тихо спустилась по заледенелой тропке к одиноко стоящему домику. Ее вдруг охватила какая-то странная дрожь. Войдя в дом, она забралась на печь, залезла под старое, драное одеяло, которым по ночам укрывалась вся семья, но ее все трясло.

Перепуганная ребятня разревелась. Старшая дочка кое-как их утихомирила, затопила печку, сварила мамалыжку, накормила всех, даже Ружке, возившейся в сенях, достались кое-какие крохи. Екатерина есть отказалась, не отвечала на вопросы и по-прежнему молчала, трясясь под лоскутным одеялом. Намерзшиеся за день дети залезли к ней на печь, забились под одеяло, согреваясь друг от друга и засыпая друг возле дружки.

Наступила долгая зимняя ночь. Где-то вдали слышны пьяные песни возвращающихся со свадьбы гостей. В сенцах на соломенной подстилке рычит сквозь сон Ружка. За окошком воет ветер, кидая снежной крупой в окошко, но к полуночи все утихло. Замерли днестровские долины — ни ветра, ни метели. Одна нескончаемая серебряно-белая пустыня, и кажется — протекут тысячелетия, прежде чем сойдут эти снега и задышит земля под ними.

Из-за косогора показалась луна. Она не то что взошла — она взлетела как-то вдруг, вся разом и, отыскав в днестровской долине маленький, затерянный в сугробах домик, нашла окошко, и вот золотистый луч, нащупав в темноте припечек, медленно пополз к уснувшему в горе и страдании семейству.

— Мам, ты спишь? — вдруг донесся шепоток из-под одеяла.

— Нет. А что?

— Мне страшно.

— Иди ко мне.

Сонный Ницэ, переползая через спящих братьев и сестер, добрался наконец до Екатерины, свернулся калачиком у самой ее груди. Она обняла его, согревая своим теплом, и только тогда из ее глаз брызнули обильные, освобождающие слезы.

— Не плачь, — говорил Ницэ. — Погоди, пока я подрасту, потом я их одолею...

Мягкий, задумчивый свет луны, ползая по припечку, неожиданно вздрогнул, точно обжегся, точно хотел воскликнуть — как! Пролететь сто пятьдесят миллионов километров, пронзить такую бездну пространства — и все это лишь для того, чтобы в конце концов уткнуться в это драное одеяло? Собственно, а почему бы и нет? Если луна несет в себе очарование богом созданного мира, если эта маленькая семья, окаменевшая в своем горе, есть тоже дело божьих рук, то когда же этим вечным началом соединиться как не этой ночью, на берегу этой реки, под этой старой кровлей?!

Глава десятая

ЛАВРЫ ПОБЕДИТЕЛЯ

Я люблю доставлять удовольствие своим друзьям.

Екатерина II.

Если царствовать значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства.

Пушкин.

Измаил потряс до основания клонившуюся к закату Оттоманскую империю. Отпраздновав взятие этой крепости, изнуренная, обескров-

ленная Россия жила ожиданием предстоящего мира. Тем более что на этот раз турки сами предложили возобновить переговоры. Велись они в Галаце, маленьком придунайском городке, причем турецкая сторона проявляла такую сговорчивость и уступчивость, что северная столица жила ожиданием хороших вестей буквально со дня на день.

Мир нужен был до зарезу. Миф о процветающей империи можно было еще поддерживать летом, частично весной, частично осенью, а вот зимой действительность выступала во всей своей жуткой неприглядности. А уж зима в том году выдалась на редкость суровой. Сразу после крещения накатили сильнейшие морозы, а если они ослабевали чуть-чуть, то не иначе как для того, чтобы открыть путь метелям и заносам. Переживших морозы и метели добывала дороговизна. Офицеры писали из Ясс, что за одну курицу приходится платить четыре пиастра, что составляло полтину золотом. Две курицы на рубль — это было неслыханно, притом что за полгода до этого за два рубля можно было целого быка купить.

В России после двух лет засухи начался голод. Особенно сильно страдали от недорода Поволжье и северные губернии. Мир нужен был немедленно, а мира все не было, и лучшие умы России гадали — отчего все эти наши громкие победы уходят, как вода в песок? В чем тут тайна? В чем загвоздка?

По занесенным снегом пустырям, по великому зимнему бездорожью, в мороз, в пургу днем и ночью скакали срочные курьеры из Петербурга в молдавскую столицу. Письма, писанные рукой самой государыни, запросы Военной коллегии, рескрипты Коллегии по иностранным делам, меморандумы Сената и святого Синода, частные послания от друзей, противников, иностранных послов — все это ложилось, что ни день, беспорядочной горкой на стол главнокомандующему, но Григорий Александрович ни к чему не прикасался. Он снова пребывал в глубокой хандре и в ответ на поступление очередной партии корреспонденции кричал со своего кожаного дивана:

— Мира не будет, пока турки не примут все мои условия!!!

А четких условий не было — они все еще находились в состоянии выработки. И тут наконец в России поняли, что дело вовсе не в жесткой позиции турок. Просто светлейшему по каким-то своим резонам до поры до времени не хочется заключать мира. А что такого? Не хочет человек, и все. У него был на руках главный козырь — стотысячная армия, и тут уж, как говорится, приходится считаться с реальностью.

Фельдмаршал проводил целые дни, запершись в своем кабинете, и убивал время, выкладывая из драгоценных камней карту созданного его руками Новороссийского края. Вот серыми печальными опалами обозначает он гигантскую пустошь от Днепра до Приазовья, от Полтавы до самого Черного моря. По этим одичалым, заросшим ковылем да полынью степям пробиваются выложенные красными рубинами дороги. Днем и ночью по пыльным огненным пляхам тянутся обозы с бедными пожитками поселенцев. Идут темпераментные сербы и хмурые венгры, шумные казаки и печальные валахи, строптивые католики и неистовые раскольники — да, черт возьми, и раскольники идут, ибо не кто иной, как он же и выпросил у государыни позволение заселять опальными староверами эти южные края, ибо хоть и внесли они смуту в нашу веру, но умеют как никто другой пускать корни.

Спокойные лазуриты очерчивают береговую линию Черного моря, уникальнейшая бирюза, зависть коллекционеров Европы, рисует Крым, и это не только полуостров, нет, это венец Российской державы, опущенный в воды Черного моря красоты и сохранения своего ради. А новым трудам конца-края не видать. Потоки грузов текут по рекам с севера на юг. Крупные изумруды отмечают закладку новых городов — Херсон, Екатеринославль, Николаев.

Пашутся земли, пекутся хлебы, строятся храмы, люди женятся, рожают, и вот уже строятся остриженные наголо рекруты, потому что жизнь — это сила, а сила — это войско. Гранатная россыпь означает пятнадцать полков, обученных для державы: этим краем, сто-тысячная конница готова к защите новых завоеваний. Когда он принял от государыни наместничество над этим краем, оно насчитывало менее миллиона душ. Теперь население возросло в десять раз, эта новая Россия способна была сама себя кормить, обувать, одевать, и каждый год нескончаемые обозы со всяким добром, огромные баржи с хлебом шли вверх, в северную часть державы.

Успехи были столь огушительны, что летом 1787 года, перед самой войной, императрица в сопровождении послов Англии, Франции и Австрии пожелала познакомиться с этим вновь приобретенным краем. Потемкин был вдохновителем и устройте-лем этой поездки, и откуда ему было знать, что капризной истории угодно будет от всех его радений увековечить один анекдот о якобы показанных государыне несуществующих деревнях.

Светлейший замер. В руках медленно туманилась от теплоты пальцев Фортуна — алмаз, которому, по сути, не было цены. При его появлении миг облекла вся эта россыпь на бархатной подушке. Фортуне надлежало обозначить столицу этого края, может быть, столицу новой державы, и вот она мечется по всему югу, по Балканам, по Кавказу, но с ходу этого не решить. Запотевшую Фортуну князь опускает в воды Черного моря — до поры до времени, пока не будет найдено место для столицы. Но богиня человеческих судеб не терпит неопределенности, не терпит отлагательства!.. Догорают, гаснут драгоценные камни на черной бархатной подушке, и от всех его трудов, от всех его замыслов остается разве что пригоршня разноцветных стеклышек, разбросанных по черному бархагу. «Что за дьявол! — возмущается князь. — Неужто не судьба?! Неужто кому-то другому суждено жениться на невесте, которую я холил, ласкал и лелеял вот уже столько лет!»

Перемешав заново камни, стряхнув пыль с черного бархата, князь принимается заново застраивать юг и с каждой минутой отдается власти былого. Вот она, ночь, великая ночь июньского переворота, и он, молодой еще подпоручик, вместе с теми, кто возводит императрицу на престол. А вот и он, поначалу покровитель, друг, потом, как водится, противник, — Григорий Орлов. Никто не думал, что Потемкину удастся его свалить, но он его одоле-л и стал вторым человеком империи. В свое время ходил отличный анекдот по Петербургу, и он не был плодом досужего вымысла трактирных зубоскалов. Это случилось на самом деле. В дни своей бурной молодости, вытеснив из сердца и из постели государыни Орлова, Потемкин шел однажды во дворец. Поднимаясь по мраморной лестнице Зимнего на второй этаж, он встретил своего поверженного соперника, который как раз спускался со второго этажа. Сохраняя видимость дружеского расположения, Григорий Александрович первым поздоровался и спросил, что нового во дворце. «Что тут может быть нового! — ответил ему Орлов. — Ты вот поднимаешься, я вот спускаюсь — вот и все наши новости...»

Любишь кататься, люби и саночки возить — все это так, ну а что делать тому, кто просто не рожден, чтобы возить санки? Природа не наделила Потемкина этим в высшей степени христианским даром. Он скорее согласился бы погибнуть, чем спускаться со второго этажа, и всю свою жизнь строил с таким расчетом, чтобы никогда не изведать этого унижительного шествия. Его способности, его чрезвычайные заслуги позволили ему бесконечно долго оставаться рядом с государыней, в некотором роде супругом ее. Появление молодого красавчика **Зубова отодвигало его хоть и ненамного, но все же вниз.**

Разумеется, государыня и теперь все еще горой стоит за него, но вся эта дружба немногого стоит.

Природа женщин имеет свои особенности. Бывают минуты, когда они примут все, сделают все, лишь бы им до конца хорошо было. У пустых натур это даже прелестно в своем роде, но у твердой и по-своему честной Екатерины, привыкшей быть хозяйкой своему слову, это опасно, потому что любое ночное перешептывание грозит на следующий день обернуться новой государственной политикой. Ведь сказал же этот сопляк в присутствии всех его гостей — государственных дела, князь, принимают другой оборот... И сегодня, разумеется, им не столько нужен мир, сколько эта стотысячная армия нужна, чтобы показать, на что ротмистры способны. Конечно, стать генералом, не прослужив ротмистром, невозможно, но эти ротмистры, за ночь дорвавшиеся до генеральства, это же бич России!

Екатерина прекрасно понимала тревоги светлейшего и, несомненно, догадывалась, почему так долго в Галаце не подписывается мир. На ее письмах, отправленных той зимой на юг, лежит печать осознанной вины, и она изо всех сил старается умиротворить князя, выдавая Зубовых за самых преданных его союзников. Господи, до чего она в этой переписке не доходила! Сначала она мельком, как бы между прочим похвалит своего Платошу, потом заставит его писать светлейшему, но по слогу видно, что письма эти писались под ее диктовку. А то ей еще взбредет в голову фантазия — на одной стороне листа пишет она, на другой Платон.

«Утоли печаль мою», — отвечает ей Потемкин с юга, и это библейское выражение звучало в его письмах как крик души. Ему хотелось как можно скорее привезти свою тоску в столицу в надежде, что государыня избавит от нее.

Ясские послания ставили Екатерину в крайне затруднительное положение. Ее всю жизнь обвиняли в том, что она попустительствует Потемкину. Теперь, если он вернется посреди зимы, не заключив мира с турками, разразится скандал. Кроме того, нужно было подумать и о своем покое. Всем был известен крутой нрав Потемкина. При появлении одних его курьеров замирала жизнь при дворе и братья Зубовы мельчали, усыхали у нее на глазах, пока не становилось известным содержание потемкинских депеш.

Собственно, умная Екатерина не запрещала Потемкину приехать в столицу, неоднократно повторяя, что приезд или неприезд фельдмаршала — это его дело. При этом, правда, государыня присовокупляла, что теперь, как она полагает, время работает на турок и вряд ли стоит оставлять блистательные победы нереализованными, дать туркам возможность собрать новое войско, вместо того чтобы форсировать столь необходимый России мир. Это были просто милые советы, не более того, но она прекрасно понимала их вес и потому была уверена, что Потемкин не осмелится ее послушаться. За всю их долгую жизнь у него одно было свято — государыня, которой он служил. Никогда он не сделал шага, слова не произнес, которые могли бы идти вразрез с ее волей.

Увы, то, чего не случилось прежде, произошло теперь. Поздно ночью, когда она, доиграв партию в фараон, возвращалась в свои покои, один из ее тайных агентов, которых она держала повсюду, где у нее были особые интересы, донес через камердинера Захара Зотова, что поезд светлейшего князя покинул Яссы и мчится по направлению к Петербургу. В слабо освещенной проходной зале, где ей сообщили эту новость, Екатерина сначала вздрогнула, но потом нашла в себе силы собраться с духом и даже улыбнулась.

— Что ж, — сказала она как можно любезнее, — я очень рада. Мы встретим светлейшего как истинного героя...

Надо отдать ей должное — она любой проигрыш умела оборачивать в свою пользу. Создав особую команду, которая должна была

следить за передвижением княжеского поезда, с тем чтобы не упустить время его приближения к столице, она засучив рукава принялась за дело. У въезда в Петербург выросла как из-под земли гигантская арка, украшенная стихами в честь победителя, стихами, которые подобрала сама государыня. Рапорты, парады, фейерверки, колокольный перезвон — все это, несомненно, произведет должное впечатление на мнительного фельдмаршала.

У Потемкина было несколько собственных дворцов в Петербурге, но он по обыкновению предпочел остановиться в покоях, сохраненных за ним пожизненно в Зимнем. О восточном крыле Зимнего — Эрмитаже, занятом Потемкиным и обставленном им с неслыханной роскошью, говорили как о восьмом чуде света. Картины, скульптуры, редчайшие образцы мебели, ковры, вазы — все это возбуждало у екатерининского двора черную зависть. Утверждали даже, что по ночам сюда хаживал Платон Зубов, чтобы повздыхать в окружении этого богатства.

Почести и милости, которыми Петербург встретил фельдмаршала, превзошли все его ожидания. Ему было пожаловано звание генерал-фельдцейхмейстера, лично от императрицы был пожалован фельдмаршальский мундир, украшенный по шитью алмазами и другими драгоценными камнями общей стоимостью в двести тысяч рублей. Сверх того была вручена копия с указа императрицы, в котором государыня поручала Сенату построить светлейшему за государственный счет дворец, будь то в столице или в другом месте, где он пожелает, и воздвигнуть перед тем дворцом монумент-памятник фельдмаршалу Потемкину.

— Чего еще возиться с этими бумагами, — сказал Потемкин при вручении ему копии с указа. — Подарите мне, ваше величество, Таврический, да и дело с концом.

Екатерина улыбнулась — он все еще оставался дьяволом, и как она его любила за то, что он был и оставался дьяволом!

— Быть посему.

В столице известие об этом подарке вызвало множество криво толков. Дело в том, что государыня однажды уже дарила этот дворец князю — по случаю присоединения им Крыма к России. Как-то, нуждаясь в деньгах при строительстве полотняных заводов, светлейший продал государыне этот дворец за полмиллиона, но расстаться с ним ему не хотелось, потому что очень уж место было красивое там, за конногвардейскими казармами.

Столица, никогда особенно не жаловавшая светлейшего князя, называвшая его за глаза князем тьмы, на этот раз держалась корректно, дружелюбно. Экипаж светлейшего петербуржцы встречали приветствиями, и все ждали от князя решительных действий, ибо он один мог освободить их от гнета Зубовых. Конечно, фавориты бывали при Екатерине всегда, но Платон Зубов был настолько ничтожен и алчен, что все трепетали за свой завтрашний день.

Зубова светлейший тоже возненавидел. Но в отличие от других совершенно не скрывал своих чувств. Потемкина бесило, что этот желторотый юнец успел усвоить себе замашки всесильного вельможи. Особенно скандально этот Зубов вел себя по утрам. По тогдашнему придворному этикету в приемные значительных особ часам к одиннадцати собирался цвет общества, чтобы поздравить особу с добрым утром и попытаться хоть чем-нибудь обратить на себя милостивое внимание.

Потемкин как истинный воин, привыкший к неудобствам походной жизни, не любил эти толпы подхалимов, собиравшихся в приемных в ранние часы. К тому же у него был свой прочный распорядок дня. Проснувшись, он на час залезал в холодную ванну, после чего шел в молельню, потом завтракал, потом принимал помощников и

адъютантов — ему некогда было с утра пораньше отвечать на поклоны и раздавать милости.

Зато Платон Зубов обожал понежиться в постели и искренне считал, что значение, вес того или иного лица в обществе определяются толпой, собирающейся в его приемной. Именно поэтому Зубов сам составлял список лиц, имевших право дожидаться его пробуждения, причем время от времени этот список подвергался чистке — исчезали одни имена, не заслуживавшие более такой чести, на их месте появлялись другие.

По утрам приемная Платона Зубова была битком набита генералами, губернаторами, князьями, иностранными послами. Даже старик Державин тратил тут драгоценные утренние часы, потому что время шло, а Платона Александровича все не было. Только к двенадцати еще не совсем выспавшегося молодого генерала начинали умывать, одевать, кормить. Пока слуги сновали, во внутренние покои допускались по два-три человека из приемной. Платон Александрович принимал поздравления и пожелания доброго утра, совершенно не глядя на тех, кто его поздравлял, отпускал, не прощаясь с ними, и, кажется, весь этот парад утренних гостей был нужен только для того, чтобы помочь его светлости окончательно проснуться.

Потемкин высмеивал фаворита на весь Петербург. Партия Зубовых, оскорбленная в своих лучших чувствах, жаловалась императрице. Измученная этим трудным соперничеством, государыня предприняла на страстной неделе еще одну попытку примирить враждующие стороны. Зная глубокую набожность Потемкина, она уговорила братьев Зубовых, Платона и Валериана, воспылать хотя бы раз в жизни истинно христианскими чувствами. Замысел императрицы состоял в том, чтобы обоим Зубовым говеть, исповедоваться и принять причастие совместно с князем в небольшой дворцовой церкви. Не может быть, думала она, чтобы зрелище этих двух примерных прихожан не повлияло хоть в какой-то степени на настроение светлейшего...

Скандал разразился в великую пятницу. Народу в церкви было много, человек сорок, присутствовала и сама государыня. Служба была редкостная по красоте и торжественности. Пели монахи, приглашенные из Невской лавры, обители, в которой в свое время сам светлейший монашествовал. После службы архиепископ, выйдя с золотым сосудом на край амвона, поклонился и замер в ожидании.

Причашавшихся было трое — светлейший, Платон и Валериан Зубовы. Светлейший стоял в середине, Зубовы по правую и по левую руку. Между этой тройкой и архиепископом не более двух-трех шагов, но нужно было кому-то первым подойти и принять причастие. Разумеется, первенство светлейшего никто не собирался оспаривать, но у Потемкина была одна странность — он считал себя лицом духовным. Перед тем как принять причастие, он выжидал долгую паузу, чтобы дать время священнику осознать, кто перед ним стоит.

Платон Зубов, будучи человеком недалекого ума, решил, что Потемкин хочет уступить ему право первому принять причастие, имея в виду то особое положение, которое он теперь занимает. Собственно, он этого давно ожидал, это и было бы, по его представлению, истинно христианским поступком. Говорят, Платон Зубов не только наклонил туловище вперед, чтобы сделать шаг, он даже ногу было занес, чтобы ступить. В последнюю секунду, заметив краешком глаза побагровевшего фельдмаршала, он успел отдернуть ногу, не коснувшись ей пола. Увы, было уже поздно. Уловив сделанное движение, Потемкин широким жестом пригласил:

— Пожалуйста, я с удовольствием приму причастие после вас.

Но Платон, поняв, какого он дал маху, стоял намертво:

— Нет, только после вас.

Хор умолк, пауза в службе становилась конфузливо долгой.

— Тело и кровь Христовы ждут,— тихо, но твердо проговорил архиепископ.

И вдруг бойкий Валериан, любимец государыни и баловень петербургских красавиц, решив, что заминка связана с тем, что хлеб с вином не особенно привлекательны на вкус, заявил громко, на всю церковь:

— А я вот это дело люблю...

И первым пошел причащаться. Через несколько минут они вышли из церкви непримиримыми врагами, врагами дожили свой век и врагами покинули этот мир.

Время шло, а Потемкин и не собирался возвращаться на юг. Конечно, его приезд был вызван непомерными аппетитами нового фаворита, но если ему не удалось эти аппетиты урезать, зачем торчать в столице? Хотя нет, борьба еще не кончена! Видимо, чтобы восстановить свое доброе имя в глазах Петербурга, светлейший решил закатить праздник. Бал, какого еще не видывали! Приготовления начались с того, что светлейший снес целый квартал, мешавший виду из окон дворца на окрестности. Внутри подковообразного дворца тоже во всю шла работа. Кажется, одни наружные стены да крыша остались нетронутыми. Вокруг был расширен английский парк, в большой спешке был создан зимний сад, превосходивший размерами и великолепием сад Зимнего дворца.

Лучшие умельцы столицы, мастера по дереву, камню, стеклу, металлу, были собраны в Таврическом. Несколько сот художников и скульпторов трудились с утра до ночи. По эскизам и рисункам, разработанным самим князем, украшали залу за залой. Перебрали все лавки, скупали прямо со складов хрустальные люстры, китайские вазы, а если чего не хватало, брали в долг у тех, кто славился вкусом и богатством. Со стекольных заводов самого князя были завезены большие, во всю стену зеркала.

К пасхе приготовления были окончены. Перед обновленным дворцом на площади были построены гигантские качели для простого народа. За качелями полукругом стояли игрушечные разноцветные лавки. В этих лавках во время празднества бедный люд должен был получить не только еду и угощение, но также и обувь, одежду — словом, все, что по тем временам могло облегчить жизнь простого человека.

В день праздника была великолепная солнечная погода. Большие события, как известно, порождают множество слухов, и хотя съезд гостей ожидался только к шести, уже рано утром 9 мая гигантская толпа собралась на площади перед Таврическим дворцом. Целый день провел этот люд в долгом, томительном ожидании, лишь бы в минуту раздачи быть поближе к лавкам.

Согласно заранее разработанному расписанию бесплатная раздача в лавках должна была начаться, как только карета государыни подъедет к крыльцу дворца. Появление первых экипажей с гостями вызвало сильное волнение в толпе. Ожидание было столь велико, что в потоке подъезжавших экипажей кто-то принял карету одного из вельмож за карету государыни. Завопив многоголосое «ура», толпа кинулась к лавкам, но лавки еще не получили распоряжения открыться. Сутолока и давка приняли такие угрожающие размеры, что когда наконец карета государыни, запряженная шестеркой белых лошадей, появилась в переулке, она не смогла подъехать к дворцу и вынуждена была с четверть часа прождать, пока успокоят толпу.

Таврический поразил Екатерину роскошью и изяществом. Из довольно скромного тесноватого вестибюля раскрытые двери вели в огромную, вытянутую в длину залу. Главным украшением залы были выстроенные вдоль стен в два ряда мраморные колонны. Между каждой парой колонн — ниша, в глубине которой гигантское, во всю сте-

ну зеркало, благодаря чему эти ниши превращались в сказочные беседки. В каждой из этих беседок была своя мебель, свой стиль, свое изящество.

Следующее помещение было предоставлено театру. Места для зрителей были расположены полукругом. Едва государыня и ее приближенные заняли места, как опустились шторы, погас свет и началось представление. На огромном черном фоне возшло гигантское зарево, в центре которого сияли вензеля «Е» и «В», что, конечно же, означало Екатерина Великая. Представители всех народов, которым, по мнению устроителя праздника, государыня принесла свободу и счастье, выходили в национальных костюмах и с песнями и танцами поклонялись этому солнцу.

По возвращении гостей в колонной зале была устроена искуснейшая иллюминация. Вдруг зажглись сотни лампад из разноцветного стекла, гирляндами ниспадавшие с потолка, причем каждая из этих лампад представляла собой особый цветок. Вся эта масса разноцветного огня, отражаясь в доброй полусотне зеркал, преломлялась в люстрах, и каждый хрусталик, впитав в себя каплю света, устраивал сказочное цветочное пиршество. Впечатление было столь сильное, что сама Екатерина, никогда ничему не удивлявшаяся, спросила светлейшего:

— Разве тут мы уже бывали?

Праздество началось знаменитым маршем «Гром победы, раздавайся». Пушечные выстрелы, фейерверки, вопль ликующей толпы на площади. Двенадцать пар гостей, среди которых были и внуки Екатерины, великие князья Александр и Константин, показали на сцене заранее разученную кадрили — уму непостижимо, как это Потемкину удалось уговорить будущего царя России Александра I ходить к нему в Таврический на репетиции кадрили...

Екатерина была уверена, что никто в мире не смог бы превзойти светлейшего вкусом, размахом, гостеприимством. За ужином она все оглядывалась, с кем бы поделиться, и вдруг заметила рядом человека совершенно сникшего, растерянного. Увы, то был ее любимец, ее воспитанник Платон Зубов. Он сидел одинокий, подавленный. О нем, казалось, никто больше не помнил, никто не нуждался в нем. «Ах вот оно что!» — сообразила вдруг государыня, и все ее хорошее настроение миг улетучилось.

Оказывается, война между светлейшим и Зубовым продолжалась. Оказывается, это была просто видимость бала. На самом деле светлейший продолжал наступать на ее любимцев. Теперь он давил их богатством, размахом, артистизмом. Он их почти раздавил, и если они еще живы, то не ее ли святая обязанность первой кинуться им на помощь?

В разгар пиршества государыня вдруг спросила громко, через весь стол:

— А что, светлейший, нашли покупателя для своего могилевского имения?

У Потемкина было одно из самых крупных в России, самой же государыней подаренное имение. Двенадцать тысяч душ, более сотни деревень и хуторов. Управлять таким громадным имением по тем временам было невозможно, не раздробив его на ряд более мелких поместий. Потемкину некогда было возиться с Могилевом, он все искал, кому бы его продать. Найти покупателя было нелегко, потому что оценивалось оно приблизительно в миллион рублей.

Государыня временами посмеивалась над светлейшим, говоря, что она нарочно повесила ему на шею этот Могилев, чтобы ему некогда было бегать за красавицами. Но вот императрицу осенила какая-то мысль, и замерла гигантская зала. Утихли разговоры, не слышен больше звон бокалов. Озадаченный хозяин дворца принялся своим единственным глазом сверлить мраморную колонну в глубине, потому что

нужно было быстро, в секунду угадать, что скрывается за этим вопросом государыни.

— Позвольте, ваше величество, сначала полюбопытствовать — с чего это вы вдруг вспомнили о могилевском имении?

— Хочу его купить у вас.

О эти сильные мира сего... Как могут они в одну секунду возвеличить человека и как вдруг, опять же в одну секунду, разрушить все, чем он жил. Цвет северной столицы замер и не дыша следил за этим поединком. Юное, по-женски красивое лицо Платона Зубова начало изнутри светиться предвкушением надвигающегося счастья. По мере того как оживало лицо Платона Зубова, мрачнело лицо светлейшего. Государыня сохраняла беспристрастное выражение, и только начавшие выцветать голубые глаза засветились былым озорством. Играть так играть.

— К сожалению, ваше величество, могилевское уже продано.

Полторы тысячи гостей ахнули, ибо государыне, даже когда имение и продано, не говорят об этом, если царица заявляет о своем желании его купить. От неожиданности Екатерина дернула своей высокой, седой, украшенной красной лентой с крупными бриллиантами прической.

— Кому же вам удалось сбыть это огромное имение?

Потемкин в отчаянии стал оглядываться. Совершенно случайно ему попался на глаза камер-юнкер Голынский.

— Да вот ему и продал.

Екатерина улыбнулась. Как блефует подлец, подумала она, как блефует! Она слишком хорошо знала этого скромного юношу, совсем недавно пожалованного ко двору. Знала о заложенных имениях и бесконечных долгах его родителей, известны ей и вздыхания этого юнца по поводу одной из фрейлин. Правда, и сама фрейлина была к нему равнодушна, но жениться они не могли, потому что нельзя же, в самом деле, начать строить жизнь ни на чем. Государыне как-то намекали, что небогатый свадебный подарок мог бы составить счастье этой пары, и она начала было над этим подумывать, но чтобы такой поворот...

Екатерина улыбнулась Голынскому улыбкой матери родной и спросила:

— Сознайтесь, юнкер, что светлейший шутит.

Голынский размышлял. Конечно, ответив, что это не более чем шутка, можно было рассчитывать на хороший свадебный подарок со стороны государыни. Но, с другой стороны, каков бы ни был этот подарок, одна мысль, что при некоторой удаче он мог бы стать хозяином могилевского имения...

Дитя своей эпохи, самой же государыней взращенное, Голынский, к великому разочарованию своей повелительницы, заявил:

— Увы, ваше величество, не хотелось бы мне вас огорчать, но имение действительно куплено мной.

— Что ж,— сказала государыня,— поздравляю вас с хорошим приобретением.

И поднялась.

Когда Екатерина покидала дворец, светлейшего охватила паника. Какое-то чутье говорило ему, что никогда в жизни он уже не сможет избавиться от тоски, печали, пожирившей его душу. Государыня была единственным человеком, который мог поддерживать в нем величие духа, но она его покидала...

Проводив Екатерину до коляски, он опустился перед ней на колени, целовал ей руки, плакал, как дитя, и видно было, что рухнуло что-то в этом гигантском исполине. Возвращаться к гостям ему не хотелось. С отъездом государыни все теряло смысл. Он презирал всю эту праздничную толпу, да и что ему в ней, если среди них не найдется ни одной души, готовой протянуть ему руку, чтобы вытащить его

из трясины бесконечной печали... Хотя нет, погоди... В ту секунду, когда государыня спросила про могилевское, он мельком заметил за одним из столов ту очаровательную древнегреческую богиню, которая так долго светила ему и манила издалека...

— Попова ко мне!!!

Помощник прибежал запыхавшись, ибо поручено ему было в тот день носить за светлейшим его шляпу. Праздничная шляпа Потемкина была украшена таким количеством бриллиантов и драгоценностей, что надевать ее не было никакой возможности — она весила около десяти фунтов, — и потому поручено было носить ее следом за фельдмаршалом. Прибежав, Попов тут же протянул свою ношу, но Потемкин оттолкнул это дурацкое сооружение.

— Где она?

— Уехала, ваша светлость. Тут же, следом за государыней отбыть изволила.

— Карету!!!

В третьем часу утра по залитому удивительным сиянием белых ночей Петербургу неся во весь дух экипаж светлейшего. Остановились у белокаменного дома на Разъезжей, у Пяти Углов. Там и только там он сможет перевести дух, там и только там сбросит с себя оковы этой черной тоски.

В огромном дворце гофмаршала двора князя Бяратинского, в котором жила и его дочь, похоже, уже спали. На окнах были опущены шторы, как всюду в Петербурге во время белых ночей, но эти шторы нисколько не смутили светлейшего, привыкшего, что все в жизни начинается с него. Растолкав сонных слуг, он с неожиданной для своей комплекции живостью взбежал на второй этаж, дернул одну дверь, вторую, третью...

И вдруг перед ним встал в смешном халате, в колпаке гофмаршал двора. Он не любил Потемкина, но боялся его. Теперь, кажется, он его и не любил и не боялся.

— Сожалею, князь, но в доме у меня все уже почивают...

— Это не беда. Почивающему встать недолго.

— Да, но еще проще не ко времени заглянувшему гостю...

Оскорбленный до глубины души Потемкин выпрямился, как струна, — неужели эта придворная крыса осмелилась? Все его состояние, и состояние его дочери-красавицы, и сам этот каменный дом, и халат, и колпак — все было нажито при прямой или косвенной поддержке князя... Увы... В ту секунду, когда государыня покидала его дворец, вместе с ней покидал его весь высший свет.

— Неужто вы осмеливаетесь мне указывать?..

— О нет, ваша светлость, как вы могли такое подумать! Я единственно хотел обратить ваше внимание на то, что, поскольку время позднее...

Потемкин спустился. Выйдя на улицу, не сел в дожидавшийся экипаж, а пошел пешком. Он шел грузно, медленно и думал, что, несмотря на огромные затраты, празднество ничего не дало, потому что в России испокон веков битвы выигрываются и проигрываются по воле государей. Остальное не в счет. Экипаж следовал на некотором расстоянии за ним в расчете на то, что князь устанет и сделает знак подъехать, но он не сел. Один раз, за Мойкой, чуть не разминулись — экипаж, думая, что князь идет к себе в Зимний, свернул на Невский, но князь пересек Невский и направился в Таврический.

С той ночи он никогда более не возвращался в свои покои при Зимнем дворце. Отныне Таврический становился его домом. Но добравшись до дворца, он не пошел к гостям, которые все еще гуляли, а остался на площади с тем забытым богом людом, который догуливал на крохах от того славного праздника.

Подсев, князь вместе с ними пил, пел грустные песни, рыдал на плечах. Ему вспомнилась Смоленщина, бедный обветшалый двор, беспокойный дух юности, и, странное дело, за этой скудной трапезой, за старинными песнями эти люди каким-то образом умудрились снять с его плеч часть той неутолимой печали, которая пожирала его.

Вздыхнув наконец полной грудью, расцеловав всех на прощание, Потемкин вернулся в свой опустевший к тому времени дворец. Сел в глубокое кресло, в котором еще недавно государыня играла в карты, и, положив огромную нечесаную голову на зеленое сукно игорного стола, уснул мертвым сном.

Часа через два проснулся от какого-то толчка. Подняв голову, увидел перед собой озадаченного поручика Гольинского.

— А, покупатель пришел,— сказал Потемкин, зябко поеживаясь.— Давай выворачивай карманы, что там у тебя...

— Две деревеньки в шестьсот душ и тысяча рублей при условии, конечно, что папенька и маменька...

— Хорош покупатель... Долго искал.

— Что поделаешь, ваша светлость. Обстоятельства... — общипнически улыбнулся юнкер.

Потемкин измерил его острым глазом.

— Да неужто ты шуток не понимаешь?!

— Я... шу... по... — только и смог выговорить Гольинский.

Потемкину вдруг стало его жалко — господи, до чего слаб человек! Как мало нужно, чтобы сделать его счастливым, и как мало нужно, чтобы уничтожить его.

— Вот что,— сказал он после некоторого раздумья,— поезжай в Казенную палату, возьми ссуду под могилевское имение. Тысяч сто они должны тебе под это имение отпустить. Вот эти деньги принесешь, а там пользуйся, раз фортуна улыбнулась...

Гольинский стоял ни жив ни мертв. Потом, кинувшись на колени, схватил руки князя, но Потемкину ни к чему были его благодарности.

— А отпустят они мне, ваша светлость, такую сумму?

Порывшись в карманах, князь обнаружил лоскуток какой-то бумаги и, расправив его на колене, вывел карандашом: «Сему Гольинскому выдать сто тысяч в залог под могилевское имение».

Отдав записку, тут же уснул. Спал сладко как никогда. Снилось ему, будто дает он новый бал для своих вчерашних гостей, но уже не в Таврическом, а на огромном корабле в водах Черного моря. Пока гости гуляли, светлейший, подозвав адмирала Ушакова, приказал незаметно вывести корабль с гостями далеко в море. В самый разгар бала он, спустившись с Ушаковым в шлюпку, приказал ударить прямой наводкой со всех батарей по этому разгулу человеческого отребья, но — что такое? С обреченного корабля высунулись две крысиные мордочки, которые самым что ни на есть человеческим голосом принялись его усовещивать... Мол, где это видано, чтобы из всех пушек, да еще прямой наводкой, да еще по своим же гостям...

— Что-что-что?! — взревел Потемкин и проснулся.

Майское солнце купалось в зеркальных стенах Таврического дворца, и это обилие света, преломляясь в люстрах, расплывалось бесчисленными радугами. Сквозь все это великолепие Потемкин опять разглядел все того же растерянного Гольинского, стоявшего с запиской в руке.

— Они отказали, ваша светлость,— сообщил он упавшим голосом.— Сказано было — такая крупная сумма не может быть выдана без соответствующего формуляра, скрепленного подписями.

— Разве там моей подписи нету?

— Есть, но сказали — мало.

— Сукины сыны!!! — завопил вдруг Потемкин.— Да знают ли те канцелярские крысы, что моя подпись сегодня все еще означает мир

или войну, жизнь или смерть для целых народов! Как смеют они из-за каких-то паршивых ста тысяч...

Взял у Гольинского записку и, расправив ее опять же на колене, тем же карандашом вывел на обратной стороне: «Денег дать... вашу мать».

Весной сразу после переезда в Царское Село государыня запросила последние сообщения о положении армии на юге. Оказалось, что от Репнина, заменявшего князя, давно никаких известий нет, стали выяснять, в чем дело. Донесли, что в конюшнях кирасирского полка скопилось множество курьеров с юга. Не имея более под рукой курьеров, Репнин был не в состоянии поддерживать связь со своим главнокомандующим, загулявшим в столице.

Это уже меняло дело. Там, где интересы державы затрагивались в самой основе, Екатерина переставала быть женщиной, союзницей, любовницей, становилась грозной императрицей, столпом государства. В полночь из Петербурга был вызван в Царское начальник канцелярии Потемкина Попов. Этот вызов был скорее похож на арест — никто не знал, кто зовет, и почему среди ночи, и по какому делу.

Екатерина приняла Попова в шестом часу утра, и по всему видно было, что не ложилась в ту ночь.

— Верно ли, — спросила она Попова, — что целый эскадрон курьеров с юга задерживается вами в столице?

Плутоватый полковник быстро соображал. Продавать своего главнокомандующего он не смел и не хотел, однако же надо было и о себе подумать.

— До десяти, пожалуй, наберется.

— Зачем не отправляете их?

— Нет приказа.

Екатерина прошла по кабинету, взяла с мраморного столика золотую табакерку с портретом своего великого предшественника. Нет, подумала она, удержать власть, спрятав меч в ножны, невозможно. Власть удерживают только при обнаженном мече. В этом, так же как и во всем остальном, Петр Алексеевич был прав.

— Передайте своему князю, — сказала она, — чтобы сегодня, и непременно сегодня, он ответил что понужнее Репнину. Как только будет исполнено, немедленно известите меня запиской, сообщив, в каком часу и каким числом курьеры отправлены на юг.

Попов поклонился и вышел. Его экипаж летел птицей в сторону Петербурга. Гуляя по пустынному парку, государыня долго еще слышала удалой перезвон поповских колокольчиков. Поначалу это ее как-то успокоило, но расторопность Попова оказалась обманчивой. Прождав целый день и так и не получив ожидаемой записки, государыня созвала Совет с участием всех коллегий и Сената. Бурное заседание длилось почти всю ночь, и под утро Екатерина прочитала ему самой составленное постановление, в котором светлейшему князю в самых категорических выражениях предписывалось немедленно вернуться на юг в действующую армию, завершить мирные переговоры с турками и вернуть армию в собственные пределы.

У Потемкина, так же как и у государыни, повсюду были свои люди. Узнав о заседании Совета, он незамедлительно сел в экипаж и покати в Царское. По иронии судьбы именно когда Екатерина читала постановление, карета светлейшего подъезжала к занимаемой им части дворца. Зная буйный нрав Потемкина, все ожидали, что он с минуты на минуту ворвется на заседание. Ужас сковал высокопоставленных вельмож, когда им предложили голосовать за или против постановления. Государыня, однако, была непреклонна. Она первая проголосовала за, тем самым заставив Совет принять постановление. Когда оно было принято, императрица предложила, чтобы кто-нибудь из са-

новников прошел в покои князя и предложил ознакомиться с содержанием принятого решения.

Как будто это было так просто сделать — взять постановление и пойти. Конечно, пока государыня рвет и мечет, а сам светлейший не в себе, это дело верное. А ну как завтра они помируются и все пойдет опять как по маслу? Да ведь тогда тому, кто сегодня войдет с этим постановлением, наверняка головы не сносить!

В конце концов императрица, поставив свою подпись под постановлением, сама поднялась и направилась в покои светлейшего. Она шла медленно, кружным путем, через Зимний сад и все время старалась припомнить того подпоручика, который, участвуя в заговоре ночью 28 июня, почти тридцать лет назад, подъехал к ней на лошади и предложил свой темляк. Государыня была в ту ночь одета в форму офицера, но в суматохе ей забыли надеть темляк на саблю. Немка по происхождению, Екатерина чувствовала себя неудобно, если порядок бывал хоть в чем-то нарушен. Заметив, что государыня проявляет беспокойство, Потемкин подъехал и, узнав, в чем дело, снял со своей сабли темляк и надел на эфес ее сабли...

Господи, целая вечность прошла с тех пор! Кто бы мог подумать, что младший офицер, протянувший свой темляк молодой взбунтовавшейся царице, со временем наберет такую силу, такую власть, что будет в состоянии угрожать самим основам...

— Извольте ознакомиться, светлейший князь, — начала Екатерина и осеклась. Хотя давно уже рассвело, в кабинете светлейшего были опущены шторы и она не сразу увидела хозяина.

Он лежал на тахте с перевязанной полотенцем головой — очевидно, никак не мог выбраться из очередного перепоя. С трудом преодолевая боль, он поднялся с тахты, кое-как доплелся до государыни, опустился перед ней на колени, стал ловить ее руки, чтобы их поцеловать, слезы градом текли по его крупным мясистым щекам.

Оставив князю постановление, государыня одинокая, задумчивая провела весь день в бильярдной, гоня шары. Она не была уверена, что поступала правильно, вынуждая, в сущности, тяжело больного человека ехать на юг, но, с другой стороны, иного выхода не было и, стало быть, что сделано, то сделано. Если интересы державы того требуют, то, стало быть, и толковать не о чем.

Вечером, чтобы как-то успокоиться, пригласила нескольких приближенных сыграть партию-другую в карты. Вечер, как это всегда бывает с этими наспех сымпровизированными вечерами, выдался на славу. Буйное пламя камина гуляло по зеркалам, а за игорным столиком разгорелись страсти. Хотя ставки были небольшие, государыне удалось выиграть около десяти рублей. Уже решалась судьба третьей партии, а у нее, похоже, опять была сильная карта в руках.

— Не мучьте, ваше величество. Покажите, что у вас.

— Два туза.

Старик Салтыков только руками развел:

— Как, однако, везет нашей матушке!

Екатерина воинственно тряхнула седыми локонами.

— Богу небось ведомо, кому деньги до крайности нужны. На Северном море вот-вот появится неприятельский флот. На Дунае застряла целая армия. Для того чтобы выкрутиться из всех этих передряг, мне нужна пропасть денег, а вам они зачем?

Гофмаршал Барятинский сладко улыбнулся, но тем не менее осмелился заявить:

— Все-таки, ваше величество, выигрывать приятнее, чем проигрывать.

— В таком случае не садитесь с государями за один стол.

Острота имела чрезвычайный успех. Гостям было так хорошо и весело, что жалко было их отпускать, и хозяйка предложила:

— А что, если сыграть еще партию? Давайте еще одну. Напоследок.

Едва карты были розданы, как в кабинет ворвался в своем вишневом халате светлейший князь Тавриды. Отоспавшись за день, он наконец расправил на коленке постановление. Принялся читать, и первые же строчки привели его в неистовство.

— Ваше величество, как следует понимать это оскорбительное для меня решение?.. Как понимать, что лично вы своей рукой..

Платон Зубов, сидевший тоже за игорным столом, поднялся и на правах хозяина спросил:

— А как понимать, светлейший, ваше столь неожиданное вхождение в кабинет ее величества?

— Что-о-о?! — взревел Потемкин.

— Друзья мои, — сказала Екатерина, поднявшись из-за стола. — Давайте ненадолго прервем игру. Платон Александрович, покажите гостям коллекцию, только что доставленную мне из Голландии. Я, правда, собиралась представить эти работы при дневном освещении, но, думаю, при свечах они будут выглядеть романтичнее. Тем временем мы со светлейшим обговорим наиболее срочные дела. Приятной вам прогулки и передайте Захару, пусть неотлучно дежурит у моих покоев.

Оставшись наедине, светлейший опустился перед своей повелительницей на колени, поцеловал ей руки и сказал:

— Ты стала бояться меня, матушка? Раньше, когда у нас бывали разлады, ты никогда не оставляла дежурить слуг. Даже в самые худшие времена, когда мы желали остаться наедине, действительно бывали одни.

Екатерина мягко высвободила руки, прошла в дальний угол кабинета и, бледная, взволнованная, села в кресло.

— Ты сильно постарела за этот год, матушка.

— В седине есть свое очарование.

— Пожалуй, — сказал князь, — но наступают времена, когда седина уже плохо выглядит рядом с вихрастой шевелюрой на одной и той же подушке.

Этого шестидесятилетия Екатерина перенести не могла. Любое, даже косвенное осуждение последней любви приводило ее в негодование.

— Я всю себя, без остатка, — прокричала она, чеканя каждое слово, — отдала служению моей державе! А что до моей частной жизни, то это никого не должно касаться!

— Заблуждаешься, матушка, считая, что частная жизнь монарха к делам управляемой им державы некасаема! На самом деле это побеги единого древа! И с того самого вечера, когда молодой ротмистр стал провожать тебя в твои внутренние покои, совершенно по другим ценам стали продавать овес в Тамбове.

— Да при чем тут цены на овес?

— А очень просто. Обыватель — он как рассуждает? Рядом с государыней ротмистр стоять не может, ему придется дать генерала, а за генеральский мундир должно хоть какое-нибудь да быть сражение. Пешему на войне побеждать долго, на войне нужен конь, а без овса на том коне далеко не уедешь.

— Вас-то почему повышение цен на овес так задело?

— Да потому, что моя армия сидит на тощих, плохо зимовавших лошадях. Без дополнительного фуража перейти Дунай мы еще можем, но нанести решающий удар по Константинополю и овладеть им — не в силах.

— Разве кто-нибудь требует от вас, чтобы вы непременно овладели Константинополем?

«Господи, — подумал Потемкин, — до чего запоздалая любовь мо-

жет довести шестидесятилетнюю женщину! С ней положительно стало невозможно говорить!»

— Матушка,— сказал он как можно мягче и ласковее,— в нашей с тобой совместной жизни был день, великий день, вернее была ночь, великая ночь, когда мы поставили себе целью сразить Оттоманскую империю и возродить на ее развалинах древнюю Византию. Это было нашей мечтой. Я всю жизнь обживал юг, строил корабли, налаживал торговлю и производство, чтобы обеспечить себя тылами, я даже проложил дорогу из Харькова на Балканы. И ты ведь не случайно нарекла своего новорожденного внука Константином. Теперь великий князь Константин танцует у меня на балу, он вполне готов носить корону нового государства. Стотысячная армия стоит у Дуная, до Константинополя рукой подать, а ты требуешь от меня незамедлительного заключения мира и возвращения армии в пределы! Это ли не предательство!

Екатерина улыбнулась. Все-таки она его любила. Был полет, была удаля, был размах во всем, что говорил и предпринимал светлейший. Но, с другой стороны, бог ты мой, до чего временами нелепыми оказывались и эта удаля и этот размах...

— Князь, не мне вам говорить, что время берет свое, интересы державы перемещаются то в ту, то в другую сторону. Не может страна, если она не безумна, все время гнуть одно и то же. Еще древние говорили, что все в мире течет, все изменяется.

— Но существуют же особые ценности, никаким колебаниям не подвластные!

— Таких вещей в природе нет.

— А бог?

— И боги меняются и перемещаются в той степени, в которой меняются и перемещаются верующие в них люди.

— Но душа, по крайней мере, моя бедная душа, которая то ликует, то плачет, она, я полагаю, все та же?!

Екатерина подошла, виновато прислонила лоб к его могучему плечу.

— Я соскучилась по тебе,— сказала она тихо.

— Вели Захару идти спать,— предложил князь.

— Я его задержала единственно с тем, чтобы созвать гостей. Мы же перед твоим приходом только что rozdali карты.

— Как? И после всего этого ты будешь еще в карты играть?!

— Но,— сказала Екатерина растерянно,— игра не может быть брошена! На столе лежат rozdанные карты, в банке деньги собраны...

Потемкин, глядя куда-то в пространство, долго и обреченно качал своей огромной смурной головой.

— Матушка, иногда я узнаю в тебе немку, и меня оторопь берет.

— Оторопь вас берет совершенно по другому поводу,— сказала Екатерина.— Вы боитесь, что я умру раньше вас и что вы останетесь наедине с моим сыном, который вас ненавидит, так же, впрочем, как и вы его. Вам кажется, что, когда вы останетесь с ним наедине, вас не спасут ни заслуги, ни богатства. Вот вы и ищете, за что бы спрятаться. То вы хотите византийской короной себя защитить, то мантией духовного лица себя облечь. Так вот что я вам скажу, князь. Успокойтесь. Я даю вам слово, что раньше вас из этой жизни не уйду. На этом давайте и порешим.

Сочтя разговор исчерпанным, она подошла к игорному столу, заняла свое место и крикнула Захару:

— Ну, где там мои гости?

Встрешенные неопределенностью и ночной прогулкой, гости вернулись, но игра уже не клеилась. Остатки недавней ссоры продолжали висеть, как клубы дыма, в воздухе. К тому же фельдмаршал стоял посреди кабинета, занимая собой все пространство. Видно

было, что он не в духе и это надолго. Карты тихо ложились на стол. Выиграла опять государыня. Поздравив ее с необыкновенным везением, гости стали прощаться.

И вот они остались втроем — Он, Она и опять Он. Знаменитый треугольник, обошедшийся человечеству дороже любой другой геометрической фигуры. Собственно, треугольником это называется просто из человеколюбия. На самом деле острота его в том и состоит, что один из трех должен избавить двух других от своего присутствия. Потемкину и в самом деле пора было уйти вслед за гостями, но он все стоял посреди кабинета и трудно было предположить, что он когда-нибудь сдвинется с места. Должно быть, ему хотелось посмотреть своими глазами, как шестидесятилетняя женщина удалится в свои покои в сопровождении молодого фаворита. Екатерина с ее чувством такта прекрасно понимала щекотливость положения и не спешила прощаться.

— А что, если выпить по капельке рома? — предложила она вдруг. — Помните, в юности, живя на острове, где мой отец служил комендантом, в длинные холодные вечера мы, сидя у камина, баловали себя капелькой рома, и, право, это очень скрашивало нам жизнь! Захар!

Ром был принесен, но не имел успеха. Екатерине он показался слишком крепким, и она не допила рюмку. Потемкин не стал себя растравлять такой малостью. Один Платоша опрокинул в себя то, что ему было предложено, после чего молодцевато повел плечами и неожиданно для самого себя обратился к Потемкину:

— Вы совершенно напрасно, светлейший князь, пренебрегли проявленным к вам расположением. И дело вовсе не в том, что это может кого-то обидеть. Беда в том, что из-за этого может пострадать ход государственных дел.

— Не вижу, — сказал князь, вернувшись опять к догорающему камину и грызя ногти, отчего его речь, процеженная сквозь пальцы, становилась глуховатой и невнятной, — не вижу, каким образом наша взаимная неприязнь может отразиться на государственных делах.

— Очень даже просто. Мы втроем на сегодняшний день представляем мозг и волю державы. У каждого из нас свои виды, свои прожекты, но мы не можем начать их осуществление, не согласовав их.

— Мои прожекты, — прорычал Потемкин, — суть победы русско-го оружия последние двадцать лет на суше и на море. Если у вас тоже есть какие-нибудь прожекты, рад буду с ними ознакомиться.

— Могу поделиться. Впрочем, я готов даже кое-что прочесть. Из своего, разумеется...

Государыня, видя, как далеко заходит дело, поспешила подготовить светлейшего:

— А знаете, князь, у нашего Платоши открылся прелестный литературный стиль! Он, правда, отлынивает, но я его заставляю работать, и теперь по утрам мы оба садимся за работу — он за своим столиком, я за своим.

— Что ж, — сказал Потемкин, прекрасно знавший, когда и при каких обстоятельствах просыпается Zubov, — ничего удивительного. Дворцы и роскошь всегда располагали к сочинительству.

Достав нужные бумаги, картинно встав перед своими слушателями, Платон Zubov набрал полные легкие воздуха. Хотя, гм, небольшая заминка.

— Вступление тут у меня на французском, оно еще недостаточно отшлифовано. Начнем с пункта первого. «Общих исторических мест рассуждение относительно устройства столиц, династий и дворов. По завершении всех наших побед в мире мусульманском, католическом и лютеранском преобразованная Россией Европа должна иметь суть следующие столицы — Москва, Астрахань, Вена, Константинополь,

Берлин, Стокгольм, Копенгага и Варшава. Хотя каждая из этих столиц будет иметь свой особый двор, сами эти дворы, однако, будут оставаться под началом главного, петербургского двора. Что касается армии, финансов и таможенного контроля...»

— Но позвольте! — вскричал князь. — Вы называете в качестве вассалов столицы ныне существующих держав! Куда, по-вашему, эти державы денутся?

Это был тяжелый удар для самолюбивого фаворита. Из всех существовавших тогда правительственных учреждений ему почему-то особенно приглянулась Коллегия по внешним сношениям. Он подчинил ее себе полностью, но, плохо разбираясь в межгосударственных отношениях, слабо владея языками, запутал всю внешнюю политику России. На заседаниях Совета его укоряли в том, что у него нет единой концепции в ведении иностранных дел. Эти идеи должны были стать основой его иностранной политики, и вдруг такой удар в самом начале — куда, мол, эти страны денутся?..

— Для могущественной державы, — сказал вызывающе Платон Зубов, — какой является наша, это не может составлять проблемы.

— Спору нет, для могущественной державы это не может составить проблемы, но для державы х р и с т и а н с к о й, притом что и остальные державы христианские, это очень даже может составить проблему. Причем гигантскую, неразрешимую проблему!!!

— Христианство есть религия, — сказал, подумав, фаворит. — А религия к делам политическим некасаемая.

— Нет, друг мой! Христианство есть формула нравственности, а уж нравственность составляет фундамент любого цивилизованного государства.

— Христианство есть религия, и только, — заявила вдруг Екатерина.

— Не соглашусь, матушка! Христианство есть такое состояние нравов, при котором вот оно, как будто и можно, но на самом деле — нельзя!

— Если можно, то почему нельзя? — спросил в недоумении фаворит.

— Потому что над нами — бог. Призывая его в судью и вершителя всех наших земных дел, мы тем самым как бы признаем ответственность всех наших деяний. Человек предполагает, а бог располагает. Это речение витает не только над церковными нищими, но и над сильными мира сего.

— Если об этом все время помнить, то невозможно будет даже роту солдат поставить во фронт, — усмехнулся Зубов.

— А если забыть об этом, — вскричал князь, — то можно родную мать поставить по стойке смирно и забыть о ней на добрую сотню лет!

У Зубовых, по слухам, были какие-то нелады в семье, особенно в отношениях сыновей с матерью. Собственно, и сам Потемкин был в ссоре со своей матерью, так что обе стороны на миг ослабили давление друг на друга.

— Ах, мужчины, мужчины, — вмешалась вдруг императрица. — Вам бы все саблями размахивать да о боге спорить. А мне вот завтра нужно пшеницу смолоть и выпечь пять тысяч мешков сухарей для моих солдатиков. Пшеницу достала — смолоть негде. Смелешь — выпечь негде. Выпечешь — высушить негде. Прямо рок какой-то на этой державе — никогда не бывает так, чтобы все было и чтобы все сразу получилось.

Несколько раздосадованный тем, что ему не удалось представить свое сочинение должным образом, фаворит упрятал листы обратно в стол и, чтобы как-то замять конфузность ситуации, сказал примирительно:

— Передышка нужна. Мир нужен. Вот что сегодня главное.

Императрица с жаром его поддержала:

— Право, князь, заключите скорее мир с турками и возвращайтесь. Помимо всего прочего, я просто соскучилась без вас.

— Я со своей стороны тоже очень просил бы вас об этом,— неожиданно заявил фаворит.

— Вам-то что за радость в моем возвращении?

— Радость для меня, конечно, относительная, но мне нужна армия. Согласно принятому постановлению войска, бывшие под вашим началом, поступают в мое распоряжение.

— Помилуйте! — завопил светлейший, пораженный этой новостью, так как никогда ни один документ не дочитывал до конца.— Зачем вам в ваши двадцать пять лет стотысячное войско?

— Вы думаете,— ехидно спросил фаворит,— без стотысячного войска возможен выход через Персию к теплomu Индийскому океану?

— Да зачем вам Индийский океан?!

— Вы забываете, светлейший, что выход через Персию к Индийскому океану — естественное устремление России. Правда, персидский поход Петра окончился неудачей, но наша великая государыня, завершив почти все великие предначертания своего предшественника, не может оставить без внимания проект выхода к Индийскому океану. И не исключено, что его выполнение будет поручено мне.

— Друг мой,— сказал Потемкин, изобразив на лице улыбку,— лень и неспособность заняться каким-либо полезным делом привели тебя к тому, что ты стал бредить неосуществимыми, химерическими планами...

— Уж коль скоро зашла речь о химерах,— задиристо заявил фаворит,— то это скорее ваша Византия, ваша Греция и весь ваш юг.

— Византия — это не химера!

— Не будем спорить. История нас рассудит!

Как-то так получалось, что все у них было на равных. Обоих в свое время государыня допустила к себе и возвысила, обоих обогатила, дала власть, армии, а что до разности их планов...

— Да как ты смеешь, сопьяк, равнять себя со мной?! Я присоединил южный край и Крым к России, я вывел державу к Черному морю, я четыре года сражался против турок, я поставил на колени эту империю! А что ты придумал в свои двадцать пять лет, кроме того что спишь до полудня, и пока ты в постели нежишься, твоя обезьяна в приемной скачет по головам посетителей, грызет парики и мочится на них! И эти олухи, вместо того, чтобы схватить за задние лапки это чудовище...

Побелевший Зубов подошел к столу, достал из выдвижного ящика тяжелый английский пистолет.

— Что-о-о! — завопил Потемкин.— Ротмистр поднимает оружие против фельдмаршала? Да я тебя голыми руками...

В ярости, не помня себя он схватил тяжелое ореховое кресло и высоко поднял над головой. В какую-то секунду оба замерли — один с поднятым креслом, другой с наведенным пистолетом. Дело в том, что помимо них в кабинете находилось еще одно лицо и при несомненном могуществе сцепившихся сторон абсолютной властью обладало именно то третье лицо и от его поведения многое зависело в этой схватке. А третье лицо тем временем спокойно сидело в углу за отдельным столиком и кушало яблоко. Екатерина с юных лет завела себе привычку начинать и кончать день яблоком, и она его аккуратно, с удовольствием вкушала.

Доев, бросила сердцевину с зернышками в изящную, специально для этого поставленную хрустальную вазочку, прошла в другой конец кабинета, взяла золотую табакерку с нюхательным табаком. Миниатюрный овальный портрет Петра смотрел на нее весело и дерзко. Взяв привычную порцию табака и отправив в напудренный нос, государыня чихнула, закрыла табакерку, еще раз посмотрела на своего

великого предшественника: а как бы поступил ты на моем месте? Петр нервно дернул усиками и усмехнулся. Было бы о чем говорить! И то правда, подумала Екатерина, было бы о чем говорить!

— Ну,— сказала она, опустив табакерку на стол,— поболтали о всяких пустяках, теперь пора и на покой. Спокойной ночи, князь.

Она медленно, величественно стала удаляться в свои апартаменты. Платон Зубов, мигом спрятав оружие, незамедлительно последовал за государыней.

Оставшись один, светлейший вернулся к потухающему камину, сел на пол и заплакал.

Глава одиннадцатая

ВОЗВЫШЕНИЕ В САН

Чудотворные иконы на каждом шагу.
Екатерина II.

В России... духовенство всегда было посредником между народом и государем, как между человеком и божеством.

Пушкин.

Построенный в виде четырехугольной каменной крепости, с высокими стенами, с бойницами для стрелков, Нямецкий монастырь в случае необходимости становился неприступным для врагов, но эти его достоинства в дни больших праздников оборачивались его же недостатками. Маленький внутренний дворик был почти полностью занят двумя храмами. С трех сторон в этот сумрачный дворик подслеповато глядели расположенные на двух этажах монашеские кельи. Обращенный на юг главный корпус — с двойными железными воротами, с тремя большими колокольнями — использовался в основном для административных служб, там были трапезная, библиотека, гостиница для приезжих. Свободного пространства внутри монастыря оставалось лишь столько, чтобы пройти в храмы на службу. И то в праздники, чтобы не создавать излишней толкотни, наказано было монахам двигаться главным образом по коридорам своих этажей и спускаться во двор лишь перед самым входом в храм.

Монахи — народ разумный, спокойный, терпеливый. В обычные и даже воскресные дни им как-то удавалось скрыть тесноту своей обители, зато по большим праздникам там ноге ступить было негде. Пройти в храм и выйти из него стоило таких трудов, что от праздничной службы и от самих молитв мало что оставалось.

В тот год на вознесение приехал сам митрополит Амвросий. Поскольку митрополит занимал должность экзарха, то есть главы местного духовенства, он, по обычаям православных церквей, был встречен всем собором, вышедшим ему навстречу далеко в поле с Евангелием и чудотворными иконами. От самого городка Нямец и до монастыря, а это верст пятнадцать, по обеим сторонам дороги толпился народ.

Погода была на редкость. У подножья Карпат стояли те волшебные дни, когда ранние сады уже отцвели, уже и плоды завязались, а поздние все еще никак не отцветут. С высоких гор медленно скатывалась голубизна огромного, необъятного, божественно величавого неба. Уж тут ее, этой прозрачной голубизны, было полно, а она все катит и катит сверху. Солнце светило празднично, согревая всех и каждого, и те, что так долго недоедали, мерзли и страдали в зимнюю стужу, вдруг ожили, заулыбались.

Нямецкий монастырь задышался от напора толпы. Внутри обоих храмов теснота была такая, что гасли свечи и лампы. Все, что было еще живо в Молдавии, все, что еще дышало, собралось с силами и

приползло сюда, потому что Нямец был не просто монастырь — это был символ нации, единственная святыня, оставшаяся нетронутой. И к каким бы партиям бояре себя ни причисляли, в какой бы столице мира они ни свили себе гнездышко на черный день, каждый год в урочный день, на вознесение, они вместе со своей челядью приезжали в Нямец. Из своих разоренных поместий, из долгих скитаний по свету, из Львова, Киева, Москвы, Вены, Константинополя и еще бог весть из каких далей слетались они, чтобы хоть раз в году почувствовать себя народом, воспрянуть духом и спокойно посмотреть в глаза завтрашнему дню.

Времена были тяжелые, монастырь был старый, и теснота образовалась такая, что не только сами храмы, но все проходы внутри монастыря, все лесенки, приступочки — все было забито народом. Престарелые священники, голоса которых уже не звучали в храмах, справляли тут, на воздухе, службы, пели псалмы для тех, кто опоздал или не смог попасть внутрь храма, потому что вознесение для всех должно быть вознесением.

Но это была только малая часть гостей. Основная масса народа, та, которая даже в монастырь не смогла протиснуться, стояла на площади перед обителью, в прилегающих к монастырю садах, и дальше сколько видел глаз по склонам гор стояли люди. Они стояли с горящими свечами, слушали праздничный перезвон, крестились и втайне ждали угощения, которым по большим праздникам эта обитель их баловала.

В главном храме, построенном Стефаном Великим, служили двенадцать священников, по числу апостолов, причем шесть из них пели на молдавском, шесть на церковнославянском языке, и это придавало литургии особое очарование. Но, конечно же, как всегда, украшением празднества были хоры, знаменитые мужские хоры Нямецкой обители. Разделенные на две части поровну, они пели в обоих храмах, но, поскольку это все-таки был один хор, временами, когда мелодика литургии совпадала, эти хоры взрывались таким могучим единым пением, что, по утверждению многих, перекрывали колокольный перезвон.

Отец Паисий, служивший вместе с митрополитом в главном соборе, выглядел в этой массе народа маленьким, жалким, растерянным. Он всю жизнь страдал бессонницей, а теперь к ней прибавились еще и хлопоты, связанные с вознесением. В конце концов вся эта суэта привела к тому, что старец потерял молитву. Для отца Паисия это было трагедией. Тысячи страниц священных книг, горы великих истин, моря поэзии, крылатых слов и изречений — все это теперь проносилось мимо него, душа, как выжженная солнцем пустыня, не принимала в себя ни единого зернышка, а если оно случайно туда попадало, все равно толку никакого.

Шутка ли сказать — за две недели ни разу не соснуть. Помимо чисто хозяйственных забот, ему не давали обрести покой толпы народа, стекавшиеся к монастырю задолго до начала праздника. Не имея другого пристанища, они оставались на ночь там, на площади, перед монастырем, куда выходили окна покоев старца. Всю ночь отец Паисий слушал их молитвы, их пересуды, их жалобы, и уснуть посреди этого моря великих горестей народных было совершенно невозможно.

Утром в день вознесения он еле-еле протиснулся в храм, и это его тоже расстроило. Отец Паисий был уверен, что большое скопление народа противно жизни человеческого духа. Когда царит теснота и жмут со всех сторон, тогда о душе никто не помышляет, все думают о теле. И как бы ни пел хор, о чем бы ни говорилось с амвона, прихожанин, стоя в битком набитом храме, только и будет думать о том, что вот кто-то теснит его и, чтобы не оказаться в убытке, ему

бы и самому кого-нибудь потеснить надо, а уж при таких мыслях куда как далеко до бога!

Божественная литургия на какое-то время увлекла старика. Из всех церковных служб Паисий особенно любил праздничную литургию. Служба его совершенно зачаровывала. Бог, которого он славил и благодарил в эти минуты, не был для него где-то там, на небесах, а тут, рядом, и, может быть, поэтому во время литургии отец Паисий достигал такой глубины и искренности, что слезы градом катились по его щекам. На его литургии собирались огромные толпы народа, ибо отец Паисий умел, как говорили, приблизить бога. Этому его дару удивлялся даже константинопольский патриарх, и когда отец Паисий был в Афоне, паломники буквально высаживали двери храмов, в которых он служил.

Теперь, увы, годы не те. Немошное тело еле передвигается, голос сел, дух ослаб. Службу в храме правил сам митрополит. Он же, как экзарх молдавской церкви, должен был обратиться с проповедью к прихожанам. Епископ Банулеско, тоже участвовавший в службе, что-то затевал в алтаре, кому-то что-то передавалось, с кем-то о чем-то советовались, все окружение митрополита находилось в несколько суетном состоянии, из чего отец Паисий заключил, что митрополит, должно быть, выступит с проповедью чрезвычайной важности.

— Братья во Христе! — возвестил по окончании литургии митрополит. — Я благодарен богу, что сподобился сегодня служить в этом храме вместе с истинным апостолом, гордостью нашей церкви, земляком нашим отцом Паисием Величковским. Наша императрица Екатерина Великая, священный Синод совместно с командованием русской армии передали через меня слова глубокой любви отцу Паисию за его долгую и верную службу православию, за подвижничество и верность христианскому духу. Как экзарху молдавской церкви позвольте мне наградить отца Паисия золотым крестом и вместе с божьей благодатью возвысить его в сан архимандрита.

Нямец воссиял — вот она, наша вера, вот оно, наше достоинство! Мол не умолкавший гул колоколов в обоих храмах единым дыханием взорвалось «Верую». Пели хоры, пели прихожане и монахи, стиснутые тесным двориком, пели нищие и богомольцы на площади, пели кучера, оставленные при каретах, пели пастухи на склонах холмов, пели и в той дальней дали, откуда Нямецкий монастырь был еле виден, а колокола его еле слышны, и единственный, кто не пел, был сам отец Паисий.

Он не пел по той простой причине, что его уже не было в храме. С быстротой и проворством, какого вряд ли можно было от него ожидать, он покинул службу и, выйдя через боковую дверь, низко опустив седую грешную голову, с трудом протискивался сквозь поющую толпу. Ему помогали золоченые ризы, в которых он покинул храм, лысый череп и огромная седая борода, единственная такая на весь православный мир. Люди из последних сил ужимались, чтобы пропустить его. Вот они, ступеньки, а там коридор, а там уж недолго добраться до своего жилья.

Состоявшие из двух комнат покои старика были пусты. В первой, просторной комнате, так называемой приемной, висела всего одна икона, а перед ней горела вечная лампада. Любимые отцом Паисием лики святых были в его келье, но он был так потрясен происшедшим, что ему не хватило сил дойти до них. Пав ниц перед иконой в приемной, он воздел руки к небу и зарыдал:

— Господи! Они хотят отнять у меня все мои страдания, все мои долгие поиски путей к тебе, всю радость общения с тобой, опорочив все это шумным вознаграждением. Господи, дай мне крепость духа, изначальную твою чистоту, освети меня разумом вечного покоя...

После «Верую» внутри храмов, так же как и внутри самого монастыря, наступила долгая, загадочная пауза. На лицах замерло удивление: всем было ясно, что произошла какая-то заминка, а какая именно — никто не знал. Пошептались в алтарях, обменялись взглядами, и вот по коридорам и галереям послышались торопливые шаги монашеской братии. Прервав молитву на полуслове, отец Паисий поднялся с пола, пошел к себе и запер за собой дверь.

Тем временем депутация монахов громыкает по деревянному настилу коридора, вот она все ближе и ближе. Постояли в растерянности в приемной, потом осторожно потянули ручку дверей.

— Ну чего стали? — сердито спросил страдавший одышкой и потому шедший сзади боярин Мовилэ.

— Заперто, — ответил белый как лунь монах и, опустившись на колени, принялся глядеть в замочную скважину.

— Ну чего он там?

— Молится. Чистая, святая душа! — умиленно сообщил белый монах, не отходя от замочной скважины.

Боярин был вне себя от возмущения.

— Святые отцы, да вы в своем уме! Обабдели тут на мамалыге и постном супе. Наша бедная Молдавия раздавлена, она разорена, она не в силах без посторонней помощи оторвать голову от земли! И тут такая удача! Великая держава, спасительница наша, протягивает нам руку. Она находит возможным наградить и возвысить старца нашей обители, тем самым оказывая честь нашему монастырю, нашей вере, нашей стране. И что же мы? Как дикари, убегаем из храма прямо в золотых ризах! Не поклонившись, не приняв дара, не поцеловав руку дарующего!

Белоголовый отец Онуфрий, сидевший на полу у замочной скважины, ведал делами монастырской больницы. Он славился своим милосердием, но мог быть и твердым, если того требовали обстоятельства. Оскорбленный обвинениями боярина, он поднялся с пола, приклонился спиной к дверям кельи, точно приготовился жизнью защитить своего духовного отца. И, не переставая при этом улыбаться, как и полагалось во дни вознесения, сказал боярину:

— Простите меня, но эти дела тоже не так делаются. Отец Паисий — старый и больной человек. Он мой духовник, он знает всю смуту духа моего, но я его лекарь, я знаю всю немощь тела его. Всю прошлую ночь мы омывали старца ромашковым настоем и готовили к сегодняшней службе. Мы собирали его для божественной литургии, а не для того, чтобы вешать на нем награды...

— Глухие вы люди — когда же еще награждать духовных лиц, как не на праздничных службах?

— На праздничных, но предупредив, испросив заранее позволения.

— Да что отцу Паисию это архимандритство — камень на шее, что ли? Ну получил — и забыл. И с той же ноги топай себе дальше.

— С той ноги уже не получится.

— Почему?

— Потому что предметы отличия гнут нас к земле, к ее богатствам, к ее славе, а мы дали обет служить небесам.

Полный, похожий на бочку с вином боярин только руками развел:

— Послушать вас, так вы единственные христиане в этом мире. А наградивший старца митрополит, думаете, не такой же христианин, как и вы? Думаете, он не давал обета служить небесам?

В храмах завершили службу. Стихли под высокими сводами звуки псалмов, умолкли колокола, догорели свечи и лампы. Под тихие, редкие вздохи главного колокола праздничная литургия выпустила из-под своей власти эту огромную массу народа. Наступила недолгая, похожая на растерянность пауза, после которой послышал-

ся гул толпы, покидающей храмы. Людское море медленно текло через настезь открытые ворота на волю, на воздух, на солнце, и монахи, ведавшие праздником, поднялись встревоженные к своему старцу. Наступало время угощения, бесед, проводов, каждую минуту возникали тысячи проблем, и именно в это время монастырь остался без твердой руки старца, без его светлой головы.

Отец Ипатий, главный распорядитель на вознесении, был так озабочен, что попытался силой оттеснить от дверей белоголового брата Онуфрия, но Онуфрий оказался сильнее.

— Молится,— сказано было Ипатию в качестве утешения.

— По важному, по срочному, по не терпящему отлагательства делу! — взмолился Ипатий.

— Важнее молитвы у монаха дела нет.

Уступив, однако, всеобщему давлению, отец Онуфрий еще раз посмотрел в замочную скважину.

— Молится и плачет,— сообщил он радостно.— Отец наш сердечный...

— Глупые вы старики,— сказал Мовилэ.— Совсем одичали тут, у подножья Карпат. Посмотрите, сколько народу собралось в этом году на вознесение, посмотрите, с чем этот народ пришел к вам! Да знаете ли вы, что все эти люди собираются из года в год в Нямец не просто для того, чтобы участвовать в службах ваших храмов...

— Боюсь, что угощения на всех не хватит,— размышлял вслух отец Ипатий.— Придется открывать подвалы и кладовые.

— Ну и открывайте, если считаете нужным,— сказал Онуфрий.

— Без позволения старца не имею права трогать запасы, а делить один орех на двоих паломников унижительно для такой обители.

— А может, клистир? — предложил кто-то из гостей.

Отец Онуфрий изобразил на лице мученическую улыбку.

— Какой клистир может помочь человеку, у которого с молодости гниет и кровоточит правая половина тела! Ромашковый настой и чистые полотенца — вот единственное, что его еще держит в этом мире.

— Что же, ромашки у вас нету?! — загрохотал Мовилэ.

В этом вопросе отец Онуфрий уступил, наказав своим помощникам, толпившимся в приемной, принести из больницы пару ведер ромашкового настоя и стопку чистых полотенец. Увлеченный этими распоряжениями, он чуть отошел от дверей, и тут же его место занял отец Ипатий. Постучав сильно и властно, он спросил громко, так, что не услышать его было невозможно:

— Святой отец, прием для гостей устраиваем или нет? Паломников угощаем или нет?

Увы, ответа не было, и, опустившись на колени, он сам принялся всматриваться в замочную скважину. Положение было отчаянное. Позор висел над главной обителью Молдавии, над всей страной, и в этом смятении боярину пришла мысль:

— Послушайте, а нет ли у вас в монастыре этакой святой души, которая в любое время имела бы право доступа к старцу?

Ипатий сказал:

— Вот Онуфрий. Лекарь и друг. Ближе у старца никого нету.

Но сам Онуфрий был несколько иного мнения:

— Есть тут один послушник при скотном дворе. Он родом из-за гор, из Трансильвании. Не припомню сейчас, как его мирское имя, но старец прямо светится весь, когда видит его, и долго потом мне пересказывает, о чем они меж собой говорили...

— Это Горный Стрелок, что ли? Да он только что во втором храме пел рядом со мной...

— Так пошлите же за ним!

Мовилэ метался, не зная, как сдвинуть с места эту колымагу. Пока разыскивали послушника, он подошел к окну, выходившему на

площадь перед монастырем, долго следил за людской толчеей, потом сказал убитым голосом:

— Кучера его преосвященства запрягают.

Отец Ипатий, постучав еще раз, ввернул-таки несколько соображений в замочную скважину:

— Святой отец, есть дела, которые не терпят отлагательства, и поскольку вы не отзываетесь, я данной мне властью вынужден единолично принять ряд решений, о чем и ставлю вас в известность. Во-первых, из-за наплыва важных гостей прием из трапезной переносится на открытый воздух, в сад монастыря. Во-вторых, по случаю возвышения вас в сан архимандрита полагается самое праздничное угощение паломникам и мирянам. Я вынесу из подвалов еще десять бочек вина, пять бочек с брынзой, две бочки меда и двадцать мешков с орехами. Если в чем нарушил вашу волю, пусть бог меня простит, но времени у меня в обрез!

Поспешность, с которой этот монах уходил, несколько успокоила боярина.

— Ну, при хорошем угощении, если к тому же достанут драганского вина, дело еще может быть поправлено... Но, братцы мои, когда же вы раскопаете того послушника?

— Да вот он в дверях стоит. Брат Иоан, о тебе речь.

Иоан, молодой рыжеватый деревенский парень со следами не до конца сошедших веснушек, прошел в приемную, по пути переставив ведра с ромашковым настоем, которые, по его мнению, не там стояли. Было в нем что-то лихое, веселое, и, увидев его, невозможно было не улыбнуться.

— Сын мой,— обратился к нему Онуфрий,— помоги нам. Старец наш то ли растрогался, то ли занемог — закрылся и никого не впускает. А нам крайне важно уладить с ним несколько дел, связанных с празднеством. Постучись, может, он тебе откроет.

— А с чего это я к нему постучусь? — заартачился послушник.— У меня к нему и дел никаких нету.

— Вот деревенщина! — возмутился Мовилэ.— Ты постучись, пусть старец откроет, а там уж не твоя забота.

Подойдя к дверям, Иоан постучал ногой два раза, после чего позвал голосом вялым, явно носившим на себе печать неохоты:

— Святой отец! А святой отец!

Это возмутило даже Онуфрия:

— Что ты скучным таким голосом зовешь! Веселей, а если что и соврешь, не беда! Отец любит твою перченую домашнюю речь...

— Боюсь,— сказал Иоан,— что сегодня ни на что веселое я не способен. На душе погано как-то...

Вдруг за дверьми старца послышался шорох, потом голос, откашлявшись, спросил:

— Тебе-то почему нынче тяжело на душе?

— А что веселого, когда вон в главном храме женщину задавило...

— Да будет тебе сплетни разносить! — возмутился Онуфрий.— Не могут отличить обморок от кончины!

— Разве та женщина жива?!

— Да конечно же!

— И где она теперь?

— У нас в лазарете. Видать, шла издалека. К тому же, как полагается идущим на богомолье, постилась. Конечно, не успела толком протиснуться в храм, как тут же свалилась в обморок. Мы ее отпоили, отогрели, накормили. Теперь она молится в отдельной келье и плачет.

— Отчего плачет? — спросил из-за закрытых дверей старец.

Онуфрий был счастлив — слава богу, оживает. Разговорился.

— Я думаю,— сказал он,— от радости великой плачет. Шутка ли сказать — деревенская женщина, ничего в своей жизни не видевшая, и вдруг такая обитель, такое стечение народа, такое празднество!..

За запертыми дверьми долго раздумывали. Потом вздохнули.

— А я думаю, она не потому плачет. Попросите ту женщину прийти ко мне. Я хочу с ней поговорить.

— Вы позволите, святой отец, присутствовать и нам при этом?

— Нет, я хочу поговорить с ней наедине. Пусть послушник, раз он здесь, остается.

Она стояла в дверях растерянная, усталая, неприметная и все переминалась с ноги на ногу, потому что никак не решалась войти. Опушенные плечи, просесть в волосах и перед каждым словом заминка, порожденная сомнением в справедливости этого прекрасного, богом сотворенного мира. Она была из той горемычной бедноты, у которой новых нарядов сроду не бывает, а то, что на ней было, совсем поизносилось в пути. Один только платочек, недавно выстиранный в соседней Озане, был без заплат. Большие крестьянские ступни опухли от ходьбы. Стояла она на них неуверенно, переминаясь с ноги на ногу.

— Входи же, дочь моя...

Екатерина слабо качнулась, как былинка на ветру, удивилась сама тому, что она качается, но продолжала стоять.

— Я не могу к вам войти, святой отец. Не смею.

— Отчего же не смеешь, дочь моя?

Женщина раздумывала, как бы ей получше ответить,— она соображала с той же опрятностью, с которой носила свои белые платки.

— Потому что я бедная, духом павшая грешница... Меня вон даже односельчане прозвали пугалом огородным...

Послушник улыбнулся меткости народного глаза, потому что и в самом деле было что-то от пугала в этой женщине, но отец Паисий посмотрел на послушника с укоризной. Уловив эту игру взглядов, Екатерина добавила миролюбиво:

— Нет, я на свое прозвище не обижаюсь. Кто знает, может, они и правы. Я и в самом деле несуразная какая-то... Все, что со мной происходит, почти всегда смешно. Мне больно, а они смеются. Вот и теперь, чтобы увидеть ваш храм, шла пешком две недели. В дороге так поотбивала ноги, что они у меня все время кровоточат. Там, где я стою, остаются следы. Но если сказать об этом вслух — засмеют.

— Что же, у тебя никакой обуви?

Екатерина вздохнула, опустила голову и ничего не ответила.

— Войди, дочь моя, не беспокойся... Смеяться тут не над чем, а если от твоих ног останутся следы в моих покоях, я сам уберу за тобой, и это будет лучшим днем в моей жизни...

Екатерина робко, с опаской переступила порог. Послушник поставил два стула друг против друга — для старца и для его гостя. Отец Паисий долго устраивал свое больное тело на стуле, а женщина все стояла, никак не решаясь сесть. Послушник энергичным кивком сердито показал ей на стул, и Екатерина подумала, что эти рыжие всегда с сумасшедшинкой, с ними лучше не связываться. Села на самый краешек, облегченно вздохнула, радуясь тому, что ноги получили небольшую передышку.

— Как тебя зовут, дочь моя?

— Екатерина. В селе иногда прибавляют — Маленькая.

— Маленькая — почему?

— В насмешку. Есть же еще одна Екатерина. Великая.

— Я вижу, народ у вас смешливый.

— Виноградников много. А там, где вино, там и смех.

— Уж это так.

Старческими, обесцвеченными, потерявшими зоркость на переписке святых книг глазами отец Паисий принялся внимательно ее разглядывать. Он не любил толпу, она была ему противна. Он часто повторял, что бог не создавал толпы, он создал всего двух человек — Адама и Еву. Это уж потом они сами, расплодившись, стали расами, народами, государствами, толпами. Именно поэтому, говорил отец Паисий, если хочешь найти след божеского замысла, никогда не ищи его в толпе. Только в отдельно взятом человеке его еще удастся найти — конечно, когда удастся.

— Откуда ты родом, дочь моя?

— Из Околины. Село есть такое на Днестре, чуть выше Сорок.

— Бог ты мой, да оттуда ближе будет до Киева, чем до нас!

Екатерина благодарно улыбнулась — люди, хотя бы отдаленно слышавшие что-либо о ее родине, казались ей добрыми, умными и воспитанными.

— Раньше и вправду наши чаще ходили на богомолье в Печерскую лавру, но теперь война. Такое опустошение и безбожие кругом, что я с чего-то подумала — Нямец вернее.

— Опустошение и безбожие, — повторил старец за ней, как бы наказывая себе запомнить эти слова. — Что же ты — две недели и все пешком? Не было попутных?

— Не полагается, идя на богомолье, ездить на попутных.

— Ну, это когда у человека есть силы, но если у него ноги изранены... Или стыдно было проситься в чужую телегу?

— Дважды, святой отец, поддалась искушению и напросилась.

— Не взяли?

— Один взял, подвез версты три, другой проехал мимо.

— Есть у тебя дети?

— Шестеро.

— Кто твой муж?

— У меня нет мужа.

— Погиб на войне или в миру затерялся?

— У меня его никогда не было.

— Но, дочь моя, шестеро ребятишек?!

— То сиротки, святой отец. Не знаю, как тут у вас, а у нас была страшная чума. В какие-то две недели скосила больше половины села. Моих близких всех бог прибрал. Я их похоронила, поплакала над их могилами, все ждала, когда и меня бог позовет, но время шло, а смерти нет и нет, хоть плачь. Когда мор совсем утих, я наконец поняла, что это божеская милость проявлена ко мне. В благодарности решила постричься в монашки. Пока искала монастырь, пока словаривалась, оставшимся после чумы сироткам куда деваться? Известное дело — бедность к бедности пристаёт, сирота к сироте. Потом из монастыря меня уже стали звать, а куда мне девать сироток? Пошла советоваться с нашим священником отцом Гэинэ. Выслушал он меня и сказал: «Дочь моя! Если хочешь истинно служить господу нашему Иисусу Христу, расти этих малюток и никуда не ходи». Что делать? Кого усыновила, кого удочерила, благо от моих родителей остался домик на самом берегу Днестра. Место там красивое, но хлопотное — весной по две-три недели не спим.

— Отчего не спите?

— Воду караулим. Вдруг разольется река! Тогда хватай пожитки и беги наверх, просись к чужим людям, пока вода не стихнет и не войдет опять в русло. А так — живем хорошо. Дружно живем.

— Чем же вы кормитесь?

— Известью.

— То есть как известью?

— Отец покойный был хорошим каменщиком и к тому же умел обжигать известь. Я ему с малых лет помогала и при нем научилась этому ремеслу. Там, рядом с нашим домом, глубокие пещеры, и в

тех пещерах у меня все свое — и камень и печка для обжига. Натаскаю гнилых пней, возьму молот, а через два дня выхожу оттуда с готовой известью.

— Что же, твою известь хорошо покупают?

— Раньше она была нарасхват, но теперь, поскольку война... Приходится самой ходить по селам. В два-три дня любой дом обмажу глиной и побелю. Руки, правда, страдают. Иной раз кажется: еще немного — и они у меня так же, как и ноги, начнут кровоточить. Ну да что же делать?

— Теперь, отправившись к нам, ребятишек на кого оставила?

— Сами остались. С Ружкой.

— Ружка — это кто?

— Собачка наша.

— Но, дочь моя... Оставить шестерых ребятишек на одну глупую собачку?

— Не говорите так, святой отец, потому что недолго и согрешить... Ружка у нас умница, она все понимает, только что словами выразить не может. Если хотите знать, и меня сюда, на богомолье, Ружка отправила...

Послушник вдруг захохотал молодым, здоровым смехом. Екатерина вздрогнула от неожиданности. Вот уж никак не думала, что это может быть смешно. Хотя кто знает, может, и смешно. Потом ей стало стыдно за свою оплошность — лицо пошло пятнами, голова сникла. «Господи, — подумала она, — и тут надо мной смеются. Так уж, видно, на роду написано».

— Не обращай внимания, — сказал отец Паисий. — Он еще молод, и бог ему простит излишнюю смешливость, хотя, с другой стороны, дочь моя... Проведя почти всю жизнь в монастырях и скитах, приняв и исповедав великое множество народа, я, признаться, впервые встречаю христианку, которую домашняя собачка послала на богомолье...

— Я не то хотела сказать. Вернее, не так сказала.

— Скажи иначе. Мы охотно слушаем.

— Да, но... Я собиралась было об этом своему духовнику поведать.

— Так расскажи нам теперь, и пусть это будет твоей исповедью в сих святых местах.

Некоторое время Екатерина смотрела на них поочередно — то на старца, то на молодого послушника.

— А разве для исповеди не обязательно, чтобы в храме и чтобы наедине со священником?

Отец Паисий улыбнулся.

— Дочь моя, исповедаться можно всюду и везде, если только есть у тебя потребность в исповеди и ты нашла душу, готовую принять на себя твои грехи.

— Ну если это у вас так... — сказала задумчиво Екатерина.

Видно было, что она не совсем одобряет такой порядок вещей, ну да что делать. В чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не ходят. Отдохнув немного, она начала издалека, как все крестьянки:

— Великий грех лежит на мне, святой отец... Этой весной, как только спала вода в Днестре, просыпаюсь я как-то от тяжелого духа. Ну прямо, извините, вонь какая-то стоит в доме. В сенцах, слышу, Ружка что-то грызет. Выхожу, вырываю у нее ту падалину и кидаю через забор, в помойную яму. До утра, однако, так и не смогла соснуть. Все кошмары какие-то накатывали, все похороны какие-то снились. Утром встаю сама не своя. Все валится из рук. Тяжелый дух так и стоит в доме. Вспомнила про Ружку, подумала — дай-ка посмотрю, что она там ночью приволокла и грызла. Заглядываю через забор и глазам своим не верю — рука человеческая от локтя до самых пальцев.

Отец Паисий, вздрогнув, осенил себя крестным знамением.

— О господи... Откуда собака могла ее утащить?

— С поля боя.

— Разве павших не хоронят?

— Хоронят, когда лето и легко землю копать, а если случится бой зимой, тогда, говорят, чуть засыпят сверху мерзлой землей... Весной талая вода вымывает из могил эти трупы, и они плывут по разлившимся рекам. Голодные волки вместе с одичавшими собаками выволакивают трупы из воды, растаскивают по лесам, рвут на части друг у друга...

Послушник в ужасе что-то шепотом произнес про себя, а старец сидел в окаменелой неподвижности.

— То-то весной какой-то тяжелый дух докатывался даже до нас,— сказал он в задумчивости.— Ну, дочь моя, как я полагаю, то были турки!

— Ну так что же?

— Как что же?

— А вы знаете, святой отец, говорят, еще недавно турки взимали дань живой кровью. Из подвластных им православных земель они вывозили в плетеных корзинах тысячи мальчишек до двух лет. Теперь сижу я так и думаю: а вдруг это наши братья, перекрещенные турками, наученные ими военному делу, пришли в наши края, пали в сражении, всю зиму пролежали захороненные кое-как, а потом, когда их стали волки растаскивать по лесам, захотели — хотя бы одной рукой — дотянуться до своих?.. А я, дура, спросонья бросила ту руку в помойную яму. Если это в самом деле так, то, святой отец, прощения мне не будет!

— Господи, пусть милость твоя пребудет с нами,— произнес, перекрестившись, отец Паисий. Потом, после некоторого раздумья, спросил: — Ты поведала об этом священнику?

— У нас нету священника. Когда села подались в леса, он пошел за своим селом и там, застудив свои болячки, скончался.

— Что же, на его место никого не нашли?

— Не нашли, потому что храм у нас развален. То есть если бы село захотело, его еще кое-как можно починить, но люди не хотят.

— Почему?

— Они не веруют больше в бога, святой отец. Мне это горько говорить, но это так.

— Что ж,— спросил отец Паисий,— без молитв, без отпущения грехов, без светлых праздников — так и живете?

— Так и живем,— созналась женщина, и голос ее дрогнул.— Так и живем,— повторила она.— И уже не всем селом, а так, каждый сам по себе. Сегодня каждый сам по себе, и завтра каждый сам по себе, и послезавтра каждый сам по себе. Иной раз кажется, что уже ничто — ни храм господень, ни имя его никогда не смогут нас объединить... А без этого — что за жизнь...

И она заплакала. Плакала долго, безутешно, как плачут в раннем детстве. Потом так же неожиданно умолкла.

— Если правду сказать, село наше совсем одичало, святой отец. И, живя среди этих опустившихся людей, иной раз подумаешь — а что! Пройдет год, и два, и три, и мы ей-же-ей, впадем в варварство! И опять будем идти друг против друга, и опять будем ступать по живому и не видеть ничего, кроме своей выгоды, точно никогда и не было сына божьего среди нас.

Перекрестившись на икону в приемной, отец Паисий стал засучивать рукава.

— Сын мой, поставь эту лохань сюда, налей в нее ромашкового настоя и помоги мне опуститься на пол...

С чувством крайнего удивления Екатерина следила за тем, как рядом с ее больными ногами ставится лохань, как льется в нее теп-

лый, пахнувший лугами желтоватый отвар, как святой отец, крихтя, опускается на пол.

— Дочь моя, дозвожь мне омыть твои ноги. Дозвожь прикоснуться к страданиям твоим, дабы вернуть своему духу христианское достоинство.

— Что вы, святой отец! Да ни за что! Да я лучше умру!

— В этом нет ничего постыдного, дочь моя... Наш спаситель на тайной вечере омыл ноги своим ученикам, сказав при этом — раб не должен быть выше своего господина, а что есть пастырь как не раб своей паствы?

Видя, что эта канитель грозит затянуться надолго, послушник пододвинул лохань ближе к Екатерине и без особых церемоний сунул поочередно ее ноги в теплый ромашковый настой. Екатерину трясло как в лихорадке.

— Господи, святой отец, посмотрите, что он делает?!

— А что?

— Да ведь меня еще не касалась мужская рука, и я дала себе зарок, что покада те малютки не подрастут...

— Мое прикосновение не опорочит твою невинность, дочь моя.

— Тогда,— сказала Екатерина,— если у вас так уж полагается, пусть лучше тот молодой монах...

— Дочь моя, он не священник, он даже не монах в полном смысле слова. Он послушник.

— Что же он тут торчит?!

— Потому что его любит бог. И еще потому, что я без его помощи не в силах ни опуститься на пол, ни подняться.

— Ну если вы ему позволяете и он вам помогает...

Отец Паисий долго, с любовью и состраданием мыл ее натруженные в пути ноги. При этом он вспоминал свое детство, родную мать и рассказывал обо всем этом Екатерине с болью, потому что чувствовал себя виноватым перед своими родными. Особенно перед покойной матерью. О, сколько горя и страдания он ей принес, убегая в монастыри. Она его так долго искала, что в конце концов сама постриглась в монашки. Екатерина, забыв все на свете, сидела не шелохнувшись и слушала, стараясь слова не пропустить, потому что исповедь духовника — вещь редчайшая и ради нее действительно стоило две недели идти пешком. Кончив мыть ноги Екатерине, старец окутал их сухими полотенцами, дав им отпариться вволю, и наконец, закончив все, с помощью послушника поднялся с пола.

Екатерина низко ему поклонилась, поцеловала обе его руки, затем поцеловала руки послушника. Пора было уже прощаться. Но она все не уходила. Она ждала. Нужно было еще слово, хотя бы слово, ради которого она проделала столь долгий путь, а слово это все еще не было произнесено, потому что старец смотрел на послушника, послушник смотрел на старца...

— Святой отец,— сказал наконец послушник.— Позвольте мне покинуть монастырь и уйти вместе с этой женщиной в мир. Мы не можем опустить ее, не попытавшись помочь ей и ее народу обрести себя.

Старческие глаза Паисия наполнились слезами. Подойдя к юноше, он наклонил к себе рыжую, молодую, отчаянную голову и поцеловал ее.

— Сын мой, не скрою от тебя, что ты один из самых возлюбленных мною чад в этой обители. Из-за своей старческой немощи я часто падаю духом и нуждаюсь как никто другой в светлом слове, в хорошем настроении. Но, как говорит преславный отец Дамаскин, чего бы стоила наша вера, если бы мы отдавали только то, что нам ненадобно. Иди, любимый мой сын, я отпускаю тебя. Обитель наша богата. Расспроси эту женщину про их недостатки, обойди все наши службы, именем моим возьми все что вам надобно и сколько вам

надобно. От себя же вместе с отеческим благословением я дарю эту старую псалтирь, переписанную мной когда-то в юности на святой горе Афон...

Иоан долго прощался со старцем. Он было растрогался, губы от волнения дрожали, но его рыжая голова уже вращалась в эту новую, нелегкую для него жизнь. Уже перед тем как покинуть покои старца, он как-то нехотя обронил:

— Что до нужд той деревни, святой отец, то, как я полагаю, туда либо нужно брать очень много, либо не брать ничего.

— Ты-то сам к чему склоняешься?

— К тому, чтобы ничего не брать.

— О сын мой, не зря я тебя полюбил. На своем веку я много раз убеждался, что золото, употребленное для облегчения жизни человеческого духа, в конце концов обращает тот дух в рабство. Только сам дух должен освободить и возродить себя. Возьми книгу древних песен царя Давида, мое благословение и иди к тем грешникам. Дели с ними крышу и хлеб, опустишь во все их низости и вместе с ними сгинь или возродись вместе с ними.

Еще раз поцеловав обоих, отец Паисий наконец подошел к открытому окну. Тысячи глаз уже давно были нацелены на его окна, и появление старца было встречено воплем ликующей толпы.

— Мир вам! — сказал отец Паисий и, выйдя из своих покоев, стал медленно спускаться к гостям и мирянам, чтобы принять поздравления по случаю своего возвышения в сан архимандрита.

Глава двенадцатая

РИСК

Мужику незачем мыть тело, которое ему не принадлежит.

Екатерина II.

Чего тебе надобно, старче?

Пушкин.

Днестровские долины издавна славились своими конокрадами. Злые языки объясняли это тем, что римский император Траян, завоевав этот край, заселил его латинскими головорезами, которых к тому времени в римских тюрьмах было предостаточно. Дело, я думаю, во все не в этом. Лошадей в днестровских долинах угоняли задолго до появления римлян. О древности этого занятия говорит совершенство, до которого оно было доведено, ибо кража лошадей — это не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Пришел, увидел чужую клячу, оседлал — и был таков. Воровали, конечно, и так, но истинный конокрад никогда до этого не опускался. Воровство лошадей, как и любая другая осмысленная человеческая деятельность, имеет свои правила, свою этику и, разумеется, свои сферы влияния.

Конечно, беспрерывные войны, нанося ущерб всем мирным занятиям, приводили к некоторому застою и в конокрадстве. Пока шли бои в низовьях Дуная, и штурмовались крепости, и делились богатые трофеи, на Днестре царило относительное спокойствие, ибо охотники до чужих скакунов гонялись за более лакомыми кусками. Разграбленный Измаил был апофеозом сладкой жизни. С падением этой крепости военные операции пошли на убыль, золота в карманах противника резко поубавилось, и в долинах Днестра опять наступали тревожные ночи, когда умный человек без крайней надобности из дому не высунется.

Таинственный свист, топот копыт, выстрел — и вот уже по темным волнам уплывает в ночь чужая жизнь. Увы, без человеческих

жертв не обходилось, ибо для настоящего конокрада угон лошадей есть дело второстепенное. Главным же их занятием было сведение личных счетов. Характеры любителей чужого скота крепили и мужали в бесконечных внутренних распрях. О левом, турецком берегу разговору не было, на него никто и не претендовал, а вот за правый, обжитой берег шла яростнейшая борьба.

Как и ожидалось, к окончанию второй русско-турецкой войны эта борьба пошла по новому кругу. Старый, так сказать, довоенный раздел был всеми отвергнут. За годы войны некоторые шайки понесли тяжелые потери и теперь очутились на грани распада, другие, наоборот, из ничего входили в силу и нагоняли страх. Борьба шла за каждое селение, за каждый перелесок, за каждую тропку, по которой можно было угнать уворованное, за каждого запоздалого путника, с которого хоть и взять особо было нечего, зато припугнуть можно было.

Огромным и разномастным был мир этих конокрадов, шнырявших по днестровским долинам от Польши до самого Черного моря. Вынужденные спецификой профессии работать по ночам, эти головорезы знали друг друга главным образом по прозвищам, нраву, стилю нападения и не изъявляли желания знакомиться ближе. Как говорится, береженого бог бережет.

Изредка, однако, обстоятельства вынуждали их встать лицом к лицу. В дни огромных ярмарок, куда конокрады пригоняли уворованный скот, они должны были подолгу пялить глаза друг на друга. И великое разочарование охватывало их, ибо оказывалось, что Ободранный Петух вовсе не петух и вовсе не ободран; Цыганская Серьга вовсе не серьга и отнюдь не цыган; что до Нечистой Силы, то тут можно было живот надорвать, ибо эта Нечистая Сила не умел даже торговаться как следует и упустил покупателя, которого любой дурак не упустил бы.

Самой удачливой считалась Могилевская ярмарка. На ее окраине стояли в ряд покосившиеся избушки корчмарей, и любая хорошая сделка оканчивалась за стаканчиком вина. Особенно любили собираться конокрады в крайней корчме, у Марицы. Собственно, корчма принадлежала какому-то хмурому греку, как говорили, бывшему монаху, а Марица была его содержанкой, подобранной на беженских дорогах военной смуты, чтобы разносить в корчме вино и угощение. Острый язычок, ямочки на щеках и всегда хорошее, ровное настроение привели к тому, что грека никто знать не хотел. Все называли корчму «Ла Марица». Сбив с рук то, что так или иначе связывало, получив вместе с барышами столь необходимую свободу, конокрады собиравшиеся у Марицы и опять начинали выяснять отношения, опять начинали делить тот растреклятый правый берег и не уступали друг другу, пока оставался хоть грош в кармане.

То, что братья Крунту садились на коней и выезжали на ночь глядя со двора, а возвращались только под самое утро, никого особенно не удивляло, ибо и сам их папаша, когда его подбородок еще не доходил до самого носа и о прозвище Пасере не было и речи, тоже, бывало, уходил до утра и за свою долгую разбойничью жизнь оставил сыновьям в наследство прекрасный участок для грабежей — от Могилева и до самых Сорок.

Увы, воистину нет ничего святого в этом мире... Четыре года войны — и весь берег от Могилева до Сорок оказался в чужих руках. С севера их прижал к самой деревне Ободранный Петух, с юга на них напирал Нечистая Сила. Дело дошло до того, что, стыдно сказать, их вообще после сумерек не выпускали из села, и любая попытка трех братьев вернуться к старой профессии оканчивалась стрельбой.

Жизнь конокрада, если он вытеснен из своих законных владений и в дни больших ярмарок не может выйти в свет с двумя-тремя

клячами, явно ему не принадлежащими, это уже не жизнь, а жалкое копчение неба. Доведенные до отчаяния братья Крунту, чтобы хоть как-то восстановить свое доброе имя, стали гоняться по лесам за одичавшими лошадьми, благо их после четырех лет войны было великое множество. Подкараулив одичавший табун у водопоя, они без особого труда поймали двух только что ожеребившихся маток. Конечно, для потомственного конокрада выйти на ярмарку с ожеребившейся кобылой честь невелика, но все-таки это лучше, чем ничего.

Могилевская ярмарка собиралась по воскресным дням, а кобылки им попались в пятницу, так что нужно было думать, куда бы их на день-два припрятать. У каждого уважающего себя конокрада есть тайник, в котором он держит угнанных лошадей до наступления ярмарки. У братьев Крунту тайник был в ущелье, чуть выше Околины. Место это было завоевано в свое время еще стариком, а уж он знал толк в этом деле. Укрытое ивовыми зарослями со стороны реки, это ущелье шло, петляя, на запад сквозь меловые нагромождения и в глубине, когда оно, казалось, неминуемо сойдет на нет, вдруг выходило на крошечную полянку, укрытую со всех сторон высокими каменными громадами. Хотя место это было похоже на колодец, дно этого колодца освещалось в полдень солнцем, так что и травка тут была и родничок был.

Но тайник — это не только место, куда конокрад прячет уворованное. Тайник — это его второй дом, иной раз роднее родного, и братья Крунту, которым давно пора было отделиться от старика, сумели обжить его, приложив и смекалку и хозяйственный пыл. Был тут шалаш с сеном на случай непогоды, кувшины с вином, зарытые в землю на черный день, чугунок, кукурузная мука, а в ту пору, как известно, человека не спрашивали, где его дом, а спрашивали, где его чугунок и где его кукурузная мука.

Увы, падение нравов в днестровских долинах дошло до того, что у братьев Крунту угнали из ущелья накануне самой ярмарки обеих кобылиц вместе с жеребятами. Мало того, эти выкорышки Ободранного Петуха учинили форменный погром в самом тайнике. Звериньюхом учуяв под землей запасы спрятанного на черный день вина, они его распили, а кувшины разбили, так что всюду валялись черепки. Кукурузную муку скормили лошадям, в чугунок отлили выпитое вино, и, покидая тайник, эти ублюдки не поленились повырнуть ивы, укрывавшие доступ в него со стороны Днестра, так что теперь любого дурака, оказавшегося на берегу, мучила догадка — а что там, в том ущелье?

Чувство оскорбленного достоинства заставило братьев Крунту поскать на Могилевскую ярмарку в поисках пропавших кобылиц. Как известно, на ожеребившихся кобылках еще никому не удавалось далеко уехать. Не успели они обойти ярмарку, как тут же напали на след. Хотя было еще далеко до полудня, их кобылки уже раза по три переходили из рук в руки и наконец были выведены с ярмарки каким-то цыганом-барышником. Это не обескуражило братьев, ибо, обнаружив двух перекупщиков, нетрудно было установить, кем кобылицы были приведены в торговый ряд.

Когда ярмарка пошла на убыль, братья Крунту окружили корчму «Ла Марица», где гуляли все три шайки. Загородив выход, они достали оружие и предъявили претензии. К их величайшему удивлению, все три шайки охотно сознались в угоне ожеребившихся кобылок. Ободранный Петух дошел даже до такой наглости, что спросил:

— А где их папаша?

— Чей папаша?

— Ну, жеребята не сиротками же родились!

— Почему мы знаем, где их папаша!

— Га! — завопил Ободранный Петух, распираемый чувством свершившейся несправедливости. — Они лошадиные семьи разбивают

и при этом говорят — почему мы знаем! А то, что теперь бедные паши носятся по лесам и, обливаясь слезами, ищут своих малюток, на это им наплевать! Да вы-то хоть видели в глаза плачущую лошадку?

Марица, разносившая вино, прыснула, и это глубоко задело младшего из братьев, которому часто снился по ночам этот бесенок с ямочками на щеках.

— Видели! — огрызнулся младший, потому что нельзя было и это еще скушать.

— Га! — завопили в один голос конокрады. — Так почему до сих пор жеребец Айдозлы-паши жует овес и бунтует в конюшне у вас под самым носом? Если видели плачущую лошадь, то почему опозорили честное имя конокрады?

— Хозяин того жеребца — наш близкий родственник, — рассудительно заметил старший из братьев.

— Ну и что? — возразил Ободранный Петух. — Кто сказал, что у родственников угонять лошадей не полагается? Да с родственников мы все и начинали!

— К тому же дом родича стоит в поле, закрыт со всех сторон. Его прозвали в селе Глиняной крепостью.

— Дурья ты башка, откуда легче угнать коня, — спросил Цыганская Серьга, — из одиноко стоящего в поле дома или из середины большого села?

— Есть там еще одна сложность... — подпустил было туману младший из братьев.

— Какая сложность?

— Там целая псарня...

Старая корчма «Ла Марица» тряслась от хохота. Братьев Крунту буквально вышерли за дверь. Когда они, вернувшись, попытались завязать разговор о двух пропавших кобылицах, им, помимо огромного морального ущерба, пришлось понести некоторый физический урон. Особенно на долю младшего, который малость зазевался, выпало много пинков, так что, выехав из Могилева, он сидел в седле совсем уж на боку.

Они возвращались униженные, опозоренные и за всю дорогу не проронили ни слова. Около ущелья лошадь старшего сама свернула к разоренному тайнику. Видимо, это была умная лошадь и знала, куда везти хозяина, когда у него совсем уж плохое настроение. К тому же она помнила, что где-то там должен был остаться еще кувшин вина, припрятанный на самый-самый черный день. Как выяснилось, лошадь оказалась права.

Расседлав коней, собрав хворосту, братья развели костер и достали тот единственный кувшин. Сидя у огня, они пили горькое вино, оставленное на самый-самый черный день, и каждый думал свою черную думу. Наконец старший из братьев, которому на роду было написано подавать голос первым, вздохнул:

— Жеребца у Тайки так или иначе, а угнать нужно. Без этого мы не сможем встать на ноги.

— У него утонишь, как же.

— И все-таки, — сказал старший, — мы на это пойдем. Без денег жить тяжело, но можно. Без хлеба жить еще тяжелее, но тоже можно. А вот без того, чтобы угнать чужую лошадь, — без этого, братья мои, жизнь совершенно невысказима!

— Надо с кем-нибудь войти в пай, — сказал средний. — Втроем не одолеем.

— Можем одолеть, — предположил младший, — если связать себя клятвой.

— Давай, — согласился после некоторого раздумья старший.

Младший, в обязанности которого входило сочинение разных клятв, встал на колени лицом к огню, перекрестился и произнес:

— Клянемся правым берегом Днестра...

— Нет,— сказал старший,— сначала нам нужно отвоевать свой участок, чтобы потом иметь право на такую клятву.

— Тогда — пусть одинокая могила нашей покойной...

— Нет,— запротестовал средний,— матушку ты не трогай. Она всегда была в стороне от наших дел. Отец, уходя на самые рискованные дела, никогда ни словом...

— Клянемся... — опять начал было младший, мучительно при этом соображая, чем бы таким поклясться, и пока он соображал, откуда-то сверху, с уходящей ввысь влажной громады, чуть слышно донеслось:

— Котлами преисподней...

— Ты что? Хочешь нас угробить?!

— Это не я сказал! Это оттуда, сверху.

— Ты чего городишь, дурень!.. Что значит сверху!

— Тс-с! — цыкнул на них средний и, вскарабкавшись на выступ, с которого виднелась вся вздыбленная громада, напряженно во что-то всматривался.

Он долго изучал все наросты на высившейся перед ним стене, все трещины, складки и, вернувшись к костру, сообщил старшему:

— Как перед богом скажу, еще в прошлый раз, когда мы приходили за кобылами, мне показалось, что оттуда, сверху, кто-то за нами следит.

— Откуда? Из Драконовой пасти?

— Угу. Я давно догадывался, что там кто-то живет. Как-то ночью собственными глазами видел искры — не иначе огонь высекали.

Оставив костер, все три брата взобрались на выступ и принялись изучать то, что в ОкоLINE и во всех близлежащих селах называлось Драконовой пастью. Дело в том, что северная часть этой каменной громады, суживаясь, уходила вверх и своими очертаниями напоминала какое-то странное чудовище, поднявшееся над всеми приднестровскими холмами, чтобы осмотреть свои владения. Наросты на этой скале похожи были на скулы, узлы в каменных наслоениях шли вместо глаз, еле видневшиеся сверху чахлые деревца напоминали растительность на голове, а вот то, чего чудовищу еще не хватало, появилось с помощью человека.

В раннем средневековье много странствующих монахов подолгу жилали в днестровских долинах, облюбовав каменные громады ракушечника главным образом потому, что в них легко было вырубить себе келью, маленькую часовню, а то и небольшую церквушку. Места здесь были в ту пору совершенно пустынные, дикие, и, чтобы защитить себя от зверя или недоброго глаза, одинокие монахи долбили себе кельи в самых невероятных местах. Одному из них даже пришла в голову мысль поселиться в утробе этого дракона, и там, где совершенно человеческому разумению должна быть пасть этого чудовища, появилось маленькое сводчатое окошко, снизу казавшееся совсем крохотным, а на самом деле, как утверждали многие, оно было в человеческий рост.

Много веков, легенды и были северной части Молдавии окутывали дымом эту Драконову пасть, и немало сельских мудрецов пытались разгадать, каким это образом одинокому монаху удалось там, посреди скалы, вырубить себе келью. Ведь, надо думать, за что-то он держался, когда бил молотком! Каким-то образом он попадал туда к себе по вечерам и как-то по утрам оттуда уходил...

— Эй ты! — крикнул старший из братьев, выпрямляя голосом кривизну ущелий. — Покажись!

Крикнул больше так, для остротки. Каково же было их изумление, когда в сводчатом окошке показалась такая же маленькая, как и само окошко, человеческая фигурка.

— Мир вам! — донеслось оттуда, из Драконовой пасти, и этот

одиноким голосом так загрохотал по ущелью, точно небеса обрушились на землю.

— Низко кланяемся вам, отец! — в некотором смущении ответил старший из братьев. — Спуститесь к нам, люди мы добрые...

Змейкой брошенная из окошка веревка взвилась, потом повисла вдоль побуревшей скалы. Они и охнуть не успели, как рыжеватый монах дикой кошкой прыгнул к ним. Достав ногами землю, он поколдовал над своей веревкой, и вдруг она оттуда, сверху, отошла, точно кто-то бросил ему конец. Аккуратно намотав ее на руку, как обычно крестьяне наматывают вожжи, рыжий монах, чуть откинув назад свое крепкое, пружинистое тело, точно он целился во что-то, воскликнул:

— Матерь божья, да у вас тут пир горой! Пригласили бы, что ли, к огоньку! Может, даже винцом угостите? Правду сказать, совершенно околдовал в той каменной утробе.

— Чего вас туда занесло?

— А молился.

— Тут на земле мало места для молитв?

— Места много, да покоя мало. Сказано в святом писании: оставь суету за порогом своего жилища, закрой дверь, встань на колени и вникни в самого себя...

Братья Крунту смотрели на него как на привидение — никто и никогда еще не видел живого монаха, вылезшего из Драконовой пасты. Что-то в этом было сверхъестественное, и старший из братьев, преодолевая смущение, вызванное столь неожиданным знакомством, спросил:

— Отец, как вы спускаетесь оттуда, мы уже видели. А как попадаете обратно? Веревка же у вас.

— С божьей помощью, — уклончиво ответил монах.

Голос у него был густой, зычный, чуть-чуть с хрипотцой, как бы немного простуженный. Средний из братьев долго прислушивался к этому чуть простуженному голосу, после чего спросил:

— Отец, вы в нашем селе, в ОкоLINE, бывали?

— А что?

— Соседка наша Ильяна рассказывала как-то на днях. Идет она к Днестру белить полотна. Когда шла мимо домика Екатерины Маленькой, услышала, как дети к ней пристают — когда придет отец, куда ты его подевала? Она им — откуда я его вам возьму? А дети упрямо стоят на своем. Мы, дескать, во сне слышали, когда вы с ним вернулись из монастыря. И он вам что-то сказал, и вы ему ответили, и сидели вы оба тут под окошком, на завалинке, и голос у него был такой громкий, простуженный...

Рыжий монах воссиял прямо:

— Кто бы мог подумать — сквозь сон слышали!

Младшему из братьев чувство оскорбленного достоинства не давало покоя, и он, став на колени лицом к огню, шепотом продолжал составлять новую клятву. Его поведение несколько удивило монаха, и, чтобы объяснить суть дела, старший вынужден был отчасти приоткрыть свои карты.

— Святой отец, — начал он медленно, издали, ибо дело это было деликатное, — раз уж бог вас тут над нами поселил, вы небось многое про нас знаете. Вам, конечно же, известно, что у нас большое горе. Может, вы даже видели, как нас обокрали. Теперь вот еще и опозорили и втягивают в такое дохлое дело, из которого, может, и не вылезем. Потому вот вынуждены, так сказать, жуткой клятвой...

— А, не смешите меня! — сказал монах, вернув кувшин, из которого выпил всего несколько глотков. — Для угона какой-то клячи им еще и клятва нужна!

— Это не кляча. — заявил обиженный старший. — На этом жеребце ездил сам Айдозла-паша.

— Да хоть бы и сам султан на нем гарцевал! Лошадь есть лошадь. С каких это пор трое рослых мужиков, перед тем как лошадь угнать, должны себя клятвой связывать!

Старший из братьев почесал затылок. Замечание о ненужности клятвы задевало его самолюбие.

— Без клятвы на это дело идти нельзя — оно может стоить человеческой жизни.

— Тогда не ходите.

— А не ходить тоже не можем — вот в чем штука. Тайку нужно наказать. Это нам поручили конокрады со всего правого берега Днестра, но, кроме того, есть у нас и свои счеты.

— Чем он насолил конокрадам?

— Видите ли, отец, у каждого есть свой огород, своя коммерция. Мы промышляем лошадьми. Он — сливовой водкой. Мы ему торговлю не портим, но и он за это не должен в наши дела свой нос совать. А он, хоть и держится в стороне, как только увидел в Измаиле жеребца, от которого Суворов отказался и на которого солдаты бросали жребий, хватать — и сцапал его. И приводит, сука, домой, прячет под семью замками, тем самым как бы оскорбляя и нас и нашу профессию...

— Ну, это обиды конокрадов. А у вас какие счеты с ним?

— Он антихрист. У него за душой ничего святого.

— Все мы в грехах, и смуту наших душ знает один господь.

— Нет, отец, вы ни себя, ни нас с ним не сравнивайте. Послушайте сначала, что это за человек. Он русский лазутчик. Он сызмала ходит туда к ним, в Полтаву, на этом он состояние нажил.

— Если, помогая своему народу избавиться от иноземного ига, ему приходилось идти по пустынным землям к другой православной державе, то это никак нельзя назвать худым словом.

— Вы погодите, не спешите, отец. Что же он делает, когда та держава идет к нам на помощь? Садится на коня и берет меч в руки? Нет, квасит сливу в бочках и гонит крепкое мутное пойло.

— Ну, не все рождены для ратных подвигов.

— И опять же не спешите. Увиваясь вокруг воюющей армии со своей сливовицей, этот Тайка каким-то образом вынюхал от пьяных солдат, что победы так или иначе не будет. Русские вернутся к себе, мы опять попадем под турецкий полумесяц. Что и говорить, для нас, связавших себя с русской армией, участвовавших в войне против турок, наступают тяжелые времена. Тайка меч в руки не брал, ему ничего такого не грозит, но у него другая забота — как бы сберечь накопленное богатство. А накопил он за эту войну немало. И когда Суворов отказался от коня и солдаты бросили жребий, он вдруг сообразил, что пашский жеребец может его спасти. Выдержать его в конюшне до прихода турок и выйти к ним навстречу в знак покорности и миролюбия. Выйти с этим красавцем навстречу нашим мучителям!

— Я понимаю ваше возмущение, — сказал после долгого раздумья рыжий монах. — Я, может, и сам в какой-то мере его разделяю, но, братья мои, разве эти дела так делаются?

— А как? Научите. Помогите, и мы для вас все что захотите сделаем.

— Новую келью в этой скале выдолбим! — заявил младший. — А хотите, целый монастырь построим! Нас тут много, вы не думайте!

— А что вы хотите с тем жеребцом сделать, после того как угоним?

Лицо старшего посветлело — кажется, дело идет на лад.

— Что хотите, то и сделаем. Хотите — вам подарим.

— Вот что, — сказал наконец послушник. — Я пойду с вами на это дело, но только при одном условии. Угоним жеребца, переправим через Днестр и выпустим на волю.

Старший из братьев посмотрел на него осоловело, точно кто обухом ударил его по голове.

— Как выпустим?

— Что значит — выпустим?

— Да для чего его выпускать-то?

— Нет, — с явным огорчением сказал старший. — Мы на это идти не можем. Скажут про нас, что мы губошлепы. Нас и так вон у Марицы засмеяли.

— Ну, — более примирительно сказал послушник, — в таком случае давайте вернем его солдатам, бравшим Измаил. В сущности, это их лошадь.

Старшему из братьев эта мысль показалась более или менее приемлемой, хотя, с другой стороны...

— Где они теперь, те суворовские войска!

— Ну, не обязательно чтобы суворовским — любим войскам, подчиненным русской императрице. Разве тут поблизости нету москалей?

— Да стоит тут одна рота под Могилевом, — сказал не без иронии старший. — Обтесывают бревна, готовят переправу на случай мира.

— Вот давайте им и подарим жеребца.

— Что, просто так взять и отдать? Такого коня?!

— Ну, если вам не хочется просто так отдать, садитесь с ними в карты играть. Я слышал, обыграть их невозможно.

— Да что это будет за игра! Курам на смех. Ну мы поставим жеребца, а они что поставят? Это же бедные строители, у них, кроме топоров и щепок, ничего за душой.

— Сваи еще есть, — съехидничал младший. — Сиротки-коротышки.

— Что значит — сиротки-коротышки?

— Видите ли, отец, — глубокомысленно заговорил старший, чтобы как-то смягчить впечатление, оставшееся от ехидства младшего брата, — они хоть и строители, но строить не большие мастаки. Всю зиму валили дуб, готовили опоры под будущий мост, а весной Днестр возьми да подыми свои воды аршина на два, так что те опоры оказались негодными. И опять валят лес, готовят сваи подлиннее.

— А коротышки куда подевались? — спросил послушник.

— Да лежат там навалом. По бедности своей они, говорят, хотели их загнать, искали покупателей, да не нашли.

— А согласились бы они, — спросил послушник, — взамен жеребца отдать их нам?

— Да они бы нас расцеловали за такую торговлю, только зачем нам они?

— Перевезем и построим церковь для Околины.

— Гм! Да ведь на один перевоз этого леса нужна тысяча пар лошадей! А народу сколько нужно!

— Зачем нам лошади, зачем нам люди! Сплавим лес по воде — и дело с концом. Мы ведь живем ниже по течению.

— Вы разве умеете править плотами?

— Умею.

Братья Крунту, сидя у потухающего костра, многозначительно переглянулись. Скажи на милость — и плотами умеет править. Переговоры вступали в деликатную фазу.

— Строить церковь кто будет?

— Мы вот вчетвером и построим.

— Вы что же, и плотничать умеете?

— Что тут мудреного! Я родом из Трансильвании, а там у нас говорят, что топором так же просто орудовать, как и ложкой.

Старший рассмеялся.

— Нет, — сказал он, — мы степные. Мы одной ложкой.

— А интересно бы попробовать,— размечтался младший.

Средний из братьев, наиболее коварный, спросил:

— Слушайте, отец, а вы не будете требовать, чтобы мы потом в той церкви еще и молились?

— Разве вы не молитесь?

— Мы, конечно, молимся, но изредка. Когда охота или когда совсем уже прижмет. А чтобы так, день за днем, да еще по праздникам бегать к службе — это мы не любим. Не мужское это дело. К тому же за эту войну в каких только храмах мы не побывали, но что-то непохоже, чтобы хотя бы в одном из них пребывал господь.

— Кто вам сказал, что в храме пребывает господь?

— Для чего же тогда храмы строят?

— Для людей.

— А бог в таком случае где?

— Он внутри человека. Внутри тебя. И внутри его. И внутри меня. Человек сам по себе есть храм, сотворенный богом, и это единственный храм, в котором пребывает господь.

— Зачем же тогда церкви строить?

— Видите ли,— сказал послушник,— жизнь трудна, суетна, и в мелких заботах человек часто теряет бога в себе. Противостоять в одиночку всему трудно. Потому и создана церковь. Как вы сами понимаете, церковь — это не здание, не колокольня и не крест над ней. Церковь — это прежде всего братство людей, собравшихся вместе, чтобы помочь друг другу. Ну а когда это братство существует, тогда и храм приходится строить, ибо должны же эти люди где-то встречаться на совместных молитвах.

Такой поворот показался братьям Крунту забавным. Поднявшись по знаку старшего, они отошли в сторону шагов на двадцать и там долго меж собой совещались. Доводы послушника их почти убедили, но у них за спиной оставалась профессия, которая со временем могла прийти в противоречие с религией, а без того, чтобы изредка не угнать какую-нибудь клячу и не выпить стакан вина у Марицы, без этого они себя не мыслили.

— Вот что,— сказал старший из братьев, когда совещание кончилось.— Уговор такой. За угон жеребца мы помогаем вам строить церковь. Но как только стены подвели под крышу — все! Пути-дорожки разошлись.

— Давайте так,— предложил послушник.— Угоняем жеребца и начинаем строить. Если после окончания работ вы не почувствуете себя связанными с храмом и вам самим не захочется хотя бы изредка в нем помолиться — ну тогда...

Сделка состоялась. Оставалось только угнать жеребца. Старший, уступая монаху первенство, спросил:

— Сколько нужно собрать народу?

— Да никого не нужно — вот вчетвером и пойдём...

— А вооружение какое брать?

— Да и вооружения не надо. Пустой мешок, веревка и лопата. Веревка вот у меня есть, пустой мешок там, в келье, я на нем сплю, ну а лопату по дороге у кого-нибудь займем.

— Отец,— спросил старший из братьев не в силах скрыть своего разочарования,— вы когда-нибудь в жизни украли хотя бы одну клячу?

— Нет. Но я выводил коней из осажденной крепости под носом у австрийских солдат и, можете не сомневаться, знаю, как это делается. Вот погодите минутку, я сбегаю наверх возьму мешок, помолюсь и двинем потихоньку...

Братья Крунту наострили уши. Появлялась возможность увидеть, как монах забирается в ту Драконову пасть. Поначалу, правда, все это выглядело пустым делом. Послушник взял веревку и тут же скрылся за кустами орешника, рассыпанными по склонам каменных

громад. Изредка его рыжая голова мелькала в зарослях то тут, то там. Вот она выше, еще выше, вот показалась на драконовой макушке...

— Мамочка ты моя родная...

Привязав веревку к корням старой сливы, он бросил ее в пропасть. После чего, присев на корточки и вытянув шею, выглянул, хорошо ли она повисла. Висела не особенно удобно, но, перекрестившись, он начал спуск. Снизу человек, спускавшийся по веревке, которая едва доходила до середины скалы, вызывал чувство ужаса. К тому же веревку ветром относило куда-то в сторону. Монах, стараясь ее выровнять, раскачивал сам себя, а при качании как ты туда попадешь, в то окошечко...

— Да я бы ни за какое золото... — в ужасе прошептал старший.

— И я бы. Ни за что! — сознался средний.

Вдруг качавшийся на веревке монах исчез. Казалось, сорвался, рухнул в пропасть, но нет, вот один конец веревки ушел туда, в Драконову пасть. И опять дрожит и вьется веревка и снова снялась с тех старых слив, повисла книзу.

— Ну глазам своим не поверишь!

О, знали бы они там, внизу, каких ему это стоило сил!

Он был весь в поту, весь дрожал от пережитого ужаса, и только глаза начинали медленно светиться радостью чудом спасенной жизни. Опустившись на колени, поставив перед собой подаренную псалтирь, служившую ему иконой, он воздел руки к небу и сказал:

— Господи! Велико уродство, в котором пребывает созданный тобой мир. Мой ум не может найти истинный путь, и если нету других путей возвращения к тебе иначе как через те же тяжкие прегрешения, благослови нас хотя бы на этом пути.

Угнали они жеребца той же ночью. Угнали довольно простым, но не лишенным остроумия способом. Младшему из братьев была поручена самая легкая роль. С мешком полуобглоданных костей он караулил стены Глиняной крепости и, как только шавки во дворе принимали тревогу, перекидывал через забор мосол, после чего на какое-то время наступало затишье.

Остальные два брата вместе с монахом трудились в поте лица. Под конюшней, выходявшей одной стенкой в поле, сделали подкоп. Разобрав каменный фундамент и подкопав под ним еще аршина на два, они в полночь вошли к лошадям. Обнаружив белого красавца, легко повалили его, связали веревками, точно младенца запеленали и в таком виде протащили через сделанный под стеной подкоп. Бедное животное! Вырвавшись из своего долгого заточения, встав на ноги, конь повел точеной ноздрей по ветру, вздохнул глубоко, и такое победное раскатистое ржание огласило ночь, что пришли в ужас все три брата и сам их рыжий предводитель.

Братья вскочили на коней, взяли за поводок жеребца и исчезли. Когда топот копыт совсем стих, послушник пошел укладывать на место камни в фундамент, после чего принялся засыпать подкоп. Приученный с детства к хозяйству, он все делал старательно, как для самого себя. Только под утро оставил он эту Глиняную крепость и пошел к реке. На берегу разделся, прыгнул в воду и долго плыл против течения, предоставляя Днестру смыть с него усталость и грехи той тяжелой ночи.

Выбравшись из воды, он подумал, что до утра еще есть время. Стоило бы немного отдохнуть. Когда он шел купаться, то заметил уютный выступ, будто нарочно созданный для того, чтобы можно было растянуться на нем и отдохнуть. Нашел его, лег на сырую от росы травку, прильнул усталым телом к теплой неподвижности земли.

Из темной бездны ночи медленно выступали мягкие очертания днестровской долины. Сначала вырисовывался верхний край чаши,

потом долго через этот край переливались сумерки, теснимые рассветом, и только когда в чаше оставалось совсем немного ночной мглы, тогда на дне ее начинал блистать серебристый пояс реки. Он выплывал из ночи с тем изумительным изгибом живого существа, от вида которого мгновенно рождается душевный трепет, если ты живой и река жива...

Днестр, ты наш, Днестринишка,
Священная вода...

Река медленно текла вниз, на юг, к морю. Она текла всю ночь, она и теперь, и завтра, и всегда, во веки веков будет течь на юг. Крутые волны спросонья лениво облизывали друг другу загривки, играя, таяли вдали вместе с рекой, вместе с ее берегами в той утренней дымке, которую мы часто видим, но дойти до которой нам так и не суждено. С каждым шагом эта удивительная красота дали, скидывая с себя дымку, становится уже чем-то иным, поэтому остается одно из двух — либо восхищаться ею издали, либо следовать за ней, с каждым шагом разрушая ее.

«Велик сад твой, господи, и велики чудеса твои!..»

Вдруг отцу Иоану показалось, что кто-то наблюдает за ним. Странно, подумал он. Такая тишина, такая пустынность вокруг. Один плеск волн в низине да шелест диких зарослей — откуда взялась эта тревога, это ощущение, что кто-то не мигая выслеживает его?

Только при первых лучах солнца он увидел ту, что так долго не спускала с него глаз. Это была невысокая, сравнительно молодая вишенка. Она росла неподалеку. И до восхода он ее, конечно, видел, но она ничем не привлекла его внимание. Но вот взошло солнце — и в густой листве показались огненно-красные, тяжелые, спелые ягоды. Увенчанная главным смыслом своего бытия, вишенка стояла, охваченная печалью, потому что, как известно, во время войны дети не бегают по полям, не лазают по деревьям. Который уж год эта вишенка осыпала прямо на землю свои плоды. Вот и это лето уходит, и опять впустую, и на самом последнем сроке она вдруг увидела живого человека — могла ли она его упустить!

— А и вправду как давно мы вишен не ели!

Спустившись к реке, послушник нарвал листьев лопуха, при помощи ивовых прутьиков смастерил из них ведро. Собрав урожай, поблагодарил вишенку за угощение и, аккуратно неся полное ведро, медленно пошел вверх по Днестру, к тому одинокому домику, где, как ему сказали, так давно и так долго его дожидаются.

Хотя было раннее утро, Екатерина, как и все господины Молдавии, уже хлопотала по дому. Во дворе на летней печке варилась мамалыга. Чуть дальше, сторожа тропку к дому, лежала, растянувшись на влажной от росы травке, Ружка. Должно быть, она помнила послушника еще с того ночного прихода, потому что на его появление со стороны Днестра она слабо, один-единственный раз гавкнула, что, впрочем, можно было понять и как предупреждение хозяйке и как приветствие гостю.

Екатерина, увидев его выплывающего из высокого, в человеческий рост прибрежного разнотравья, вздрогнула и чуть не уронила тыквенную мисочку, с которой куда-то шла по хозяйству. Уж никак она не ожидала его именно в этот день, да и со стороны Днестра, да еще с ведром ягод...

Гость, не замечая ее растерянности, прошел мимо Ружки, сел на завалинку, аккуратно пристроил рядом с собой ведро. Наконец, улыбнувшись, спросил:

— Ну, где они там, эти наши дети?

В Молдавии, как и повсюду в мире, дети просыпаются долго и неохотно. Екатеринина семья еще спала на той же печке, под тем же драным одеялом, но бог ты мой, как глубоко ранит детское сердце неполнота отчего дома, как велико ожидание отца, когда его нет!

Мигом встрепенулась сонная шестерка. Полетели с печки очертя голову, шепотом спрашивая друг у дружки, чей это голос, потому что опять был слышен мужской голос во дворе. Бедная Екатерина! Стоя в сенцах, она ловила ребят и силой возвращала обратно, с тем чтобы вымыть, причесать и в это время шепнуть им на ушко, как следует предстать перед своим отцом. Какие слова он может тебе при этом сказать и что ты сам должен произнести в ответ...

И вот они наконец выходят из дому. Идут друг за дружкой, целуют Иоану руку, а он в свою очередь гладит их по головкам, стараясь каждому сказать что-нибудь хорошее и, главное, смешное, потому что оно незаменимо при этой первой встрече, хорошее и чуть смешное слово... Тем временем Екатерина вынесла из дому маленький столик, расставила стульчики вокруг. На столик опрокинула мамалыгу, в миску из-под тыквы пересыпала вишни. И это теплое утро, и эта мамалыга, и эти вишни стали свидетелями рождения новой семьи.

На следующий день, в воскресенье, чуть свет, вымытые и наряженные во что бог послал, они шли длинной вереницей вверх по Днестру. Впереди шла Екатерина, за ней, чуть отстав, шел отец Иоан. Дальше шли их девочки и мальчики. Замыкал шествие небезызвестный Ницэ, который на этот раз был в просторной холщовой рубашке и мог до конца лета оставаться под своим собственным мужским именем.

Шествие этой восьмерки, да еще в такую рань, вызывало удивление. Крестьяне обычно не любят долго оставаться в неведении и, встретив их, прямо спрашивали у Екатерины, куда это они в такую рань собрались.

— Идем в Каларашовский монастырь, к службе спешим.

Тем же, которые, удивляясь, не решались спрашивать, отвечал сам Ницэ, причем ответы его не в пример ответам Екатерины были куда обстоятельнее:

— Тата с мамой идут венчаться, нас взяли дружками и шаферами, а Ружку посадили на цепь и оставили дома.

Еще через две недели Иоан был рукоположен в том же монастыре, но он не собирался принимать привычное в то время обличье сельских священников. В том же старом подряснике, весь в трудах, весь в заботах, он был неистов в своих начинаниях, и вот настал день, когда жители приднестровских сел высypали на берег посмотреть, как по Днестру плывут гигантские плоты. На них стояли братья Крунту, двое москалей и рыжий — ну, монах не монах, поп не поп, но что-то в нем такое было, потому что слушали его и братья Крунту, и москали, и плоты, и даже, казалось, сама река.

— Все это не без бога, — говорили старики и тяжело вздыхали, потому что богу за чем-то нужно, чтобы человек хотя бы изредка испытывал свою судьбу, а с судьбой шутки плохи, на это не всякий может решиться.

Глава тринадцатая

ЧЕРНИГОВСКИЙ КОЛОКОЛ

Честь подвергает опасности частных лиц, а не государство.

Екатерина II.

...греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный национальный характер.

Пушкин.

Черниговский храм Иоанна Богослова славился огромным, шестисотпудовым колоколом, которого таинственная случайность возвысила над всеми прочими колоколами города. Десяток черниговских ко-

локолен звонили к утрени, звонили к вечерне, но все это как-то шло мимо уха, мимо сердца прихожан, и только когда подавал свой голос Иоанн Богослов, утренняя становилась утреней, вечерня — вечерней.

— А щоб ему лыхо...

Существовало множество легенд относительно происхождения богословского колокола, поговаривали даже о неких переменах в его голосе, которые впоследствии оказывались пророческими. Может, поэтому что ни день перед закатом вокруг богословского храма собирались целые толпы, ибо согласно молве народной именно на срезе дня и ночи богословский колокол начинал вещать, и правоверные миряне, запрокинув головы и глядя в вечернее небо, откуда с вышины доносился звон, шепотом гадали, к чему бы это...

Потемкин питал слабость ко всему странному, загадочному, таинственному. О богословском колоколе он, должно быть, наслышан был от главного священника армии митрополита Амвросия, служившего некогда в черниговских храмах. Занятый, как всегда, другими делами, он удивился этому чуду и тут же забыл о нем. Легенда эта тем не менее пролежала долгие годы в его памяти, и изредка, охваченный хандрой или печалью, светлейший вдруг ошарашивал своих собеседников тем, что вот и в Чернигов никак не соберется, а ему крайне нужно там побывать. Теперь при выезде из Петербурга он снова вспомнил о богословском колоколе, но на этот раз ничего откладывать не стал, приказав своим помощникам продумать путь на юг таким образом, чтобы непременно проехать через Чернигов.

Власть и могущество светлейшего все еще оставались незыблемыми. Его встречали у въезда в свои пределы губернаторы, духовенство, представители высшего сословия, толпы праздничного, ликующего народа, пушечная пальба, созвездия местных красавиц. Фельдмаршал, однако, спешил на юг, ему некогда было принимать почести, и его поезд следовал мимо тщательно подготовленных встреч, приемов и проводов.

Губернии мелькали одна за другой, поезд светлейшего летел не останавливаясь день и ночь, пока на четвертые сутки, подъезжая к Чернигову, князь не уловил в густом колокольном перезвоне голос того единственного, неповторимого богословского колокола. «Ах, что за диво!» — воскликнул он и, не выходя из своего дормеза, приказал ехать прямо на звон, пребывая в глубоком волнении, пока наконец экипажи не остановились на площади перед храмом.

Прекраснейший старинный город, стоявший на высокой круче, совершенно его не интересовал. Едва ступив на землю, усталый, невыспавшийся, он вошел в сопровождении губернатора и митрополита прямо в храм. Служили как раз вечерню. Наспех было приготовлено седалище для светлейшего, но сесть он не пожелал. Постояв под куполом храма некоторое время, начал рыться в карманах. Что-то нашел, кинул в рот и принялся жевать. Почесал спину, мучительно дотягиваясь через плечо до места, которое чесалось. Посмотрел вверх на все четыре оконца и сказал вслух губернатору:

— Церковь недурна. Отчего, однако, звонить перестали?

Выяснилось, что звонили все время, но в самый храм звон доходил приглушенным. Это озадачило Потемкина, считавшего себя помимо прочего и специалистом по акустике. Обойдя внутренность храма, не особенно обращая внимания на службу, он вышел обратно в притвор. Там он заметил одноглазого монаха, стоявшего за конторкой и торговавшего свечками.

Будучи сам одноглазым, Потемкин ощущал дружеское расположение ко всем, кто по тем или иным причинам лишился половины своего зрения, и не было случая, чтобы он прошел мимо кривого, не одарив его вниманием.

— Тебя как величают, отче?

— Пафнутием, ваша светлость. Брат Пафнутий.

— Каково торгуешь?

— В храме не торгуют, ваша светлость. Так. Балуем копеечными свечками.

— Но за деньги, я полагаю?

— За деньги, ясно.

— Ну так чего мудришь! Все равно торговля.

Пока они выясняли принципы товарообмена, с колокольни опять донесся звон, но в притвор храма этот звон почему-то доходил во всей своей первозданной красоте. Монах, торговавший свечами, при каждом вздохе колокола чуть вздрагивал, прерывал себя на полуслове и осенял крестным знамением. Потемкин, считавший себя знатоком канонических служб православной церкви, спросил удивленно:

— Разве вечерня требует того, чтобы каждый удар колокола сопровождать крестным знамением?

— Если колокол стоит того, почему бы и нет?

— Тебе нравится ваш колокол?

— Больше жизни, ваша светлость.

— И давно ты его слушаешь?

— С тех пор как помню себя.

— А как ты полагаешь, — спросил вдруг светлейший, — о чем он ведет речь?

— О последнем долге христианина, ваша светлость.

— И каков последний долг христианина?

— По моему скромному разумению, — сказал Пафнутий, — наш последний долг — отдать земле то, что было в нас земного, и вернуть небесам то, что даровано было небом.

— Другими словами, тело — глине, дух — небесам?

— Именно так, ваша светлость.

Выждав паузу в колокольном перезвоне, Потемкин спросил:

— Но, брат Пафнутий, зачем об этом твердить так часто и с такой настойчивостью? Разве кому-нибудь удалось уклониться хотя бы на самое малое время от выполнения сего последнего долга?

— Уклониться, это верно, никому не удалось, но откладывать исполнение этого долга пытались почти все.

— И ты тоже?

— Аз есмь последний из грешных, ваша светлость.

Потемкин улыбнулся, вышел, сел в свой экипаж и уехал в отведенную для него резиденцию. В тот же день по случаю пребывания светлейшего в Чернигове было устроено празднество. Народные гулянья с показом малороссийских песен и танцев, катание по реке на лодках в сопровождении пасторальных мелодий, скачки, в которых участвовали все соседние губернии.

Вечером был дан бал во дворце губернатора, грандиозный бал с балетными и театральными представлениями, с цыганами и заезжими иностранными знаменитостями, но князь сидел понуря голову и был так грустен, точно все печали мира вдруг обрушились на него. Ни роскошный стол, ни танцовщицы, ни скачки, ни карточная игра — ничто его более не занимало. Единственной его отрадой в тот вечер был богословский колокол, и, рассматривая бокал с вином на свет или заглядываясь на какую-нибудь чернооую красавицу, он вдруг восклицал:

— Но как мало времени нам отпущено, ибо твердят же: тело — глине, дух — господу!

По распоряжению губернатора во все время пребывания Потемкина в Чернигове звонили у Богослова. Потемкин слушал колокол непрерывно, с разных точек, на разных высотах, и если звон хоть на минуту умолкал, потому что звонари, как известно, живые люди, князь тотчас же вопросительно смотрел на губернатора, губернатор вопросительно смотрел на градоначальника, и уже летят курьеры по

каменным мостовым через весь город к Иоанну Богослову, чтобы выяснить, в чем дело.

Четыре здоровенных звонаря, поочередно сменяя друг друга, прозвонили почти сутки. В полночь встревоженные этим гулом горожане повывыпали на улицу, собрались вокруг богословского храма, глядели на колокольню и спрашивали друг у друга — что стряслось? Те, у кого было меньше веры и больше юмора, отвечали предположительно: «Светлейший звонит сам по себе».

И он прозвонил, тот богословский колокол, прогудел всю ночь и почти весь следующий день. И даже под вечер следующего дня, когда светлейший уже отбыл из Чернигова, с Богослова по распоряжению губернатора все еще звонили, потому что светлейший, покидая пределы, мог пожелать еще раз на прощание насладиться этим таинственным чудом.

И в самом деле. Отъезжающий князь каждые три-четыре версты останавливал поезд, выходил из дормеза и, став на обочину пыльной дороги, долго смотрел в синюю вечернюю дымку, на высокий, крутой берег, откуда из-за стройной дружины туманно-сизых тополей выглядывали колокольни черниговских храмов. Потемкин стоял большой и одинокий на обочине проселочной дороги, слушал дальний, приглушенный полями звон, и слезы градом текли по его бледным, обвисшим щекам...

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он...

Но чу, что такое? На одной из остановок, когда солнце уже опустилось за тонкую линию заката, а над полями все еще сияли остатки долгого летнего безоблачного дня, светлейший, стоя на обочине дороги и глядя на все еще угадывавшийся в дальней дымке Чернигов, больше не услышал голоса богословского колокола. Ни печального, ни задумчивого, ни обыкновенного, ну совершенно никакого звона не было слышно.

— Да они совсем обнаглели! — завопил он. — Разве так главнокомандующего провожают!

— Должно, звонят, но мы слишком далеко отъехали, — предположил кто-то из окружения.

— Да, но... я не могу уже без этого обойтись... — сказал князь растерянно. — Как быть?

— Проще простого! — заявил никогда не унывающий Попов. — Курьера!

И вот уже летит курьер обратно в Чернигов, и снимают в большой спешке с Иоанна Богослова колокол, грузят его со всеми предосторожностями на специальную платформу и отправляют на юг, следом за поездом светлейшего князя Тавриды. Осиротел, приуныл древний Чернигов, но что поделаешь! Покой маленьких городов стоит в прямой зависимости от покоя сильных мира сего, и тут уж, как говорится, не выгадывай, а то прогадаешь.

В древних Яссах стояла пыльная жара середины лета, и в то раннее утро, когда коляска светлейшего остановилась у подъезда его штаб-квартиры, духота была такая, что измученный в пути фельдмаршал не смог без посторонней помощи выйти из экипажа и подняться на второй этаж. Дышать было нечем.

— Репнина ко мне.

Генерал Репнин явился с хорошими новостями. Накануне прибытия Потемкина, за день или за два, в Галаце был наконец подписан проект мирного договора, который представили светлейшему на утверждение. По свидетельству историков, светлейший пришел в такое негодование, что на глазах у Репнина разорвал проект, устроил генералу неслыханный разнос.

— Прежде чем заключить мир,— кричал ему Потемкин,— вам надлежало бы выяснить общую ситуацию на театре военных действий! А между тем турки сломлены не только на суше, но и на море! Вице-адмирал Ушаков разбил полностью турецкий флот, пушки наших кораблей слышны в Константинополе. Мы должны были втрое больше вырвать у турок против того, что вы тут выторговали.

Впрочем, он был так утомлен пребыванием в Петербурге, дорогой и душным летом, что его неистовства хватило ненадолго. Поразмыслив, он не стал полностью отвергать заключенное соглашение и лишь потребовал вернуть турок к столу переговоров. В Яссах, далеко от северной столицы, он снова обретал столь желанную свободу действий и, ощутив в своих руках всю ту мощь, которая, как ему казалось, вот-вот готова была уплыть, он почувствовал, что допустил некоторую неловкость по отношению к Репнину. Все-таки он на него оставил армию, и войска все это время сражались, побеждали. Чтобы как-то смягчить отношения, он напросился к Репнину на обед, но сидел за столом растерянный, молчаливый, угрюмый.

— О чем закручинились, ваша светлость?

— Не вздыхайте, князь. Грусть какая-то временами накатывает, ну прямо туча черная. Даже вот мыслю — не бросить ли все это к черту и податься в монахи?

— А что,— сказал Репнин,— тоже недурное дело. При вашей умелости и везучести сегодня, глядишь, иеромонах, завтра — архимандрит, а там и до Белого клобука недалеко. Будете благословлять нас обеими руками на ратные подвиги, а мы будем целовать у вас правую.

— Нет,— сказал Потемкин.— Я хотел бы уйти в монастырь не для того, чтобы подниматься вверх, а для того, чтобы вниз сойти.

— Для чего вниз-то?

— Чтобы исполнить извечный христианский долг — вернуть земле то, что было в нас земного, и небесам отдать то, что было в нас небесного.

— Ну, до этого библейского раздела, ваша светлость, вам еще жить да жить! Вы просто измаялись, устали с дороги и, как все люди крупные не только духом, но и телом, плохо переносите жаркий южный климат. Мы здесь вот спасаемся охотой на уток. Садимся в лодки, заплываем в камыши и сидим в прохладе. Выстрелил, сам же поплыл за добычей, а там посвежевший опять сидишь в лодке с ружьем и караулишь небо...

Для того чтобы способнее было руководить мирными переговорами, светлейший переехал на некоторое время в Галац. Поскольку пребывал он по-прежнему в подавленном настроении, решено было устроить охоту на уток. Тишина, мягкий шелест камыша на рассвете, взлет перепуганных уток под острым углом, мгновение выстрела, всплеск падающей в реку дичи — и опять тишина, покой, долгий шелест камыша... Два дня охоты как будто восстановили силы светлейшего, но они же приблизили его кончину, ибо там, в дунайских плавнях, возобновились приступы знаменитой молдавской лихорадки, которой светлейший страдал уже давно.

Лихорадка эта трепала через день. Сутки трясла так, что зуб на зуб не попадал, сутки давала передохнуть. Когда трясла, на больного клали меховые шубы, он задыхался под ними и все кричал, что мочи нету, холодно. На следующий день больной весь измочаленный лежал, обливаясь потом, вспоминал кошмары прошедшего дня, но не успевал он толком дух перевести, как снова накатывала трясучка.

Помимо всего прочего, светлейший был еще и чрезвычайно мнителен, и его мнительность получила новую пищу в Галаце. В начале августа скончался от полученных ран брат великой княгини принц Вюртембергский. Светлейший присутствовал на заупокойной в местном соборе, но, сильно ослабев от лихорадки, не достоял службу и

вышел. По какому-то недоразумению вместо кареты были поданы похоронные дроги, и светлейший по рассеянности сел в них. Он долго сидел и удивлялся, отчего не едут. В конце концов недоразумение обнаружилось. Потемкин пересел в свою карету, но скрипучие похоронные дроги продолжали его преследовать во все дни лихорадки.

Прошедшие накануне его приезда в окрестностях Галаца бои делали жизнь в городе невыносимой. «Место сие,— писал Потемкин Репнину из Галаца,— наполненное трупами человеческими и животными, более походит на кладбище, нежели на обиталище живых. Недуг меня замучил совершенно, и я теперь в крайней слабости».

Ввиду болезни главнокомандующего была достигнута договоренность перевести переговоры из Галаца в Яссы. Лихорадка, однако, усиливалась. Теперь она давала больному передохнуть только после двух дней на третий. Перебравшись в Яссы, светлейший все равно был не в состоянии заниматься делами, и ему пришлось переехать в имение своего друга Маврокордата под Яссами. Пыльное, сухое, жаркое лето медленно перерастало в такую же пыльную, сухую, жаркую осень, и это было для страдающих малярией невыносимо.

Императрица была крайне встревожена сообщением о тяжелой болезни Потемкина. Чувствуя за собой некоторую вину, она писала ему что ни день, а то и по два письма в день. Светлейший плакал над ее посланиями, но отвечать собственноручно был уже не в силах. Государыню совершенно не устраивали письма под диктовку, и она начала лихорадочно искать надежного человека, которого следовало бы немедленно отправить на юг. Этот надежный человек должен был все время находиться при светлейшем и сообщать государыне каждый день самым подробным образом о его самочувствии. В конце концов выбор пал на Александру Васильевну Браницкую, одну из племянниц светлейшего. Поскольку Александра Васильевна, выйдя замуж, проживала в Киеве, императрица попросила ее немедленно бросить все и выехать на юг к тяжело больному дяде.

Надо сказать, что из четырех или даже пяти племянниц-красавиц, обогащенных Потемкиным сверх всякой меры, одна Александра Васильевна, выданная замуж за богатого польского магната Франциска Браницкого, сохранила чувство искренней привязанности к своему могущественному дяде и, получив письмо государыни, немедленно отправилась в Яссы.

Увы, приехала она слишком поздно, потому что жизнь покидала Григория Александровича. Трое врачей — Тиан, Массо и штаб-лекарь Санковский — сбивались с ног, но все впустую. Против молдавской лихорадки, как, впрочем, и против любой другой, существовало тогда, да и теперь еще существует только одно действенное средство — хинин. Избалованный и пресыщенный организм светлейшего яростно противился этому лекарству. Уж с чем только врачи его не мешали, чем они его не сдабривали — все было напрасно. Как только до утробы фельдмаршала добиралась горечь хинина, тут же начиналась рвота и кризис не проходил, пока организм полностью не освобождался от этого снадобья. После приступов рвоты князь лежал неподвижный, казалось, даже бездыханный, и нужно было долго дожидаться, пока в конце концов обнаружится пульс.

Эти три недели, проведенные светлейшим под Яссами, были, может быть, самыми тяжелыми в его жизни. Огромный, обессиленный, опустошенный, он лежал целыми днями неподвижно, ни во что больше не вникая, и единственное, что все еще его занимало, был черниговский колокол. Он все прикидывал, на какую бы из ясских колоколен его пристроить, но колокола все не было, и вот он опять вызывает Боура, которому было поручено следить за передвижением платформ.

— Ну где же он?

Доклады Боура, как правило, бывали оптимистичными, обстоятельными, но, выслушав его, фельдмаршал вздыхал:

— И все-таки долго, слишком долго они его везут.

В начале сентября светлейшего по его просьбе перевезли в город. Его попытка вернуться, хотя бы частично, к делам ни к чему не привела. Он был настолько слаб физически, что не смог даже поставить свою подпись под наградными листами на особо отличившихся при взятии Анапы. Невозможность совладать с гусиным пером вогнала князя в панический страх перед близкой кончиной. Попросил принести из молельни любимую икону голубого благословляющего Христа, подаренную государыней при его назначении наместником Новороссийского края. Он считал эту икону чудотворной. Но, увы, человек слаб, а чувство признательности — ноша нелегкая. Тяжелые дни проходили, и голубого Христа снова отправляли в молельню к прочим иконам до наступления таких времен, когда без него опять было не обойтись.

Теперь, лежа на кожаном диване, беспомощный и одинокий, светлейший подолгу размышлял. В самом деле, думал он, сколько народов во скольких поколениях падали ниц перед спасителем, взывая о помощи. Выбравшись из беды, они забывали о нем до следующих тяжелых времен. А он не помнил зла, и снова ждал их, когда они придут с молитвами, и снова помогал им, и в этом, пожалуй, он был не столько сыном земли, сколько сыном небес.

В те долгие ночи страданий светлейший сочинил двенадцать канонов, которые в суматохе, связанной с его кончиной, затерялись. Попов, записавший их под диктовку, хотя и был сыном казанского священника, оказался не в состоянии запомнить и восстановить их.

В начале октября, в полдень светлейший вдруг представил себя в этом же дворце лежащим в гробу, и это невесть откуда взявшееся видение привело его в неистовство. Умереть в этом пыльном городишке, в котором дышать-то нечем? Да как он раньше не понял, что ему тут не короноваться, а испустить дух суждено, а если это так, почему он не выедет сей же час?

Был немедленно вызван Боур.

— Я не хочу умирать в Яссах,— сказал ему Григорий Александрович.— Я вывезу свой гроб отсюда, повезу его в свой любимый, своими руками построенный Николаев. Вели вынести меня немедленно!

— Но, ваша светлость, даже экипажи еще не готовы...

— Пусть готовят, пока будут спускать меня по лестнице...

Выехали через несколько часов в безумной спешке и суматохе. Для Потемкина идеально было бы вообще никогда не вылезать из экипажа. У него была страсть к путешествиям. Часто зимой в Петербурге, когда изводила бессонница, он катался два-три раза из столицы в Царское Село и обратно и все гонял лошадей, гонял, пока благодный дар отдохновения не снисходил на беспокойного седока. «Кто знает,— думал светлейший,— может, и на этот раз, пока доедем до Николаева, в пути меня сморит хороший, крепкий сон...»

Увы, после двухмесячной лихорадки в нем вымерло и ощущение дорожного уюта. Не успели отъехать от Ясс, как верст через пятнадцать ему опять стало плохо. Лихорадка так трясла его, что, казалось, вот-вот выбросит из кареты. Переехав Прут, остановились и стали совещаться. Неподалеку от дороги стоял домик. Просто так, в поле, на обочине дороги стоял небольшой, опрятный снаружи молдавский домик. Был он совершенно пуст. Жители, видимо, еще не вернулись из своих странствий. А может, погибли или ушли, как и многие другие, просить милостыню. Быстро прибрались в доме, подмели, занесли кожаные подушки. В самой большой и просторной комнате устроили светлейшего. С наступлением темноты лихорадка как будто

отпустила. Докторам даже показалось, что князь заснул, и измотанные долгими бессонными ночами его помощники свалились, как убитые.

Часа через два, однако, светлейший проснулся. Было душно. Попросил открыть окна, но все его окружение спало мертвым сном. Тогда он поднялся сам, чтобы отворить их. Оказалось, что это невозможно. В той давней Молдавии бедный люд, которому не на что было купить дорогое тогда оконное стекло, заменял его мутноватой пленкой, представлявшей собой не что иное, как высушенный бычий мочево́й пузырь.

Задыхаясь от духоты, ступая через спящее окружение, князь кулаками проткнул те пузыри насквозь. Свежего воздуха, однако, по-прежнему не поступало, и тогда он вышел на улицу. То, что и на улице стояла такая же духота, его совершенно добило. Он вдруг начал искать, к чему бы прислониться, потому что не было сил даже на ногах стоять, и в это время какая-то тень отделилась от дожидавшихся неподалеку экипажей.

— Прикажете, ваше сиятельство,— сказала тень хриплым старческим голосом.

Потемкин узнал отчаянного старого казака по прозвищу Кресало. Наслышавшись от Головатого о его подвигах, он пожелал иметь его в своем конвое и теперь, едва держащийся на ногах, обрадовался ему. Хоть и был Кресало старый, какая-то неуемная неистребимая сила обитала в нем, а Потемкину как никогда этой силы не хватало.

Опершись на него, отдохнул немного, но тяжелая, пыльная духота не давала дохнуть полной грудью. Ни малейшего дуновения ветра. Огромное звездное небо низко висело над тающими в ночи очертаниями холмов, и только где-то там, вдали, на склоне какого-то дальнего холмика таинственный огонек то мигнет, то уйдет надолго в душную бездну ночи, то опять мигнет.

— Вот туда,— сказал Потемкин старику Кресало.— Туда, и непременно сей же час вези меня туда!!!

А был тот огонек обыкновенным пастушьям костром, и ничего таинственного в нем не было. Как известно, у степных пастухов хвороста мало, и, чтобы скоротать ночь, они подкидывают в огонь овечьи орешки. Огонь при этом не столько горит, сколько тлеет. Когда он совсем уже на последнем издыхании, пастухи кинут две-три хворостинки, пламя вспыхнет, на миг озарив окрестности, и костер опять начинает тлеть.

У замеченного Потемкиным костра сидели двое пастухов — старик и его молодой помощник. Старику не спалось, и он призадумался той тяжелой, сладко-печальной думою, при которой молдаванин сливается со своим горем, и так ему от этого слияния хорошо, что ничего другого в жизни не надо. Молодой, напротив, был еще полон сил и каких-то смутных замыслов. Он все к чему-то прислушивался, куда-то собирался, и вообще на месте ему не сиделось.

— Ты, дед, сразу скажи — даешь взаймы деньгу или нет?

Старик скинул с себя на минутку сладкую дремоту, чтобы улыбнуться молодому помощнику.

— Несуразный ты парень! Деньга, которую я вчера нашел на обочине дороги, ее и деньгой-то по-настоящему назвать нельзя. По-русски она зовется пятак, то есть пять копеек. Вся ценность ее в том, что она круглая и ветром ее не унесет.

Молодого пастуха эти никчемные рассуждения только выводили из себя.

— Ты не рассказывай мне, что такое пятак, это я и без тебя знаю. Ты одолжи мне его, чтобы эта деньга в моем поясе лежала, а уж как и на что я ее истрочу — не твоя забота.

Старик вздохнул. Расстаться с деньгой ему не хотелось, а дать себя втянуть в длинный спор по пустячному поводу значило растерять ту сладко-печальную дремоту, которой он так дорожил.

— Но положим, что это хорошая, славная деньга. И куда ты теперь среди ночи кинешься с ней курево покупать?

— И это тоже не твоя забота,— сказал молодой,— Если у меня будет деньга, я как-нибудь курево себе раздобуду. Вон тракт в двух шагах. Вдруг проедет почта! Да у тех кучеров почти всегда можно курево разжить!

— Какая там почта в военное время! Раз в неделю покажется и то несется как очумелая, моля бога, чтобы пронесло.

— Слушай, дед, а может, ты все это по скупости своей?

Старику стало невмоготу. Покопавшись в кармане, он достал свой пятак. Молодой, заполучив его, тут же упрятал в кожаный пояс, так называемый кимир, и пришел в такое волнение, что весь превратился в слух, готовый в любую секунду сорваться с места.

— Смотрю я на тебя — чудной ты малый,— сказал старик.

— Тс-с!

— Что, никак едут?

Молодой стоял неподвижно, как изваяние, вслушиваясь в нескончаемую ночную тишину в поисках хоть чего-нибудь похожего на конский топот или дребезжание колес, но тишина была величественная, непочатая, первозданная.

— Бросил бы ты эту маету,— посоветовал дружески старик.— Нам, пастухам, нельзя слабостям поддаваться. На нас живые божьи твари. Другой раз кончится у тебя табак, а кругом одни пустые холмы — и что ты будешь делать? Бросишь овец и пойдешь курево искать? Да когда ты вернешься, одни копыта останутся от твоей стары!

— Я бы бросил,— вздохнул молодой,— да что толку, когда уже затянулся и дым в себя пустил.

— Что, с одной затяжки пошло?

— С одной затяжки.

Они еще поговорили о разных пороках и страстях, караулящих бедное человеческое существо, о том, как и при каких обстоятельствах эти пороки пристают к человеку, от каких можно еще избавиться и какие следует считать уже до гроба, но чу...

— Что, едут?

Молодой разочарованно вздохнул.

— Главное, я уже деньгу взял в зубы, чтобы бежать на тракт...

— Смотри не надумай сдачу просить,— сказал старик,— а то совсем опозоришься.

— Ты вот, дед, смеешься, а если попадется курящий человек, он сразу поймет мою тоску. Случается даже, что курящий курящему просто за так дает покурить. Если хочешь знать, я этот пятак больше для храбрости у тебя выпросил...

— Ничего, потерпи немного. Вот, даст бог, заключат мир, отведем овец на зимовку, отпущу тебя в Яссы. Там у греков запасешься курево на целый год.

— Думаешь, заключат мир?

— А непременно. Когда две державы никак не могут одолеть друг друга, тогда что остается? Мир. А будет мир, заживем и мы потихоньку.

— Думаешь — дадут нам?

— Дадут,— сказал старик уверенно.— Для новых войн нужны солдаты, а чтобы бабы нарожали новую армию, нужно дать небольшое послабление народу. И пока бабы будут нянчить малышню, можно будет и самим чуток пожить.

Молодой хотел было на это возразить, но вдруг сорвался с места и пулей кинулся по склону холма к проходящему в низине тракту. Со

стороны Прута неслось несколько экипажей в сопровождении конвоя. Достав свою денгу, пастух стал посреди тракта, готовый скорее погибнуть, чем сойти с него.

Лошади переднего экипажа шарахнулись в сторону, чуть не опрокинув карету. Поддавшись тревоге, остановился весь поезд. Старый казак Кресало, обнажив саблю, выехал галопом в голову поезда, чтобы выяснить, в чем дело.

— Ну что там такое? — спросил раздраженно генерал Голицын, сопровождавший светлейшего в этой поездке.

— Глупость какая-то, ваше благородие, — ответил разочарованно казак. — Пастух просит покурить.

Выбравшись из своей кареты, генерал подошел к экипажу, в котором ехал светлейший.

— Поедем дальше или отдохнем немного, ваша светлость?

— Странно, — сказал Потемкин. — Очень странно. Не случилось ли чего с ним в дороге?

— Да что с такой громадой может случиться?

— Ну, опрокинуть могут по неосторожности или переправляя через водные преграды...

— Какие там водные преграды! — возразил Боур. — Через Днепр он переправлен давно, а что касается Днестра, то еще вчера, когда вы распорядились ехать в Николаев, мы отправили курьера, чтобы и черниговский колокол везли прямо туда.

— Поздно, — сказал, подумав, светлейший. — Теперь уж поздно. К тому же он умолк. Я его больше не слышу, а если он для меня свое отзвонил, зачем с ним возиться? Пускай возвращают обратно в Чернигов. И непременно сию же минуту отправить курьера.

Приподнявшись, он ждал, пока отдадут нужные распоряжения, потом долго слушал, как утихает в ночи топот одинокого всадника.

— Да и нам ехать дальше незачем, — заявил он вдруг. — Выньте меня из коляски. Я как-никак воин и хочу, подобно воину, принять смерть в поле.

Вынесли из кареты кожаные подушки, разложили неподалеку от дороги, на склоне холма, застелили ковриком. С трудом вынесли на руках огромное, холодное, почти безжизненное тело князя. Врачи попытались прощупать пульс, но он попросил оставить его в покое. Правда, племянница притащила из кареты пузырек одеколона, предложил князю полечить себя собственным способом. От всех болезней князь лечил себя одинаково — на макушку, прямо на взлохмаченную шевелюру выливался флакон одеколона, который сам же растирал по голове огромной лапой. Всю жизнь это средство помогало, но, увы, на этот раз...

Улегся, дав себя укутать одеялом. Некоторое время спустя спросил племянницу:

— Что тут рядом? Шумно кто-то вздыхает.

— Отара. Овечки вздыхают во сне.

— Костер у них там, что ли? Дымком тянет.

— Пастухи коротают ночь.

— А что, — спросил князь после долгой паузы, — тому пастуху, который нас остановил, дали закурить?

Стали выяснять. Оказалось — не дали. Подозвали молодого пастуха, и старый казак насыпал ему из кисета немного табаку. Потемкин следил, как пастух неумело закуривает, потом попросил повернуть его на спину. Какое-то время лежал молча, укутанный огромным ночным небом.

— Саш, а Саш... — позвал он тихо племянницу.

— Что?

— Видишь вон ту маленькую звездочку?

— Вижу.

— Это моя любимая звезда. Всю жизнь она меня манила, всю жизнь она была ко мне благосклонна, и кто бы мог подумать, что в самый-самый зенит...

— Что ты, дядюшка! Еще как она засветит, еще как мы заживем! Глаза светлейшего наполнились печалью.

— Поди принеси мне голубого Христа,— попросил он Браницкую.

Племянница ушла к каретам, и в ожидании ее светлейший долго разглядывал низкорослую сутулую фигуру старого казака, стоявшего с ружьем у его ног. Было что-то бесконечно горькое и одинокое в его тяжелой думе.

— Поди сюда, солдат.

Казак вздрогнул, точно его застали бог весть за каким проступком, и, вытянувшись по форме, замер.

— Ты, солдат, прости меня,— с трудом проговорил фельдмаршал.

Кресало сухо глотнул, посмотрел куда-то в поле, затем молвил тихо:

— Не судья я вам, ваше сиятельство. Если что и было меж нами, пусть бог простит.

— Я часто бывал излишне суров с тобой, солдат...

— Так ведь служба — это не дружба...

— Гонял тебя по всем дорогам...

— На войне без этого не обходится...

— Излишне часто заставлял кровь проливать...

— Мы за бога, за веру свою стояли, и тут уж, как говорится, потери не в счет...

Князь облегченно вздохнул, точно свершил самое трудное из всего того, что ему предстояло.

— По дому небось соскучился?

— А и то сказать, ваше сиятельство. Пора поля засеять.

— Ну и с богом,— как-то неопределенно, ни к кому особенно не обращаясь, выговорил наконец светлейший.

Тем временем вернулась Браницкая с иконой. Потемкин целовал голубого Христа, плакал, опять целовал, после чего утих, прижав его к груди. Казалось, он засыпает, но вздрогнул несколько раз. Графиня Браницкая, кутаясь в теплую шаль, подумала про себя, что это хворь из него так выходит, но старый казак, дежуривший у ног князя, перекрестился и сказал:

— Отходит, слава богу...

— То есть как отходит?

— Ну, помирает то есть.

— Да ты что, глупая твоя голова, как можно!!!

Бросившись к светлейшему, она принялась его обнимать, целовать, затем, положив себе на колени его громадную голову, принялась дышать ему в рот, чтобы вернуть к жизни, и при этом истерически кричала:

— Нет, этого быть не может, мы этого не должны допустить!

— Оттяните ее от покойника,— сказал спокойным голосом казак.— Бабы, они при смертях бедовые...

Конвойные стояли, не смея притронуться к графине, и тогда молодой Голицын, подняв ее на руки, понес к каретам. Браницкая вопила, вырывалась у него из рук, но Голицын был крепким, мускулистым и его решимость подействовала на нее отрезвляюще. Через несколько минут, окончательно придя в себя, она сама вернулась к покойнику и, сев чуть поодаль, тихо, по-бабьи завывала.

Светлейший лежал, запрокинув голову, и своим единственным, теперь тоже незрячим оком все еще вглядывался в бесконечность звездного неба. Кресало, волею обстоятельств ставший свидетелем нелегкого прощания тела с духом, подошел к покойнику, положил его голову на подушку, сказав при этом:

— Нужна монета, чтобы глаз прикрыть, пока веко не остыло.

Они выехали из Ясс в такой поспешности, что трудно поверить, но ни у кого не оказалось при себе золотой монеты. Стали искать хотя бы серебро или медь — ничего, ни копейки ни у кого. И тогда молодой пастух, подойдя, протянул свою деньгу. Казак взял ее, прикрыл начавшее уже остывать веко, и скромный пятак, потерянный кем-то на обочине дороги и найденный молдавскими пастухами, лег на единственный глаз богатейшего и могущественнейшего из сильных мира сего.

Эта неожиданная кончина поразила окружение князя до такой степени, что никто не знал, что же теперь предпринять, и единственным сохранившим присутствие духа был все тот же казак по прозвищу Кресало. Встав во фронт у ног фельдмаршала, подождав, пока к нему пристроится остальной конвой, скомандовал:

— Честь!

Генерал Голицын обнажил шпагу, солдаты зарядили ружья, и два десятка выстрелов осветили прохладное предутреннее небо. После чего казак скомандовал:

— Молитву!

Никого из духовенства не было, и Сартти, бесконечно любивший светлейшего, решил, что это его обязанность. Опустившись на одно колено и поцеловав икону спасителя, он театрально воздел руки к небу и принялся декламировать:

— О всевышний, всемилостивейший, прими душу нашего главнокомандующего, фельдмаршала, светлейшего князя Тавриды, графа Священной Римской империи, гетмана Великой Булавы...

— Не надо так красиво, ваше благородие, — прервал его казак. — Сколько тут ни нагрузжай, все равно на тот свет приходим без званий и орденов. Перед богом все рядовые.

Сконфуженный Сартти поднялся и отошел. Старый казак, заняв его место, сложил на груди руки и обыденным голосом простого человека, свершающего свою ежедневную молитву, произнес:

— Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя...

Князь лежал неподвижно и, казалось, внимательно слушал молитву старого казака. Дух его отмаялся, страдания улеглись, и лик осенился покоем христианина, исполнившего свой долг.

Глава четырнадцатая

ДАНЬ ВЕЧНОСТИ

Паши и сей — и будешь правым.

Нароное.

Красота почти равноценна добру и правде.

Ренан.

А Днестр по-прежнему катит свои тяжелые холодные волны, точно мир еще не был отмечен тайной рождения и по нему не гуляла старуха с косой; точно дух наш не познал еще безбрежности слова и рука не постигла радости деяния; точно мы еще не отправлялись за истиной вечной и не возвращались бы в который раз с пустыми руками.

Да и то сказать — что для древней реки, век которой исчисляется тысячами, наши маленькие, земные дела!

Днестр, ты наш, Днестринушка,

Священная вода!

На берегу высоком —

Цветы да лебеда...

Голубой пояс живительной влаги, величественно огибая древние холмы, идет как будто с нами и как будто без нас, ибо, если вдуматься, чего только не видали эти волны, кого только не встречали и не

провожали эти берега. В ущельях этих тяжелых громад прятались геты и сарматы. В водах этой холодной реки тонуло чудовищное племя гуннов. На этом высоком берегу поработанные северяне, пав ниц перед своими завоевателями, просили пощады для своих кровинки, но Рим был непреклонен в своей решимости истребить мужское население этой воинственной державы, и вот легионеры отрывают малышней от материнской груди и сбрасывают с высокой кручи в реку.

Впрочем, все в мире относительно. Относительной была и победа римского императора Траяна над вождем гето-даков Децебалом, ибо вместе с римскими легионами под теми же шлемами и на тех же конях шло в наступление на мир язычников христианство. Это христиане углубили пещеры, с тем чтобы, спрятавшись от чужого глаза, творить в темноте и одиночестве молитву тому одинокому назаретянину, которому со временем поклонятся последние правители Рима.

Что есть истинная ценность и что есть ценность относительная, что есть вечное и что есть тлен? Увы, над этим человечество не устает биться на протяжении всей своей истории, а дни идут, проходят столетия, солнце по-прежнему всходит и заходит, и лежащие на берегу Днестра доисторические животные из мела и ракушечника думают свою вечную думу, лениво грея на солнце бока. Есть какая-то тайна в их угрюмой задумчивости, чем-то они завораживают глаз, какое-то чутье подсказывает, что там, в глубинах этих громад, куда не проникает луч солнца, живет белая вечность и сами эти громады покоятся, должно быть, на белой вечности, ибо не может вечное не на вечном стоять.

Днестр, ты наш, Днестринюшка,
Священная вода!

А и правда, думала Екатерина, воистину священная. Проживешь век рядом с этой рекой, и хотя ты идешь своей дорогой, а река своей, она твою судьбу держит на примете и в тяжелую минуту непременно придет на помощь. Ну кто, скажите, смог бы, кроме Днестра, такую уйму леса перетащить из-под Могилева до самой деревни, причем так ладно подогнать плоты, что вот ты достаешь из воды бревно — и тут же тропка, по которой его надо тащить наверх.

Не успели и половины перетащить, как начали строить. Околинским мужикам не терпелось испытать свою судьбу, а может, они просто не знали, что их ждет, ибо созидание — дело не столько рук, сколько духа человеческого. И поди попробуй, когда все помешаны на разрушениях, когда разрушениями клянутся и разрушениями бредят, остановить себя и начать подгонять бревно к бревну. Попробуй, когда круглый год вокруг пылают деревни, убедить себя, что сложенная тобою стенка будет стоять вечно и ни огню, ни воде она не подвластна. Найди в себе силу поверить, что вначале было Слово и для того Слова ты строишь храм, и это в то время, когда все вокруг тебя вопят, что вначале была Сила, а потом тоже была Сила и всегда, всюду, во веки веков пребудет одна Сила...

Ничего удивительного в том, что, не успев толком начать, тут же выдохнулись. Стук топоров доносился все реже, тише, глуше. Работа топором — работа тяжелая, на мамалыге и постном супе много не наработаешь. День работника начинается с кормежки, эта истина стара как мир, а что кинуть в тот проклятый чугунок, когда четыре года шла война? И в этот трудный час кто бы вы думали пришел Екатерине на помощь? Да тот же Днестр. Собрав ребятишек со всей округи, Екатерина побродила с ними по своим заветным уголкам, набрала два ведра ракушек, и с тех пор не проходило дня, чтобы детвора чего-нибудь не натаскала строителям храма.

По вечерам, преодолевая усталость, плотники шли к тем же водам Днестра. Скинув с себя драные лохмотья, войдут в воду такими клячами, что отворачивается пристыженный глаз, а через полчаса

выходят из воды такими гогочущими молодцами, что все село выбегает им навстречу. И такие выдавались славные вечера в Околине, и так добрела и искрилась речь смешинками на каждой завалинке, у каждой калитки, возле каждого колодца, точно вместе с вытасченными из воды бревнами сам смысл жития выбрался на берег после долгих скитаний.

Один только отец Иоан не спешил по вечерам возвращаться. Выкупавшись, он садился на старую, дырявую, перевернутую вверх дном лодку и долго смотрел туда, на запад, где остались родные Карпаты, и Трансильвания, и отчий дом... Должно быть, сама эта река, несущая в себе чистоту и прохладу Карпатских гор, казалась ему приветом той далекой малой родины.

«Опять начинает тосковать... Господи, что я с ним буду делать! Чуть что — и уже начинает тосковать...»

Быстро потушив огонь в печке, накрыв приготовленный ужин, Екатерина надевала чистый платочек и спешила к одиноко стоявшей на берегу старой лодке. Как она его любила, как она его жалела, когда бежала по вечерам к той старой лодке! Завидев его еще издали, она все шла и сокрушалась, потому что, господи, как он исхудал! Низко, печально опустилась еще недавно такая бедовая, такая рыжая голова! Да и что удивительного! Легко было спросить тем летним утром — где там наши дети? А попробуй взвалить на себя заботу о них, раздобудь муку для двух мамалыг в день, одной утром, другой вечером, причем они должны быть отнюдь не маленькие, потому что их было шестеро, не считая Ружки, которая тоже сидит вот поодаль, не спускает с тебя глаз, и детская душа нет-нет да и встревожится — достанется ли что Ружке?

Жить в низине и строить наверху — морока, хуже которой не придумаешь. За день наматываешься так, что уж какой там из тебя работник. Что делать? Из остатков старого храма отец Иоан довольно быстро соорудил там же, наверху, рядом со стройкой домик о двух комнатах. Едва перекрыл, едва поставил окошки и навесил двери, как Екатерина тут же перетащила семью наверх. В одной комнате живут, другую Екатерина штукатурит. Не успела та обсохнуть, переселились и уже в этой штукатурят. Глина тут, глина там. На лице, на столе, на постели — всюду глина, шагу ступить невозможно без сырой глины.

И все это так, между прочим, потому что главным делом был храм, и там отца Иоана ждала самая большая неприятность. Оказалось, к его великому удивлению, что не все способны разумно орудовать топором. Бывают возрасты, когда человека еще можно этому обучить, а бывает — поздно. Братья Крунту принадлежали к той части человечества, которой от рождения это ремесло противопоказано. Они, правда, старались, но чем усерднее они принимались за дело, тем меньше проку было в их трудах.

Во дворе строящегося храма валялась уже целая гора изуродованных бревен, и для отца Иоана, горца, выросшего в окружении леса, знавшего и любившего лес, этот навал искалеченной древесины был тяжким грехом, смириться с которым он не мог. Часто по ночам, когда выглядывала луна, он тихо вставал, шел на стройку и стучал топором часок-другой, чтобы хоть пару бревен привести в божеский вид.

Когда работы прибавилось, так что им вчетвером было уже не под силу, стали взывать к помощи односельчан. Люди откликались слабо и шли неохотно, потому что стояла осень, у каждого свой виноградник, свои заботы. Заглядывали изредка соседи. Придут перед самым обедом в надежде, что Екатерина усадит за стол. Если за трапезой попадет в ложку кусочек мяса или вкусная гуща какая-нибудь, тогда ничего, а если один пустой суп, тогда к концу трапезы уже начинают косить глазом по сторонам. На следующее утро, глядишь, две-три заготовки как ветром сдуло.

От этих пропаж у отца Иоана прямо руки опускались, ибо были они связаны с его главными плотничьими замыслами. В его голове не укладывалось: храм, у которого нет колокола. Он готов был идти на любую жертву, лишь бы над храмом высилась, вырастая из самой крыши, небольшая колоколенка. Он умел такие колоколенки строить, их было там, на его родине, немало, сооруженных его руками. Эта, околинская, должна была стать лучшей из них. Он не успевал подбирать и копить для нее материал, ему и в голову не приходило, что его заготовки так и просядут в печку. Большую сваю в одиночку не утащишь, а если утащишь, нужно еще топором поработать, а эту взял — и сразу в печку.

«Опять он у меня падает духом», — сокрушалась Екатерина, сворачивая с тропки к старой лодке. Щадя его тоску, его одиночество, она подходила такими неслышными шагами, что казалась откуда-то сверху занесенной ветром пушинкой, опускалась рядом с ним.

Поначалу она молча сидела, стараясь смотреть туда, куда он смотрит, вздохнуть о том же, о чем он вздыхает, увидеть его глазами и эту речку, и эти горы, и пелену туманов за Днестром. Потом она начинала вместе с ним тосковать по его малой родине, хотя ту Трансильванию и в глаза не видала. После чего она начинала тихо плести слова о том о сем и ни о чем. Рассказывала, например, то, что знала наверняка об этой реке, передавала то, что слышала от других, а то принималась излагать, чего сама не знала и от других не слышала, но о чем ей подумалось в те долгие ночи одиночества, когда жила с шестью малютками тут, на берегу реки.

Тосковавшего по своему краю отца Иоана эти рассказы мало занимали, но, воспитанный среди простого люда, обычно исполненного уважения к собеседнику, он, думая о своем, оставлял слух открытым. Екатерине только того и нужно было. Завладев его слухом, она кидала в него сказки, легенды, небылицы и, одаренная от природы, в этой стихии достигала такого мастерства, такой красоты, что наступала минута, когда создаваемый ею мир соприкасался с миром, по которому тосковал отец Иоан, становясь единым целым. Сбросив с себя тоску, отец Иоан обнимал ее за плечи, долго смеялся какому-нибудь случаю, образу или словечку.

— Ну и рассмешила ты меня, ну и рассмешила!

С реки хоть и шли молча, видно было, что идут не просто двое — идет семья, причем семья, благословенная взаимопониманием, а это значило, что век ее будет долгим.

Дома, поужинав, Екатерина укладывала ребятишек, а отец Иоан в это время молился в соседней комнате. Потом они ложились на пахнущую свежим сеном постель, и, перед тем как заснуть, измотанная усталостью бесконечно долгого дня, Екатерина кидала в темноту так, на всякий случай:

— Она у нас будет белой.

— Кто? — спрашивал, засыпая, отец Иоан.

— Церковь наша.

Эта мысль о белой церкви до того его смешила, что он принимался ее усовещивать:

— Ну как она может быть белой, если строится из дуба? Видела ты когда-нибудь белый дуб?

Поскольку белого дуба Екатерина не видала, отец Иоан по-доброму, отечески завершал разговор:

— Ты уж меня извини, матушка, но белой она быть никак не может.

— Почему не может?

— Потому что дуб по природе своей может быть серым, может быть коричневым, может быть черным, но белым он быть не может.

Екатерина вздыхала, размышляла. Она была человеком степным, многие поколения ее предков рождались, проживали свои жизни и

умирали в глинобитных домиках, побеленных известью. Для нее белый дом это был честный дом, вечный дом, святой дом, а бревенчатое строение — ну бревенчатое и ничего больше.

— А если те дубы оштукатурить и побелить?

— Живой дуб мазать глиной и белить?!

— А что? И обмажем и побелим.

Добытое с таким трудом согласие грозило обернуться новой ссорой. К счастью, усталость разнимала их на полуслове, и они засыпали, так и недоговорив. Всю ночь их укачивал голос днестровских волн, залечивая их великую усталость, а под утро, чуть только петухи прокричат зорьку, Екатерина, просыпаясь, заявляла:

— Как хотите, отец, а она у меня будет белой.

— Кто?

— Церковь наша.

— Да каким образом она сделается белой, если она из дуба? Ты видела когда-нибудь храм из дуба?

— Видела.

— И что, разве он не был красив?

— Слов нет, красота там великая, но как перед богом сознаюсь! Когда я на него смотрела, у меня прямо руки чесались взять лопатку, ведро и тут же начать штукатурить и белить.

— Да зачем красоту живого, вечного дуба мазать глиной и белить?!

— А чтоб еще красивее было.

После четырех лет новостей, связанных так или иначе с человеческими жертвами и разрушениями, весть о том, что где-то там, на Днестре, какая-то деревушка строит церковь, всколыхнула весь обзоримый из Околины христианский мир. Господи, неужели выживем? Из-под Прута, из-под Серета, от Подолии и от самого Черного моря шли люди поклониться этим бревенчатым стенам, ибо согласно народному поверью есть надежды и есть грехи, которых никому, кроме как возводящемуся храму, не должно доверять. На выставленный для подаяний стол с утра до вечера приносили узелочки, медные гроши, куски домотканого полотна, живых цыплят, груши, картофель, а то и просто венки из пахучей лесной мяты.

Отец Иоан, занятый на стройке, переложил заботы о странствующем люде на плечи Екатерины. Она всех охотно принимала, выслушивала, рассказывала о своем. Долгие годы одиночества в низине у реки научили ее, какое это великое счастье — сострадание, когда ты его находишь в других и другие находят его в тебе.

— Да ведь, матушка, этот храм наверняка будет выше турка с саблей!

Дело в том, что на своих вассальных землях турки предписали строить храмы не выше стоящего на своей лошади янычара с поднятой кривой саблей. И так бедные крестьяне страдали от этого предписанного ограничения — господи, хоть бы та сабля ровная была, можно бы поставить крест повыше, но где там, все не как у людей!

Отец Иоан был трансильванец, он не жил под турками, в его жилах не было ни капли страха перед янычарами. Он строил свой храм таким, каким он ему виделся, а там что же, все мы под богом ходим.

— Как бы они его не снесли!

— Даст бог, обойдется.

Наговорившись с гостями, Екатерина принималась дальше хлопотать по хозяйству, а паломники рассаживались на обтесанных заготовках, отдыхая после долгого пути, отдыхая перед дальней дорогой. Они сидели задумчиво, молча, боясь шевельнуться, ибо пока они сидели и дышали запахом свежих стружек возле этого строящегося храма, великая река по имени Время медленно вытаскивала их из тряси-

ны разрушения, приобщая к нелегкому, но святому делу созидания. И каждый стук топора наказывал им верить и жить. Жить и верить.

К осени околинская церковь начала обретать тот облик, с которым ей предстояло прожить век. Появились тяжелые, прочные стены, крыша из наколотой ими же дранки и над крышей игрушечная колоколенка, приводившая всех в восхищение. Она была восьмиугольной, с остроконечной конусной крышей, с четырьмя крохотными окошечками, по одному на каждую сторону света.

— Ну прямо загляденье!

Пока ее не было, этой колоколенки, о самом колоколе речи не было, но как только она появилась, пришли в волнение Околина, весь мир паломников и, конечно же, сама Екатерина. Она так полюбила ту колоколенку, что, едва раскрыв глаза, бежала к ней. Затем, днем, вдруг скинет с себя спешку и суматоху, чтобы посмотреть, как она там. Даже ночью, бывало, выскочит на нее полюбоваться. Теперь ей тоже казался невозможным храм без колокола, а взятый его было неоткуда, и единственной надеждой был тот же бедный отец Иоан — не может быть, чтобы, смастерив такую чудо-колоколенку, он не подумал о самом колоколе.

О этот наш древний немилосердный бич — эта наша бедность...

Издавна, когда строительство храма начинало выдыхаться, священник вместе с несколькими прихожанами отправлялся собирать подаяния. Собирали на крышу, на алтарь, на колокол. У отца Иоана была небольшая лошадка, выловленная в лесу братьями Крунту, чтобы перетаскивать бревна потяжелее с места на место. Поразмыслив, отец Иоан решил, что поздней осенью, когда работать внутри храма будет уже холодно, запрягут лошадку и поедут недели на три-четыре по селам собирать на колокол. Поначалу охотников ехать набралось великое множество, но он не принимал их всерьез, потому что говорилось это в пору брожения сладкого сока, а выпивший человек чего только не наговорит!

Когда выпал первый снег, отец Иоан смастерил небольшие сани, оделся потеплее и попрощался с семьей. Провожали его всемером — девочки тихо плакали в кулачок, Ницэ ревел во все горло и жаловался судьбе, что его, мужчину, не берут на такое важное дело. Ружка, добрая душа, благо ей ни одежды, ни обуви не нужно было, почти до самого леса бежала за санями.

И начались долгие дни скитаний. Вокруг ни души. Белое заснеженное поле, белый горизонт и белая, почти невыносимая для человеческого одиночества тишина. Холод, бездорожье, запустение... Погибающие от голода и эпидемий деревни. Полуодичалый, забытый богом край... Господи, куда он только в ту зиму не попадал, куда его только не заносило! Подъезжает, бывало, к деревне. Останавливает лошадку у крайнего домика. Никто не откликается. Полуоткрытые двери, занесенные снегом сенцы... На печи лежит вповалку вымершая семья. Кругом тиф, помогать некому! Что делать? Заезжает во двор. Топит печь, обмывает, хоронит, закрывает домик и едет дальше.

В одной деревне кое-как соберет полмешка какого-нибудь добра, а в соседней — опухшие от недоедания дети, и как ты можешь с ними не поделиться? А то, бывало, и тебе ничего не дадут и другим тебе дать нечего, но едешь полем и видишь — стоит человек. Стоит оборванный, посиневший, спиной к дороге, потому что глаза его не хотят больше смотреть на мир божий, дух его не верит больше ни во что. Что делать? Вылезает из саней, стоишь и мерзнешь рядом с ним. Ни о боге, ни о мире слушать он больше не хочет, но сам человеческий голос обладает даром успокоения, и, отогрев его, усадив в сани, везешь до первой деревни...

Потом наступил день, когда самого отца Иоана нужно было спасать. Выследив по полозьям, что сани едут не порожняком, на него

напали в низине меж двумя деревушками. Попытки отца Иоана отстоять пожертвования своему храму привели к тому, что его зверски избили, и он, верно, погиб бы в снегу, если б горемычная старушка, возвращавшаяся из лесу с вязанкой хвороста, не наткнулась на него. Не успел встать на ноги, выехать из села не успел, как у небольшого перелеска лошадь свалилась. Лежит на дороге, глаза красные, морда вся в пене. Все советуют бросить ее, чумную, но если эта божья тварь строила вместе с тобой храм и таскала тебя по всем этим белым пустыням, как ты можешь бросить ее?

Бедная Екатерина — всю зиму ходила она на тракт, всех прохожих выпрашивала, пока наконец удалось получить весточку, и горькая была та весточка, как полынь в начале лета. Сообщили ей, что видели отца Иоана в Бельцах, собиравшего подаяние. Стоял он с кружкой у моста и был так худ, и лошадка была до того облезлая, что невозможно было пройти мимо не подав, а между тем народ все шел и шел, а в той кружке ну почти что ничего...

Там, у того моста, его и заметил боярин Мовилэ, возвращавшийся откуда-то в роскошных снях. Вернее, заметил он не столько отца Иоана, сколько его клячу, дремавшую рядом. Лошадь была без гривы и хвоста, она явно переболела чумой, и боярин удивился — скажи пожалуйста, выходили!

— Мэй, Гицэ! — крикнул он своему кучеру. — Поди и позови того, что стоит с облезлой клячей у моста...

Отец Иоан бежал что было сил.

— На колокол собираем, ваша светлость.

Боярин покопался в карманах, кинул в кружку медяк.

— Твоя кляча?

— Моя.

— Чумой болела?

— Да прихватила где-то немножко, — сознался отец Иоан.

— Чуму немножко не хватают. Ее когда берут, берут сполна. Как же ты ее выходил?

— А молитвами.

Тут только боярин вспомнил, что видел эту рыжую голову в Няме на вознесении. Даже, помнится, за ним нарочно посылали. Ах, да он же помог тогда спасти праздник! А что, если он и в самом деле наделен чем-то этаким свыше?

— Много насобирал?

— Пока на одну только веревку для колокола.

— Негусто. А ты бы согласился поехать в мое имение помолиться за мой скот? Если к тому же твои молитвы помогут, я, пожалуй, нашел бы к чему ту веревку привязать...

Еще долгих семь недель отец Иоан провел в конюшнях боярина Мовилэ. Запущенный, зачумленный скот корчился в грязи, и стоял такой рев, что всего два раза в день удавалось произнести «Отче наш». Остальное время уходило на труды. С утра вместе со скотниками таскали за хвост павшую скотину и сжигали в поле. Затем, вернувшись, варили травы и целый день чистили, кормили, поили, и так до следующего утра, когда опять надо было таскать за хвост и сжигать.

С начала оттепели чума как будто стала отступать. Во всяком случае, в поле сжигали все меньше и меньше скота, а к концу апреля, когда выживший молодой уже был выпущен на пастбище, случилась и с отцом Иоаном беда. Как-то после обеда, зайдя за конопляную перегородку в углу конюшни, где по ночам отдыхал часок-другой на старой рогожке, он вдруг рухнул. Самое поразительное было то, что, падая, он улыбнулся и в его воспаленном лихорадочном мозгу промелькнуло удивление — сорвалось!

Отец Иоан, как и все натуры энергичные, деятельные, воспринимал жизнь с каким-то озорством, азартом и перед каждым начинанием в глубине души вопрошал себя — получится или не получится? одолеет или не одолеет? Затем, сколько бы его труды и радения ни длились, тот поставленный им самим вопрос висел в воздухе, и ответом на него могло быть только завершённое дело. Что и говорить, в каком-то смысле отец Иоан был баловнем судьбы, ему удавались вещи поразительные, немислимые, непостижимые, и, может, потому он уверовал, что практически у него всегда и все должно получаться. И кто бы мог подумать, что одно-единственное невезение в главную, критическую минуту жизни затмит все его былые удачи.

Богобоязненный Мовилэ из опасения, как бы у него в хлеву не скончалось духовное лицо, послал срочно в Могилев за колоколом, который тут же повесили в конюшне на перекладине так, чтобы отец Иоан, когда горячка позволит, смог бы увидеть хотя бы в тумане честно заработанный им новенький, созданный из одних мягких округлостей церковный колокол.

Его спасли барская кухарка и висевший на перекладине колокол. Он был так истощен горячкой и раздумьями о жизни, что не в силах был даже повернуться с боку на бок. Тетушка Линка ухаживала за ним, как за малым ребенком, и долгие ночи дежурила у изголовья больного с теплыми настойками, молитвами и огарком свечи так, на всякий случай, потому что очень уж слаб он был. Тем не менее отец Иоан выжил и много лет спустя, на старости, сознавался, что истинно христианским духом он проникся не в монастыре и не во время строительства храма, а в углу старой барской конюшни, на жесткой рогожке, слушая в бредовом забытии полузабытый голос матери и мычание скота вперемежку с тихими ударами колокола.

Уже отцветали вишни, когда отец Иоан вернулся в Околину. Было раннее утро, и он не постучался в свой дом, а пошел прямо в недостроенный храм. Долго возился наверху, в колоколенке, и с первой утренней зорькой мягкий, задумчивый звон побежал по днестровским долинам. Екатерина выскочила на улицу в чем была, всплакнула от радости, обняла исхудалого, обросшего щетиной, почти чужого ей человека и с дрожью в голосе спросила:

— Отец мой, а она будет белой?

После целой вечности, проведенной в бессарабских степях, отец Иоан понял, что белое в этом краю — это не просто цвет. Это еще и судьба.

— Ну конечно же, — сказал он, входя в дом и обнимая ребятишек, которых не видел добрых полгода. — Какой же ей еще и быть, если не белой?

И околинская церковь действительно стала белой. Она белела зимой в полдень, когда падали первые снежинки; она белела в непогоду, глухими темными ночами, когда ни земли, ни неба не видать было. Она белела в весеннее время, когда над Днестром стелился мягкий густой туман, она белела поздней осенью, когда все утопало в грязи. Она белела во время засухи, во время чумы, во время грозы. Она последней опускалась в ночную тьму и первой из нее выплывала.

Она белела так долго, так ярко, так настойчиво, что в конце концов путники и странники, вместо того чтобы говорить Околина, говорили — то село, что при Белой церкви, а то и просто Белой Церковью называли. Некоторое время село жило с двумя названиями — Околина и Белая Церковь. Но, конечно, все понимали, что победит одно из них. Околина по-молдавски означает поворот, и село действительно стояло у изгиба, у поворота реки. Теперь получалось так, что могучая

река вступала в спор со скромной женщиной за право дать имя селу. Победили предки, принявшие христианство.

Впрочем, нам предстоит еще раз туда вернуться, ибо, проследив воздвижение этого храма с начала его начала, мы не можем его покинуть, не побывав хотя бы мельком на службе по его освящению. Тем более что служба та состоялась в том же году на вознесение, и была она настолько славной, что о ней долго потом рассказывали в северных селах Молдавии.

Церковь была битком набита. Нямецкий монастырь прислал в дар очень красивый иконостас, и теперь переполнившие храм околичане крестились и заглядывали в глаза привезенным из-под Карпат иконам, сообразуя свои мелкие житейские делишки со строгостью прибывших издали святых. Под высоким потолком плыл дым от свечей и кадил. Голос отца Иоана, вырвавшись наконец из плена земных забот, сотрясал своды церкви, и косые лучи полуденного солнца, пробившись сквозь высокие оконца, медленно плыли по макушкам, одинаково милоя и праведных и грешников.

Хотя, раз уж зашла речь о нечестивцах, нужно сказать, что освящение храма не обошлось без курьеза, ибо, как это уж давно замечено, в Молдавии не может свершиться ни одно святое дело, оставаясь святым до конца. Весь сыр-бор разгорелся из-за Тайки, хозяина той Глиняной крепости, которого мы оставили спящим, когда у него угоняли пашского жеребца.

Он, разумеется, потом проснулся, попытался вернуть свое добро, но было уже поздно. Солдаты, стоявшие под Могилевом, успели продать скакуна какому-то проезжавшему через Могилев иностранному посольству. В конце концов Тайка нашел разумный выход и передал под опеку всевышнего все свое состояние, раз обстоятельства вынудили раскошелиться на строительство храма.

Правда, поначалу он не слишком баловал эту стройку своим вниманием и решил было даже на службу по освящению храма не ходить, дабы не придать ей излишнего веса. Потом, видя столпотворение вокруг церкви, подумал: а не может ли так случиться, что, не видя его, эти конокрады со временем забудут, кто основатель?!

К сожалению, пока он добирался, свободного места впереди уже не было, и ему пришлось довольствоваться скромным местечком у окошка. Там было душно, солнце било прямо в глаза, его угнетало сознание свершающейся несправедливости. Раза два или три он попытался незаметно протиснуться в первые ряды прихожан, но каждый раз его запикивали обратно. В конце концов, выведенный из себя, он встал посреди храма, прямо напротив царских врат, и забубнил сварливым голосом, каким обычно заговаривают с соседями через забор, когда ничего хорошего им не собираются сообщить:

— Отец Иоан! А выдь-ка сюда на пару слов!

Певчие из соседних сел, приглашенные на освящение храма, ахнули — как, во время службы?! Отец Иоан, однако, не дал себя смутить и, сняв золоченую ризу, вышел через боковую дверку и спросил:

— Что случилось, сын мой?

— Отец Иоан, я вижу тут несправедливость, а церковь не должна быть несправедливой.

— Какую же вы усмотрели несправедливость?

— Ну, взять хотя бы этих братьев Крунту. Мало того что они втроем — ну, некоторые говорят, вчетвером, но чего не видел, про то не скажу, — так вот, мало того что они втроем угнали у меня жеребца, за которого я выложил кучу золота! Мало того что они выменяли его на дуб, хотя эту церковь дешевле и проще было строить из камня. Так вот я говорю, мало им всего этого, они еще и пихаются, когда я прихожу как основатель и хочу занять подобающее мне место...

— Если ваша обида только в том и состоит, что вам непременно хочется быть в первом ряду...

— Не в этом дело. Просто я не могу дольше глазеть на их поганные спины! Мало того что они у меня угнали...

— Сын мой,— сказал отец Иоанн,— стоявший в вашей конюшне жеребец возвращен русскому воинству, той самой армии, которая взяла Измаил. Лес на постройку храма мы получили от воинов, строивших мост, и их дарственная лежит под алтарем. Эти три брата работали тут со мной день и ночь, и если бы не их старания...

— Но, отец Иоанн, церковь не должна плодить несправедливости! Если я не умею работать топором, ну не дал мне бог такого таланту, это вовсе не значит, что я должен стоять у окна и печься на солнце! Не предки этих пьянчуг, а мои собственные предки основали тут, на высоком берегу...

— Сын мой, не спорю, велики ваши заслуги и в основании самой деревни и в основании этого храма, и если вы так уж настаиваете, я попрошу братьев Крунту потесниться, хотя лично я, будучи на вашем месте, не настаивал бы на этом.

— Почему?

— Потому что сказано было — тот, кто хочет быть первым там, на небесах, должен быть последним тут, на земле, и тот, кто будет первым тут на земле, последним окажется на небесах...

Поразмыслив, Тайка сказал более примирительно:

— По правде говоря, мне и там, у окошка, неплохо, но меня прямо переворачивает, когда я вижу перед собой три затылка, три спины и три, извините за выражение...

— Я думаю, у вас не должно быть недоброго чувства по отношению к своим братьям...

— Да какие они мне братья?! Случайно носим одну и ту же фамилию, а так — пять лет не было урожая на мак, и ничего, голода не было.

— Сын мой, настанет день, когда вы поймете, что все мы братья...

— Ну, если мне самому это придет в голову, тогда другое дело, хотя сомневаюсь, очень я в этом сомневаюсь, отец...

— Если вы, сын мой, в самом деле основатель этого храма, молитесь и верьте. Храмы воздвигают не для того, чтобы сомневаться, а для того, чтобы верить.

По окончании литургии отец Иоанн вышел на амвон со старенькой псалтирью, подаренной некогда в Нямце, и сказал:

— Братья и сестры... Мы прошли долгий и трудный путь из страны нашего отчаяния, из страны нашего одиночества, из страны наших тяжких прегрешений к сегодняшнему празднику. Мы начали, может быть, неловко и неумело, но начали убежденные в том, что если собрать воедино всю нашу бедность, все наше отчаяние, все наше одиночество, но собрать под именем бога, то получится храм. Жребий нам выпал нелегкий. За долгие годы бедствий одичала земля под нашими ногами, и скуден стал наш хлеб, и темен стал наш дом, и пустующие люльки брошены на чердак. И все же при всей нашей бедности мы нищими почитать себя не можем, потому что у нас есть храм, а храм — это прежде всего надежда. И подобно тому как в весеннюю пору каждый росточек, пробившийся сквозь земной покров, кажется робким, беспомощным, обреченным, наши сегодняшние надежды тоже могут выглядеть и смешными и нелепыми. Но наступит время теплых дождей — и задымится распаренная земля, и наши надежды прорастут корнями, ибо сегодня мы не просто какая-то там деревня при Днестре. Сегодня мы народ, живущий на своей земле. При своем храме и, стало быть, при своей судьбе. Сегодня мы уже не слепые, ибо с высоты нашего храма виден мир далекий; и не без-

гласные мы, ибо при нашем храме есть колокол и в трудную минуту, когда он позовет, будет услышан, ибо от жарких стран земли господней до вечных снегов далекого севера вся земля полна такими же храмами, которые соседствуют в дружбе и согласии. Примите же эту церковь в сердце своем и отныне, собираясь сюда на молитвы, отряхивайте у порога пыль с ваших ног, а вместе с ней оставьте всю суету, всю маяту, все то темное, что, быть может, таится в душе вашей. Входите в храм чистыми, опрятными, светлыми, как подобает войти в дом отца своего. Аминь.

— Аминь! — хором ответили прихожане.

Светило высокое полуденное солнце. Тяжелыми жгутами крутых волн холодная река спешила к теплым морям. Медленно грели на солнце свои бока таинственные громады доисторических времен, и на верхушке одной из них, подняв крест на все четыре стороны света, белела церковь. Мягкий звон ее колокола медленно плыл по днестровским долинам, забираясь в самые глухие дали.

Как раз в те дни русские войска после заключения мира возвращались в свои пределы. Услышав церковный перезвон, сняв шапки, солдаты размашисто крестились. Затем, отыскав по звону в голубой дымке на высокой круче уютную, отливающую на солнце белизной церквушку, переговаривались меж собой:

— Гляди-ко, молдаванцы куда забрались!

— А такова планида человеческая. Чем ниже гнет тебя судьбина, тем, стало быть, выше дух взлетает!

Дальше они уже шли молча, стуча стоптанными сапогами по деревянному настилу, а над темными водами древнего Днестра, над его залитыми солнцем долинами высоко в голубом небе медленно текли с севера на юг и с юга на север, с востока на запад и с запада на восток тысячелетия.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ПОТОП *

Роман

Глава двадцать вторая

— **В** три часа дня, — сказал мистер Бадд. — Вот когда он в него плюнул.

Он стоял под высоким, забранным решеткой окном в кабинете заместителя начальника тюрьмы и, наклонившись к Бредуэллу Толливеру, сверлил его тусклыми голубыми глазами на желто-сером лице.

— И будь я неладен, если уже в десять минут шестого этот плевок не отыгрался! Надзиратель — чертово трепло! — видел, как он плюнул в брата Потса, и кому-то сболтнул. Ну и пошло-поехало! Как пожар в кедрачах — в тюрьме ведь всякая новость разносится мигом сам не знаешь как. Случись это хоть в Сибири, все равно в тюрьме бы уже все знали в десять минут шестого. Значит, дело было так: ребятам строем привели пожрать, выдали в столовой большие подносы. И тут один парень, по имени Бампус, срок двадцать лет, навалил себе полон поднос и шагает на положенное ему место. Вдруг стоп, встал. Как подбросит поднос в воздух, и он как жажнется на бетон — бах-бах! И орет: «Ура Красавчику! Плюнул в священника!» И такая поднялась заваруха. За ним шел Лори, срок семь лет, он тоже кидает вверх поднос, тот тоже грохнулся о бетон — бах-трах! — и как заорет: «В белого плевать, ах ты, сволочь!» И дал Бумпусу в рожу: он думал, Бумпус за черномазого, который на белого плюнул, хоть тот и священник. Вот тут и началась катавасия. Сорок пять минут утихомиривали. Многим головы поразбивали.

Мистер Бадд откинулся на спинку — стул на винте затрещал под его весом — и уставился в потолок.

— Знаете, я на этой работе не первый год. Может, кто и есть поспорившее меня, но и мне пальца в рот не клади. Не то живым отсюда не выйдешь. Сидишь и раскидываешь туда-сюда, какой будет поворот. Но это все равно что гадать, куда полетят осколки, ежели в зеркальное стекло запустить пятифунтовую кувалду. Вот, к примеру, эта история. Красавчик молиться не желает. Белые ребята бьются об заклад с черномазыми на что угодно — от сигареты с марихуаной до пятидолларовой бумажки, — что Красавчик спасует. Пытались это дело пресечь, держали черных и белых порознь — чуяли, что пахнет бедой. В городе больше ставят на то, что Красавчик спасует, а тут у нас половина на половину — нигеры стоят за своего. Вот я и смекнул, что если Красавчик спасует, свалки не миновать. Белые будут подначивать и все такое. А впрочем, дьявол их поймет... — Мистер Бадд скривился и раздумчиво помотал головой. — Дьявол их поймет, что тут наперед скажешь? Драка началась не потому, что Красавчик спасовал, а потому, что он не спасовал, а взял да и плюнул в священника. И еще в белого! А точнее сказать, потому, что Бумпус — он ведь белый — стал орать ура ниге-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 4—6 с. г.

ру, который плюнул в священника, хоть священник и белый, но дело не в одном Бумпусе, многие ребята пошли за ним, так что, в общем-то, головы разбиты были из-за священника, а не, как уверяют, из-за расовой проблемы. Да, господа не больно-то удалось сделать черных белыми, а внушить арестантам симпатию к священникам и подавно!

Мистер Бадд покачал головой и поскреб медную щетину на подбородке.

— А черные принимали в драке участие? — спросил Бред.

— Да нет. Они едят во вторую смену. — И, помолчав, мистер Бадд добавил. — Слава богу, не то бы и они встряли, а тогда не миновать расовой резни и кое-кому живым отсюда не выйти, а потом вся страна на меня бы взъелась, проливая розовые слюни. — Мистер Бадд поглядел на часы. — Вроде уже время. Понимаете, у нас тут один старикан помирает от рака желудка, а доктор за ним ходит. Док передал мне, чтобы я вас на полчаса задержал, старик уже на ладан дышит.

Он нажал звонок.

— Я ушам своим не поверил, когда док попросил вам позвонить, чтобы вы пришли, — сказал мистер Бадд и объяснил Бредуэллу Толливеру, что док чуть не двадцать лет никого к себе, кроме матушки, не пускал, никогда ни в чем не просил поблажек, а сегодня вовсе и не посетительский день, но раз уж док просит...

И тут Бредуэлл Толливер усомнился, стоило ли ему сюда приходить.

Потому что кто он такой, этот Калвин Фидлер?

Только воспоминание, или, как выразился Яша Джонс, всего-навсего поседевший мальчик?

— Док потерял веру в себя, — говорил мистер Бадд. — Всерьез лечить не берется.

Бредуэлл Толливер попытался представить себе лицо Калвина, каким он его видел тогда, в суде у подножия горы. Приговор только что вынесли. Лицо, худое, красивое, с высоким лбом, стало серым, как замазка, глаза широко раскрыты и ничего не видят. Или хотя бы того, что он, Бред, видел.

— Но док ходил за тем стариканом, — сказал мистер Бадд, — как за малым дитем.

Шагая за надзирателем через раскаленный от солнца двор, он прошел мимо клумбы с каннами, возле которой стоял в тот, прошлый раз, когда Яша Джонс ходил в больницу. Канны уже распустились. Вот как долго он уже в Фидлер-сборо. Даже паршивые канны уже цветут.

Калвин Фидлер кинул шприц в кастрюлечку, стоящую на газовой горелке, и обернулся. Да, он похож на поседевшего мальчика. Он протянул Бреду руку и улыбнулся. Улыбка была сдержанной. Раньше — от застенчивости. Теперь от других причин.

— Как поживаешь? — спросил Бред.

Калвин засмеялся, Бреду показалось, что теперь он смеется охотнее, чем двадцать лет назад.

— Знаешь, я отвечу на твой вопрос буквально. Видишь этот шприц? (Бред кивнул.) Ну вот, ухаживая за моим старым хрычом — у него рак двенадцатиперстной кишки, — я за последние дни пропустил через эту штуку столько морфия, что можно слона убить. Мог сбересть достаточно, чтобы покончить с собой. Когда-то так бы и сделал. Теперь нет. А значит, спасибо, живу прекрасно.

Бред собирался было сказать, что он очень рад, но, к счастью, Калвин его предупредил.

— Видишь ли, — сказал он, — человеку должно быть очень хорошо, если он пережил собственную смерть.

Он внимательно вглядывался в Бреда.

— А ты хорошо выглядишь.

— Чего мне делается.

Не сводя глаз с Бреда, Калвин сказал:

— Я рад, что у тебя все так здорово идет. В кино и прочее. — Он задумался, потом добавил: — В самом деле рад.

— Спасибо, — сказал Бред, глядя в серые глаза, смотревшие на него из-

под красивого, высокого, почти не тронутого морщинами лба под густой шапкой седых волос, и вдруг перед ним возникло лицо Мерла Брендoviца, которого он встретил месяца три назад в Голливуде. А он ведь думал, что Мерл Брендoviц давно умер.

Он стоял, ожидая такси, под парусиновым навесом «Ла Рю» и не сразу узнал Мерла Брендoviца, которого не видел лет семь, в этом тощем, как скелет, человеке, одетом в приличный, аккуратно подштопанный черный костюм. Он приближался к нему, мерно и осторожно передвигая костыль, зажатый под мышкой, его левая рука была согнута на груди, словно пародируя жест, с каким женщины держат детей. Потом человек остановился и уставился на Бреда; он был без шляпы, волосы у него были седые, лицо худое, перекошенное, бледное; в левом углу рта торчал окурок, и дым тонкой струйкой поднимался в вечерний калифорнийский воздух. Незнакомец, не сводя глаз с Бреда, слегка ему поклонился и, деликатно вытолкнув языком окурок, дал ему упасть на землю.

— Привет, Бред,— сказал он, и тут Бред его узнал.

Бред поздоровался, и Мерл сразу же заговорил:

— Прочел в газете. Здорово, что вас подключили к этому фильму о Теннесси. Да еще и с нашим вундеркиндом.

Бред, стоя там, на тротуаре, возразил:

— Да не так уж это здорово...

Но в эту минуту взгляд его упал на сведенную кисть, похожую на коготь, и руку, согнутую, словно она держит невидимого ребенка, и Бред почувствовал, что это и правда здорово; душу его вдруг переполнила энергия, предвкушение новой полосы в жизни. Он почувствовал какое-то облегчение, справедливость возмездия: ведь скрючило руку Мерлу Брендoviцу. Чью-то руку должно было скрючить, и вселенское правосудие решило, чтобы руку скрючило не ему, Бредуэллу Толливеру.

Потом он с испугом увидел, как Мерл Брендoviц, опираясь на костыль, правой рукой дотрагивается до левой.

— Маленькая неприятность,— сказал он.— Сам, дурак, виноват. Злоупотреблял. Но сейчас у нас все налаживается. Зарабатываю деньги, репетирую богатеньких калифорнийских отпрысков, которые хотят попасть в Гарвард или Принстон. Вот пригодился и мой диплом с отличием.

Он улыбнулся. Улыбка была кривая, но другой и не могла быть. Лицо-то у него было перекошено.

Бред подумал: У н а с? Он сказал: У н а с?

— Да,— угадал его мысль собеседник.— Пруденс опять со мной. Янки легко не сдаются. Дай им только дорожку похуже да самую длинную дистанцию, вот тут-то они себя и окажут.

— Конечно,— выдал из себя Бред.

— Что ж, рад был повидаться,— сказал Мерл.— И очень рад за вас. Схватите еще одного «Оскара». Вперед и выше! Блеск! Ad astra¹.— Отпустив костыль, он протянул Бреду правую руку.

— Спасибо,— сказал Бред, пожимая ее.

— Пруденс тоже радовалась.

— Вот это здорово! — воскликнул Бред, но никакого восторга не почувствовал; он представил себе, как вечером Мерл Брендoviц входит в свою нищую квартиру, ставит костыль, а Пруденс Брендoviц, урожденная Леверелл, которой дай только дорожку похуже в забеге на длинную дистанцию, ему улыбается. И от этого зрелища его сразу покинула и энергия и надежда на новую жизнь.

Уходя, Брендoviц сделал два шага, переставляя костыль, но остановился и, обернувшись, сказал:

— Только не думайте, что я над вами изгилялся. Я говорил искренне. Я правда рад.

Он улыбнулся, и эта полная всепрощения улыбка говорила, что он знает все, даже насчет Бредуэлла Толливера и Пруденс Брендoviц. Улыбка на сером, изможденном лице под седыми волосами была самая настоящая, как лунный свет, который озаряет развалины разбомбленного города, и Бредуэлл Толливер так и

¹ К звездам (лат.).

остался на тротуаре, вспоминая дотла разрушенный бомбами город в Испании, куда они вошли лунной ночью и где только камни белели в лунной тишине.

А теперь он стоял не на бульваре в Калифорнии и не тысячу лет назад на залитой луной улице разбомбленного испанского города, а в тюремной комнатке в Фидлерсборо и смотрел, как худой человек в заплатанном, но чистом халате длинными, белыми, ловкими пальцами старательно, но без особой надобности передвигает кастрюльку с кипящей водой, только чтобы на него не смотреть.

Потом Калвин Фидлер повернул к нему спокойное лицо под шапкой седеющих волос и спросил ровным голосом:

— Почему ты не зашел сюда месяц назад, когда... вы совершали осмотр нашего заведения?

— Не знаю... думал...

— Думал, что мне будет неприятно?

— Пожалуй, можно сказать и так.

Калвин засмеялся.

— Человек в моем положении уже перешагнул эту черту. Так же, как — помнишь, я тебе говорил — пережил свою смерть. В общем, вышел за пределы самого себя. Вроде пикника на другой стороне луны. Той стороне, которую другие люди даже не видят.

— Тебе надо было стать писателем, — сказал Бред.

Его собеседник взял кастрюльку, посмотрел в нее и, не поднимая глаз, сказал:

— Кем бы я ни должен был стать, теперь я понимаю, что мне всегда было ясно, кем я стану.

— Врачом? — сказал Бред. — Ну да, ты всегда так говорил, даже в детстве.

Человек в белом халате поднял глаза, но посмотрел не на него, а в окно, обвел взглядом двор, раскаленный солнцем гравий, расцветающие канны.

— Как весело мы тогда с тобой жили, — сказал он. — В детстве.

— Еще как... — сказал Бред, стараясь вспомнить.

— У нас был «конструктор». А еще химический набор в маленькой комнате нашего дома за библиотекой. — Калвин Фидлер заппнулся. — Наверное, моя оговорка неспроста, раз я сказал «нашего дома». Видно, я всегда считал его нашим домом, даже этого не сознавая.

— Что ж, люди до сих пор его так и зовут — дом Фидлеров. — Бред помолчал. — Кажется, я тоже о нем так думаю. Я все годы чувствовал себя там чужим.

Калвин, казалось, погрузился в прошлое.

— Помнишь ту комнату, — помолчав, продолжал он, — где ты держал все, что нужно для набивки чучел? А еще чучела птиц и животных, и ружья, и рыболовные снасти. И «конструктор». Знаешь... — Он задумался, потом продолжал: — Меня всегда восхищало, что ты любил пропадать в болотах с этими болотными жителями. Ты и меня несколько раз брал с собой, с этим, как его?

— Лупоглазым.

— Да, я был так этим тронут, чуть не до слез. Но... — Он замолчал и снова занялся кастрюлей. — Ничего из этого не вышло. Оказалось, не умею найти с ним общий язык. И не только с ним. Они как-то не так на меня смотрели...

— Они смотрели на меня и видели, как с моих волос капает болотная тина, — ухмыльнулся Бред. — Вспомни, мой отец сам вылез из болота. А с твоих волос тина не капала, только и всего.

Калвин Фидлер посмотрел на него, словно только что обнаружил его присутствие.

— Послушай! — сказал он возбужденно. — Может, я так упорно хотел быть доктором только потому, что не умел разговаривать с людьми и сам это понимал? Вообще со всякими людьми. Не умел найти к ним подход. Может, я чувствовал, что, если их вылечу, они будут мне благодарны и все пойдет по-другому...

— Черт возьми! — грубовато перебил его Бред, понимая, что грубость как

корка покрывает что-то другое: злость, обиду на какой-то невысказанный, безочетный упрек.— У тебя же была куча друзей в школе! И в университете!

Калвин раздраженно помотал головой.

— Дело не в том,— сказал он,— тут совсем другое, тут...

— Тебя же все любили,— прервал его Бред.

Но Калвин Фидлер снова его не слушал.

— Смешно, что я хотел стать врачом. Ты же знаешь, с чем только врачам не приходится иметь дело и при этом нос ни от чего воротить нельзя. А я ведь боялся всего скользкого, слизистого, хлюпающего. Боялся темных, склизких водорослей в реке. Знаешь, бывало, я сижу в той комнате в твоём доме и смотрю, как ты обдираешь шкуру с животного или птицы так спокойно, естественно или потрошишь у них череп,— ты мне казался чуть ли не богом.

Он помолчал.

— Может, я думал, что если стану врачом, я смогу стать мужчиной.

Он отвернулся, выключил газ и взял щипцы из банки со спиргом.

— Сам не пойму, чего я так осторожничаю. Мог бы вкалывать морфий моему старому хрычу ржавым гвоздем от конской подковы вместо шприца — рак обскочет заражение крови. Он обскочет и чуму. А все равно держу шприц в чистоте. Врачебные навыки.

Щипцами он переложил шприц в сосуд с бесцветной жидкостью и закрыл его.

— Да,— продолжал он,— говоря о навыках, привыкнуть можно ко всему. Видал бы ты, на что похож мой старый хрыч. Один футляр, набитый раком, а это малопривычно. Но я научился делать свое дело не моргнув. Хотя бы в этом я настоящий врач.

Бред не слушал его. У него перед глазами стояла та отгороженная стекляннной стеной комнатка за библиотекой.

— Послушай,— прервал он Калвина, и сердце у него вдруг заколотилось,— а ведь та комната — такая же, как была! Даже «конструктор» — что-то там недостроенное, кран или вроде — так и стоит! И чучела птиц, ну, они, конечно, здорово слиняли, но все еще висят. Точно так, как когда...

— Когда что? — тихо спросил Калвин.

— Когда я уехал в школу в Нашвилл и все это бросил. Вот так вышел из дома и...

— А старый енот еще там?

— Да, большой старый енот,— сказал Бред.— Довольно уж ветхий, но все еще там.

Калвин не сводил с него глаз.

— А знаешь,— произнес он тихонько,— я как раз собирался сказать, кому я обязан тем, что стал врачом. Я как раз хотел сказать, что обязан этим тебе. И тому старому еноту. Ты знал?

— Нет.

— А помнишь день, когда ты набивал большого старого енота?

— Ну, я же говорю, что енота я помню.

— Я сидел и наблюдал за тем, как ты потрошишь ему череп, придерживая его указательным и большим пальцами левой руки, и выскребываешь мозги на ладонь. И я сказал, что буду доктором. Ты на меня посмотрел. Помнишь?

— Нет,— сказал Бред.

— Жаль.

— Не помню,— сказал Бред.

— Если бы ты помнил, мне не надо было бы этого рассказывать.

— Ей-богу, не помню,— сказал Бред.

— Ты вдруг на меня посмотрел, и выражение лица у тебя было какое-то странное. «Доктор,— сказал ты со смешком.— А ну-ка, доктор Фидлер, дай руку». Не задумываясь я протянул тебе руку. А ты быстро-быстро отложил череп и кинул со своей левой руки мозги енота мне на ладонь. Я выбежал. Выбежал — меня рвало. Но ты, конечно, этого не знал.

— Хорошего дружка ты имел, нечего сказать... — кисло произнес Бред.

— Что ж, это сделало меня врачом,— сказал Калвин Фидлер.— Я тысячу раз об этом вспоминал, когда первый год работал в анатомичке. Но... — Он бро-

сил это «но», как кидают камень в колодец, чтобы по всплеску узнать, глубокий ли он. Внезапно он поднял голову, будто услышал этот всплеск и теперь уже знает то, что ему хотелось знать.

— Что «но»? — спросил Бред.

Калвин повернулся к нему.

— Когда я говорил, что, наверно, всегда знал, кем я стану, я имел в виду не то, что я стану врачом.

— А что?

— А то, что буду собой, — сказал Калвин Фидлер и постучал себя по груди пальцем. — Не смотри на меня так, будто я сумасшедший, — засмеялся он. — Конечно, это тавтология, — каждый становится самим собой. Нет, я хочу сказать, что всегда знал, чем я кончу. — Он пристально посмотрел на Бреда. — Да нет, необязательно тюрьмой. Хотя и это мог бы знать. Просто что-то меня всегда подстерегало. Темное, бесформенное. Бывало, я месяцами об этом забывал, но оно было как туча, наливающаяся в небе, хотя видеть эту тучу ты не мог, она была за горой. Словно что-то там стояло, за углом. Сперва, когда я был мальчишкой, я думал, что все дело в Фидлерсборо. Отец, потеряв дом и все, что имел, стал наркоманом. Поэтому я и решил, что главное — это уехать из Фидлерсборо. И уехал. Потом мне казалось, что для того, чтобы спастись — от чего бы там ни было, — обмануть его, надо вернуться на исходное место, в Фидлерсборо. Словно тут я затеряюсь. Я затеряюсь в Фидлерсборо потому, что я — Фидлер. Защитная окраска, как у полевой мыши, которая прячется в сухой траве. И тогда то самое в небе, что следит за мной, как коршун, меня не увидит. Вот я и приехал в Фидлерсборо. И... — Он замолчал, не сводя глаз с Бреда.

— И что? — спросил Бред.

Калвин помотал головой, словно отмахиваясь от того, что, казалось, он видит.

— Сидишь в таком месте, как это, и думаешь о прошлом, потому что будущего нет.

— Ты не это хотел сказать, — возразил Бред. — Такую фразу начинают не с «и». И не таким тоном.

— Ладно. Начну снова с «и». Я вернулся в Фидлерсборо. И ты тоже был здесь.

— Ну да, я был здесь!.. — запальчиво начал Бред.

— Да, — мягко подтвердил Калвин Фидлер, — ты всегда был тут как тут. Ты приехал учиться в Нашвилл и занял мое место в футбольной команде; приехал в Дартхерст и там занял мое место в команде, потом ты...

— Но это же была команда первокурсников, — перебил его Бред, — в Дартхерсте. Черт возьми, я же был слишком слаб для университетской!

— Ты и не стал играть за университет. Как только ты меня выбил, футбол вообще перестал тебя интересовать.

— Господи! — тихо, чуть ли не с восторгом изумился Бред. — Ты же меня ненавидишь!

Калвин сел. Он внезапно опустил на стул и уставился в пол. А потом поднял голову.

— Нет. Я, может, иногда и старался тебя возненавидеть, но не мог. Ведь ты имел полное право играть в футбол. — Он тяжело задумался. Не глядя признался: — Однажды мне показалось, что я могу тебя возненавидеть.

— Когда? — спросил Бред. Он понимал, что ему надо это знать.

— В Дартхерсте, когда ты отпускал свои шуточки насчет Фидлерсборо. Хвастал, что твой отец обдирает шкуры с ондатр. Звал меня мистер Фидлер из Фидлерсборо...

— Вот те на! Господи Иисусе, почему ты мне сразу не сказал, что тебе это неприятно?

— Считал, что ты должен сам догадаться. Ты же был мой лучший друг. — Он помолчал, о чем-то размышляя. — А ты знаешь, смешно... Когда вышла твоя книга, знаешь, как я ее воспринял?

— Нет, — сказал Бред. В горле у него пересохло.

— Смешно, — повторил Калвин и поднялся со стула. — Я ее воспринял как

скрытое покаяние. Будто ты все понял, раскаиваешься и я могу снова к тебе хорошо относиться. Будто ты вернул мне Фидлерсборо.— Он протянул руку и, глядя Бреду в глаза, легонько дотронулся до его плеча.— Эй, уж ты-то не принимай это так близко к сердцу!

— Да будь он проклят, этот Фидлерсборо! — вырвалось у Бреда.— На кой черт он мне сдался!

Калвин Фидлер все еще вглядывался в его лицо. Потом очень тихо произнес: — Но ты же здесь.

И снова сел. Он, казалось, забыл, что в комнате еще кто-то есть. Он смотрел в окно, где знойное солнце белило гравий.

— Мне было так покойно на моем одиноком пикнике по ту сторону луны. Пока ты не явился,— сказал он, по-прежнему глядя в окно.

Он встал и круто повернулся к Бреду. Лицо у него вдруг побледнело и осунулось.

— Зачем ты привез сюда этого человека? — спросил он.— В Фидлерсборо?

Выйдя из больницы, Бред пошел прямо в кабинет помощника начальника тюрьмы. Он спросил его, как Калвин Фидлер когда-то совершил попытку сбежать.

Побег произошел в отсутствие мистера Бадда, он бил тогда немчуру и поэтому знает все из вторых рук. Доктор изловчился попасть на кухню в спокойные утренние часы, когда машина, нагруженная мусором, еще стояла у кухонных дверей; он так шаркнул надзирателя большой чугунной сковородой, что чуть не разможил ему голову, связал безжизненное тело мокрым полотенцем, заткнул рот, сунул за плиту, снял с него пистолет, надзиратель был из внешней охраны и ему долагалось оружие, а потом зарылся в мусор. По дороге он спрыгнул с грузовика, остановил проходящую машину и, пригрозив водителю пистолетом, проехал десять миль, связал водителя, положил в канаву, а машину увел. Когда у него лопнула шина, он скрылся в лесу.

Несмотря на безумие всех его поступков, ему здорово везло, но когда он побежал в лес, удача ему изменила, потому что, по словам мистера Бадда, он, как последний идиот, кинулся смывать с себя грязь в ручье, даже одежду выстирал и потерял на этом много времени. Он был из тех, кто не мог быть грязным и не вымыться. Однако куда деваться такому человеку, как он? Напасть на его след было легче легкого. А вот схватить — не так легко. Был приказ не стрелять, если только он не вооружен. Он и не был вооружен, потому что давно бросил пистолет, зато он дрался. Хотите верить, хотите нет, но этот Фидлер был силен, как дьявол, и чуть не пришиб одного из надзирателей камнем. И вот он опять оказался в тюрьме, с той только разницей, что за ним теперь было еще четыре проступка: чуть не убил первого надзирателя, насильно увез водителя, угнал машину и чуть не убил камнем второго надзирателя. А через это он подошел под статью о трех рецидивах, что значит пожизненное заключение.

— Да,— рассказывал мистер Бадд,— он опять был тут, удача ему изменила. Похоже, он и сам это понял, но ему, видно, было наплевать. Даже суда не захотел. Сказал судье, что виновен, и судья стукнул молоточком — и на тебе, дал пожизненный срок. Люди говорили, что дал лишнего, но это был тот же судья, что вел дело в первый раз, а теперь он был связан с Милтоном Спайром по линии политики. Известное дело — политика! Слышал, будто даже Иисуса Христа не казнили бы, если бы не политика. Ну а будь я на месте,— объяснял мистер Бадд,— доктор бы ни в какую не сбежал...

Пораспускались тут они, не зря его предшественнику пришлось уйти в отставку после тяжелого свинцового отравления, против которого даже и лекарства нет.

— Уж вы поверьте,— сказал мистер Бадд,— сейчас вам не увидите надзирателя, который прохладается в кухне, засунув нос в чашку кофе, или грузовик без присмотра.

Но ежели к вам в тюрьму попадет такой парень, как док,— молодой, чистенький, культурный, непривычный к здешней жизни, тут держи ухо востро. Такие и сбрендить могут, от них только и жди неприятностей. Кишка у них тонка для тюрьмы. А тут полно бандитни, про культуру они не слыховали, тюрьма для них дом родной, молодых, чистеньких и культурных они на дух не выносят, так

и готовы на них злобу сорвать, а другие даже чересчур к таким липнут, если вам понятно, что мистер Бадд хочет этим сказать...

Иногда попадает к нам парень, который пришел сюда молодым, чистеньким и культурным, ходит-бродит будто во сне, ничего не видит вокруг. Этот с самого начала пришиблен, вреда от него никакого. Ну а если взять таких, как док, те уж непременно свихнутся, кого-нибудь пришьют, все равно кого, либо же себя порешат, а то и спрячутся в мусоре, как он это сделал. Больно уж они нервные.

Мистер Бадд размышлял. Потом высказал мысль, что его покойный предшественник дважды сделал промашку. Во-первых, такого арестанта, как молодой док Фидлер, надо обламывать мягко, терпеливо, не то жди от него пакости. А во-вторых, глупо терять хорошего врача, особенно из Джонса Гопкинса, они в тюрьму залетают не часто.

Док, говорил мистер Бадд, потерял веру в себя, боится лечить по-настоящему, и это потому, что тут не хватило терпения помаленьку его обломать.

Бредуэлл Толливер сидел на каменных ступеньках у входа в тюрьму и смотрел на реку. Был шестой час дня. Скоро он пойдет домой.

Но пока что он не двигался с места, потому что слышал голоса — Калвина Фидлера и свой собственный, — они еще звучали у него в ушах.

Калвин: Ты думаешь, мы ничего не знаем. Но здесь, наверху, в тюрьме, мы обходимся без частных сыщиков. Узнаем новости раньше, чем Ассошиэйтед Пресс. И я знаю, что Яша Джонс и Мэгги Толливер совершают долгие прогулки вдвоем. Они гуляют по вечерам у реки.

Он: Откуда, черт возьми...

Калвин: А Бредуэлл Толливер — да, да, ты работаешь по ночам в своей комнате и делаешь вид, что этого не знаешь.

Он: Шут тебя возьми, я действительно не знал! Но говоря по правде, от души надеюсь, что между ними что-то есть.

Калвин: Не сомневаюсь. И не сомневаюсь, что между ними что-то есть.

Он: Что ж, давно пора. Столько лет просидеть там, в этом доме...

Калвин: А я сидел здесь. В этом доме.

Он: Если бы ты дал ей развод, ты можешь это сделать даже в тюрьме, такой закон в Теннесси есть, я навел справки. Если бы ты ее отпустил...

Калвин: Да разве ты понимаешь...

Он: Клянусь, если бы ты...

Калвин: ...что значит быть девственником? В старших классах меня могли бы избрать чемпионом по сохранению невинности, а в Дартхерсте поместить фотографию этого уникама в ежегодник с соответствующей подписью. В Джонсе Гопкинсе этот доктор медицины тоже был девственником. Двадцатишестилетний доктор медицины и девственник в белом халате входит в дом, который больше не принадлежит его отцу, и видит, как она спускается по лестнице полуголая, обернутая в какую-то причудливую шаль — это твоя причудница жена ее так закутала, — босиком, одно плечо голое, а веки багровые, словно у дорогой кокотки, которая только что обслужила клиента, рот тоже багровый, как будто ее кто-то укусил в нижнюю губу. А ведь она была всего-навсего ничего не знавшая в жизни, невинная девчонка, которая вышла замуж за девственника — доктора медицины из Джонса Гопкинса. И вот я сижу здесь. Ну разве ты можешь понять, что для меня это значит?

Он: Нет.

Калвин: И наверняка не понимаешь, что ты наделал. Хотя бы то, что твой приезд в Фидлерсборо, где тебе не место, был, в сущности, всему причиной. Ни тебе, ни твоей причуднице жене не мест в Фидлерсборо. Если бы только ты с этой твоей женой сюда не приезжал! Ты с ней амурничал, нет, не вульгарно, скорее изысканно, изящно, небрежно, — а краем глаза следил за Мэгги, я же был всегда полупьян и старался вам подражать и тоже амурничал с Мэгги. А знаешь что?

Он: Что?

Калвин: Когда я смотрел в глаза твоей причуднице жене, хоть и был полупьян, клянусь, я видел в них что-то вроде отчаяния. Я ведь большой знаток отчаяния, сам через это прошел, и как знаток могу тебя заверить...

Он: А я вот что тебе скажу. Насчет этого ее отчаяния. В тот день, когда я отвозил свою, как ты ее изволил окрестить, причудницу жену в Нашвилл, чтобы посадить на поезд в Рино, она переборола свое так называемое отчаяние, если вообще его когда-либо испытывала, и сказала, что она...

Калвин: Что?

Бредуэлл Толливер сидел на каменной ступеньке у подножия тюрьмы и благодарил бога, что не договорил этой фразы. Слава тебе, господи, он вовремя заткнулся.

Но голоса не унимались.

Калвин: Я сидел здесь, в тюрьме, по ту сторону всего, по ту сторону себя самого, и мне было очень покойно. Я уже не был живым, и мне не надо было ничего заново переживать. Но ты вернулся. И ты привез его сюда.

Он: Ты же знаешь, зачем я его сюда привез, — делать фильм...

Калвин: Мне-то казалось, ничто не может заставить тебя сюда вернуться.

Он: Что ты хочешь этим сказать?

Калвин: В Фидлерсборо ты становишься самим собой.

Бредуэлл Толливер все еще сидел на каменной ступеньке возле тюрьмы и смотрел на реку. Шел шестой час. Он услышал справа на лестнице шум и поглядел через плечо. Из тюрьмы вышел брат Леон Пинкни и остановился на верхней ступеньке.

Брат Леон Пинкни был крупный, крепко сложенный мужчина лет сорока, уже начинавший толстеть. На нем был старый полотняный костюм, белая рубашка и черный галстук. Колени у брюк были мятые, грязные, под мышками темные пятна от обильного пота. Лицо у брата Пинкни было широкое, желтое, апатичное, с небольшим, несколько приплюснутым носом — лицом он смахивал на монгола. Он поднял это лицо к небу, и под длинными лучами заходящего солнца его желтовато-коричневые щеки выглядели восковыми и впалыми.

Брат Пинкни стал спускаться. На каждой из тридцати каменных ступенек он старательно переставлял ноги, будто они у него болели или он боялся потерять равновесие.

Бредуэлл Толливер увидел, как брат Пинкни стоит, глядя в пространство над широкой лестницей, а потом сходит по ступенькам вниз. В сердце его вдруг проснулась едкая злая зависть к этому человеку. Ему захотелось стать Леоном Пинкни. Ему захотелось стать Красавчиком. Любым из негров. Ибо он жаждал ясности жизненной задачи, цельного существования, чистого сердца, пусть даже это чистота ненависти, которую должен испытывать негр.

Это все же лучше, чем ничего.

Глава двадцать третья

Было без малого шесть, когда Бредуэлл Толливер наконец поднялся со ступеньки и пошел по лестнице, сам того не подозревая, точно так, как сорок пять минут назад шел брат Пинкни. Он сел в «ягуар», отпустил тормоз, не торопясь повел машину по спуску, включил зажигание. Машина потихоньку въехала на Ривер-стрит, как будто кучер отпустил вожжи и старая кобыла сама нашла дорогу.

«Ягуар» довез его до площади возле суда, остановился у двухэтажного кирпичного дома, к которому с одной стороны примыкало низкое каркасное строение, где когда-то помещалась химчистка, а с другой стороны — развалины универмага. На черном пустом окне двухэтажного дома еще сохранилось несколько позолоченных букв:

Д-Р АМ С ФИДЛ Р

Бредуэлл Толливер вошел в темный подъезд, откуда лестница вела на верхний этаж.

Его ноги в полумраке нащупывали ступени. Он подошвами ощущал податливость дерева, истоптанного множеством шагов; оно крошилось прямо под ногами. Тесная верхняя площадка не была освещена, но он увидел, что за матовым стеклом двери горит свет. Темные буквы на стекле указывали, что здесь адвокатская контора Блендинга Котсхилла.

Бред вошел в комнатку, служившую приемной и комнатой секретаря. Если здесь еще был секретарь. Адвокатской практики-то почти не осталось. Правда, Блендинг Котсхилл мог не заботиться о заработке — тысяча акров заливных земель наверняка еще давала доход.

Бред смотрел на стол, на машинку под черным чехлом — он напомнил ему черный кофак, который мистер Бадд, по его словам, заказывал в швейной мастерской для тех торжественных случаев, когда Суки, обхватив человека, выпускала в него ток. Он мельком подумал, что ему как писателю надо было бы пойти проводить Красавчика в последний путь, если у него хватит на это мужества. Он же видел, как убивают людей. Он даже видел, как их казнят. Но у стены, залпом из ружей. Здесь-то будет совсем другое.

Дверь из приемной была открыта.

— Входите, — раздался голос.

Там в свете заходящего солнца, которое после полутьмы приемной слепило глаза, спиной к окнам сидел Блендинг Котсхилл — коренастый, большоголовый человек в белом полотняном пиджаке, в голубой рубашке с расстегнутым воротом и приспущенном черном галстуке, и пиджак и рубашка были не слишком свежими после жаркого июньского утра, ноги в потертых коричневых ботинках с кожаными шнурками были закинута на старый письменный стол из светлого дуба. Короткие руки заброшены за лысую голову с колючей бахромой седых волос. Большие голубые глаза на обветренном лице, казалось, вот-вот прищурятся, вглядываясь вдаль или в гущу зарослей. В зубах же он, как всегда, сжимал давно погасшую короткую кукурузную трубочку, отчего рог казался кривым.

— Привет, судья, — сказал Бред.

— Рад тебя видеть, Бред, — сказал он и глазами показал налево, за распахнутую дверь. — Вы, надеюсь, знакомы...

Бред вошел, толкнул за собой дверь и увидел, что в старом кожаном кресле степенно восседал брат Леон Пинкни.

— Ну конечно, мы с братом Пинкни знакомы, — сказал Бред и, сделав к нему шаг, протянул руку.

Брат Пинкни привстал и серьезно ее пожал. Лицо у него было землистое, изможденное. Желтая кожа в падающем из окна свете казалась подернутой патиной, лоснилась от еще не высохшего пота.

Блендинг Котсхилл жестом усадил Бреда в большое кожаное кресло, и по форме и по годам такое же, как то, куда опустился брат Пинкни.

— Извини, что не могу предложить тебе выпить, — сказал судья, — как ты знаешь, я человек воздержанный, а если пожилой южанин, адвокат и охотник за енотами с одной только видимостью практики в вымирающем городе будет дер-

жать в письменном столе спиртное, он сразу перестанет быть воздержанным. Единственная вольность, которую я себе разрешаю, — это общество брата Пинкни, а он, будучи слугой божьим, призванным посещать немощных и утешать сирых, не оставляет своими милостями и незадачливого адвоката, который в перерывах между проигранными процессами умирает от жажды побеседовать с культурным человеком. И верно, в этой комнате ты видишь уже единственных в Фидлерсборо представителей ученых профессий... Доктор Амос Фидлер, мой двоюродный брат, человек с широтой кругозора, давно умер в результате банкротства, усугубленного наркоманией. Доктор Калвин Фидлер, как мы знаем, выключен из активной жизни. Доктор Такер лечит зубы, а эта профессия, несмотря на последние научные потуги и даже кое-какие достижения, не требует ни чтения Нового завета по-гречески, чему предается брат Пинкни, ни чтения Тацита по-латыни — моего более скромного увлечения. К тому же все мысли доктора Такера направлены на то, как увернуться от пылких поползновений Сибил Паррис, чья половая ненасытность, подогретая близким климаксом, подрывает его здоровье, а потребность в наркотиках грозит ему банкротством и даже судом. Вот и вся наша медицинская братия. Что же касается юриспруденции — кроме меня, никого не осталось. В связи с затоплением Фидлерсборо окружную администрацию перевели в Паркертон, и остальные пять проживавших здесь адвокатов, величественно встав на ходули, проследовали за судом, чтобы пыльным кортежем приобщиться к сему идиотизму, как стая воронов, учуявших телегу, на которой везут дохлого мула. Что касается лиц духовного звания, нам, пожалуй, трудно причислить брата Потса к людям, преданным наукам. Он просто добрый человек, страдалец с пуганицей в мозгах, который изо всех сил тщится идти по стопам творца. Ирония ему недоступна. А без иронии, то есть без понимания двойственности сущего, которая много глубже цветов красноречия или умственной акробатики, никакая настоящая беседа, то есть беседа с внутренним созвучием невозможна. Прав я, брат Пинкни?

Желтая кожа на широком лице, на которое полого падали лучи, выглядела безжизненной под патиной испарины. Казалось, плоть эта мертва, как и мертво подпертое спинкой кресла тело, громоздкое в своей неподвижности, а лицо спасает от распада слой лоснящейся на свету патины. Но голова шевельнулась. Шевельнулась, деревянно кивнула как заведенная.

— Да, — произнес брат Пинкни.

— Видишь, брат Пинкни со мной согласен. И неудивительно: оба мы прекрасно понимаем всю иронию того, что мы вообще беседуем. Согласно нравам и обычаям нашего времени и места мы не должны друг с другом беседовать и уж во всяком случае вести беседы такого рода, а следовательно, мы встречаемся по иронии обхода закона. Далее, огромное различие в нашей личной судьбе и в судьбе тех рас, к которым мы принадлежим, означает, что слова и понятия имеют для нас не совсем одинаковый смысл. Исследование этого феномена чудесно окрашено иронией. Способны ли мы достигнуть взаимопонимания, обсуждая текст апостола Павла, гласящий: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?»² Но подобные полные изящной иронии казусы — явление случайное. Для брата Пинкни основная ирония проистекает из того, что он верит в бога, а от людей требует справедливости. Верно, брат Пинкни?

— Да, — подтвердил Пинкни своим хриплым шепотом.

— Я же ни во что не верю и тоскую по человеческой порядочности. Потому и не знаю, кто из нас живет более опасно. Возьмем в качестве текущего примера историю Красавчика Раунтри. При помощи гвоздодера стоимостью в шесть долларов он с заранее обдуманым намерением нарушил покой и законный порядок штата Теннесси, выколотив душу христианскую из бедной старой миссис Милт Спиффорт. И все, что он сказал на суде в свою защиту, это будто она сама его к этому вынудила. Что же после этого мне как защитнику оставалось делать? Видишь ли, я верю показаниям этого бедняги. Но как мне объяснить достопочтенным присяжным тонкую подоплеку моей веры? Преподавать им урок истории? С какой даты его начать? Набросать им картину метафизической взаимосвязи явлений? А если бы я и преуспел, то как это соотнести с юридической стороной дела? Поэтому я попытался доказать, что он психопат. Не вышло. Тогда

² Первое послание к Коринфянам, 6, 15.

я стал добиваться, чтобы ему дали двадцать лет. Брат Пинкни согласился, что больше я ничего сделать не мог. Верно, брат Пинкни?

— Да.

— Ну, а сам брат Пинкни, пытаюсь привести Красавчика к молитве, столкнулся со сложной психологической проблемой. Так как белое население Фидлерсборо полагает, будто бог белый, то если Красавчик встанет на колени, это будет означать, что Красавчик наконец-то раскаялся и вымаливает у белых прощение. А так как просвещенный бог, которому поклоняется брат Пинкни,— это лишь Чистота Естества, в которую, по его словам, все мы, если хотим существовать, обязаны верить, то его бог безлик и, следовательно, проблема цвета кожи снимается. Правильно я излагаю вашу богословскую точку зрения, брат Пинкни?

— Да.

— А посему положение брата Пинкни полно глубокой иронии. Если он...

Большой человек с желтым лицом, которое выглядело безжизненным и будто отлакированным, вдруг поднялся из глубины большого кожаного кресла, как из недр земных или из трясины, но не рывком, а мощным целенаправленным движением, словно его вытолкнула какая-то сила.

Блендинг Котсхилл пристально на него посмотрел. Рот на широком желтом лице, на которое падал солнечный свет, слегка дрогнул, но не издал ни звука. Казалось, человек хочет проверить, повинуются ли ему губы, прежде чем поручить сказать им то, что хотел сказать. И лишь потом сдавленным голосом произнес:

— Он молился,— сказал он.— Сегодня он молился.

Блендинг Котсхилл вытаращил глаза.

— Черт возьми! — выдохнул он.— Вы же знаете, я человек легкомысленный, поэтому прошу прощения у вас как у духовного лица, но мне даже жаль, что он стал молиться. Надо ведь, чтобы хоть кто-то устоял против Фидлерсборо... и всей вселенной... до конца.

— Сегодня днем он помолился,— сказал брат Пинкни,— и когда я шел сюда по улице, пять человек один за другим остановили меня за эти три квартала. И каждый меня спрашивал: «Ну как, твой парень еще не спасовал?»

Брат Пинкни выжидательно помолчал, Блендинг Котсхилл уставился на свою потухшую трубку.

— Что мне было ответить? — спросил брат Пинкни.

— Почему я знаю? — Блендинг Котсхилл смотрел то на свою незажженную трубку, то на Пинкни.

— А я вот что сказал. Я сказал: «Господь даровал ему покой, который выше нашего понимания».

На минуту он погрузился в себя, глаза его заволоклись. Потом он наклонился и осторожно дотронулся до правого колена, обтянутого мятым и еще влажным полотном.

— Поглядите, еще не высохло. Когда он кончил молиться, он сел на пол, а я... я тогда сидел у него на койке, он положил голову мне на колени и заплакал, как ребенок. Слезы так и текли. Я думал, что они никогда не перестанут течь. Он промочил мне колени насквозь.

Он дернул за штанину. Посмотрел на нее с недоумением. Потом поднял глаза.

— Надо идти,— сказал он.

Подав руку Бредуэллу Толливеру, тот встал и пожал ее. Все это в полном молчании. Брат Пинкни обернулся и протянул руку Блендингу Котсхиллу, который тоже поднялся и ее пожал. Он был уже у двери, когда Блендинг Котсхилл заговорил.

— Послушайте, я чересчур много болтаю,— сказал он, нервно вертя погасшую трубочку.

Брат Пинкни покачал головой:

— Нет, судья.

— Вы сами виноваты,— сказал Блендинг Котсхилл.— Мне ведь, кроме вас, не с кем поговорить, а когда я наконец до вас дорываюсь, мне не терпится выпустить пар.

Брат Пинкни, не выпуская ручку двери, снова ушел в себя.

— О чем вы сейчас думаете? — все еще нервно спросил Блендинг Котсхилл.

Тот медленно поднял голову.

— Я подумал о том, — сказал он, — что если бы белый человек не пришел к Красавчику Раунтри, чтобы с ним помолиться и Красавчик на него бы не плюнул, то сегодня Красавчик не обрел бы покой, неподвластный нашему разумению.

— Ну и что, по-вашему, это значит? — спросил Блендинг Котсхилл.

Пинкни задумался.

— Не знаю.

Он отворил дверь, но задержался на пороге.

— Пойду домой. Помолюсь о том, чтобы Он просветил меня. На большую благодать — на мир в душе, недоступный разумению, надеяться не могу.

Он вышел, тихо притворив за собой дверь. Они слышали, как он оцупью бредет по темной площадке.

Блендинг Котсхилл вернулся на свое место. Они молча посидели минут пять, потом он заерзал в кресле.

— Ему надо отсюда уехать, — все так же нервно сказал он.

— Что, грозят неприятности?

— Нет. Тут, пожалуй, нет. Может, ему как раз надо поехать туда, где они ему грозят. Он горлодеров не испугается. Он организовал тут Национальную Ассоциацию по просвещению цветных, и все было тихо. Но когда начнется переселение, они насчет этой школы не будут молчать. Понадобятся ведь федеральные кредиты. — Он помолчал. — Но вообще смешно, что он здесь. Человек с его образованием и прочее. И с таким достоинством.

— Откуда он взялся?

— В том-то и дело. Я все про него знаю, — сказал Блендинг Котсхилл. — Он рассказал мне сам. Родители его матери были рабами на хлопковой плантации в верховьях реки между Саванной и Мемфисом. Мать выросла на ферме возле Джексона, потом жила тут, в имении Бродса. Отец родом не то из Вирджинии, не то из Каролины, был помощником механика на речном буксире. Встретил мать, может, даже на ней женился. Так или иначе, но в плавании он с ней сошелся и довольно быстро смылся навсегда. Она надрывалась, чтобы вырастить ребенка, брала стирку, копила гроши. Сначала платила за его образование, потом он уехал и уже платил за свое образование сам. Образование настоящее. Стал священником и вернулся туда, откуда вышел. Я как-то спросил его — почему? Знаете, что он сказал?

— Нет.

— Сказал, что тут ему легче; когда он становится на колени, то стоит ему закрыть глаза — и он видит, как материнская рука бросает монету в разбитый кофейник на верхней полке. — Он выжидательно сделал паузу, не сводя глаз со своей трубочки. — Вот он и живет здесь, служит господу и ждет откровения. И покуда он в Фидлерсборо — это моя единственная интеллектуальная утеха. У меня есть дружки и по охоте и по рыбной ловле — и черные и белые. Но это совсем другое. У человека должно быть не голько...

Бредуэлл Толливер встал. Он тяжело зашагал по кабинету. Поглядел на книги, расставленные по боковым стенкам от пола и до потолка, потом — в окно

— Ну, а ты-то сейчас о чем думаешь? — спросил Блендинг Котсхилл.

Бред круто к нему обернулся.

— Мне нужен судебный протокол по делу Фидлера, — сказал он.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава двадцать четвертая

В. Где вы были в субботу пятого октября тысяча девятьсот сорокового года во второй половине дня?

О. У себя в кабинете, в комнате, где работаю, читал.

В. В котором часу вы сошли вниз?

О. Около половины седьмого.

В. Откуда вы знаете, который был час?

О. Жена позвала меня в шесть часов. Крикнула из сада, что уже шесть часов.

В. Я спрашиваю не о том, что вам сказала жена, а что вы знаете сами. Сами вы знали, который был час?

О. Знал, что показывают мои часы, если вас это устраивает.

В. Ваша честь, можно указать свидетелю?..

Судья. Свидетель должен отвечать на вопросы без комментариев.

В. В котором часу вы спустились вниз?

О. Когда жена меня позвала, мне осталось дочитать несколько страниц, поэтому я пошел не сразу. Я кончил книгу, несколько минут полежал на кровати, а потом...

В. Отвечайте на вопрос.

О. Я и стараюсь на него ответить.

В. Не понимаю, нам-то какое дело, валялись вы на кровати или нет...

Защитник. Ваша честь, я протестую. Протестую против такой ничем не оправданной травли свидетеля. Разрешите заметить, что обыкновенная грамотность могла бы придать этому допросу более достойный...

Бредуэлл Толливер сунул в книгу разрезной нож, чтобы потом найти это место, перевернул пожелтевшую машинописную страничку, положил тяжелый том в черном переплете на стол между «ремингтоном» и папкой, озаглавленной «В работе», выключил большую лампу дневного света на шарнирах и подошел к окну. Далеко внизу в темноте возле еще более темного бельведера тлел огонек сигареты. В нескольких шагах от него вспыхнула спичка. Да, если сегодня вечером в нынешний год, год от рождества Христова, они пойдут гулять к реке, вероятно, это будет попозже. Ему казалось, будто он сам ощупью бродит в речном тумане.

Он сел и уставился в черную книгу.

Однажды в апреле 1940 года — был час дня, воскресенье — Бредуэлл Толливер в синем халате из итальянского шелка, подаренном женой на рождество, сидел на застекленной террасе, пристроенной к северной стене дома, и, положив вилку возле недоеденной вафли, глядел вверх расцветавших нарциссов на рыжую от глины реку.

— Дорогой, — сказала жена, — если вафля остыла, я испеку тебе другую.

— Не в этом дело, — сказал он.

Он подумал, что, как видно, вчера перепил. Если играешь в покер с восьми вечера до пяти утра, можно и перебрать маленько. Но потом решил, что дело не в этом.

— Наверное, все потому, что сегодня воскресенье, — сказал он.

Он подумал, что впереди воскресенье и какую вечность надо прожить, прежде чем солнце пройдет по всему небу и сгинет. Подумал, не пойти ли ловить рыбу. Но мысль эта была ему противна. Он подумал о всех книгах в доме, о еще не распечатанных журналах, грудой сваленных под столом в прихожей. Читать не хотелось до тошноты. Он подумал о недописанной странице там, в машинке. Мысль о ней была отвратительна.

Тогда он вдруг решил, что знает, чем занимаются в Фидлерсборо в воскресенье после обеда. Спят со своими женами.

Он подумал о всех женатых жителях Фидлерсборо, которые занимаются этим ровно в половине пятого дня — не раньше, чтобы остаток дня не стал еще тягостнее, и не позже, чтобы не пришлось сразу вставать к ужину; и происходит это всегда в комнатах с опущенными зелеными жалюзи, сквозь которые, как сквозь воду, просвечивает апрельское солнце, а вдали, на соседнем участке глухо, сдавленно, презирая весь божий свет, кудахчет курица: кудах-тах-тах... Он не мог заставить себя посмотреть через стол на прекрасную, отливающую медью голову, которая ровно в половине пятого невинно и податливо ляжет к нему на правое плечо.

Он не мог заставить себя посмотреть через стол, потому что вспомнил те воскресные дни, когда они сидели рядом в баре Гринвич-вилледжа, или бродили, держась за руки, среди темных, окутанных туманом складов на Гудзоне, или лежали в комнате на Макдугал-стрит и ее приглушенный голос в воспаленном порыве покаяния и покорности рассказывал ему о себе, о ее сердце, о ее теле, о ее жизни. А сейчас был воскресный день в Фидлерсборо, и все, что у него осталось, — это она со всей ее невинностью и любовью.

— Господи! — воскликнул он.

— Что господи? — спросила она и, протянув через стол, положила свою тонкую, загорелую, сильную руку теннисистки на его ладонь.

Он знал, что когда он поднимет на нее взгляд, она будет ему улыбаться; в уголках ее глаз соберутся морщинки, а по-лисий рыжеватые глаза будут полны всепрощения, потому что она его любит.

— Господи, — повторил он и поглядел на нее, — давай поедем в Мексику!

— В Мексику?

— Не потому, что я люблю Мексику, а потому, что мне надо переменить обстановку, и потому, что во всех других местах это проклятое жулье воюет. К тому же я могу допустить неосторожность и сделать тебе в Мексике ребенка. А что, если мы назовем его Пепито? Как ты на это смотришь?

Она сказала, что да, она на это смотрит положительно. Не дожидаться же девяноста лет, чтобы первый раз забеременеть. При ревматизме рожать трудно. Она же его любит, добавила она без всякой видимой связи.

Было решено, что в ноябре они поедут в Мексику. Это даст им возможность досыта насладиться Фидлерсборо, катером и гостями, которых они пригласили на лето, и вытащить Мэгги хоть на несколько уик-эндов из ее душегубки в Нашвилле. И она решила, что осенью, когда у Калвина кончится практика в больнице, они отдадут им с Мэгги дом и те наконец-то заживут по-людски после Нашвилла. Ей так хочется помочь им устроиться, заявила она тоном старой, опытной матроны.

Пока она это излагала, он смотрел на реку и думал о Мексике. Ему стало легче. Ничего особенного не произошло, просто настроение стало лучше. Он поглядел на нее.

— А не угостить ли вам этого парнишку кофе? — сказал он, расплывшись в улыбке. Улыбка была открытая, ясная, подчеркнута мальчишеская.

Она заулыбалась в ответ. Потом поднялась, взмахнув зелеными шелковыми рукавами, и налила ему кофе. Наклонилась и легонько подула на его коротко стриженную макушку.

Он думал о том, как они будут жить с ней в Мексике.

Он думал о том, как давным-давно, когда у него застопорило с книжкой в той дыре на Макдугал-стрит, она предложила поехать в Мексику, а он отказался, не желая ехать на ее деньги. Что ж, теперь он мог себе позволить эту поездку.

Но надо было еще как-то переждать, пережить этот день в этом городе. Он подумал о всех жителях Фидлерсборо, встающих из-за стола после воскресного обеда, которым еще надо пережить этот день — пережить комиксы, известия о войне, холодный ужин, апрельские сумерки, вечернюю службу в церкви. Он подумал о последнем псалме, который разносится над ночным Фидлерсборо. Потом осознал, или, вернее, почувствовал, биение энергии, дающей возможность жить или быть собой. Он думал о том, как она несет тебя сквозь день, и сумерки, и темноту.

Предвкушение Мексики придавало прелесть долговому лету.

Раз Мексика — дело верное, она витает над ним, сияя и маяя, как мечта, он может с головой уйти в здешнюю жизнь, посмотреть на нее по-другому, ощутить ее с новой остротой. Раз есть возможность уехать, в нем проснулась нежная жалость ко всему, что он здесь покинет, и даже к тому, кто это покинет. Много лет спустя в Калифорнии раза два или три он испытывал такое же чувство.

Но там, на побережье, он покидал не Фидлерсборо, а женщину. Когда в распорядительном центре его души, в этой комнате с запертой дверью и холодным,

как снег, рассеянным светом, принималось решение, что для блага всех заинтересованных лиц надо обрубить концы и подсчитывать убытки, он выходил оттуда с предвкушением нежности и силы, прилива жалости и вожделия, которые он испытает во время прощальной встречи, когда партнерша, еще ничего не зная, почувствует какой-то новый оттенок в их отношениях и отзовется на него так бурно, словно ей посулили нежданную радость. Будто лишь под дамокловым мечом внезапной разлуки она могла проявить предельную искренность, да и он сам, надо признаться, мог быть до конца открытым, только видя нависший меч, которого она не замечала. Для него, во всяком случае, такое ощущение было откровением.

Но он так никогда и не понял, почему в эти минуты предвкушения последней встречи перед ним всегда являлся какой-то образ, связанный с Фидлерсборо, с каким-то пустячным событием того лета, когда они мечтали о поездке в Мексику.

В этом особенном свете, который излучало парящее над ними видение Мексики, и пролетало лето. В конце недели собирались гости. Захаживали и местные жители, приезжали инженеры из Кентукки. Раз в две недели Мэгги проводила у них субботу и воскресенье. Калвин посещал их трижды и в первый приезд с трудом скрыл свою радость, услышав, что в будущем году будет жить здесь с Мэгги вдвоем.

— Черт возьми, о чем тут говорить? — сказал Бред. — Ваше с Мэгги дело — нарожать полный дом детишек. Я подумываю, не построить ли нам там, в горах, возле источника, нечто вроде сторожки. Домик, который можно запереть и уйти.

Были у них и водные лыжи, джин с тоником, покер, бридж. Они ловили рыбу, уходили в болота. Иногда просто часами смотрели на Фидлерсборо, словно не могли на него наглядеться перед разлукой.

Они даже работали. Он прилежно писал рассказ, который мог вырасти в роман, она делала наброски на болоте и рисовала Лупоглазого. Задумала написать его портрет. Он приходил в дом, часами сидел на террасе на корточках, лишь иногда протягивая руку за стаканом виски с водой. Машинально обтерев край рукавом, как вытирают носик кувшина, когда его пускают по кругу, он неторопливо отхлебывал виски, ставил стакан на пол между ног и снова замирал в неподвижности, как лесная протока в тени, не тронутая ветром.

Но вот в начале сентября пришла бандероль. И с той же почтой письмо от Телфорда Лотта. Он писал, что посылает сигнальный экземпляр романа, который выйдет в октябре. И станет, как он предсказывает, событием в мировой литературе. С полным на то основанием, потому что это шедевр выдающегося мастера, который в своем произведении наконец-то нащупал глубочайшую правду отношений человека с другими людьми и сплавил ее с трагическим ощущением личной судьбы. Лотт добавил, что такую книгу мог по-своему написать и Бредуэлл Толливер.

Книга называлась «По ком звонит колокол», и написал ее Эрнест Хемингуэй.

Бредуэлл Толливер стоял у высокой обочины тротуара перед почтой под навесом из рифленого железа, держа в одной руке письмо, а в другой нераспечатанную бандероль, и чувствовал, как весь мир — река, равнина за нею, памятник солдату южной армии, здания на Ривер-стрит — все это вздымается и плывет в палящем утреннем свете августа. К горлу комом поднималась тошнота. Справа в паху болело, как когда-то давно, в Дартхерсте, когда его лягнули в свалке. Фидлерсборо поднимался и давил ему на грудь, как туман, как капкан. Он не мог дышать.

Он стоял и ненавидел Фидлерсборо.

В течение следующих недель он раз сто брал в руки бандероль и снова откладывал, так и не распечатав. Неделю она пролежала на его рабочем столе, и он не написал ни строчки. Он положил ее на камин вместе с другими книгами и бумагами. Она таращилась на него с каминной полки. Он кинул ее в стеновой шкаф, где валялись старые туфли, болотные сапоги, сигарная коробка с негодными поплавками, и запер дверь.

О работе не могло быть и речи. Читать он не мог. Он стал резок и желчен. Долго бродил по ночам.

Однажды, когда он вернулся около половины третьего ночи и, не зажигая света, стал раздеваться, Летиция спросила его из темноты:

— Милый, скажи, что с тобой происходит?

— Ни черта.

— Знаешь, нас никто не заставляет ехать в Мексику.

— Черта лысого, не заставляет! — огрызнулся он, стоя голый в темноте. Черта лысого, его не заставляли!

Утром 4 октября от Телфорда Лотта пришел толстый конверт. Телфорд коротко писал, что в большую критическую статью, копию которой он посылает по секрету, просочились кое-какие сведения. Он знает, что Бреду это будет интересно. Восхищение, уверенность в успехе, привет.

Бред выбросил письмо и непрочитанную статью в корзину. Он крепился до двух часов дня, до конца ленча. Потом вскрыл бандероль с книгой.

Она была толстая — 471 страница. К обеду, в семь часов вечера, он прочел 185 страниц. Молча поковырял в тарелке, сказал, что ночью будет работать, ему, кажется, пришла одна идея. Направился к двери, остановился. Мысль о том, что ее надо поцеловать, была невыносимой. Даже погладить по плечу. Она почему-то казалась причиной всех бед. Он сам не знал почему. Но все было причиной всего, а она была частью этого всего.

В сущности, она была всего лишь высокой рыжеволосой женщиной лет двадцати семи от роду, которая сидела в зеленом клетчатом ситцевом платье за большим, довольно обшарпанным столом красного дерева и улыбалась ему из-за зажженных свечей смиренной, недоумевающей улыбкой. Он подошел и поцеловал ее. Другого выхода у него не было.

Он читал у себя в кабинете до половины четвертого утра, кинулся на кровать, не раздеваясь и не гася света, и проспал до половины девятого. Когда он спустился пить кофе, Летиция уже ушла к себе в мастерскую. Он сел за стол красного дерева, завтрак ему подавала негритянка Сью-Энн, а он испытывал то же, что и в то давнее утро на Макдугал-стрит, когда, поздно проснувшись с горьким вкусом во рту от вчерашней выпивки, политики и самоуверенной болтовни, нашел ее записку, написанную размашистым почерком:

Милый дуралей... Пошла работать — вдруг нашел стих. Увидимся в 4.30. Ночь была чудная. И сегодня будет чудная. Я тебя люблю.

Л.

PS. Напиши мне что-нибудь замечательное.

Записка так и стояла у него перед глазами.

В тот день он завербовался в Испанию. Да, тогда был тот день, а сегодня — этот день, и в мире все происходит по какой-то своей, чудовищной логике. Он уронил голову над еще не тронутым кофе, не понимая, что это за логика. Но помнил, что после кофе ему придется пойти наверх и опять взять в руки ту книгу.

Он спустился вниз в половине третьего, чтобы наскоро поесть, стоя перед кухонным холодильником. В доме было тихо. Потом он вернулся наверх. По дороге заметил, что жарко. Совсем как летом.

Ближе к вечеру он услышал шум машины, потом голос Мэгги внизу. Немного погодя его позвала Летиция. Дочитав последнюю страницу, он лег на постель и уставился в потолок. Надо надеяться, что Летиция кончила писать этот проклятый портрет Лупоглазого, и Лупоглазый уже смылся. Он подумал, что вечером опять будет выпивка, ужин на застекленной террасе с Мэгги и инженером — черт возьми, который же это из них? — бридж, болтовня, последние осенние насекомые будут нагло тыкаться в стекла, пытаясь проникнуть туда, где горит свет, как мысли, которые так же бессмысленно бьются и не могут проникнуть в твоё сознание. Он подумал о тех, кого убили в Испании. Им не пришлось выяснять, чем все это обернулось.

Он встал, умылся до пояса холодной водой, натянул свежую белую майку, причесался и пошел вниз.

В. Кто был на террасе, когда вы туда спустились?

О. Там был Тат...

В. Кто?

О. Ал. Татл, обычно его звали Тат.

В. Тат или Ал Татл — это тот человек, который официально известен как Альфред О. Татл?

О. Думаю, что так.

В. То есть что значит думаете? Разве вы не видели его подписи, имеющей законную силу?

О. Не помню.

В. Вот она на чеке.

О. Что ж...

В. Переверните чек. Это ваша передаточная надпись?

О. Забыл.

В. За что был выписан чек?

О. За карты.

В. Вы хотите сказать — азартную игру?

О. Да.

В. Сколько раз Альфред Татл бывал в вашем доме? До этого последнего раза?

О. Восемь или десять.

В. И каждый раз играл в карты на деньги?

О. Думаю, что да.

В. Обычно выигрывали вы?

О. Я не записывал партий в покер. Но игру в бридж записывал, поэтому что...

В. Обычно выигрывали вы?

О. Я же вам говорю, что насчет покера не помню. Я старался выучиться лучше играть в бридж и поэтому...

В. А ваша игра в покер в улучшении не нуждалась?

О. Не в этом дело, меня просто больше интересовал...

В. На какую сумму выписан чек, который вы держите?

Защитник. Протестую, ваша честь! Этот документ не приобщен к вещественным доказательствам.

Судья. Протест поддержан.

В. Ваша честь, я предлагаю приобщить этот чек к делу.

Судья. Принято. Пометьте его.

В. Значит, мистер. Толливер, в ночь, когда вы получили этот чек, вы в карты выиграли?

О. Думаю, что да.

В. Выигрыш был оплачен этим чеком?

О. Как видно, да.

В. На какую сумму чек у вас в руках?

О. На сто тридцать пять долларов и шестьдесят центов.

В. Что ж, неплохой заработок за ночь. Это был единственный раз, когда вы выиграли деньги у Альфреда О. Татла?

О. Послушайте, чек выписан на меня, но это не значит, что я выиграл все эти деньги. Я банковал, поэтому расчет производился через меня.

В. Ваша честь, я хотел бы позднее вернуться к этому вопросу. А теперь я...

Он положил пухлый черный том на стол и вспомнил Альфреда О. Татла — высокого, простецкого, чистенького парня с длинными ногами и огромными лапыцами, явно предназначенными для того, чтобы усмирить коня или почесать за ушами собаку, выращенного на бедном ранчо в Колорадо вдовой матерью, которой он письменно покаялся в проигрыше 135 долларов 60 центов, просил прощения, зная, как она нуждается в этих деньгах, и обещал, что впредь постарается избегать искушения, употребив слово, которое услышал в белой церкви под сенью Скалистых гор. Однако он поддался искушению и пришел еще раз, а потом еще раз и погиб.

Мать его сидела на скамье для свидетелей. Сукин сын прокурор вызвал ее

из самого Колорадо — в черном платье, с рабочими, ободранными в кровь руками, — чтобы она могла поплакать на свидетельском месте, когда зачитывали письмо, а потом подтвердить его подлинность.

В. Как ваше имя?

О. Лупоглазый.

В. Я спрашиваю, как ваше настоящее имя?

О. Гомп.

В. Гомп? Гомп не имя.

О. А у меня вот такое.

Судья. Если будут смеяться, я очищу зал.

В. Гомп, а дальше?

О. Гомп Драмм. Как у папаши. Он был Уиллибай Драмм. А пап...

В. Отвечайте на вопросы, мистер Драмм. Где вы были во вторую половину дня пятого октября?

О. У Фидлеров.

В. Зачем вы туда пришли?

О. Чтобы с меня срисовали картину. Раз я такой красавчик.

Судья. Соблюдайте порядок!

В. Кто рисовал ваш портрет?

О. Летти.

В. Кого это вы называете Летти?

О. Да бабу Бреда, вот же она сидит.

В. Вы говорите о миссис Толливер?

О. Я говорю о вон той, что там сидит, рыжей такой, с длинными ногами.

В. Скажите, Гомп, сколько надо времени, чтобы нарисовать картину? Сколько на это надо времени?

О. Да мы вот с ней проваландались, почитай, все лето.

Защитник. Ваша честь, я возражаю. Прошу вычеркнуть из протокола первую часть ответа как не относящуюся к существу дела.

Судья. Вычеркните. Присяжные, не обращайте внимания на «мы с ней проваландались». Продолжайте.

В. Так вот, Гомп, сколько времени понадобилось, чтобы «нарисовать с вас эту картину»?

О. Я же говорю: почитай, все лето.

В. Почему же так долго, Гомп?

О. Я же говорю, мы проваландались...

В. Проваландались? Что значит проваландались?

Защитник. Возражаю! Возражаю! Ваша честь, я возражаю...

Двадцать лет спустя Бредуэлл Толливер думал, держа в руках толстый черный том: Ах ты, сукин сын...

Сукин сын Мелтон Спайр сделал на этом деле карьеру — попал в конгресс и так далее. Бред встал, положил книгу, пошевелил затекшими пальцами.

Он подошел к окну и выглянул в сад. Там все еще светились огоньки сигарет. Поэтому он взял фонарик. Иначе Мэгги подумает, будто мама Фидлер бродит по дому, и кинется наверх. Ему не хотелось видеть Мэгги. Ему никого не хотелось видеть.

Он ощупью спустился вниз, не зажигая фонарика, прошел через прихожую в библиотеку, а оттуда в детскую — в комнату, где среди наклеенных на стены карт из «Нэшнл джеографик», «конструктора», негодных рыболовных снастей, ржавеющих ружей и облезлых, заплесневелых чучел все еще висел портрет. Он засветил фонарик.

Чучело енога уныло склонилось над несуществующим омутом. Сова — огромная полосатая сова — высокомерно глядела в темный угол за лучом фонарика. Сорокопут давно разуверился в собственной лютости и казался пристыженным. Луч нащупал портрет.

Из темноты возникло лицо Лупоглазого — бурое, как глина, с приплюснутым носом, с толстой, отвислой и злобной нижней губой, подбородок срезан, кадык торчит, левый глаз прикрыт, другой вытаращен. Словом, голова лягушки.

только не зеленой, а красной, посаженной на торс греческого бога, прикрытый рваной ситцевой рубахой в синюю клетку. Лупоглазый на портрете сидел в черной лодке, пригнувшись, с веслом на коленях, а его выпученный глаз казался средоточием всего этого мира зеленой листвы, теней и пятнистых отблесков на черной воде,— все это как будто одно за другим возникало и тут же тонуло в недвижном круговороте вокруг этого злобного, сверкавшего животным всеведением ядра — глаза.

Бред долго простоял перед портретом. Луч фонарика тускнел. Потом он вспомнил.

Прокурор спросил:

— Вы видели, как Бредуэлл Толливер завел патефон?

И Лупоглазый ответил:

— Да.

Прокурор спросил:

— Что он сделал после того, как завел патефон?

Лупоглазый, поморгав и ухмыльнувшись, ответил:

— Я же цельный галлон виски выпил. Я же сожрал все ихние бутри-броты, что они мне дали. А тогда лег на пол и заснул. И ничего я не видел.

Он ничего не видел.

Стоя ночью перед этим глазом, который ничего не видел, Бредуэлл Толливер почувствовал горячий прилив благодарности. Он выключил фонарик. Он стоял в темноте, испытывая глубочайшую симпатию к Лупоглазому, который ничего не видел.

Но он знал, что немного погоды ему все равно придется ощупью подняться наверх, где лежит толстая черная книга.

В. В котором часу начали танцевать?

О. Около восьми.

В. Вы начали первый?

О. Насколько помнится, я.

В. Отвечайте, да или нет?

О. Ну, скажем, да.

В. С кем вы начали танцевать?

О. С женой.

В. Как она была одета?

Защитник. Ваша честь, я протестую. Какая может быть связь...

Судья. Мисгер Спайр, какова цель этого вопроса?

Прокурор. Ваша честь, я надеюсь установить определенную связь. Я хочу показать, что когда взрослая женщина крутится в штанах в обтяжку и короткой кофте, с голым животом...

Защитник. Ваша честь, я протестую.

Судья. Протест удовлетворен.

В. Значит, мистер Толливер, это вы заставили Альфреда Татла танцевать?

О. Да.

В. С кем?

О. С моей женой.

В. И с кем-нибудь еще?

О. Да, с моей сестрой.

В. С вашей родной сестрой и женой доктора Калвина Фидлера и...

Защитник. Ваша честь, я протестую.

Судья. Протест удовлетворен.

В. Вы все время заставляли их танцевать?

О. Не помню.

В. Ага, вы не помните?

О. Нет.

В. Они протанцевали несколько танцев подряд?

О. Не помню.

В. Ах, так вы и этого не помните? А танцевали они, как говорится, интимно?

О. Убежден, что нет, если под «интимным» вы подразумеваете...

Защитник. Ваша честь, я протестую.

Судья. Протест удовлетворен.

В. Вы, значит, не помните, вы заставляли их танцевать или не вы?

О. Нет, не помню.

В. Вы хотите сказать, что были пьяны?

О. Да, я немного выпил...

В. Вы хотите сказать, что были пьяны? Так ведь? Так пьяны, что не помните?

Защитник. Протестую, ваша честь. Я протестую...

Бредуэлл Толливер выключил лампу на шарнире, повернул ее в сторону и подошел к окну. Он оперся о подоконник, прижался лицом к сетке и выглянул наружу.

Нет, вспомнить он не мог. И теперь не может. Помнил только то, что говорилось в суде. А того, что было, уже не помнил.

Он смотрел в темноту. Ночь была летняя, безлунная, но небо пульсировало звездами. Ночь была наполнена назойливым стрекотом насекомых, похожим на шум в ушах во время малярии. Стоило закрыть глаза, и воздух касался твоей щеки — нежно, как чье-то тело.

Он открыл глаза и подумал о том, что та давняя ночь была такая же, как теперь, но в воздухе стоял щемяще сладкий запах — умирало лето. Странно, что он помнил, какая была ночь, и не мог припомнить, что тогда происходило. Он видел перед собой людей в ту ночь на веранде — играл патефон, и фигуры двигались в полутьме. Они танцевали с азартом, но с азартом марионеток, — он вдруг мысленно увидел перед собой эту картину, но не знал тогда и не знает теперь, что с этими людьми происходило. Он не знал, что происходило с ним самим.

А теперь он смотрел вниз, в сад. Там, в дальнем конце сада, в темноте тлели огоньки сигарет. Он старался услышать звук голосов. Но ничего не мог услышать.

...заставил Татла встать и пойти танцевать с Летицией, а сам схватил меня. Когда мы проходили по террасе мимо одного из торшеров, он его выключил, Летиция сказала: не надо, давайте лучше играть в бридж; но Бред засмеялся, как он всегда смеется, когда выпьет, и сказал: ни черта подобного — и, танцуя, погасил второй торшер. Но из гостиной падало еще много света, поэтому он, танцуя, пошел туда и погасил чуть не все лампы, так что на террасе стало почти темно. Потом он вернулся со мной назад и стал вертеть все быстрее и быстрее — у меня даже голова кружилась — и все время похохатывал. А в промежутках между смехом и музыкой я слышала, как тяжело он дышит.

Едва пластинка кончилась, он поставил другую, не помню уже что, довел меня до Летиции и Татла, схватил ее одной рукой, а другой толкнул меня прямо на Татла — голова у меня кружилась — и говорит: «А ну-ка, Тат, потряси эту девицу как следует» — и пошел танцевать с Летицией. Тат повел меня медленно, осторожно, словно боялся до меня дотронуться. Он был высокий, неуклюжий, с ужасно большими руками. Моя рука утонула в его ладони, и я помню, что когда он первый раз положил правую руку мне на спину осторожно, словно боясь что-то сломать, я даже перепугалась, такая она была громадная.

Бред в полутьме медленно танцевал с Летицией, я слышала, как она ему что-то шепнула, а потом сказала громче: «Ах ты, идиот!» — но со смехом, а потом они вышли на освещенное место, Бред опустил голову, и я увидела, как он прижался губами к ее плечу, оно было голое — Бред спустил с него кофту. Они танцевали около стола с напитками, и даже в полутьме я заметила, что он на ходу схватил бокал и отпил большой глоток, а Летиция сказала: «Хватит тебе, Бред, что за свинство!» Но он снова увел ее в темноту, где они молча танцевали, иногда даже не двигаясь с места, но тут что-то зашипело и пластинка остановилась.

Он ее и тогда не отпустил, а, схватив за руку, как полисмен, потащил к патефону — хотел пустить его снова — и сразу же ее закружил. Потом они снова скрылись в темноте, покачиваясь в танце, но тут на них из двери упала полоска

света, и я смутилась; мне хотелось, чтобы Татл ничего не заметил, уж очень мне стало стыдно. Я увидела, как Бред сунул руку за пояс ее брюк, и поняла, что он держит ее за голую ягодицу, тесно обтянутую лиловой материей. Ах да, я и забыла рассказать, как она была одета. Ночь тогда была жаркая, как летом, и на ней были бумажные брюки лилового цвета с золотыми лампасами и нечто вроде зелено-золотой кофты, такой короткой, что она открывала золотистый живот.

Но молодой Татл, как видно, все это заметил. Я, во всяком случае, вдруг почувствовала его громадную лапищу у себя на спине, а то, что он боялся ею пошевелить, ясно показывало, что он все видит.

Летиция вырвалась из рук Бреда и села в качалку. Он направился за ней, но тут пластинка кончилась. Он поставил новую, глотнул как следует виски у стола с напитками и пошел прямо к ней. Я видела, какое у него при этом лицо.

Ночь была действительно жаркая, и лицо у него было потное, белая майка прилипла к широким плечам — тогда, двадцать лет назад, у Бреда была прекрасная фигура, — а потные кончики волос, подстриженных ежиком, блестели на свету из гостиной, так что его голова казалась мохнатой искращейся шапкой. Он не сводил с Летиции глаз и подкатывался к ней, как большой камень, как обломок скалы, который ускоряет и ускоряет падение, круша все на своем пути. На лице его застыла отсутствующая улыбка, даже не улыбка, а какая-то неосмысленная блаженная ухмылка. Помню, я тогда мельком подумала, что так улыбается ребенок, когда он тянется за чем-то, что непременно хочет получить, но этот ребенок весил сто девяносто фунтов.

Потом я вдруг представила себе, как ухмылялся бы камень, если бы в нем была жизнь и он мог бы улыбаться, не признавая никакой другой жизни, кроме своей жизни, жизни камня, и не думая о том, что он может натворить, когда глыбой покатится вниз. Эта непроницаемость, эта непреклонность, это упрямство, все это я видела один только миг в его лице, когда свет вдруг упал на него сзади и сбоку, и тут я испугалась. И в то же время понимала, почему Летиция от него без ума, — вот из-за этой его непреклонности, как у камня, который катится вниз и может прокатиться по тебе; из-за ощущения чего-то неминуемого, того, что непременно случится, и случится так, как он этого хочет.

Но нет, неправда. Теперь, когда я об этом думаю, я уверена, что Летиция не из-за этого была от него без ума, а из-за чего-то совсем другого, может быть, даже противоположного. Но каким бы он ни был внутри, я-то видела то, что снаружи, видела, как он подкатывается к ней и какое у него лицо.

Но тут его лицо скрыла темнота. Он нагнулся над ней, и лицо его спрятали тень от качалки. Тогда он вытащил ее оттуда и стал быстро вертеть; волосы у нее развевались как от ветра. Секунду или две казалось, что она ему покори-лась, голова ее откинулась назад, глаза были закрыты, а волосы взлетали как от ветра. Потом я увидела, что она открыла глаза, и хоть она и улыбалась, но улыбка была какая-то натуженная. Думаю, что она решила не перечить ему, как бы гадко, невыносимо он себя ни вел, и тем самым его сдержат, как ей уже два раза удавалось за покерным столом, когда, надев зеленый козырек на глаза и воткнув в рот сигару, она все обращала в шутку. Но сейчас она не шутила, а просто решила ему не перечить.

Незадолго до этого я видела фильм с Фредом Астером и Джинджер Роджерс — они замечательно танцевали. Только чего ради я вам рассказываю о фильме! Вы о них знаете сами. Но там они танцевали один танец, он назывался «Континентальный», у Бреда с Летицией была эта пластинка, они танцевали под нее часами. Мне даже казалось, что не хуже Фреда Астера и Джинджер Роджерс, да еще с какими-то своими па. В тот вечер Бред как поставил эту пластинку, так и крутил ее все время, просто переставлял иголку, отпивал глоток виски теперь уже прямо из бутылки, снова хватал Летицию, а иногда и меня, чтобы и меня повертеть.

Казалось, это будет тянуться вечно. Или, вернее, время тут было ни при чем — ведь вертелась одна и та же пластинка и повторяла: «Континентальный, континентальный» — одно и то же дурацкое слово, а ты будто нанюхался эфира, и тебя крутят, швыряют, но ноги почему-то двигаются в такт музыке, словно тебя к этой музыке приковало миллионом невидимых паутинок и ты не можешь

сбежать, а музыка все больше и больше запутывает тебя, захватывает своим ритмом. Когда Бред танцевал с Летицией, я видела, как бешено они пляшут, когда выходят на свет, зато в темноте они до того затихали, что мне раза два чуть не стало дурно.

Время от времени я как в тумане видела ее проносившееся мимо лицо. Она еще держала вожжи в руках. И еще улыбалась, но уже слабее и трепетнее. На висках блестел пот, ночь ведь была такая жаркая, последняя ночь бабьего лета; взмокшая прядь волос прилипла к левой щеке и в полумраке казалась черной. Я видела, как она дышит, приоткрыв рот, и вдруг подумала, что и она ведь тоже втянута во все это, и ее борьба с Бредом, чтобы заставить его прилично себя вести, и темнота, и пластинка, без конца повторяющая одно и то же дурацкое слово,— все это втянуло и ее, сделало соучастницей того, что она пыталась предотвратить. Она уже сломала каблук одной из сандалий, скинула обе и танцевала босиком. От этого все почему-то стало еще хуже. Она сразу оказалась маленькой и, хоть и была высокого роста, даже беззащитной. Беззащитной соучастницей.

Как раз в ту минуту Бред подтолкнул Летицию к Татлу и схватил меня, а когда он меня схватил, я заметила, что Татл изо всех сил старается не дотронуться до голы спиной Летиции своей ручищей, а также насколько он выше ее ростом, и она теперь выглядит еще более маленькой и беззащитной, танцует с таким высоким партнером, у которого еще такие громадные лапищи; я заметила, и какой угрюмый, страдальческий вид у него, его лицо над ее головой было совсем не такое, как обычно.

Я сразу подумала или почувствовала, что он должен ощущать, когда ему толкают в объятия высокую красивую женщину, взбудораженную, задохнувшуюся, мокрую, растерянную, да еще и сердитую, а в оконную сетку бьются насекомые, стараясь сюда влететь, и последние крупные бледные гортензии прижимаются к сетке из темноты, а в полутьме на полу спит Лупоглазый и время от времени издает негромкое бульканье, словно опадают болотные пузыри, а эта сумасшедшая пластинка все крутится и крутится. Я почувствовала, что у меня от пота прилипло платье.

Мне вдруг стало страшно. А отчего, я и сама не понимала. Поэтому когда Бред опять меня завертел, я выдернула руку и стала бить его по груди, требуя, чтобы он остановился.

Минуту он не обращал на меня внимания, только прижал еще крепче и завертел еще быстрее, дыша тяжело и прерывисто, все с той же непроницаемой, упрямой ухмылкой на губах, словно это ухмылялся камень, но я вырвала руку и снова стала его колотить. И тут он остановился, поглядел мне в глаза, хрипло захохотал, круто повернулся и, таща меня за руку, схватил Летицию, а меня подтолкнул к молодому Татлу. Тот начал со мной танцевать, держась, как всегда, натянуто, и я подумала, что Бреду всего-навсего было нужно обменяться партнерами, потому что я его била.

Но нет, он потащил Летицию к дверям в гостиную. Она упиралась и, оттолкнувшись назад, быстро взглянула на меня через плечо, а потом подняла правую руку, откинула прилипшую к щеке прядь, встряхнула волосами и все время твердила: «Нет, нет!» Я увидела ее лицо при свете, падавшем из гостиной, хоть он и был слабым. Оно выглядело очень бледным.

Бред молча тащил ее за руку, даже слегка ее вывернув, все с той же непонятной, каменной ухмылкой. Когда мы с Татлом проходили в танце мимо, я увидела, как он тянет ее за левую руку, будто волочит на веревке, а ее босые ноги переступают по ковру. Увидела и как он уволок ее на темную лестницу.

Татл и я двигались, вертелись под эту дурацкую музыку, которая никак не хотела кончаться. Но она сейчас кончится, утешала я себя, больше мне не придется танцевать, я смогу наскоро попрощаться, убежать наверх, запереть за собой дверь бог знает отчего, кинуться в темноте на постель и постараться забыть обо всем, постараться заснуть и забыть, что вообще живу на свете. Но не тут-то было. Бред, видно, поцарапал эту пластинку, когда в последний раз переводел назад иглу. Она застряла и вертелась все на том же слове «континентальный... континентальный»...

Татл перестал танцевать. Но продолжал обнимать меня, как всегда, вежливо, скованно, отчужденно. Я слышала, как он болезненно-тяжело дышит. Слышала, как мошки мягко, противно шлепаются в темноте о сетку. Застрявшая в канавке игла продолжала снова и снова выкрикивать свое дурацкое «континентальный... континентальный... континентальный...», только и слышно было, а я стояла как каменная, боясь пошевелиться, и чувствовала, что Татл старается не касаться меня ничем, только его ручища напряженно замерла у меня на талии; я почувствовала, как затылок у меня взмок и две или три большие холодные капли ползут по шее. Я не могла вдохнуть, мне казалось, что я сейчас потеряю сознание, — в голове кружились черные круги. Я подумала, что если сейчас не вздохну — наверно, умру.

Вдруг молодой Татл издал звук, похожий на жалобный стон. Словно что-то в нем сломалось. Он как-то враз осел. Я это почувствовала, хотя и не решалась поднять глаза. Потом каким-то хриплым шепотом он произнес:

— Проклятая пластинка... если бы пластинка не застряла... если бы она не застряла...

Глава двадцать пятая

Бредуэлл Толливер уставился в темноту. Он видел две горящие точки сигарет там, внизу, возле черного бельведера. Высунулся из окна в темноте, не понимая, что там происходит. Он не понимал, что происходит и с ним самим.

Когда он проснулся под вечер в воскресенье 6 октября 1940 года, голова у него раскалывалась от боли. Он лежал под мягкой простыней голый, не считая задубелой от пота майки. Одежда валялась посреди комнаты. Он закрыл глаза от солнечного света и так и не встал до прихода Летиции. На ней было синее полотняное платье, и руки на его фоне выглядели длинными, маленькими и золотистыми. На лице под загаром проступала бледность.

— Привет, — сказал он.

— Послушай, — сказала она. — Валяешься весь день, как свинья в луже. И я вот что тебе скажу раз и навсегда: если ты еще хоть раз вздумаешь себя так вести, я как верная жена сама поднесу тебе стакан виски, но когда ты раскроешь свою пасть, чтобы его вылакать, я, по выражению Лупоглазого, трахну по твоей тупой башке бутылкой.

Он жалобно улыбнулся.

— И сотри с физиономии эту обольстительную мальчишескую улыбочку, — сказала она, дрожа от бешенства. — Я не шучу. А бедная Мэгги совсем разболелась, нет, не с перепоя, пьянство, слава богу, у вас не семейный порок; у нее озноб и тошнота. Не хочет, чтобы вызвали Калвина. Я в конце концов усыпила ее вероналом.

Она смотрела на него так, будто увидела в первый раз.

— А ты встань, оденься и лучше мне сегодня на глаза не показывайся.

Она круто повернулась и, стуча каблуками, пошла к двери, но выходя обернулась к нему.

— Не говоришь? — вдруг спросила она с грустью. — Даже мне сказать не хочешь, из-за чего ты такой, что тебя мучит? Ну что же тебя мучит?

И прежде чем он успел огрызнуться, какого черта ей надо, ничего его не мучит, она скрылась.

Следующие три дня его словно тень преследовало что-то, чего он не мог припомнить, но что всегда было тут, рядом, и сразу же с непостижимой сноровкой ускользало из поля зрения, стоило ему повернуться, чтобы это поймать. Бред почти не видел Летицию и Мэгги. Его оставили один на один с его ненавистью к Фидлерсборо; Летиция сидела возле Мэгги в комнате с опущенными шторами. Мэгги не выздоровела, но разрешила позвонить Калвину и сказать, что у нее легкое недомогание, она пробудет здесь всю неделю, а в воскресенье он все

равно приедет, чтобы привезти на машине часть их вещей. Ей очень неприятно заставлять его заниматься укладкой, но она вернется домой в понедельник и все подготовит для их переезда из квартиры на Большой улице.

В четверг к вечеру Летиция вошла в комнату Бреда. Затворила за собой дверь. Пододвинула стул к его письменному столу, закурила сигарету и, сведя брови, словно пыталась что-то прочесть при плохом свете, посмотрела ему прямо в глаза.

— Черт знает что мы с тобой натворили,— сказала она.

Он смотрел в окно. Шел дождь. Тогда он к ней обернулся:

— В каком смысле?

— Чем меньше ты припомнишь, тем легче у тебя будет на душе. Нашими козлоногими вакханалиями в прошлую субботу мы своего добились: толкнули Мэгги с этим Татлом под куст гортензии на травку.

Тело ее обмякло, голова упала на грудь, колени были плотно сдвинуты, голые руки опущены, и дым из сигареты в углу рта медленно поднимался колечками кверху.

— Прямо хоть плачь,— сказала она.

Он смотрел в окно на дождь. Дождь упорно, нескончаемо точил, буравил поверхность реки, окрашивая ее в туманно-серый цвет. Серая пелена, мерно падающая сверху, заволакивающая все, казалась бесконечной, как небо, как материя, казалась сутью всего.

Бред смотрел в окно и сам не понимал, что он чувствует. А чувствовал он злость. Чувствовал себя обобраным и оскорбленным. Чувствовал, что его переполняет жалость. И, как ни странно, вдруг почувствовал неестественный и какой-то отвлеченный приступ вожделения. В этот миг он подумал о Мексике. В Мексике не будет дождя. Он поглядел на Летицию.

Она наклонилась вперед, опустив голову, волосы тяжелыми прядями падали на щеку.

— Она не потаскуха,— говорила Летиция.— Маленькая девочка, набитая идеалами. И по ее словам, Татл был так же потрясен, как она. Он и не думал соблазнять порядочную замужнюю женщину. Он вроде бы из этих «истинных христиан», но той разновидности, что в Скалистых горах.

Она посмотрела на дым, кольцами вьющийся из сигареты.

— Знаешь, после того как он это сделал, она, видно, просто оцепенела, а он одернул ей платье, вытер своим носовым платком ей лицо, стал ее отряхивать, ну как отряхивают ребенка, который упал,— и все время повторял одно и то же: «Простите... Простите... Вы никогда больше меня не увидите...»

Она затаилась сигаретой и выпустила изо рта неожиданно большое рваное облако.

— Господи,— сказала она,— представь себе ее безжизненную, как кукла, и эти его громадные ручищи, которые ее отряхивают.— Она раздавила сигарету в пепельнице.— Просто хоть плачь. Будь оно все проклято!

Она закурила новую сигарету.

— Знаешь,— сказала она.— Я ведь слушала ту чертову пластинку.

— Какую пластинку?

— «Континентальный», ту, что ты спяну крутил как бешеный. Лежу, слышу эту пластинку и понимаю, что там заело, заело уже давно. Понимаю, что там происходит что-то нехорошее. Надо было мне тут же встать и спуститься вниз. Я ведь знала, что надо, черт бы меня побрал, в глубине души это знала... но ты...— Она осеклась.

— Что я?

Она кинула на него испытующий взгляд, потом отвернулась и смяла только что закуренную сигарету.

— Ладно, чего уж тут,— сказала она, глядя в пепельницу. Потом разом повернулась и посмотрела ему в глаза.— И вот я не встала, и так оно и случи-

лось, — сказала она, — поэтому мне надо было хотя бы попытаться что-то наладить, верно?

— Конечно...

— Я и попыталась. Рассказала ей о нас с тобой.

Он слышал слова, но не понимал их смысл. А потом вдруг понял, но смысл тонул в пустоте, не имея связи с чем бы то ни было, и поэтому его все равно что не было. Он поглядел в дождливую даль. Перед ним возник мимолетный образ: он увидел, как там, далеко, он голый одиноко съезжился на плоской земле под серой бесконечностью дождя.

— Мне надо было что-то сделать, — продолжала Летиция, — чтобы она не чувствовала себя такой одинокой. Она чуть было не написала Калвину письмо, чуть было не убежала куда глаза глядят. Я сказала, что не советую рассказывать Калвину и так далее. Она знает, как он к этому отнесется, и ей надо было решить, что делать. Но я ей все рассказала о том баске, почему это произошло. И я рассказала ей...

Она не сводила с него странного, нежного, словно обволакивающего его взгляда.

— Что ты ей рассказала? — резко спросил он.

Она нагнулась, положила руку ему на руку, лежавшую на столе, и поглядела на него тем же мягким, сияющим взглядом.

— Ну да, что я могла рассказать? Что? Я ей рассказала, как мы были счастливы.

Она встала. И как бы между прочим сказала, что пообещала Мэгги поговорить с Калвином. Она или Бред сделают это, конечно, после того, как Мэгги поговорит сама. К несчастью, они несут за это дело ответственность, так что ничего не поделаешь. Быть может, им удастся в какой-то мере отвлечь гнев на себя.

Она задумчиво постояла посреди комнаты.

— Правда, ты самый близкий его друг, — сказала она, — но, может, поговорить с ним лучше мне. На него сильно подействует, если это расскажет ему дама, — он ведь из ваших южных джентльменов, а тут вдруг дама возьмет да и выложит ему запросто все как есть своими словами.

Она пошла к двери и, уже держась за ручку, добавила:

— Он, конечно, доктор и все такое, но, по-моему, не очень-то разбирается в...

Она сделала широкий жест, охватывающий и весь мир снаружи, где шел дождь, и комнату, где на нее устремлен его тяжелый взгляд из-под опущенных век.

— ...том, что к чему, — закончила она.

Закрывая дверь, она вдруг улыбнулась ему с той же обволакивающей нежностью, с тем же ласковым, затуманенным взглядом.

Он посмотрел на закрытую дверь и почувствовал себя зрелым и многоопытным. Он-то знает что к чему, сказал он себе.

А теперь, почти двадцать лет спустя, он смотрел сквозь оконную сетку в летнюю тьму, где мерцали огоньки сигарет, и понимал, что не знает что к чему.

...потому что, когда вдруг делаешь то, чего от себя никак не ждал, это все равно, будто ты, каким сам себя представлял, вовсе и не ты. Если ты сделал что-то ужасное, тебе плохо, а я в то время считала, что весь ужас в том, что я сделала. Но с тех пор у меня было много лет, чтобы об этом поразмыслить, и я решила, что самое ужасное в этом ужасном — это то, что ты больше не знаешь своей сути, больше не ощущаешь себя и тебе тошно оттого, что все уже не в фокусе, не в равновесии, как будто у тебя вестибуляр не в порядке.

Помню день, когда мне впервые пришла эта мысль, мысль о том, что бывает

ужас пострашнее. Это было гораздо позднее, уже после того, как умер Татл и Калвин сел в тюрьму навсегда. До этого я цеплялась за мысль: как ужасно то, что я сделала, — и, казалось, я только этой мыслью и живу, ведь чем-то надо жить! Но когда я обнаружила, что за тем, что я натворила, кроется нечто еще более страшное, мне показалось, что жить я больше не могу. Ведь как жить, если т е б я нет — кому же тогда жить?

Но возвращаясь назад, к той неделе перед приездом Калвина, когда до меня начал доходить весь ужас того, что я наделала, ко мне зашла Летиция и рассказала о том, что сделала она, — о себе и маленьком майоре-баске или кто там он был. Она хотела, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой. Но на меня это произвело совсем другое впечатление — ведь я думала, что они с Бредом, их любовь друг к другу так прочна, о ней можно только мечтать, ведь мне, как я уже говорила, их любовь тоже обещала счастье, и вдруг она мне рассказала, что как раз в ту самую ночь, когда Бред повез меня в ресторан из Ворд-Бельмонта и я с ним танцевала, думая о нем и о ней, она спала с тем маленьким баском.

Я вам рассказывала, как это случилось, и вы, по-моему, все поняли, но я не хочу, чтобы вы думали, будто Летиция себе это простила. Она пыталась внушить мне, хотя ей нелегко было вспоминать то, что тогда произошло: что твое «я» ты должен вылепить из всей зыбкости и ложности жизни. Наверное, кое-что до меня дошло, но главное, что я тогда почувствовала, это отвратительное скольжение без всякой опоры, помимо которого нет ничего, а я не умею его даже определить. Поэтому когда в ту субботу после обеда я в первый раз за всю неделю вышла в город, мне показалось, что весь Фидлерсборо — и люди и вещи плывут и скользят у меня перед глазами.

Но я знала, что мне надо выйти и взять себя в руки, чтобы подготовиться к завтрашней встрече с Калвином. Я выпила кока-колы с лимоном в аптеке Рексолла и помню, как я смотрела поверх своего стакана в зеркало напротив са-туратора — вы знаете, какие в этих местах бывают засиженные мухами, туск-лые, треснутые зеркала, — а над ним большой деревянный вентилятор, едва шевеливший воздух, я видела в зеркале свое лицо и думала: я ли это? Смешно, но почему-то мне стало еще тяжелее оттого, что мой поступок ничуть не изменил моего внешнего вида. Почему-то у меня появилось ощущение, что в мире нет ничего настоящего. Потом я купила киножурнал, совсем как девочка из Ворд-Бельмонта — а я именно так и выглядела, — и вышла на улицу. Было около половины четвертого. Погода снова прояснилась, солнце сияло, и после сырой полутьмы аптеки я даже зажмурилась.

В таких городах, как Фидлерсборо, раньше, да и теперь по субботам собираются гуляки, такие, например, как шофер грузовика, мнящий себя пижонем, потому что в субботу постригся и побрился, напмадил волосы бриллиантином и вырядился в белую рубашку. Или парочка прощелыг-фермеров, которые прохлаждаются, пока их жены выгадывают гроши в универмаге, а когда стемнеет, ждут своих мужей в старом «пикапе», где, укутанные в ветхое стеганое одеяло, спят на досках их дети. Или один-два страшных старика с мутными глазами и лиловыми брылами, похожими на опухоли, из тех, кто вечно шатается полупьяный и рассказывает мальчишкам непристойные анекдоты. И два-три взрослых парня с ножами, у которых выскакивает лезвие в кармане, — их еще зовут пещрышками. Ну, вы же сами знаете, как все это ужасно и какая это тоска.

Прежде по субботам они начинали в парикмахерской, выпивали там и играли в кости. Потом рассаживались на корточках на улице у парикмахерской, сллевывали, болтали, приставали к прохожим. Когда темнело, они перебирались в заднюю комнату бильярдной. Теперь, когда в Фидлерсборо нет больше ни парикмахерской, ни бильярдной, эта компания или те, что еще здесь остались, толкуются и пьют в ресторане, потом вываливаются в переулок, где кидают кости под уличным фонарем, или залезут в заброшенный магазин и дуются в карты при свете двух-трех больших квадратных фонариков, которые у нас зовут лягушачьими острогами, потому что браконьеры когда-то охотились с ними по ночам в болотах.

В ту субботу днем, тысячу лет назад, я, в сущности, и не заметила эту ком-

панию, рассевающуюся на корточках у стены бильярдной. Они были там как камни, как деревья, как часть Фидлерсборо. Я постояла минутку, зажмурясь от солнечного света. На улице было пусто. Я зажмурилась снова. А потом на улице уже не было пусто.

Вдруг появилась машина, старая черная спортивная машина со спущенным верхом, и остановилась как вкопанная посреди Ривер-стрит, словно возникнув из ничего, пока я жмурилась. На сиденье, сгорбившись, как это делают высокие люди, и вцепившись двумя большими руками в руль, так что его почти не было видно, сидел Татл. Он был без шляпы, в защитной рубашке с расстегнутым воротом и смотрел на меня во все глаза. Я даже издали видела, до чего голубые у него глаза на загорелом лице. Видела их выражение. В них были растерянность, изумление, и я чувствовала, что сейчас в них появится что-то вроде муки. Я видела, как он проглотил слюну. Высунул язык и облизал губы. Я знала, что губы у него пересохли, словно обветрились.

И тут я двинулась к нему под палящим солнцем, медленно переступая ногами, двинулась прямо к машине, которая, казалось, повисла в воздухе, поблескивая в слепящем свете, заполнявшем пустую улицу...

Калвина с вещами из квартиры на Большой улице ждали в воскресенье после полудня. Мэгги сидела у себя в комнате. Бред с Летицией дожидались его в маленькой гостиной наверху, читая «Нашвилл баннер» и мемфисский «Коммершл эппил». Они услышали, как подъехала машина; внизу, в прихожей, а затем в библиотеке раздались шаги, потом стукнула сетка входной двери, и машина отъехала. Бред подошел к окну.

— Это Калвин понесся назад в город со всеми вещами. Наверное, что-то забыл.

Он вернулся на свое место, на диван, прилег на подушку и снова взялся за газету. Чуть погодя он заметил Летиции, что английская авиация, как видно, и в самом деле сшибает немецкие самолеты.

— Может, нам теперь не надо будет вступать в игру со всем этим жульем.

Летиция молча подошла к нему и опустила на колени возле дивана. Она уронила голову ему на грудь. Сунув два пальца в вырез его майки, стала крутить волосы у него на груди.

— Перестань, — попросил он, — мне больно.

Она сказала, что он, пьяный скот, тоже сделал ей больно в субботу неделю назад, она и сейчас может показать синяк. Он сказал, что ему очень жаль, правда жаль, вернее, на него снова напал страх: а вдруг то, чего он никак не мог припомнить, снова проворно от него ускользнет и где-то притаится? Он еще раз повторил, что ему очень жаль.

Да, ему есть о чем пожалеть, подтвердила она, если вспомнить, что творится в мире и притом что Мэгги прячется, — ведь ей сегодня, когда она ждет Калвина, еще хуже, чем раньше. Но зато есть одна штука, о которой не надо жалеть.

Он спросил какая.

— Пепито, — сказала она, неожиданно дернув его за волосы на груди.

— Ой! — вскрикнул он от боли и сел, не сразу поняв, что она сказала.

— Кажется, Пепито поселился у нас насовсем, — сказала она, глядя на него сверху вниз.

— Что? — спросил он, уставившись на нее, и спустил босые ноги на пол.

— А вот то, и я надеюсь, что ему у нас понравится! — Она положила руки ему на колени и блестящими глазами поглядела в лицо.

— Черт возьми... — выдохнул он. Потом, когда до него наконец дошло, он посмотрел ей прямо в глаза. — Послушай... — начал он, помолчав, а потом начал снова. — Если ты говоришь о том, что было в прошлую субботу, а сегодня — воскресенье, почему ты знаешь? Я думал...

— У меня все бывает точно, как по часам. По мне их можно ставить. Мне звонят с телеграфа, чтобы проверить часы. А сейчас ничего нет.

— Но... — начал он.

— У меня не бывает «но», — весело пропела она. — Мало что скажешь ты или какой-нибудь доктор, мне говорит нутро. И нечего пялить на меня глаза, — сказала она с притворной суровостью, — это могло случиться только в тот раз, и ты... ты, дорогой мой пьянчуга и дурья голова, пеняй только на себя. Я ведь тебя предупреждала, когда ты тащил меня наверх. И вырывалась. Но ты был упрям, как осел. Сделал мне больно, у меня даже синяк, знаешь ведь, как у меня легко выступают синяки... Ты...

Она замолчала. Притворную суровость сменило что-то другое. Кожа вдруг туго обтянула скулы. Она больше на него не смотрела.

Потом передернулась, как от внезапного озноба, резким движением откинула волосы назад, словно отбрасывая какую-то мысль, и, отбросив ее, снова посмотрела на него с сияющей улыбкой.

— Послушай, — сказала она, — в этом мире уйма всякой дряни, но разве Пепито виноват? О многом и я жалею, но я так рада насчет Пепито, что готова даже умереть и просто не дождусь, когда он наконец с криком ворвется в Мексику, требуя завтрака, потому что мы с тобой едем прямо в Мексику, не то какой же он будет Пепито? И я буду любить его вечно и буду счастлива. И...

Она улыбнулась ему, все так же сияя, и протянула руку, чтобы потрепать его по щеке, словно что-то суля ребенку.

— Бред, ох, Бред, ты рад?

— Да, — сказал он.

Он думал: да, человеку есть чему радоваться, это же тайна и ему скоро откроется тайна. Он вдруг почувствовал бодрость. Он почувствовал себя человеком, который только что оправился после болезни. Черт возьми, скорее бы настало завтра и он смог бы сесть за машинку!

— Ну, Летиция! — закричал он.

И в этот миг зазвонил телефон.

Бредуэлл Толливер сидел у письменного стола под большой лампой дневного света и вспоминал, как он услышал голос шерифа Партла. Шериф, как всегда коротко, сказал, что просит Бреда прийти к нему в полицию — случилась кое-какая беда.

Бредуэлл Толливер посмотрел на толстый черный том у себя на коленях.

В. Значит, вы говорите, доктор Фидлер, — то, что вы узнали о вашей жене, вас потрясло? Было для вас неожиданностью? Так?

О. Да... да, сэр.

В. И вы показали тут, на свидетельском месте, под присягой, и да поможет вам Бог, что эта неожиданность была так велика и вы были так потрясены, что пошли, достали пистолет и застрелили этого бедного, беззащитного, безоружного человека как во сне, словно помимо вашей воли? Так вы говорили?

О. Да, сэр.

В. Я хочу только кое-что уточнить, доктор Фидлер. И поэтому спрашиваю вас: неужели вы хотите, чтобы вот эти джентльмены на скамье присяжных в это поверили? А?

О. Поверили? Верьте или нет, это правда.

В. Вы не ответили на вопрос. Хорошо, я поставлю его иначе, доктор Фидлер. Вы говорите, будто Сэм Гаджер и Албут Саллинг дразнили вас, насмехались над вами, потому что они-де видели, как ваша жена села в машину с Альфредом Татлом? Так?

О. Да.

В. И они насмехались над вами, говоря, что машина эта поехала в горы, а в той машине была ваша жена? Верно?

О. Да.

В. И Джек Келли сказал, будто видел, как машина стояла у дороги через перевал, в кустах черники, и что, значит, вы, как видно, дали вашей девчонке письменное разрешение устроить перемену. Так?

О. Да.

В. Но вы как доктор понимали, что все эти люди были пьяны?

О. Да.

В. Послушайте, доктор Фидлер, я вот к чему веду: если бы вы так хорошо не знали, что творилось этим летом в бывшем доме Фидлеров, вы бы не обратили внимания на то, что говорят пьяницы? И так бы не всполошились, если бы они не дразнили вас публично? Пока все было шито-крыто, вас это не очень-то трогало. Разве не так, доктор Фидлер? Вы же все это давным-давно знали.

О. Куда вы клоните? При чем тут то...

Защитник. Ваша честь, я протестую! Я возражаю против каких-либо инсинуаций насчет неверности жены обвиняемого в прошлом. Если у обвинения нет прямых доказательств, значит, оно просто хочет восстановить против обвиняемого присяжных.

Судья. Протест поддержан. У вас, собственно, два вопроса. Уточните их. Можете продолжать.

В. Хорошо, поставлю вопрос так. Доктор Фидлер, вы вошли в дом Фидлеров во второй половине дня тринадцатого октября и взяли оружие, зная, где оно находится, даже не поговорив с женой, не спросив, действительно ли она совершила этот проступок? Было ли это потому, что вы знали или подозревали, что тут творят ваша жена и эти люди в бывшем доме Фидлеров, пока вы лечите больных в Нашвилле? Поэтому вы пошли и хладнокровно застрелили человека только на основании пьяных сплетен?

О. Черт возьми! Я же...

Защитник. Протестую! Протестую!

О. Черт возьми, я же его убил! Мало вам этого? Вам этого мало?

...но как меня ни мучило сознание вины, я во время процесса испытывала и другое чувство. Мне было страшно обидно, что Калвин сразу поверил тем людям и, не спросив меня ни о чем, кинулся стрелять. И только позже я поняла, что все мы, в сущности, запутались в какой-то паутине.

Когда я поступила в Ворд-Бельмонт, у девочек было расхожее выражение. Когда про кого-нибудь из нас говорили, что «она стала отпетой гусыней», это значило, что она в кого-то втюрилась или что ее исклЮчили из школы, что у нас было не так-то просто, или же что мальчишка ее испортил, — словом, что девочка довела себя до крайности. Это деревенское выражение звучало очень смешно в устах таких вышколенных городских девочек. Но я-то была в меру деревенской и понимала это выражение буквально — перед моими глазами сразу вставала пушистенькая гусыня в пруду, освещенном солнцем, а под ней, в черной воде, злобная черепаха, которая цапнула ее за ножку и тащит вниз. Меня всегда при этом пробирала дрожь.

И вот в ту субботу, в яркий солнечный день, когда я, медленно переступая по мостовой, шла по пустынной улице к машине навстречу всему тому, что меня сжидало, мне послышалось, будто чей-то голос сказал: «Если ты хоть пальцем дотронешься до этой машины, ты будешь отпетой гусыней» — и перед глазами у меня возникла все та же жуткая картина, но я все равно продолжала идти как в трансе, чувствуя, что жду, когда злобная пасть защелкнется и потащит меня в темноту, как гусыню.

А Татл приехал в Фидлерсборо еще с двумя инженерами половить рыбу: они разбили палатку ниже по реке, и Татл даже не знал, что я в городе. И почему-то, почему он и сам не знал, его, как катушку на ниточке, потянуло на Ривер-стрит: он остановил машину и сам стал отпетой гусыней. И Калвин, бедный Калвин, он тоже стал отпетой гусыней, — ведь то, что сказали ему пьяницы, только нажало кнопку у него в голове, а он и не подозревал, что она там у него есть.

Я жила с человеком и любила его — если только была на это способна, — но не знала его и уж наверняка не знала, что ему нужно и чего он хочет в жизни. И вдруг обнаружила, что вовсе не знаю человека, которого должна была знать лучше всех, — это тоже создавало тошнотворное ощущение зыбкости мира, не

имеющего стержня. И тогда мне пришла в голову мысль, что и он ведь меня не знал. Как же он себе меня представлял, если сделал то, что сделал, даже не потрудившись меня спросить, выяснить, что я действительно натворила? И та, какой он меня себе представлял, — разве это была действительно я?

Потом, много позже, уже после суда, после того, как уехала не только Летиция, но и Бред — он на войну, вернее, на военные курсы, — я обнаружила вещи, которые Калвин в то воскресенье привез на машине из Нашвилла. Бред и Летиция просто затолкали их в чулан. И там на дне дешевой красной жестяной корзинки для бумаг, под метлой, аккуратно завернутое в пыльные тряпки, лежало руководство по половой жизни в браке, без обложки, которое я выписала по почте. И дурацкая книжка Фанни Хилл.

Я сидела на полу в большом пустом доме, посреди Фидлерсборо, где я теперь чувствовала себя чужой, держа в подоле эти книжки, и мне хотелось плакать. Но все было чересчур глупо, чересчур нелепо и жалко до слез — надо же было, чтобы так сошлось, чтобы Калвин в то воскресное утро нашел под кухонной раковиной эти книжки, понял, что они мои, и со свойственной ему аккуратностью упаковал их вместе со всеми вещами, а также и со своим представлением обо мне — а может быть, и о себе самом. — а поехав в Фидлерсборо, встретил пьяного проходимца, который нажал ту самую кнопку и заставил его сделать то, что он сделал...

Что ж, книги тоже сыграли свою роль. Те книги.

Я сидела и думала, что есть нечто похуже, чем стать отпетой гусыней в пруду и почувствовать нежданно-негаданно укус зубастой черепахи в черной воде. Хуже то, что чувствовала я, сидя на полу: не бессмыслицу, нелепость, нет — безумную взаимосвязанность всего на свете...

Процесс, несмотря на плохую погоду, шел три недели при битком набитом зале и привлек репортеров из таких больших городов, как Луисвилл, Нашвилл и Мемфис; кончился он в начале марта. Через три дня после приговора, когда Блендинг Котсхилл готовил апелляцию, у Летиции случился выкидыш. Раньше она проводила возле Мэгги дни и ночи. Теперь настала очередь Мэгги сидеть возле нее.

Бред приходил в комнату, где лежала Летиция — она как-то сразу превратилась в старуху, но пыталась ему улыбнуться, улыбка, казалось, бессильно пробивается сквозь мутную воду, — и чувствовал, что в этой комнате ему не место. У него было ощущение, что и ему самому должны вынести приговор. Он снова уходил вниз, читал фронтовые сводки или включал радио в ожидании следующего выпуска последних известий.

Слушал военные новости — больше его теперь ничего не интересовало. Несколько ночей подряд ему снилась Испания. Какой он тогда ее воспринимал. Время от времени он выходил в город за чем-нибудь необходимым. Разговаривал он с людьми сухо и односложно. Если встречал любопытный взгляд, заставлял отвести глаза. Однажды днем в субботу гуляки выползли на улицу и расселись на корточках у парикмахерской. Он прошел мимо так близко, что кое-кому пришлось прижаться к стене или подтянуть ноги. Он надеялся, что кто-нибудь с ним заговорит. Или попытается будто случайно подставить ножку. Как он на это надеялся!

Тогда он заедет ему в морду ногой.

Летиция поднялась, но была еще слаба. После обеда они втроем выезжали на свежий воздух посмотреть на приход весны, но ехали не через город, а прямо на юг. По вечерам сидели вокруг обшарпанного стола из красного дерева и глотали пищу. Время от времени произносили какие-то слова. Однажды вечером Бред сказал, что им всем трем надо смыться из Фидлерсборо, и навсегда. Мэгги разразилась слезами. Они знали, что Мэгги не получает ответа на свои письма Калвину Фидлеру, сидевшему теперь там, на холме, за решеткой.

В тот вечер Летиция сказала Бреду, что он ничего не понимает: Мэгги должна поступать так, как считает правильным. Она сказала, что останется с Мэг-

ги, пока будет ей нужна. Он ничего не ответил, подошел к радио, включил его и стал ждать военных сводок.

Он все больше и больше времени проводил у себя в кабинете, читал детективы или болтался с Лупоглазым на реке и в болотах. Кроме Лупоглазого, он ни с кем не общался. Иногда им надоедало ловить рыбу, они привязывали лодку в тени, где-нибудь в черной протоке, и молча передавали друг другу кувшин с дешевым виски. Однажды вечером Бред, вернувшись домой, пошел прямо в ванную, там его вырвало, и он лег у себя в кабинете. Обедать он не спустился.

Но в тот июльский день, когда ему надоели река и Лупоглазый и он вернулся домой раньше обычного, он пил мало. Летицию он застал в прихожей — она сидела на полу возле стола, где лежали груды нераспечатанных воскресных номеров «Нью-Йорк таймс», куча журнальных оберток и две стопки журналов.

— Что ты делаешь со всем этим мусором? — спросил он.

— Сколько можно терпеть беспорядок? Я их разбираю.

— И поэтому ты плакала? — спросил он, а потом нагнулся и взял журнал, лежавший у нее на коленях.

Номер «Таймса» был почти годовалой давности. Ему бросилась в глаза статья под названием «Окончательная распродажа». Там на основе свидетельств беженцев рассказывалось, как в республиканской Испании князят троцкистов, анархистов, либералов, католиков и других. Последним был назван «известный специалист по средневековью, католик, пехотный майор, дважды награжденный за отвагу, Рамон Эчигери».

Он посмотрел на нее:

— Так вот оно что?

— И тебе не стыдно! Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Просто все так невыносимо...

Держа в руках журнал, он не сводил с нее глаз, его вдруг захлестнуло какое-то чувство, а какое, он и сам не понимал. Потом надо будет разобраться.

— Не смотри так на меня, — попросила она.

Он молчал.

— Ведь это так невыносимо, — сказала она. — Если бы ты знал, какой он был маленький, больной, сердитый; и ноги у него были смуглые, не ноги, а одни сухожилия и кости, и кожа такая сухая, шершавая, как цыплячьи лапки, и кровавые шрамы на правом боку еще не совсем зажили; я так и знала, что он умрет, от него пахло смертью, он был совсем слабый, но очень свирепый — дрался за каждую лишнюю секунду жизни. Ну неужели ты не понимаешь? Лучше бы я умерла, но не сделала того, что тогда, но раз уж это случилось, дай мне его пожалеть, дай порадоваться, что, может, хотя бы на секунду он...

Он нагнулся, аккуратно положил открытый журнал ей на колени. И закурил сигарету.

Она подняла на него глаза и стала следить за тем, как он вдыхает дым, а потом, откинув голову, выдыхает его вверх.

— Может, нам вообще не надо было приезжать в Фидлерсборо, — сказал он уныло, — может, мне только снилось, что я могу спрятаться вдвоем с тобой далеко от всего мира.

— Мы натворили дел, — сказала она.

И стала старательно разглаживать страницы журнала длинными пальцами.

— Если бы ты меня поцеловал...

— Господи, я целовал тебя миллион раз.

— Нет, теперь, когда ты вошел и увидел, что я плачу.

Она снова заплакала.

— О чем ты теперь плачешь? — спросил он.

— Ну хорошо, — сказала она сквозь слезы, трогая журнал, — я плачу о нем. И о Мэгги, и о Калвине, и об Альфреде Татле, и обо мне, и о тебе, и о моем

Он стоял, замерев, но в душе его нарастала какая-то бешеная радость. Ему открывалась великая и страшная тайна жизни, открывалось, что у него хватит силы ее вытерпеть.

В ту ночь Летиция сказала, что отпускает его в Рино — получить развод, а сама останется с Мэгги, пока будет ей нужна. Бред настоял, чтобы поехала она, а он останется в Фидлерсборо, ему надо поработать. Так и договорились, и три дня, пока она складывала вещи или сидела с Мэгги, они прожили в странном хрупком равновесии, похожем на благополучную старость. По дороге в Нашвилл, где он должен был посадить ее на поезд, Летиция попросила остановить машину, чтобы она могла запомнить, как они любили друг друга, до того как все стало невыносимым. С каким-то язвительным равнодушием он достал из багажника одеяло и пошел на заросшую травой прогалину возле ручья, под взгорком, на котором росли кедры. Все было как-то смутно, бесчувственно, призрачно, но потом он словно провалился в черную глубину мироздания, где все было ни на что не похоже.

Что это было — поражение или победа, он не знал.

Потом он остался с Мэгги, время от времени он уговаривал ее уехать из Фидлерсборо и получить развод. Они ссорились. Когда в воскресенье после обеда сообщили о налете на Пирл-Харбор, он возбужденно зашагал по дому. А в понедельник поехал в Нашвилл и записался в морскую пехоту.

Восемь месяцев спустя он попал в госпиталь со сломанным коленом. В лагере Пендлтон, в Калифорнии, он стоял, ожидая отправки морем на фронт, и смотрел, как его взвод рассаживается на грузовики. Какой-то идиот сверху уронил на него ружье. Приклад стукнул лейтенанта Толливера как раз по правому колену. Провалившись пять месяцев в госпитале, он вернулся в Фидлерсборо.

Мэгги к этому времени уже взяла к себе матушку Фидлер. Старая миссис Фидлер не разговаривала с Мэгги ни во время суда, ни после него, но с ней случился тяжелый удар. Врач объяснил, что она навсегда повредила в рассудке. Тогда Мэгги извлекла ее из благородной нищеты, в которой она прозябала в одном из переулков Фидлерсборо, и поселила в той же комнате, куда она вошла женой доктора Амоса Фидлера в 1910 году. Мэгги — дура, сказал Бред, вернувшись домой. Достаточно было бы время от времени анонимно вносить на счет старой дамы какую-то сумму, но зачем же связывать себя навек по рукам и ногам?

Он обнаружил, что Фидлерсборо остался таким же, каким был раньше. Бред беседовал с людьми на улицах. Война, как видно, вытеснила из памяти прошлое. Дело об убийстве было забыто. Но сам Бред его не забыл. Он писал об этом роман. Когда он написал страниц сто пятьдесят, Мэгги случайно наткнулась на рукопись, лежавшую на столе. Она была потрясена. Сказала, что не вынесет, если он опишет все, что ими было пережито, и продаст это за деньги.

К тому времени он дошел до такого состояния, что больше не мог думать о романе. Но не мог думать и о чем-либо другом. По мере того как роман становился все лучше и лучше — а он знал, что это так, — его охватывал страх. Но остановиться он тоже не мог: он схватил тигра за хвост.

Когда он стоял возле стола, где лежала рукопись, и смотрел на страдальческое лицо Мэгги, он вдруг понял, что если он зашел в тупик с романом, он зашел в тупик и с Фидлерсборо. Он не мог и думать о том, чтобы уехать из Фидлерсборо, но в то же время не мог здесь оставаться и смотреть на то, что происходит с Мэгги, — на ее бессмысленные посещения тюрьмы, неусыпные заботы о старухе, на ее высоко поднятую, как у победительницы, голову, когда она идет по улице. Все это вызывало у него какое-то темное, неприятное чувство. Фидлерсборо тоже казался ему тигром, и он тоже держал его за хвост.

Глядя на Мэгги, он думал, какая таинственная закономерность была в том, что именно в это утро она натолкнулась на рукопись и заговорила с ним так грустно, так горько.

Потому что в кармане у него лежала телеграмма от его литературного аген-

та, где говорилось, что кинофирма предлагает шестьдесят тысяч долларов за экранизацию рассказа, давшего заголовок книге «Вот что я вам скажу...», и плюс к этому, если он захочет, договор на тысячу семьсот пятьдесят долларов в неделю с гарантией на тринадцать недель для работы над сценарием. Вчера после обеда он телеграммой подтвердил согласие на экранизацию, но, проведя бессонную ночь, все еще не мог решить, ехать ли ему в Голливуд. — он почему-то понимал, что это означает навсегда покинуть Фидлерсборо.

Но тут он вдруг почувствовал, что вырвался из тенет, и сказал: ладно, ладно, черт с ним, с романом, если она так этого хочет. Она заплакала и прижалась к нему. Снова и снова его благодарила. Он, похлопывая ее по плечу, повторял: ладно уж, ладно.

Вчера он не сказал ей про телеграмму. И теперь не сказал. То, что он это скрыл, было отместкой за немое обвинение, которым стала для него ее жизнь. Когда неделю спустя он уезжал из Фидлерсборо, он сказал ей только, что продал рассказ.

...и все эти годы ждешь, а чего тебе ждать — и сама не знаешь. Ухаживаешь за мамой Фидлер, ходишь туда, на гору, — но все это, как бы там это ни называть, не было попыткой что-то искупить. Разве я могла хоть что-нибудь искупить? И поверьте, вы должны мне поверить, я не чувствовала себя какой-нибудь особенной, не гордилась тем, что я чем-то жертвую, ведь я знаю не хуже других, что в отречении — если вместо слова «отказ» употреблять это противное слово — есть своя низость и малодушие, что-то тщеславное, склизкое, как еда, слишком долго пролежавшая в холодильнике, а не честно протухшая на свежем воздухе. Что же касается матушки Фидлер, может быть, я взяла ее как раз потому, что хотела быть привязанной к месту, хотела быть загнанной в угол, потому что я хотела, чтобы меня туда загнали. И не такая уж я дура, чтобы не понимать, что жизнь, которую я все эти годы вела, люди не считают нормальной. Пожалуй, она и правда была безумием.

Но может статься, что это безумие как раз для меня и было нормальным. Может, именно это я и должна была делать, чтобы наконец-то остаться собой. Нет, не быть собой, а стать собой, если удастся. С собой в Фидлерсборо.

Я читала о том, что многие жители Помпеи, когда произошло извержение Везувия и стал падать пепел, были застигнуты в том положении, в каком они в этот миг находились, вроде того стражника на часах. И как почти через две тысячи лет, хотя ст тел уже ничего не осталось, можно было залить алебастром то место, где это тело когда-то находилось, и получить точный слепок человека, каким он был в тот миг, когда его засыпало пеплом.

У меня было такое чувство, что и со мной в Фидлерсборо происходит то же самое: если упадет пепел — а может, он уже упал, — кто-нибудь через тысячу лет зальет это место алебастром и получит, если можно так сказать, слепок моей жизни. Меня в этой дыре не будет, там будет одна пустота, а может, настоящей меня никогда и не было. Но, по крайней мере, будет слепок какой-то жизни. Ты можешь жить так, думала я, чтобы мир вокруг тебя сохранил хотя бы слепок с твоей пустоты. Уж настолько с о б о й я могу остаться.

Нет, не трогайте меня.

Не трогайте меня, это может быть ужасно. Мне скоро сорок, и половину жизни я провела вот так, одна. Иногда мне кажется, что все мои воспоминания обманчивы или просто... просто галлюцинации, мне что-то снится потому, что я такая, и...

Нет, не трогайте меня, я могу быть отвратительной, как изголодавшаяся кошка, почуявшая рыбу, а я не хочу быть отвратительной. А может, буду еще хуже, просто никакой. Как тряпичная кукла, набитая старым тряпьем. Старым тряпьем и ложью, а я этого не вынесу...

...ох, возьмите мою руку.

Яша, Яша, пожалуйста, возьмите мою руку.

Бредуэлл Толливер выключил лампу дневного света и снова оперся на подоконник, вглядываясь в темноту. Огоньки сигарет погасли. На равнине в заречье поднимался туман. А его, как туманом, обволокло одиночеством.

Он подумал о пожелтевшей рукописи романа, который он так давно начал писать, — теперь роман лежал в сундуке в Калифорнии — и его пробрала дрожь. Он думал о том, что происходило в Фидлерсборо и о чем он знал. Он думал о том, что, должно быть, происходило в Фидлерсборо, но о чем он не знал — ведь стоило ему отвернуться, как все уходило из поля зрения.

Он не понимал, зачем он здесь, в Фидлерсборо, посреди ночи.

Для того, чтобы написать сценарий.

— Господи! — сказал он вслух и засмеялся. — Всего-навсего сценарий!

Он резко отвернулся от окна, зажег лампу дневного света и дождался, пока она ярко разгорится.

На столе он увидел толстый черный том. Поднял его, взвесил на руке, метнул горизонтально, и тот медленно спланировал на мягкое кресло. Когда книга упала, из нее ровным веером вылетела пачка листов.

— Делайте ваши ставки! — закричал он в пустой комнате и почувствовал мощный прилив энергии.

Он повернулся, и взгляд его упал на папку возле «ремингтона» с надписью «В работе». Он открыл ее, схватил лежавшие там отпечатанные страницы и смял обеими руками, чувствуя, какая у него при этом сила в руках. Потом громко захохотал:

— И тебя туда же, братец Потс! Вот тебе, Потси-мотси! — Он швырнул скомканную бумагу в корзину, громко, злорадно засмеялся и обвел комнату властным взглядом.

— Клянусь богом, уж я им сварганю сценарий!

Он знал, что знает, как это сделать.

— Dans le silence... — запел он, пародируя южный акцент, — du bonheur...

Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.

(Окончание следует)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. Г. ПАУСТОВСКОГО

Публикуемые письма Константина Георгиевича Паустовского охватывают период почти в четверть века: первое из них помечено 1938 годом, последнее написано в 1962 году. Это было время творческой зрелости писателя, когда были созданы самые значительные его произведения — шеститомный автобиографический цикл «Повесть о жизни» и книга о писательском ремесле «Золотая роза». Агресаты писем Паустовского — его собратья по перу или люди, причастные к литературе.

Завязавшаяся еще в молодости дружба Паустовского с Рувимом Исаевичем Фраерманом продолжалась всю жизнь. Их общению, помимо расположенности, какую они чувствовали друг к другу, способствовало и то, что они были соседями — в Москве и в Солотче, где вместе рыбачили и осваивали Мещерский край, работали и делились прочитанным.

С Константином Александровичем Фединым Паустовский познакомился за несколько дней до войны. Когда осенью 1941 года Константин Георгиевич вернулся с Южного фронта в Москву и квартира его оказалась разбомбленной, он поселился на гаче Федина в Переделкине...

Лидию Николаевну Делекторскую, переводчицу его произведений на французский язык, Паустовский встретил в Париже осенью 1956 года, совершая плавание вокруг Европы на теплоходе «Победа» в составе туристической группы писателей.

В 1959 году Паустовский побывал в Болгарии. Там он погружился с болгарскими писателями, и в частности со Славче Чернышевым, поэтом, влюбленным в приморский городок Созопол, в котором его знает каждый житель. Усилиями Славче Чернышева в Созополе создан музей Паустовского.

С младшим другом Александра Блока издателем Самуилом Мироновичем Алянским Константин Георгиевич коротко сошелся в конце 50-х годов.

Письма печатаются с небольшими сокращениями.

Старый Крым. 11/V-38 г.
Рувец...

Несмотря на то, что весь Старый Крым в цвету, в распускающихся орехах и каштанах, несмотря на здешний неправдоподобный воздух (очень душистый, мягкий и прозрачный), мы мечтаем о Солотче¹ и считаем дни до отъезда. Особенно здесь Солотча ощущается как родина, а Промойна² и Прорва³ даже во время теплого и тихого дождя кажутся чем-то необыкновенным. Обязательно пойдем на Боровые озера.

Здесь мы пробудем числа до 20 июня. Несколько дней в Москве уйдут на приятные вещи — покупка на конном рынке удилещ и разного снаряжения.

Не помню, писал ли я Вам, что в Ялте появился на три часа Гайдар и тут же исчез. Насколько я мог понять... он приехал из Одессы в Ялту только затем, чтобы узнать, пустят ли его этой осенью в Солотчу.

Я работаю. Взяли в аренду осла с повозкой, будем ездить в Коктебель и Отузы (отсюда до моря 16 километров). Осел молчаливый и склонный к длительным размышлениям — перед каждой лужей он останавливается и о чем-то долго думает, потом прыгает через лужу вместе с повозкой.

После Ялты, где было очень шумно, здесь тишина. Городок больше похож на деревню...

Что слышно в... Детиздате? Как Ваши литературные дела? Не знаете — не вышли ли Левитан и Кипренский?

Я работаю с таким расчетом, чтобы в Солотче ни черта не делать — только ловить рыбу, отдыхать и читать...

Привет всем.

Целую Вас. Коста.

¹ Солотча — село Рязанской области, где подолгу жил и работал в 30—50-е годы К. Паустовский. В Солотче жили и бывали Рувим Фраерман, критик и литературовед Александр Роскин, Аркадий Гайдар, Василий Гроссман, Андрей Платонов, детский писатель Иван Халтурин, прозаик Сергей Бондарин, Константин Симонов.

² Промойна — озеро неподалеку от Солотчи.

³ Прорва — старое русло Оки.

Р. И. Фраерману.

Алма-Ата. 8/V-42 г.

Рувец, дорогой мой...

До сих пор я не верю в то, что случилось с Роскиным, Бобрышевым и Гайдаром¹.

Все еще надеюсь. Не помню — писал ли я Вам, что нашелся Ваня Халтурин...

Одно только хорошо, что мы, москвичи, живем очень дружно.

Если бы Вы знали, Рувец, как мне хочется увидеть Вас и поговорить обо всем, что мы переживаем, и о будущем. Никогда еще так нас далеко не отрывало друг от друга. Много бы я отдал за то, чтобы быть сейчас в Москве, поехать к Вам в госпиталь и наконец увидеть Вас.

Мы все надеемся, что к лету удастся вернуться в Москву. Я мог бы и сейчас вернуться в Москву, но только один. Семьи в Москву не пускают... Что слышно из Солотчи? На днях поэт Семьинин (он живет здесь, чудесный человек) получил письмо от своих друзей из Белоомута. Они пишут, что там (по нынешним временам) прекрасно. А ведь это от Солотчи в 40 километрах. Если бы можно было переехать в Солотчу, я готов был бы там голодать, лишь бы увидеть хотя бы один лист ивы на Прорве. Теперь я понимаю, почему люди умирают от тоски по родине, от ностальгии...

Я много работаю. Написал семь рассказов (для американских газет, они уже печатаны), два сценария, сейчас пишу пьесу для МХАТа. Работать трудно — быстро устаю, стал «плох здоровьем». Только работой спасаюсь от тревоги, от постоянных мыслей о всем, что происходит... Даже Фунтик² работает, снимается в картине Маршака «Юный Фриц», зарабатывает себе на «кусочек хлеба».

Каждый день бывает у нас Коля Харджиев³, Жоржик⁴ (совершенно высохший)...

Сейчас здесь изумительная, неправдоподобная весна — весь город (это не город, а громадный парк) в цвету, шумят арыки, жара, за окнами сверкает снежный Тянь-Шань, но все это «напрасная красота».

Иногда прибегает Шкловский (тоже психующий), приходит благожелательный Квитко⁵... Зоценко (человек печальный и загадочный).

Пишу я расстрепанно, совсем не о том, о чем бы надо писать. Я мог бы целые страницы писать Вам, Рувец, о том, о чем я думаю почти непрерывно как одержимый, — о мире, победе, покое, о дороге на Черное озеро, о старых деревьях в саду у старушек, о прошлом...

Если все уладится — приезжайте сюда же раздумывая. Дорога (по теперешним понятиям) нетрудная — всего 12 дней. Мы общими силами Вас здесь поправим. Здесь отдохнете, напишете сценарий, а потом, м. б., все вместе двинем обратно...

Вспоминаем Вас почти непрерывно.

Ваш Коста.

¹ Бобрышев Василий Тихонович — заведующий редакцией журнала «Наши достижения». Роскин, Гайдар и Бобрышев погибли в Великую Отечественную войну.

² Фунтик — такса Паустовских.

³ Харджиев Николай Иванович — литературовед и искусствовед.

⁴ Писатель и историк литературы Георгий Петрович Шторм.

⁵ Квитко Лев Моисеевич — еврейский поэт.

Барнаул. 16/VIII-42 г.

Валя и Рувец, дорогие, как-то вы живете там, в Алма-Ате?..

Наши презумпции такие — 20 августа мы едем вместе с престарелым Таировым и Коонен в Белокуриху на Алтае, в 70 километрах от Бийска, там я буду писать пьесу. Дело в том, что театр на месяц закрывается на ремонт, актеры уезжают на

фронт и сидеть в Барнауле, в гоголевской гостинице, похожей на станционное отхожее место, нет смысла. Белокуриха — курорт (серные воды) и дом отдыха (до сих пор он открыт). Там дадут комнату и будут кормить. К тому же в окрестностях Белокурихи есть прекрасные рыбные озера.

Вернемся мы в Алма-Ату к 20-м числам сентября, если раньше не сдохнем от холода,— к тому времени я окончу пьесу. Здесь холодно, по ночам уже заморозки, дождливо... я — без пальто, и что из этого получится — неизвестно. Мне обещают дать пальто из театрального реквизита.

Жоржик плачется на голод (здесь в этом отношении гораздо хуже, чем в Алма-Ате) и совершенно иссох от работы над пьесой (не столько над пьесой, сколько над переделками). Слушаем сводки. Тяжело. Газет нету.

Теперь о Барнауле. Это славный город, славный прежде всего тем, что он русский город, очень похожий на наши северные города. Деревянные дома с мезонинами, липы, запустенье, герань на окнах и множество добродушных старичков-рыболовов. Великолепная Обь — она здесь шире Волги — и уже наше, бледное северное небо.

Но жить здесь можно только при театре — иначе трудно. Никакого заработка, а цены в 3—4 раза больше, чем в Алма-Ате...

Одно здесь привлекательно — это приветливый народ и русский родной пейзаж (но суровее нашего и холоднее). Три раза ловили рыбу на Оби и в протоках. Ловится хорошо чебак (вроде плотвы), другой рыбы мало. Напишите все о себе...

Целую Вас крепко. Коста.

Москва, Лаврушинский пер., 17/19, кв. 38,

Константину Александровичу Федину.

Ст. Графская Воронежской области.

Дом отдыха писателей Эртелево 27/VI-46 г.

Костя, милый, пишу тебе из такой душистой, липовой и идиллической воронежской глуши, что там, в Москве, все это невозможно даже вообразить.

Огромный липовый парк (12 гектаров). Липы — высотой с наш дом на Лаврушинском — уже цветут. Сотни старых корявых яблонь. Заросли вишен, ореха, океаны трав, цветов и пшеницы. Воздух потрясающий. За парком — заповедный лес. Он тянется до Тамбова. В лесу — единственный в России бобровый заповедник и живут олени (их — около трехсот). А по другую сторону парка — степи с ветряками и жаворонками.

В парке — пруд с карасями. Мы с Ниной¹ упорно ловим их. Нина — чудесный компаньон для рыбной ловли, выносливый, терпеливый и по-настоящему любящий природу. В заповедном лесу (в 3-х километрах) древний монастырь, основанный Тихоном Задонским на реке Усмани. Река совершенно сказочная — цепь глубоких и чистых омутов и чащ. Завтра идем гуда на весь день.

..Мы все, очевидно, отвыкли от отдыха, и меня все еще мучит совесть и кажется, что я должен что-то писать и что-то делать.

Дом маленький. Библиотека из старых журналов. Кормят преимущественно твоягом. Как ты? Как роман? Напиши, если вырвешь время. Здесь почти нет газет, нет радио, и от этого отдых еще лучше.

Эртель, средний писатель и малоплодовитый, все же ухитрился купить эту великолепную усадьбу. Привезу тебе отсюда семян удивительных разных цветов — полевых.

Твой Коста.

¹ А л я н с к а я Нина Самуиловна — дочь С. М. Алянского.

Москва, Лаврушинский пер., 17, кв. 38,

Константину Александровичу Федину.

Солотча. 18/X-49 г.

Костя, дорогой. Прости, что долго не отвечал. Вчера ночью умерла в полном одиночестве, в пустом доме старушка Пожалостина¹ (здесь, кроме Татьяны Алексеевны и меня, никого нет). И мне, чужому человеку, пришлось закрыть ей глаза. Дня за три до смерти она уже так ослабела, что не могла говорить, и умерла, будто уснула.

Две ночи я не спал и потому не ответил тебе тотчас на твое письмо, которое и обрадовало меня и очень тронуло. Спасибо, Костя!

Сейчас она лежит в золотистом шелковом старинном платье, какие носили наши бабушки, в фате (она была девушкой, вековушей) — тоненькая, стройная, и если не глядеть на лицо, то кажется, что среди осенних листьев и можжевельника лежит девушка. И я все вспоминаю ее рассказ о том, что она была на похоронах Виктора Гюго в Париже.

Горит лампадка, старуха — бывшая монашка — читает псалтырь, во дворе плотник строгает гроб и подбирает каждую стружку — все стружки, оказывается, надо положить в гроб, — и от всего этого тянет такой стародавней жизнью, что просто сжимается сердце.

Я работаю здесь над второй книгой «Далеких годов». Живу я в бывшей бане, в саду. По непроглядным осенним вечерам топлю печурку, и мне все кажется, что до Москвы — тысячи километров. Иногда только ветер прошумит палыми листьями и дождь начнет монотонно барабанить по крыше — все же остальное время заполнено такой тишиной, что можно оглохнуть.

Работать трудно. Слишком много ворвалось в жизнь за последние месяцы. От этого, очевидно, и усталость и невозможность сразу во всем разобраться. Все время такое ощущение, будто я закончил одну большую жизнь и еще не знаю, что делать дальше, — хватит ли сил и времени на вторую.

Иногда хожу в луга, на озера, ловлю рыбу. Осень небывалая по сухости, по бурным краскам, по удивительному воздуху, насквозь пропитанному запахом облетающих ив. Два раза шел снег. Ловится странно, капризно. В одном месте за два-три часа ни разу не клюнет, а рядом, в каких-нибудь ста метрах, клюет беспрерывно. Вода всюду глухая, черная, ледяная, но до сих пор еще не улетели дикие утки.

В свободное время читаю, но больше думаю, и чем больше думаю, тем меньше понимаю, что происходит.

Собеседников мало. Чаше всех приходит дед Семен Елесин — старичок с веселыми глазами, последний одиночник в России. Жалуется: «Не живем, а тлеем. Да тут еще сын больной ко мне приехал, находится на моем вожделении». Очень гордится тем, что сына в Рязани «доктора клали «под лучи», искали у него желудок, да так и не наши. Хрен его знает, куда он подевался, тот желудок».

О Москве ничего не знаю Как ты? Все еще в Переделкине?

Очень хотел бы всех повидать.

Судя по газетам, которые сюда забредают, тебя замотали выступлениями.

Напиши мне, выбери время!

Обнимаю тебя. Целую всех.

Твой Коста.

.....

¹ Дочь Пожалостина Ивана Петровича, русского гравера XIX века.

Л. Н. Делекторской.

Таруса. 17/II-58 г.

Дорогая Лидия Николаевна!..

Я бесконечно благодарен Вам за то, что Вы перевели «Золотую розу» на французский язык. Я понимаю все трудности этого перевода, поздравляю Вас и просто преклоняюсь перед Вашим мужеством. Я знаю, какие муки испытывали переводчики «Золотой розы» на английский и немецкий языки, — они присылали мне отчаянные письма.

Сейчас я пишу Вам из Тарусы, из такой глубокой и снежной зимы, какую невозможно представить из Парижа, а тем более из Ниццы. Судя по почтовому штемпелю, Вы сейчас в Ницце.

На днях звонил из Ленинграда Рахманов, и мы вспоминали Вас. Он такой же типайший и милый человек. В Художественном театре идет его пьеса, он много работает и болеет. Елена Осиповна ¹ больна — у нее воспаление легких. Не видел ее давно. Чаше всего вижу Данилу Гранина. В марте прошлого года я жил в нашем доме творчества под Ригой (в Дубултах) вместе с Граниным в маленьком доме на дюнах, на самом берегу Балтийского моря... Однажды поздним вечером Гранин пришел ко мне и прочел свой рассказ «Пьющий туман» — совершенно прелестный. Не выдавайте меня, но он сказал мне тогда, что написал рассказ о Вас... У меня начало выходить собрание сочинений (в шести томах). Не знаю, можно ли его достать в Париже. Уже вышло три тома.

Сейчас пишу четвертую книгу автобиографической повести (вернее, эпопеи) и вместе с тем небольшие рассказы, вызванные поездкой на «Победе». Два из этих рассказов будут напечатаны в мартовской книге журнала «Москва»... Мне бы почему-то хотелось, чтобы Вы их прочли...

Напишите мне о дальнейшей судьбе перевода «Золотой розы». Независимо от того, будет ли он напечатан, я очень хотел бы увидеть его, если это не слишком сложное дело.

Еще раз поздравляю Вас (а кстати, и себя) с Вашей работой.

Целую Ваши руки. Будьте счастливы, спокойны, радостны. Привет Вашей сестре.
Ваш Паустовский.

PS. Посылаю Вам плохую любительскую фотографию, снятую в октябре прошлого года в Ялте. На ней — Ольга Форш, старейшая писательница (ей, кажется, 84 года), очень живая, очень умная старуха, и Юрий Либединский.

.....
1 Катерли Елена Осиповна — писательница.

Таруса на Оке. 9/IX-60 г.

Дорогая Лидия Николаевна...

Как говорят наши шоферы, у меня «забарахлило» сердце. Очевидно, от жары. Этим летом мы всей семьей (вместе с очень смешным нашим мальчиком Алешкой) поехали на Черное море, но не на курорт, а в маленький рыбацкий поселок в степях, между Одессой и устьем Дуная. Там — бесконечные пустынные пляжи, море, полынь, косматые и застенчивые псы все в репьях и рыбаки — обрусевшие греки, — всякие Арфано, Стаматаки и Трояны. Милые, мужественные и робкие (конечно, только на суше) люди. Почти все рыбаки — старые люди, молодежь ушла в города. Одному из рыбаков стукнуло уже 92 года, ловить он не может, но остальные рыбаки из чистого товарищества берут его каждый день в море на лодку, вносят и выносят его на руках в шаланду и делают вид, будто без старика и его советов ничего у них не выйдет и они не поймают ни одного бычка (по-местному «бички»), не говоря о камбале.

Все это было прекрасно, но как только мы приехали, началась смертоносная небывалая жара — до 44 градусов — и ни капли тени. Кругом только полынь и колючие маленькие кусты акации. Рыбацкая лачуга, где мы жили, несмотря на земляные полы и глинобитные стены толщиной в полтора метра (такие стены делают специально от жары), не спасала нас от чудовищной духоты.

Море все время стояло в пару. Я дышал, как через соломинку, и воздух был, как кипяток.

После двух недель мучений пришлось бежать в Москву...

Писать об этом неинтересно, и я пишу только для того, чтобы Вы не сердились на меня и не огорчались. Особенно после «Мимолетного Парижа». Я не могу укротить свое воображение, я часто целиком отдаюсь ему, жизнь расцветает под пальцами, и (как в случае с «Мимолетным Парижем») мое восхищение перед Вами и перед Матиссом — великим художником и удивительным человеком — прорывается, или, вернее, взрывается, в кусках такой необузданной прозы, как в «Мимолетном Париже». Вы можете сказать, что все это так. Но потом, когда вещь уже написана, должен же писатель пройти по ней трезвой и жесткой рукой и выбросить все, что слишком дерзко, интимно и может причинить огорчение людям, которых он ценит и любит.

Почему я оставляю (и не только в очерке о Париже) такие места? Потому что все, что описано в них, стало уже частью моей жизни, прочно впелось в ткань этой жизни и так хорошо для меня и значительно, что мне хочется передать это и другим. Очевидно, в основе писательства лежит щедрость. «Отдавай и, дрожа, не тянись за возвратом — все сердца открываются этим ключом».

Простите меня за невольное огорчение, которое я причинил Вам хотя бы ненадолго, хотя бы на час. После Вашего трудного письма я растерялся и чувствовал себя преступником. Но пришло второе письмо, и я сразу перестал горбиться и очень благодарен Вам за это письмо.

Все, что Вы пишете о «Далеких годах», я целиком принимаю. Как идет перевод? То, что Вы прислали, я прочел в меру своего знания (или, вернее, незнания) французского языка, и мне кажется, что это превосходно.

Спасибо за лекарство. Оно спасает меня и помогает настолько, что сейчас астма меня почти оставила. Спасибо Леле за хлопоты. Жаль, что мы не виделись.

Я начал понемногу работать. Пишу нечто странное под названием (не пугайтесь) «Послесловие к моей жизни». Кроме того, пишу шестую автобиографическую книгу. Пятая будет напечатана в 10-м номере «Октября»...

Передайте мою сердечную благодарность и привет Поль и Леле. Не сердитесь. «Я — хороший», как говорит Алешка, когда его ругают...

Ваш К. Паустовский.

У меня очень портится почерк, поэтому пишу на машинке. Почему мне 69 лет! Это просто глупо! Нужно еще очень много написать.

Ялта. 11/III-61 г.

Дорогая, милая Лидия Николаевна, я не писал Вам... Много работы, много всяческих испытаний, много бед у друзей... и по временам даже отвращение к перу и бумаге (из-за «многописания») — все это служит для меня самым сомнительным и жалким оправданием.

С чего начать. Давайте с «Далеких годов». Я очень плохо разбираюсь во французском языке, но «насколько я понимаю в кибернетике» (как теперь шутят все пошляки) — перевод очень точный, тщательный и в каком-то отношении музыкальный. Не пугайтесь, у прозы свой ритм, своя музыка, своя гармония, но объяснить все это нельзя — Вы только чувствуете, что то или иное слово этот ритм нарушает. Тогда Вы заменяете это слово другим, и фраза «поет».

В «Далеких годах» я заметил две-три ничтожных фактических ошибки. У меня под рукой нет перевода (он в Москве). Я об этом Вам напишу позже, когда вещь пойдет в набор.

Теперь об издании...

Арагон просил меня написать ему все, что я думаю по поводу перевода и издания автобиографических повестей. Я написал Арагону, чтобы издательство обратилось к Вам как к моей переводчице. Кроме того, я пишу, что сокращать эти повести почти невозможно и мне, как автору, неприятно, поэтому я предлагаю каждую повесть издать отдельной небольшой книгой. Сейчас жду ответа от Арагона. Я думаю, что на днях издательство обратится к Вам... Напишите мне, что Вы думаете об этом. Если я и соглашусь немного сократить эти повести, то только для издания во Франции, в одной Франции (всюду я отказался от малейших сокращений — в Польше, Италии, Соединенных Штатах и других странах)... В связи с изданием я, очевидно, приеду в Париж осенью...

Ваш «рывок» или «бросок» в Италию прекрасен. После Неаполя я написал рассказ¹. Вы его не читали. Скоро он будет напечатан в отдельной книге, где собрано все, написанное после издания собрания сочинений. Книгу эту я Вам пришлю, как только она выйдет. Напишите мне, где могила Леонардо да Винчи? Вы знаете, у меня еще в юности началась страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считаю холм под стеной Святогорского монастыря в Псковской области, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, нет больше нигде в России. Поэтому так понятно и хорошо все, что Вы почувствовали о Бетховене и старом могучем органе.

Спасибо Вам за то, что Вы рассказали мне историю Монэ и Дега. Я этого не знал. Может быть, я даже напишу об этом. И спасибо за поправки к «Мимолетному Парижу»...

Я много работаю. Написал небольшую вещь о Бунине. Написал большой рассказ «Амфора» и еще кое-что. Сейчас засел в Ялте и пишу здесь вторую книгу «Золотой розы». Думаю окончить к маю.

...А Франция — осенью. Я даже боюсь думать об этом, чтобы не сглазить.

Ноябрь я провел в Ленинграде, пришлось много выступать. Какой это великолепный, полупрозрачный, торжественный город...

Ездая я в Ленинград на Блоковские дни, то есть на дни, посвященные Александру Блоку. Это были грустные дни. Меня познакомили с милой старушкой с дрожащей головой, очень застенчивой. Это была женщина, о которой Блок написал стихи «Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер...». Найдите эти стихи, там Вы услышите великолепную аллитерацию: «И сейчас же в ответ что-то грянули струны, испуганно запели смычки» — и еще: «зашептались гревожно шелка» (хотя это кощун-

ство, но мне все хочется сказать не «зашептались», а «зашуршали»). Эти стихи были посвящены молодой, самой красивой женщине Петербурга. А сейчас она стояла передо мной, руки у нее дрожали, она виновато улыбалась, потому что плохо уже слышала, и старенькие... перчатки морщились на ее худеньких руках.

Я много бродил по городу по вечерам (дни были короткие, темные) над Невой, смотрел на фонари, на пламя над Ростральными колоннами и вспоминал стихи Мандельштама: «Ты вернулся сюда,— так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей»...

Да, чуть не забыл. В Ленинграде Гранин устроил торжественный ужин. На нем, кроме меня, из «парижан» был Фахманов. Пили за Ваше здоровье...

Я страшно разболтался. Простите.

Будьте счастливы, здоровы, ничем не огорчайтесь.

Передайте мой сердечный изысканный (можно это слово перевести «элегантный») привет Поль. И большой привет Леле.

Ваш К. Паустовский.

Простите за помарки. Я письма правлю, как рукописи.

В Ялте я пробуду примерно до апреля.

¹ «Толпа на набережной».

ТОВАРИЩАМ — ПИСАТЕЛЯМ БОЛГАРИИ

Осенью 1959 года я видел в пловдивском музее золотой аттический клад. Его нашли десять лет назад три брата-землекопа Дейковы.

Они копали глину для кирпичного завода и наткнулись на редчайшую по красоте и ценности золотую скульптуру — работу эллинских мастеров.

Древние сосуды светились в сумрачном музейном зале, как гряда больших осенних листьев. Червонный блеск падал от них на все окружающее.

Вот так же, подобно этому кладу, впервые предстала передо мной и осенняя Болгария — страна, как бы выкованная народными мастерами из светлого золота и из красной меди.

Несмотря на сожаление моих болгарских друзей по поводу того, что я приехал поздней осенью, я считаю, что мне замечательно повезло. Я увидел Болгарию в полном блеске осенних красок и неба и такую богатую и спокойную от только что собранного урожая, что никогда бы не смог увидеть ее такой в разгар лета.

Мне повезло еще и потому, что у меня были влюбленные в свою страну переклассные проводники — писатели Ангел Каралийчев, Станислав Сивриев, Славче Чернышев, Серафим Северняк, Лада Галина, Веселин Андреев и другие писатели и поэты, а кроме того, десятки простых и приветливых людей — крестьян, рабочих, рыбаков, шоферов.

Пожалуй, никто не мог бы показать с таким искренним пафосом руины римского города Никополиса около Дуная, как это сделал единственный сторож этих руин — старый крестьянский дед Йордан. Он заслуживает отдельного рассказа.

Я видел многое. Но, конечно, это только отдельные части замечательной страны. Я видел совершенно ржавые от дубовой листвы («шума») теснины Рыльского монастыря, нарядную вершину Витоша, откуда слетает на раскинутую у ее подножья Софию горьковатый воздух. Видел Тырново — город живописный, как сон, как причудливый рисунок великого художника. Если бы у городов было сердце, то, мне кажется, Тырново был бы городом с самым ласковым сердцем.

Я видел грозную Шипку, засыпанную тонким снегом, будто посеребренные седной виски ветерана, Долину роз, мощные кражи Старой Планины, новые заводы, прекрасные дороги и курорты, построенные как бы из твердой морской пены — такими они были легкими и белоснежными.

Видел маленькие рыбацьи порты Несебр и Созопол с их племенем смелых рыбаков-капитанов, с их древними византийскими базиликами и домами, похожими на птичьи гнезда, с их романтичностью, оставшейся от прошлых времен и напоминающей нам о необходимости наполнить и наше время счастливыми и жизнерадостными чертами молодого романтизма, свойственного новому, коммунистическому обществу.

Я видел удивительный, почти неправдоподобный по своей топографии Пловдив, где среди равнинных улиц подымались острые каменные вершины, бурную Марицу, далекое видение закутанных грозами Родопских гор, мавзолей Димитрова, излучающий спокойный свет, огромные чаши новых озер, созданных человеком. Видел ста

рую, историческую Болгарию и новую Болгарию, полную труда, оживления и богатства.

Но — и это главное — я видел самое большое богатство страны — болгарский народ, приветливый и расположенный к людям, талантливый, умеющий работать во всю силу, но без спешки и шума, героический народ, который пронес свою независимость через тяжкие испытания и уверенно идет к новым свободным временам.

Этим первым знанием страны, которое не могло не вызвать любви к ней, я обязан своим товарищам — болгарским писателям.

Они дали возможность узнать свою страну наилучшим образом и проявили широкое и дружеское гостеприимство.

Поэтому позволяйте мне принести писателям Болгарии и их объединению — Союзу писателей — глубокую благодарность и считать себя в литературном долгу перед Болгарией. Этот долг я постараюсь отдать по мере сил.

К. Паустовский.

Москва. 18/XI-59 г.

С. Чернышеву.

Ялта. 22/II-60 г.

Славчо, дорогой...

Мы с Татьяной Алексеевной каждый день вспоминаем вас как самых близких друзей...

В Ялте я проживу до начала апреля. Если ваши рыбацкие корабли (гимеи) придут сюда на ловлю, то, может быть, мы увидимся. В Ялте я проживу так долго из-за своей проклятой астмы...

Я пишу пятую книгу (автобиографической повести). Это 1922 и 1923 годы на Кавказе. И называется эта книга «Войной взволнованный Кавказ»¹. А летом буду писать вторую книгу «Золотой розы». Назову ее, кажется, «Собеседник сердца». Помните стихи Заболоцкого о Пастернаке:

А внизу на стареньком балконе —
Юноша с седою головой,
Как портрет в старинном медальоне
Из цветов ромашки полевой.
Щурит он глаза свои косые,
Подмосковным солнышком согрет,—
Выкованный грозами России
С о б е с е д н и к с е р д ц а и п о э т...

Хорошо, что Вы начали писать прозу. В поэзии Вам тесно. Нет ничего богаче, свободнее, сильнее, пленительнее и тоньше прозы. Я люблю поэзию до слез, но не променяю на нее прозу. Идеал — полное слияние поэзии и прозы, так, как в некоторых вещах Бунина. Но это бывает редко.

Пишите мне на Ялту. Поклонитесь от меня Северняку, Веселину Андрееву, Ангелу Каралийчеву, милому созополскому художнику Яни Хрисопулосу, шоферу Саше и всем капитанам — Тумбаретову и Каранкову.

Привет Вашей жене. Обнимаю Вас. Ваш К. Паустовский

Я писал «Живописную Болгарию» для большого журнала и совсем забыл, что еще до отъезда в Болгарию обещал написать о ней для журнала «Новое время» Пришлось сдержать слово и отдать очерк этому... журналу. Но я буду еще писать о Болгарии.

¹ От этого названия Паустовский отказался и назвал книгу «Бросок на Юг».

С. Чернышеву.

Таруса на Оке. 10/VI-61 г.

Славчо, дорогой...

Спасибо за письма и книгу с посвящением. Вряд ли я его заслужил, наделав так много ошибок в «Амфоре». Вы в этих ошибках (при первом же переиздании «Амфоры» я их исправлю) не виноваты, а виновато мое восхищение перед Созополом и его людьми. Мне хотелось передать очарование этого города, и поэтому я сознательно сгустил краски.

А есть ошибки просто от незнания мною болгарского языка и недопонимания

Все это будет исправлено. Спасибо за то, что Вы так по-товарищески и откровенно мне написали.

Что касается предисловия к книге морских рассказов, то я столько написал предисловий за последнее время, что еще писать мне трудно. Во всяком случае, я попробую написать маленькое предисловие и пришлю его Вам. Об этом предисловии мне говорила и Маргарита Алигер, я очень рад, что Вы с ней познакомились. Она дружит с нами.

Очень хочется в Болгарию... Я мечтаю об этом как о глубоком и живописном отдыхе...

В апреле я был в Ялте вместе с Мишей Светловым. Вспоминали Вас и в маленьком уютном кафе (на три столика) «Ореанда» выпили за Ваше здоровье «ясного» крымского вина. Светлов начал писать прозу: сказку о рубле, который падает с девятого этажа ресторана «Москва», разбивается на десять гривенников (гривенник — это десять копеек) и каждый гривенник превращается в чудесную волшебную гофмановскую сказку.

Много хороших стихов, в особенности у Анны Ахматовой. Встретимся, тогда я Вам прочту ее стихи: «Стоят стеной дремучие дожди»...

Я пишу вторую книгу «Золотой розы». Книга, по-моему, сумасшедшая. На днях мы праздновали 69-й год моего рождения (увы!), но не в Москве или Тарусе, а в крошечном городке Калужской области, среди непроходимых лесов, множества чистейших рек и озер. Приехали все мои друзья, человек тридцать. Было очень хорошо. Ловили рыбу и спорили о поэзии и писательстве...

Привет всем друзьям в Болгарии... Привет капитанам и графине Батиньоти. И Христопулосу — он милый и чистый сердцем человек.

Обнимаю Вас, мой дорогой...

Ваш К. Паустовский.

Таруса. 14/VIII-58 г.

Самуил Миронович, дорогой мой, наконец-то я начал понемногу приходить в себя и дышать гораздо легче, чем недавно...

Вы сделали мне царский подарок — автограф Блока, да еще на книге, которая его, очевидно, очень интересовала.

Ну ладно, я Вам тоже что-нибудь подарю такое...

Вы едете в Дубулты, и я Вам безумно завидую. Если бы не врачи, требующие, чтобы на сырую осень я уехал в Крым, я бы поехал лучше в Дубулты. Там я был уже два раза, очень хорошо работал. И места там уютные, тихие, культурные. Попросите директора, чтобы он поселил Вас в «шведском домике» — совершенно чудесном, на дюне, над самым морем. Если Вы почему-либо вздумаете ловить там рыбу, то получите огромное удовольствие — там много рыбы и хороших мест. Когда бы я ни приезжал в Дубулты, там всегда жил латышский писатель Ванаг — рыболов и охотник. Он возьмет Вас с собой на ловлю, а ловит он огромных лещей на озере...

Дня через два-три я окончу четвертую автобиографическую книгу. Вышла большая — 14 листов. Это 1921—22 годы в Одессе. Материала много, и временами почти фантастического... Много людей — Бабель, Багрицкий, Сашка из «Гамбринуса», моряки, газетчики, биржевые мелкие игроки — «лапетутники», много событий.

Увидимся, когда Вы вернетесь из Дубултов... Здесь Заболоцкий. Приходит. Написал чудесные стихи о Тарусе:

Ой, как худо-жить Марусе
В-городе Тарусе!
Петухи одни, да гуся,
Господи Иисусе!

Поцелуйте Нину. Обнимаю Вас. Все Вас вспоминают и целуют.

Ваш. К. Паустовский.

Таруса. 26/VIII-1958 г.

Дорогой Самуил Миронович, не сердитесь, что пишу на машинке, от чрезмерных литературных работ почерк мой превратился в такие иероглифы, что я сам ничего не разбираю.

Спасибо за письмо. Я попытаюсь потом прокомментировать некоторые его части. А пока сообщаю Вам, что на днях окончил четвертую автобиографическую книгу

(Одесса, 1921—22 годы) и сейчас готовлю рукопись для машинистки — иначе говоря, переписываю целые большие куски на машинке, чтобы она могла хоть что-нибудь понять. До сих пор мучаюсь с названием. Каждому, кто придумает, даю 300 рублей, но никто не хочет думать, кроме Соньки¹ — «Золотой ручки» и Оттена. Оттен придумал шутку: «Одесса-мама», а Сонька — «Потомки Одиссея»², тоже «не сахар».

Повесть требует возобновляющийся «Московский альманах» (теперь редактором назначен Вс. Иванов), но я хочу дать в «Новый мир»...

Если Вы начали продолжать свои воспоминания, то я радуюсь этому и поздравляю Вас. Вы, конечно, как скептик, мизантроп, насмешник, потерявший веру в совместное обучение и гнездовой способ посадки кукурузы, не верите в то, что книга будет не только умной и нужной, но и обаятельной. А я это знаю. Не ругайте меня за эти шутки по неуместному поводу — такой уж легкомысленный характер...

Народу в Тарусе бывает много — Заблоцкий, Слуцкий, разные писатели, поэты и художники. К нам приезжала моя чешская переводчица Зденка, солистка Пражской оперы и хохотушка.

Сад разросся и пышно цветет. Ловлю рыбу с переменным успехом...

Были ли Вы в Риге? Особенно в старой? Там хорошие картинные галереи и парки.

Где Федин? Ничего не знаю. Знаете ли Вы о похоронах Михаила Михайловича³? Я долго не мог прийти в себя. Судьба разыграла с ним под конец один из самых тяжелых его рассказов.

Я сейчас как раз читаю Файнберга о Пушкине⁴. Это очень здорово. Если Файнберг еще там, то передайте ему мой привет...

Все Вас вспоминают и шлют Вам приветы.

Обнимаю Вас.

Ваш К. Паустовский.

¹ Кузьмицкая Софья Александровна — приятельница семьи Паустовских.

² Книга была названа «Время больших ожиданий».

³ Зоценко.

⁴ Речь идет, очевидно, о книге Ильи Львовича Фейнберга (в письме фамилия автора написана неправильно) «Автобиографические записки Пушкина» (М. 1958).

Барвиха. 11 июля 1962 г.

Дорогой Назым Хикмет!

Вы очень растрогали меня своей поездкой в Тарусу, своей статьей обо мне, прекрасными стихами и Вашим выступлением на вечере в Литературном музее. Все это было для меня неожиданным и драгоценным подарком. Я благодарю Вас от всего сердца.

С тех пор как я узнал Вас как поэта и прямого и мужественного человека, я хотел встретиться с Вами, но из-за своей дикой застенчивости не сделал этого до сих пор.

Однажды мы встретились в Варшаве (в августе прошлого года), в «Бристоле», но я не решился подойти к Вам, так как мне показалось, что Вы меня не узнали.

Я только что вышел из больницы. К половине августа врачи отпускают меня на волю, и если Вы будете в Москве, то приезжайте ко мне в Тарусу.

Может быть, в какой-то сотой степени, но наша взаимная симпатия объясняется тем, что я полутурок — моя бабушка была чистокровная турчанка родом из Казанлыка во Фракии.

Я, конечно, шучу, но все же иной раз горжусь, что во мне есть доля турецкой крови, — я очень люблю простых крестьян и рабочих-турок.

Еще раз — большое спасибо. Крепко жму Вашу руку.

Ваш К. Паустовский

.....

Публикация Г. А. АРБУЗОВОЙ.

О ЧЕ Р К И И А Ш И Х Д Н Е Й

П. РЕБРИН



УЛИЦА ВОСПРЯНУВШИХ

НА ПОДСТУПАХ

Путешествуя по тверской земле, я натолкнулся в Оленинском районе на место, где верят, что человек способен ко второму рождению — если споткнулся вдруг, потерял в жизни опору, то здесь может начать жизнь заново.

Председатель колхоза «Дружба» Смирнов открыл ворота всем желающим, и вместе с работниками добрыми, знающими цену крестьянского труда, вошло и въехало в них немало потрепанных, побитых жизнью, некогда, видимо, попавших в неблагоприятную обстановку и не сумевших из нее благополучно выбраться. С годами коллектив несколько разводился трудноуправляемым разным людом, однако же хозяйство возвышалось в районе горой: урожай на 7 центнеров превышает средний, за ним все рекорды — молочные, льняные, мясные и прочие. За три года количество молодежи в колхозах района уменьшилось на 100 человек, а в «Дружбе» приросло на 30.

Я приехал в «Дружбу» утром в конце августа. Здание колхозной конторы, подбористый одноэтажник из светло-восковых сосновых кругляшей, теплое такое по цвету, стояло вблизи мрачного озерца с блюдами свинцовой воды в зарослях камыша. Открыв дверь с табличкой «Председатель колхоза», я увидел в емком деревянном кресле лысого, коричневого от загара человека лет пятидесяти, с седыми волосами на затылке и с небольшими черными бровками, вскинутыми, как мне показалось, со страдательно. Это и был Смирнов. У двери на стульях расположилась молодая женщина с двумя мальчишками. В окна, широкие, как витрины магазинов, ломилось солнце, и Смирнов щурился и даже чуть заслонялся рукой. Женщина, оказывается, сбежала из-под Якутска от пьяницы мужа с полсотней в кармане, и сейчас у нее ничего не было, кроме детей. Она была по-северному низкоросла, но очень складно сложена, выглядела усталой и спокойной. Когда Смирнов вырвал из блокнота лист бумаги, чтобы распорядиться насчет аванса женщине, младший уже спал у нее на руках.

На столе я увидел районную сводку о ходе полевых работ. В этом зеркале дееспособности коллективов «Дружба» занимала самые высокие позиции. Больше всех убрано хлеба, урожай под 25 центнеров, а по уборке картофеля опережение чуть ли не тройное. Какие-то могучие силы нашего общественного строя у них действуют, видимо из тех, которые для других пока что являются резервными.

Минут через двадцать, когда Георгий Александрович освободился от конторских дел и мы вышли к стоявшей у крыльца машине, я не узнал небо: с востока напозвала серая волокнистая хмарь и солнце виделось едва угадываемым оловянным неживым диском. Смирнов с крыльца огляделся и быстро прошел к машине, и вот под этим диском мы катим меж холмов, на которых кипит-горопится страда. К двенадцати Георгию Александровичу нужно в меженинскую бригаду, где его однофамильцу комбайнеру Михаилу Смирнову должны вручать районное переходящее знамя. В нашем распоряжении два часа.

Осень стояла дождливая, тягучая, уборка, я знал, шла тяжело, и в редко выпадавшие пары и тройками погожие дни люди, как говорится, зоревали в поле. На пологих просторных холмах, похожих на плохо поднявшиеся булки, на наклоненных

плоскостях, хотя и закиданных перелесками, в сером, но еще проглядном воздухе картина уборки видна целостно. Ползают комбайны, челночно снуют машины с зерном, вот одна, пробуксовывая и поддав газку, проскакивает скользкое место, другая, застряв, натужно воеет и пулеметно садит желтой глинистой грязью, тракторы-колесники с тележками, груженными зеленой травой-свежем, копытят по проселкам с утренней свежестью. Все движется, и только трактор-пахач видится в отдалении неподвижной букашкой.

Обогнули лесок. Шагах в тридцати от края поля возле трактора с культиватором стоит человек, издали видно — старик. Он машет нам рукой, подзывает. Ноги тонут в пахоте. Смирнов, чуть припевая, очевидно, от избытка чувств, блестя глазами, сообщает, что Иван Егорович Артемьев — один из самых «корневых» людей колхоза, и что он кандидат в должностели (уже шестьдесят восемь, но нормы перевыполняет, зарабатывает, как и молодые), и что по характеру, по настрою он оптимист.

Артемьев крепок, с задубелым крупным лицом. Он готовил поле к посеву, культивировал, да остановился, не знает, что делать, с края пахота по глубине, как положено, а дальше пошла на убыль.

— К середке-то мелеет, Георгий Александрович! Я тут не дам сеять!

— Ну и спасибо вам, Иван Егорович.

— Уже полчаса стою. Знал, что вы мимо поедете.

Они пошли в глубь поля.

— Это уж кто-то из приезжих наварначил, — говорил Артемьев. — Не Бызьев ли? А? Вы не знаете, кто тут пахался?

— Зна-аю. — Лицо Смирнова выражало великое терпение. — Кандидат в люди тут один пахался, Иван Егорович.

Они присели на корточки, Артемьев, по-стариковски обмякнув, погрузился коленями в землю, Смирнов достал железный метр.

— Ну, восемь!

— Я и говорю, мелеет! — Артемьев тяжело и требовательно глянул из-под припущенных век, сел на пятки. — Не знаю, не знаю, Георгий Александрович, что у нас дальше будет...

— Перепахет за свой счет.

— Да в том ли дело? Сегодня на дворе-то какое! Рожь-то когда кончим?! — Артемьев глянул на меня. — За успенье не суйся — раньше так понимали.

Прежде крестьяне в этих местах после успенья, приходящегося на 25 августа, рожь не сеяли, эту черту я слышал, если и переступал кто, дак разве самый маломощный мужичонка, однолемешник, не успевший управиться во времени. Агротехника озимки здесь столетняя, продиктована природой, рожь неразлучна с чистым паром, но вот вмешались требования интенсивного века — появился в севооборотах занятый пар, и рожь пошла после парозанимающей культуры. И все осложнилось. До предела сжалось время для проведения всех полевых работ. 25 августа, если по-доброму, то по-хозяйски надо заканчивать посев ржи, а на полосе еще ячмень сидит. После ячменя поле нужно прокультивировать, удобрения внести, земля должна полежать, осесть, или хотя бы прикатать ее надо, иначе проростки при посадке порвутся. Но и ржи нужно время, ей подавай теплые августовские дни, ей надо раскуститься, сентябрьская уйдет под снег немощной.

Практика опытных хозяйств подсказывала, как выиграть время: надо использовать «скоростные» парозанимающие культуры и специальную технику — агрегат РВК, такой появился, в котором соединены каток, культиватор и сеялка.

В колхозах РВК не было, спецкультурами не пользовались, не дошел, что ли, до них опыт, но команду «нужен занятый пар!» они выполняли.

Занятый пар в зоне озимых действительно нужен — он дает дополнительную продукцию по сравнению с паром чистым. Во всей Западной Европе процент занятого пара в севообороте является показателем культуры земледелия, чем больше его — тем интенсивнее производство. Но на Западе более теплая осень, а это время. Там специальные парозанимающие культуры, специальная техника. Команда о занятых парах поступила примерно лет двадцать пять назад, но за эти годы производство так и не получило РВК, опыт использования раннего картофеля, турнепса, вики, овса как парозанимающих культур так и не был освоен, и все эти двадцать пять лет большая часть ржи, посеянной по занятому пару погибала. Об этом писали публицисты в годы 60-е, писал и я — в годы 70-е. И вот опять...

— А может, не сеять рожь-то? — как-то вяло сказал тракторист.

— Поезжай, поезжай, — так же вяло ответил Смирнов.

— А? — Тракторист глядел вопросительно.

— Езжай, езжай, Иван Егорович.

Смирнов провел рукой по щеке, смахнул каплю дождя.

— Севообороты он нам уже поломал. Теперь «чулпан» опозорит. (Я понял, что он — это дождь.) Чередование культур не соблюдаем, по севообороту надо тут, а тут еще не убрано.

— А? Георгий Александрович? — услышал я голос тракториста. — Столько посеяли — и хватит!

— А сколько посеяли? — спросил я.

— Да половину.

— Ну и хватит, — давил тракторист. — Досеем ярицей.

— Нынче хоть плачь... вместе с небом... По ком плачет? А? — Смирнов улыбнулся мне кисло-доброверительно.

— А что такое, Георгий Александрович?

— Каждый год половина ржи пропадает, каждый год загодя семена на пересев оставляем, уже привыкли... Уж не страдаю. А нынче я «чулпан» привез, новый сорт, высокоурожайный, расхваленный в газетах, прочитал и сам полетел как на крыльях, привез, сдал под личную ответственность главному агроному, а вот... Опозорим мы новый сорт.

— А как бы вы распорядились, будь ваша воля?

— Не сеять. Сколько кто успел, тем будь и доволен. А весной недосев пополняй яровыми.

— Ну дак и сделайте так! — заволновался я. — Сделайте!

И выжидательно смотрел в его лицо. Подошел Артемьев.

— Сделайте. Ничего же вам не будет! — требовал я, решив, что все же должен в конце-то концов кое до чего докопаться.

Давно не встречал я такого пристрастия к директивным способам руководства сельским хозяйством, как в Нечерноземье, трудно его объяснить после того, как сказано Л. И. Брежневым в его книге «Целина», что команды сельскому хозяйству по самой его природе противопоказаны. Сказано это же не раз и во многих правительственных решениях, ан нет, команды из района подаются и подаются. Артемьев досадливо махнул рукой, и из его бурчанья я понял следующее: оно, конечно, не по-хозяйски идет, не по-хозяйски, мужики сначала ругались, да потом перестали, оно, вишь ты, пообтерлось все, пообколотилось, потому как плетью обуха не перешибешь.

На щеку и мне легла капля дождя.

— Ну вот кончается работа! — Смирнов мученически вскинул брови, глядя в небо.

— А мне простой кто оплатит, Георгий Александрович? — как-то тускло спросил Артемьев.

— За его счет получишь. Законно!

Старый тракторист что-то буркнул, и Смирнов притронулся к его плечу.

— Ничего, ничего!

За этими словами почудилась мне в их отношениях невинная игра. На морщи нистом лице Артемьева укор, а по глазам — так и он говорит сейчас про себя: «Ничего, ничего!» Они, видимо, единомышленники (да простятся мне громкие слова), единомышленники по сердцу. Возможно, у них многие подчинены Смирнову по духу, признают, что свихнувшиеся и заблудшие нуждаются в снискходительности и терпеливом внимании, но в поступках самостоятельны — взял да и не стал сеять, хотя, возможно, в заработке и потеряет. Когда касалось внутренней жизни колхоза, понял я, Артемьев чувствовал себя хозяином, а перед силой строчки отступил. Ах она, загадочная эта сила строчки.

Возле нефтебазы, куда Георгий Александрович подвернул, чтобы заправить машину, стоял бензовоз, по формам и габаритам весьма допотопный, а по окраске новехонький. Хозяину его за сорок, движения спокойно-ловки, четки. Достал тряпку руки вытереть, а она чиста, как ресторанная салфетка, только что в крапинку. В кабине опрятно, как в девической светелке.

— Вот тоже личность! — По певучим ноткам в голосе Георгия Александровича можно было понять, что он неравнодушен и к этому человеку. — Мой однофамилец —

Николай Сергеевич Смирнов. Аккуратист величайший. Я по нему время проверяю, когда он мимо окон проходит.

В «Москвиче», когда покатали дальше, Георгий Александрович снова принялся расхваливать своего однофамильца распевно и с восклицаниями:

— Двадцать пять лет шоферит, а ни разу на новой машине не работал. В пятнадцать лет вторым пришел из армии, собрал из утиля грузовик и несколько лет на нем вкалывал. Иждивенчество ему чуждо в любой форме! А если оценить его в общем, то он государственного значения человек: работая уже семнадцать лет вот на этом бензовозе, хотя казенного веку ему всего десять лет, он показывает людям возможности человека!

Из лошадки легким сизым взрывным облачком дает знать о себе комбайн. Мы догоняем облачко. Оно тут же исчезает в серой хмари. День сломался, стало глуше. Я погружаюсь в размышления. Вот человек, обеспечивший своему колхозу авангардное положение в обстановке, о которой не скажешь иначе как крайне трудная, очень сложная. В Нечерноземье за пятилетку вложено почти 32 миллиарда рублей, а отдача мизерная. За три года минувшей пятилетки производство валовой продукции здесь приросло лишь на 2 процента. Построены сотни животноводческих комплексов, только для крупного рогатого скота около 250, осушены тысячи гектаров болот, введена в строй новая земля, увеличались дозы удобрений, а прибавки продукции почти нет! По существу, топтание на месте. Ясны многие тому причины. Это, во-первых, все увеличивающаяся нехватка рабочих рук. За восемь лет население области уменьшилось на 200 тысяч человек.

Я знал и другую беду. Колхозы теперь обслуживаются многочисленными объединениями, управлениями и трестами. Они строят коровники, мастерские, тока, жилье, осушают болота, улучшают конфигурацию полей, корчуют кустарники, очищают поля от камней, вносят минеральные удобрения, известкуют почву, на них не только капитальный ремонт, но техническое обслуживание. Жизнь районов в их руках, успехи колхозов и совхозов зависят от того, как они работают. Но ни одна подрядная организация не дала сельскому хозяйству того, что должна была дать.

Мелиораторы должны были осушить за пятилетку 100 тысяч гектаров, а фактически осушили 60 тысяч. А разница в урожае на земле, улучшенной путем мелиорации, и не улучшенной — 6 центнеров с гектара. Значит, колхозы и совхозы по вине мелиораторов недополучили тысяч 25 тонн зерна. Орошение проведено на 5 тысячах гектаров вместо 10. Разница в урожае в данном случае составляет 12 центнеров. Культурно-технические работы невыполнены почти на 100 тысячах гектаров, недобрано 80 тысяч тонн сена. А это 6,5 тысячи тонн свинины. Основных фондов введено на 100 тысяч рублей меньше, чем планировалось, и это значит, что колхозы и совхозы недополучили около 50 миллионов рублей, поскольку каждый рубль основных фондов должен давать 50 копеек.

Деятельность этих организаций между собой не увязана. Строители возвели комплекс, а жилье запоздало, работать некому, и стоит коровья хоромина, заполненная на две трети, к тому же мелиораторы не осушили болото, не засеяли его травами, скота прибавилось, а корма на буренку стало меньше приходиться, удои падают, животноводство становится убыточным.

А ко всему этому — рецидивы директивного стиля руководства.

Интересно, на чем же Смирнов едет, как говорится? 18 хозяйств района из 20 на протяжении, может быть, двадцати лет ни разу не выполнили планов, Смирнов — выполняет.

Едем. Сбоку поглядываю на него. Все в нем что-то означает: и брови, как бы приветно вскинутые, да так и оставшиеся, и его рассуждения, его оценки. Практика «Дружбы» мне уже представлялась чрезвычайно важной для выявления потенциала Нечерноземья, я был само внимание. «Государственный человек». Но что означает это по отношению к рядовому труженику? Имеется в виду, конечно же, человек, способный к самоуправлению во имя высокой цели. Человек с особым чувством ответственности. Но как они складываются, как вырастают такие? Крестьянина-единициника отличала как раз способность к внутреннему самоуправлению, он просто-таки не мог позволить себе работать плохо, потому что был бы разорен. Сейчас же очень уж много работников, которые выстраивают себя в зависимости от того, как к ним

люди относятся: если начальство плохое, я могу и кое-как работать, в коллективе спроса нет, я и распуститься могу. А вот Артемьев, думаю я, не распустится в любой обстановке, хотя перед строчкой и спасовал. И Николай Смирнов не распустится. На чем их способность к внутреннему самоуправлению зиждется?

Георгий Александрович молчком вырывается с гребня в ложину. Жду его слов, а мысли бегут. Мы больше говорим о воспитании коллектива и забыли, что коллектив возможен только там, где есть личность.

— С детства все ведется, — слышу я под мягкий шум машины напевный голос. — Тем, которым сейчас сорок пять, им в войну было десять, они у репродукторов торчали, сводки с фронта слушали вместе с матерями. С семьи все ведется! У этих мужиков порядливость внутрь с малых лет вошла. Раньше в каждом доме корова была, дети с малых лет заботы по дому знали. Мальчишки по сено, по дрова с отцом, с братьями, колка-пилака, девчонки возле материнной юбки да подоюника, все вместе, все с родителями... Вот так вбираются ценности человеческие! Вот это мы поддерживаем! Вместе со школой тянем в одной упряжке. А как человек ее почувствует, ценность человеческую, он уже не позволит себе... наплевательски жить.

На лице затеплилась улыбка, повернувшись ко мне, он сказал, что если я хочу посмотреть, как сейчас, в наше время, сохраняются и форсируются ценности человеческие, то мне нужно побывать в Меженинке, там лучшая бригада колхоза — надой 4500 литров, причем в условиях примитивнейших, и урожай под 30 центнеров. Вот там я как раз и увижу, как порядливость в человека с детских лет входит.

— Радует меня Меженинка, просто радует! — воскликнул он.

— А что печалит?

— Что печалит-беспокоит? — переспросил он. В голосе его послышались грустные нотки. — А то, что сейчас заводятся люди, которым все безразлично, что нарастает количество людей, которым, как говорится, все до лампочки. А в такой обстановке с дисциплиной трудно. Дисциплина, это такая штука — чуть распустишь, потом плохо будет. А распустили не чуть-чуть. Сейчас только и слышишь: «Крепить трудовую дисциплину!», «Объявим непримиримую борьбу!», «Поставим заслон!», «Усилим контроль!». И все требуют ужесточения законов. Но по отношению к кому? К исполнителям! К рядовым. К трактористам, дояркам, слесарям, шоферам. В основном-то. И все говорят о несбалансированности двух категорий — убеждения и принуждения. Убеждение вот такое, — бросив баранку, он широко развел руки, — а принуждение с мизинец... Дескать, мы говорим, говорим, говорим, а в результате болтовня — давайте ужесточаться! А то, говорят, сейчас у руководителей ничего, кроме языка, нет. Ерунда какая! На его стороне, руководителя, считайте, добровольные народные дружины, товарищеский суд, женсоветы, постоянные комиссии по борьбе с пьянством, милиция, народный суд, прокуратура, партийные комиссии райкома, все с правами. Что еще надо? Каких еще прав?

Я начинал понимать, к чему он клонит. В памяти моей всплыл случай недавний. Некое должностное лицо в колхозе, где по вине залившего скотника пало 20 телят, обязано было произвести вскрытие трупов, установить причину гибели и составить акт, но почему-то не сделало этого. Другое должностное лицо районного значения, облеченное юридическими правами, должно было выехать на место происшествия и на основании первого акта составить другой, который послужил бы материалом для привлечения виновного к ответственности. Но это лицо почему-то не поехало в колхоз. Увели теляток на скотное кладбище и зарыли. На этом все и кончилось. Я заинтересовался, почему согласно закону не заставили возместить ущерб. Из ответов выходило, что спрашивать-то и не с кого, потому что от этого человека вроде отсутствовали: пил и будет пить и заменить все равно некем.

— Нет же никаких возможностей определить, нужны ли новые законы, если действующие используются не в полную меру, — сказал я.

— Ах-ха! — вздохнул Смирнов. — Правильно! Каждый случай правонарушения — это ведь хлопоты, хлопоты: надо бумагу составить, надо куда-то ехать, от стула отрываться, надо характер показать, мысль напрягать, а сейчас... Я вам говорю, какого народа сейчас прибавляется. Трактористы и доярки не первоисточник настроения «все до лампочки». Они, знаете ли... как это сказать... это часть пострадавшая. Вы посмотрите, как в жизни складывается. Вот появилось правительственное решение. Деньги, материальные средства под него выделяются. Душа радуется — все в нашу пользу, крылья вырастают. Но решение надо обратить в дело. И вот тут преграды всякие воз-

никают, подводные и наземные камни появляются. Вот — жилье. Главная беда Нечерноземья — малолюдье. Нашему Оленинскому району недостает для выполнения планов тысячи ста человек. С планами справляются только два хозяйства — где рабочей силы достаточно. А в отдаленных районах, в Торопецком и Лесном, есть колхозы, куда ездят доить коров женщины из райцентра. Людской отток можно было бы ослабить, если бы строилось много жилья. У нас только и слышишь от каждого: «Жилье, жилье, жилье! Дайте нам жилье!» А жилья строится мало. Средств отпускается мало. Планируется мало. А то, что планируется, выполняется примерно на две трети.

Я знал это. Я знал, что, когда в район из области спускается окончательно сверстанная программа, то в ней жилье и соцкультбыт уже обязательно потеснены. У меня были цифры. В 1979-м подрядчики сдали по области только 35 тысяч квадратных метров из 64 тысяч. То же примерно было и в 1980 году. Задолженность накапливается. Жилья нет — нет народа — планы по молоку, мясу, зерну не выполняются, цепь действует!

— А в чем дело? — спросил я.

— А в том, что строителям невыгодно с жильем возиться. Они охотно берутся за коровники, гаражи, которые строятся способом монтажа, и уваливают от жилья. Оно более трудоемко, много отделочных работ. И качество! Если что-то сделано плохо, корова не скажет. Все грехи строителей спрячут отделочники. А в жилье брак спрятать труднее. Монтажные работы — это максимум заработка и минимум внимания, готовые детали собрать проще, чем все делать на месте. Короче говоря, строителями руководят интересы кармана! Надо в корне перестраивать порядок формирования фондов заработной платы строителей. Фонд этот устанавливается, по сути, единый — примерно двадцать четыре процента от стоимости строительно-монтажных работ, будь хоть коровий комплекс, хоть деревянный дом. Но в коровнике в дело идут металлоемкие и бетонноемкие громоздкие конструкции. Общая стоимость объекта получается высокой, и потому эти двадцать четыре процента зарплаты весят будь здоров, фонд зарплаты складывается большой. Каркас такого коровника бригада из пяти человек может собрать за две недели, а жилой дом будет строить два — два с половиной месяца...

Он, видимо, волновался, все поднимал и поднимал голос.

— Вот вы и судите, что такое «до лампочки». Оно ведь глубоко забралось. Строителям, получается, наплевать на то, что народ из Нечерноземья убывает, что огромный регион никак не выберется из разряда потребляющих, сами себя прокормить не можем. И на то наплевать, что комплексы, которые они форсируют, при малолюдье малозффективны, что государственные средства не срабатывают, что... Да что говорить! И все это ради карманных интересов. А главное... неужели никто не видит, то принцип формирования фонда заработной платы по весу, по объему никуда не годен? В Комитете по труду и заработной плате разве не понимают, что происходит? Понимают. Мы тут негодуем, визгу, но наше... до них не доходит!

— Значит, плохо негодуете, — сказал я. — Надо в Москву писать.

— Ну, это вообще-то правильно, — согласился Смирнов.

— Надо докопаться до истоков этого настроения — «все до лампочки».

— Да они ясны. Если говорить о рядовых. — Смирнов глянул колюче. — Очень уж часто бесхозяйственно используются материальные ресурсы, природные, людские! И понятно почему. Потому что не отрегулированы экономические взаимоотношения. Вот хотя бы эти — между колхозами-производителями и нашими обеспечителями. Мы вроде бы главные, но... Обстановка-то какая? Спрос превышает даже то, что они должны дать по плану. Вот, скажем, району должны поставить пятьдесят срубков, это мало, дай восемьдесят — как говорится, с руками оторвут. А делают сорок. Надо бы к поставщику санкции применить, но нам не дано такого права.

— И что же?

— А то, что это называется обстановкой дефицита... И вот мы уже превратились в просителя. А поставщик стал хозяином положения, он и казнит, он и милует. А им до лампочки, как мы сработали, потому что оплата их труда никак не связана с результатами нашей работы, плохо или хорошо мы в году сработали, они свое получают сполна, да еще и премии заработают. Ну и команды... Они ведь все еще поступают. А от всего этого страдает дело. А дело-то ведь в руках рядовых. От всевозможных неурядиц исполнитель не может работать так, как хотел бы. То не подвезли вовремя, то не то качество; мотор из капремонта привезли, а его тут же перебирать

надо — и спросить не с кого. А это все бьет по достоинству человека и работягу на халтуру подталкивает. А тут еще ему заплатят за гектары — не за урожай, а за то, сколько он колесом накрутил. Получает человек от общества много, но, как ни странно, у него от этого не усиливается ощущение себя сохозяином общества. Экономические стимулы не те, система оплаты устарела. Худо ли, хорошо ли идут дела в колхозе, в коллективе твоей бригады, растет или не растет урожай — на его кармане это никак не отразится, он свое получит. А уж в Нечерноземье благополучие крестьянина никак не связано с ходом дел в его хозяйстве.

— Почему? — удивился я.

— Потому что в других местах добрый работник получит доплату, если коллектив хорошо работает. Но премии только там, где планы перевыполняются. А в Нечерноземье не выполняются, связь нарушена, сердце за хозяйство не болит. Дисциплина — это не налево кругом марш, а прежде всего ощущение себя хозяином!

— Ну а если говорить не о рядовых?

— Да они не взяты в строгие рамки экономических законов. И ответственности за нарушения договоров, за срыв планов никакой. Вот где надо ужесточать. — Он снова винтился колюче в мои глаза. — Почему вы, писатели, не ставите вопрос именно так?!

Что-то заставило меня глянуть в поле. По пологому холму под низким серым небом, из которого вот-вот должен был посыпаться дождь, катил трактор. Это Артемьев ехал на девятое поле. Сегодня он там будет культивировать, а завтра сеять рожь, зная, что она все равно погибнет. И послал его туда мой собеседник, так решительно вспарывающий действительность. «Мудреный, ох мудреный мужичок, — подумал я. — Тебе-то самому не до лампочки ли кое-что, не поселяется ли у тебя это настроение — чтобы восстать против строчки, надо ведь и мысль напрягать и характер показать, испытания принять?» Вспомнилась мне одна ситуация двадцатилетней давности в Омской области, во времена расцвета так называемой пропадной системы земледелия, когда плодотворная почвозащитная система Мальцева с паровым полем в центре, только начавшая пробивать дорогу, находилась в осуждении. Так вот в те времена директор совхоза «Нижеиртышский» К. А. Хорошун держал паров процентов так 15, хотя и 3 считалось преступлением, а в сводке против строчки «пар» делал прочерк. Кукурузы он сеял вполтину меньше, чем повелевала строчка, занимал землю опальным овсом, но силоса закладывал сколько требовалось — за счет высокого урожая. И зерновых с гектара он получал по 16 центнеров при 8 областных. Он, как и Смирнов, был бессменным членом бюро райкома партии, но вот пошел на сделку с совестью и ради дела даже посылал в район фиктивные сводки.

А что же Смирнов? Вот ему случай повлиять не на «кое-что», а на весьма существенное. Почему же не может он пойти против строчки? Тоже пообмялся, пообколотился? Характера не хватает? Натура слаба?

Машина обогнула скотные дворы и остановилась возле штабелей из зеленовато-коричневой массы. Их было 8, высотой этак в рост человека.

— Наша фабрика удобрений, — сообщил Георгий Александрович. — Земли у нас небогатые, стараемся, чтобы ни один килограмм навоза не пропал, готовим торфо-навозные компосты.

Оказалось, что ни одно хозяйство района не вносит столько местных удобрений, сколько «Дружба».

Потом он подрулил к деревянному строению, похожему на ангар, это был склад минеральных удобрений. Их там было порядочно, явно с запасцем. Хотя удобрений дают еще немного, но не все хозяйства выбирают их своевременно, а Смирнов, оказалось, имеет на станции своего человека — и как только у кого-то выходит срок хранения, так их отдают ему.

— Все на законных основаниях, — слышу я голос Смирнова.

Дождик уже идет вовсю, но на спидометре семьдесят — под колесами асфальт.

— Другие страдают от бездорожья, а нам подвезло, государственного значения шоссе рядом идет, а мы к нему привязались, средств и сил на дороги не жалеем. Зато все у нас ко времени подвезено, доставлено и чувства такого нет, что мы отрезаны от большого мира, душа ни у кого не волнуется.

Они тут, как видно, сложа руки не сидят. Значит, не обколотился и не обмялся Смирнов. Видимо, по натуре он четкий исполнитель и, будучи членом бюро райкома,

не может воспользоваться способом Хорошуна. Но я подумал о колхозниках. Если человек в течение двадцати пяти лет видит, как на его глазах гибнет рожь, которую он сеет, понимает, что, выполняя эту работу, пустым делом занимается, так он ведь действительно рукой махнет — пусть оно катится как катилось — и сам халтурить начнет. Понимаю, что такие, как старый тракторист Артемьев, как однофамилец председателя Михаил Смирнов, вобравшие в себя ценности человеческие, халтурить не будут, что бы на них ни давило. И таких в «Дружбе» много, в этом сила коллектива, и моя задача — понять, как они крепят и приумножают ценность человеческую. Сам Смирнов — образец ответственности. В четыре утра он уже на ногах.

Я слышал, он приучает каждого говорить все, что думает, как о нем самом, так и друг о друге, о недостатках-неполадках, и это приносит людям ощущение своей значимости, приучает их мыслить, а вслед и поступать по-хозяйски.

Глаза Георгия Александровича влажно-мягко светятся.

— Не это главное. В недрах экономики, в условиях производства должна создаваться личность. В семье она закладывается, а тут формируется, гранится. Человек тогда чувствует себя человеком, когда он может повлиять на что-то. Ну хотя бы хорошей работой. Его работу нельзя разжигать халтурой, бестолковыми распоряжениями, неурядицы обесценивают человека. Вот хотя бы оплата трактористам. Платить надо не за гектары, а с урожая. Безнарядные бригады, звенья нужны с оплатой за конечный результат. Тут человек сам соображает, как пахать, как сеять, смотрит за товарищем, как тот работает, если что, всегда ему замечание сделает, потому что деньги они из общего котла получают.

— Да,— подхватил я,— человек тут проявляется, личностью себя чувствует, ценность свою чувствует. Прекрасная организация!

— Была у нас эта прекрасная организация. Была. А вот... Мы почти десять лет подряд были прибыльными, а теперь второй год убыточные.

— А что случилось?

Ответил он после длительного молчания. Оказывается, у них с 1971 по 1977 год действовала безнарядная система. Было четыре звена: зерновое, по кормовым культурам, корнеплодам и по льну. Это был период наивысших урожаев, надоев, прибылей. Каждая коровушка давала по 3500 килограммов молока. То был период и наивысших заработков, многим приходилось в конце года по две тысячи рублей доплаты за сверхплановую продукцию. А потом показатели сели, надой снизился до 2300 килограммов.

— А что случилось все же?

— От безнарядки пришлось отказаться, потому и вниз поехали. И еще потому, что коровий комплекс построили, скота прибавилось, а кормовая база — в старых рамках, не успели расширить.

— А почему не успели?

— Медиаторы запоздали. Их планы не скорректированы с планами строителей... И еще лен стал убыточным.

— Почему?

— Ну, это самое болезненное.

— А от безнарядки-то почему все же отказались?

— А вот вы вникните.— Он помаргивал, глядел требовательно.— Не одни мы такие хорошие.

Обещая вникнуть и разобраться. Георгий Александрович говорит, что если не связывать личный интерес с конечным результатом (сейчас это всем ясно), то сегодня на успех рассчитывать трудно, и они долго искали, чем заменить безнарядку, и кое-что нашли. Объединили они механизаторов в отряд и договорились, что 20 процентов от реализации сверхплановой продукции будет распределяться между ними как дополнительная оплата. Это похуже безнарядки, потому что доплата-то делится пропорционально основному заработку, который зависит по-прежнему от ежедневной выработки в гектарах, но все же ответственность за урожай повышается — 20 процентов, они ведь и мянют и дисциплинируют. Чтобы сдерживать любителей гектаров, усовершенствовали систему контроля. Каждому выдана книжка с пятью талонами. За каждую провинность вырывается талон: допустишь брак — четвертый, перерасходовал горючее — третий, совершил прогул — первый и т. д. И за каждый талон — соответствующее взыскание. Оставшийся без всех талонов полностью лишается дополнительной оплаты. Важно очень, что предусмотрены меры коллективной ответ-

ственности. К примеру, если без четвертого талона останется четыре или более механизаторов, лишаются этого талона все члены бригады.

Я вспомнил старика Артемьева, как он восстал, натолкнувшись на плохую обработку, и подумал, что их затея очень даже неплоха.

Но я вспомнил и о том человеке, который плохо вспахал, Бызьевым, кажется, назвал его старик. Что эти меры для «понаехавших», для этих перекасти-поле, для неприживчивых, среди которых есть и лентяи, отучившиеся работать и потому отупевшие, и пьяницы. С ними-то что? Их-то как они тут в люди выводят? Есть ли успехи?

— Да выводим... У нас и своих пьяниц хватает... Выводим. И приезжих и своих. И срывы есть. Не без того. Но выводим.

Он сказал, что у них в Никитине есть улица вся из новеньких коттеджиков, где живут бывшие пьянчуги, теперь добрые работники.

— Улица Лечебная! — Он засмеялся.

Герой декады Михаил Смирнов был темный шатен с волосами внаброс, лет со рока пяти, с большим улыбочивым ртом, с губами, по складу похожими на масть бубен, и с маленькой щелочкой посредине словно бы от восторженности. Впечатление оставалось такое, что, сбросив огромную тяжесть, он не может наликоваться-нарадоваться. И я не ошибся, он, как выразился Георгий Александрович, напивался вусмерть, но с помощью коллектива очеловечился и второй год подряд держит в районе первенство на уборке.

Заночевал я у Георгия Александровича. Он ездил в райцентр, вернулся поздно, и мы не смогли поговорить обстоятельно. Только посоветовал мне поехать завтра в Меженинку — уж коли я хочу посмотреть, как поднимаются ценности человеческие, то начинать надо с Меженинки. Он похвалил тамошнего бригадира Валентину Барсукову, из которой «все и проистекает», назвал ее духом Меженинки и сказал, что вот у них-то как раз и можно посмотреть, как надо поднимать ценность человеческую. Искать же Барсукову, добавил он, улыбнувшись, можно по красной нейлоновой куртке; она целый день на людях, в этом одеянии видна на холмах далеко и как бы оповещает всех в ней нуждающихся: я здесь! Она неутомима, иной день раздевается только перед сном и куртку кладет на стул у изголовья. Георгий Александрович еще посоветовал мне приглядеться к семье молодой вдовы Валентины Звонаревой. Была она самой лучшей дояркой в районе, 5 тысяч литров от коровы имела; оставшись без мужа, стала работать еще старательнее и строго блюла своих детей, жила затворницей: ферма, дом и дети — вот и вся ее жизнь. Блюла, да вот, получается, не соблюла... Георгий Александрович, уже задремывая за столом (он каждый день встает в четыре утра), рассказал мне с пятого на десятое историю, из-за которой семья Звонаревых попала в деревне на язык...

ДУХ МЕЖЕНИНКИ

На следующий день ранним утром я сошел с машины в Меженинке возле крайнего дома. Что-то в его облике зацепило меня за душу. Дико забурьянелый сад, кирпичи на крыше, с трубы свалившиеся.

В просторной чистой горнице, которую перегораживал валявшийся посудный шкаф без верха, на широкой кровати лежал толстый рыхлый старик. Он был укрыт по грудь старым стеганым одеялом, из-под другого края которого торчали ноги в подшитых валенках. Выпуклые глаза старика глядели незряче. Я застыл, пораженный его лицом: мертво закрытые бельмами глаза и выражение торжественной смиренности, тихого согласия с миром. Откуда-то доносился ширкающий нудный звук, кажется, пилили старой ножовкой фанеру.

— Это ты, Никола? — спросил старик еле слышно.

Я назвал себя, объяснил, зачем приехал. В переднем углу на тумбочке я увидел шапку, серую ушанку, из тех, что носились в годы войны солдатами, маломерку, вроде бы с детской головы. Кто-то вошел в комнату. Обернувшись, я увидел сухонькую старую женщину с узелком в руках. Лицо ее выглядело возбужденным.

— Вот, гляньте, люди добрые, змей работать взялся! — Голос ее взыграл. — Шкап-то говорю, он тебе угрожает. Гони ты его, Семен!

— Пусть жи-иве-ет! — безголосо выпихнул изо рта старик. Лицо его стало еще спокойнее и умиротворенней. — Мальый бы-ыл не-еплохой.

— Да это когда было! — вознесла голос женщина и запросто, как к давнему зна-

кому, обратилась ко мне: — Семен его по голосу признал, говорит, будто он пареньком был в нашей деревне. А я зрячая не признала, такой явивши! — Развязав узелок, она принялась кормить старика кашей из стеклянной банки. — Вон идет, змей!

Появился мужчина лет пятидесяти, поразивший меня контрастами в облике. Болезненно-желтое лицо и воспаленно-блестящие карие, навывкате глаза. Он был широкоплеч, но тощ и как бы слегка скручен, побрит с месяц назад, и клинья глубоких залысин на черноволосой голове виднелись отчетливо. Он был, видимо, сильно побит жизнью. Кивнув мне коротко, но с робкой приглядкой, мужчина поставил фанерный лист, с которым вошел, приподняв на уровне пояса левую руку, и, сделавшись похожим на театрального лебедя, направился к тумбочке. Он достал из шапки вчетверо сложенную бумагу и доверчиво протянул мне. Не знаю, за кого он меня принял.

Бумага удостоверяла, что Самсонов Николай Григорьевич, работая в школе преподавателем труда, проявил хорошее знание дела и организаторские способности. Но это был документ двадцатипятилетней давности. Он подал еще медицинскую справку, разрешающую ему физический труд, не связанный с механизмами, и вдруг с некоторой торжественностью неожиданно для меня протянул шапку-маломерку.

— Сын полка я!

В нем было доверчивое простодушие ребенка, трогательное и беспомощное, но что-то и еще. Наши взгляды сошлись, и я увидел, что из его воспаленно-блестящих глаз глядит кто-то другой, сжавшийся и без надежд. А этот, с вещественным доказательством в виде шапки, тоже цепляющийся за жизнь, поддерживал того, протягивал, совал мне шапку. Все это нисколько не было смешным, даже фигура лебедя. Он был медлителен, ему надо было собрать хоть капли достоинства. Я не мог расспрашивать его о чем-то, я был в замешательстве. Боевое, романтическое, трогательно-волнующее прошлое и этог...

Мужчина принялся укладывать фанерную заготовку на место. Движения его были старательны, но неуверенны.

— Ишь, оголодавши по работе. Не стучись-ка! — подняла голос старуха, когда он взял молоток и гвозди. — Не видишь, кормлю человека... Вчерась один лист уже извел! Мужчину послушно положил молоток и подошел к старику.

— Я, дядя Сеня, пойду бурьян на огороде выкошу, пусть соседи кролям заберут. Проскрипела дверь, и появилась женщина лет сорока, в нейлоновой куртке красного цвета. Круглолица, миловидна, лицо ветрами обдуютое, дождями сеченное, солнцем каленное, глаза мягко блестят. Приветливо поздоровавшись, женщина обратилась к Самсонову.

— Ты, Григорыч, вчера хорошо поработал, все соскреб чисто, доярки довольные, просят, чтобы ты остался... Так что уж прошу тебя... Ты позавтракал?

— Вон кашу я ему принесла, — подала голос старуха. — Иди ешь на кухню!

Самсонов послушно ушел, и старуха закрыла за ним дверь.

— Кто он есть-то? А? Валентина?

Куртка красная. Валентиной зовут. Значит, Барсукова, бригадирша здешняя, распорядительница, дух Меженинки.

— Разрешено ему работать, даже рекомендуется физическая работа. — Барсукова со спокойным любопытством оглядела полуразобранный шкаф.

— Другой день возится, развалил, а толку нет... Председатель-то знает хоть, кого ты приютила? — спросила старуха.

— Он что, действительно сын полка? — спросил я с надеждой в голосе, и Барсукова приподняла брови чуть изумленно.

— Вы разве не знаете, сколько сирот война в наших местах оставила?.. Ты шкаф-то когда закончишь? — простодушно спросила она появившегося в дверях Самсонова.

— Весь разошедший шкаф. — Самсонов приподнял до уровня пояса ладонь, выгладел рачительным хозяином. — Перебирать шкаф надо... Мне вот все делать что-нибудь надо. Особенно я ночью один не могу. Я сейчас каждую ночь работаю.

— Ну хорошо, Григорыч. Ты, пожалуй, иди на ферму. — Барсукова одарила Самсонова доброй улыбкой уже в спину, он не видел, а мне стало хорошо.

Самсонов ушел.

Кто он, этот Самсонов? Недоумок? Возможно, его преждевременно выпустили на люди и бог знает что из этого выйдет. Но вот он среди людей! Еще не успел побывать в сельсовете, а Барсукова увела его на ферму. Я понимал ее. Он не пошел

побираться, для нее он был слабый и беспомощный, этого ей было достаточно, и она, здешняя хозяйка, полагаясь на женское чутье, на свое сердце, преступила какие-то формальные моменты, распорядилась сама.

— Неуж не видишь, Валентина, находит на него?! Ты жалеи, да знаи кого. Порешит он дом. Ставь его на другую квартиру, не нужен он тут!

— Оста-авьте-е вы его-о в по-окое! — вышентал старик. — Пусть со мной живе-ет!

Я подошел к окну, чтобы глянуть на Самсонова, он стоял на припеке с лопатой на плече. Мне нужно было посмотреть в его глаза, чтобы еще раз увидеть того, второго, которому уже казалось, что страдания мало что могут изменить, и глазами же сказать, что он ошибается, что он обладает сильным правом — правом беспомощного. Душа моя наполнялась гордостью, вряд ли где еще, думал я, кроме отечества нашего, вокруг человека со столь ничтожными шансами стать полезным разыгралось бы столько добрых чувств.

Мы с Барсуковой вышли.

У перекрестка, на небольшом пригорке, где стоял сургучного цвета дом Звонаревых и где Барсукову поджидали женщины преклонных лет с лошадьи, запряженной в телегу, я заметил, что Валентина Михайловна во многом схожа с председателем колхоза — тот же певучий голос, то же не сходящее с лица выражение внимания и участия.

Оставшись один и думая, что у них в колхозе все же особый мир, я поднялся по глубоко выбитой песчаной тропинке к дому Звонаревых и оказался возле огорода.

После смерти Виктора Звонарева в деревне узнали, что матери его житья стало несладко (это рассказал мне Георгий Александрович) — питается вот отдельно, варит свой чугунок и садится есть, сиротина, не за общий стол, а в углу на кухне. Как-то она занемогла и уже готовилась к смерти, но — скандал на всю округу! — помирать ушла к соседям и там рассказала такое, что семья Звонаревых и попала в деревне на язык. «Вовсе не ходили за мной, бросили, как сучонку». Приехала из райисполкома комиссия, и после нее в деревне поверили даже и в то, что будто Вовка, сын Валентины, плеснул бабке в лицо, когда она, совсем беспомощная, попросила у него попить.

Однако старуха не умерла. Приехал племянник, был у него разговор со Звонаревыми и с теткой, и она вернулась в семью.

Контактов с Валентиной Звонаревой у меня не получилось. Коренстая, очень плотная, битенья этаклий, женщина лет тридцати пяти, с розовым лицом, стояла над рядом картофеля в черной трикотажной спортивной паре и резиновых сапогах и настороженно взглядывала на меня. Две старухи, перебивавшие картофель, сдержанно отозвались на мое «здравствуйте» и, продолжая работать, прислушивались к нашему разговору. Одна круглолицая, с выражением подчеркнутого терпения, у другой властное узкое лицо, ходовые такие, словно расшевеленные частой сменой настроения морщины.

Я не сумел скрыть выведывающего настроения, возможно, оно светилось против воли в моих глазах, и Звонарева ко мне не расположилась. Я сказал, что восхищен результатами фермы и самой Валентины Андреевны, но и подивился: что это за распорядок на ферме — в два часа ночи начинается дойка, тяжело ведь. Звонарева в ответ сердито сказала, что ходит к двум часам ночи на ферму с шестнадцати лет и не знает, тяжело это или легко, потому что по-другому не работала. Заметив, что я смотрю на нее все же сочувственно, сказала уже раздраженно, что если она рано отработается, то вторая половина дня свободна, скотина ведь, огород.

Старуха с властным лицом перешла на соседний рядок. Я решил, что это и есть взбунтовавшаяся свекровка, и направился к ней. Поздоровался. Разговариваем.

Когда вернулся к Валентине, она отвечала односложно и нехотя и имела вид человека оскорбленного.

Меженинка всегда, сказал мне Смирнов, даже в летнюю пору, отходила ко сну в десятом часу, доярки здесь ходят на ферму к двум ночи (будильник я завел, чтобы посмотреть их ночную маету), и в душе моей поднимался протест против уклада этой деревни. Но за Меженинкой были почти все рекорды: 27 центнеров зерна с гектара (уровень, который не снижали десять лет), 4500 килограммов молока от ко-

ровы — и то и другое почти в два раза больше средних показателей. Это лучшая бригада лучшего колхоза района! Успехи ее, в моем понимании, должны связываться с каким-то прочным нравственным фундаментом.

ИСТОРИИ НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ

Улица воспрянувших полна назидательных историй.

Я сижу на бревнышках возле строящегося застекленного, но еще в лесах котеджика, украдкой рассматриваю лицо Сергея Мацулова, парня лет двадцати, одного из заблудших, «кандидата в алкоголики», который сосет папиросу на соседнем бревне. Улица еще только прорисовывается — шесть домиков заселены, четыре в лесах и еще три в фазе фундамента.

Первый дом был построен для экскаваторщика Толика Тужеленкова, который в двадцать четыре года лечился от алкоголизма. Заложили для него дом, и было ему сказано: «Вот для тебя, Толик, дом, от водки отстанешь — получишь». Толик продолжал пить, но при очередном уточнении списков на жилье ему напомнили: «Тебя дом ждет». Пока Толик лечился, дом стоял пустой, его дожидался. Это трогательное терпение, видимо, и в Толике расшевелило живущее в каждом желание чего-нибудь постоянного, семьи, дома, и парень бросил пить и женился. Я вижу на окнах его дома (он крайний к выгону) занавески-бабочки, поленицу мелко колотых дров на просушке, зелень молодого садочка, цветистые детские платяца, маечки и трусы на веревке. Во всем чувствуются рука женская и рука мужская.

Такую же целительную роль сыграл дом (правда, он был построен на другом краю села) в судьбе Виктора Мацулова, старшего брата этого парня, что курит вблизи меня. На счету Виктора разбитая машина, затяжные прогулы, участие в потасовках и что-то еще. Сейчас, сообщает мне Георгий Александрович, семья, дети, нормальная жизнь.

Дом, возле которого мы сидим, предназначался Сергею. Перед уходом в армию он утопил по пьянке грузовик, месяцем раньше своротил в соседней деревне трактором телеграфный столб. Георгий Александрович писал Сергею в армию письма содержания нравоучительного, но отечески теплые, когда же парень вернулся, показал фундамент его будущего дома и обещал новый трактор — только работай как следует!

Парень от всех этих забот помягчел, трудился старательно, но в одну из пятниц был приглашен на свадьбу и в понедельник не вышел на работу. Днем Георгий Александрович увидел его трактор посреди дороги, открыл дверцу — и под ноги ему вывалился трупно-пьяный Серега, а на следующий день прибыл обещанный ему трактор. Было это вот только что, перед моим приездом.

Сидим, покуриваем. В кустах орешника, радуясь солнечному дню, пилит на звуке «си» какая-то птичка. Черноволосые коричневатые люди на лесах постукивают конопатками, Георгий Александрович юрко лазают меж треногами настила, и толстый человек шоколадного цвета, по-видимому армянин, едва поспевает за ним. Они останавливаются шагах в трех от меня. Армянин сердится: бригада в простое, кончился цемент; его должны были привезти вчера. И шифер кончился. Занимались вот конопаткой по второму разу. Георгий Александрович говорит, что человек, которого он позавчера отправил в город за цементом и шифером, сегодня утром позвонил ему на квартиру и сообщил, что через час выезжает.

Я приглядываюсь к Сергею. Трудно понять, что означает выражение его лица. Это как бы лик душевной пустоты и выставленного напоказ доброго, простодушного сердца, нагловатая полуулыбка добряка, наивные сероватые глаза. В них грусть, тоска, тощича, только далеко — поверху-то налет молодечества. Он, думаю я, все же личность, вино еще не успело вытравить его окончательно.

Георгий Александрович отряхивает руки и садится рядом с Серегой колено к колену.

Однако надо рассказать, как мы сюда попали, все по порядку. Я попросил Георгия Александровича побывать на улице воспрянувших вместе со мной при первой возможности, а у него как раз было дело к наемной бригаде строителей, там работавшей, и мы поехали. Но только двинулись, Георгий Александрович вдруг с живостью вскинул брови.

— А давайте-ка одно сражение посмотрим.— Он глянул на часы.— Сейчас как раз самый разгар.

Главным лицом в сражении был, оказывается, Толик Тужеленков. Вчера вечером

колхозу подбросили восемь самосвалов, и Георгий Александрович решил использовать их до обеда на выброске перегноя. К нему вдруг пришел Тужеленков и сказал, что попробует управиться один, хотя месяцем раньше примерно в такой же ситуации при семи самосвалах работало два экскаватора. Был Толик парнем толковым, умелым, ему давалось все — и тракторы, и бульдозеры, и экскаватор. Спившись, он себя потерял, от техники его отстранили, но после лечения как работник быстро восстановился и прямо-таки с жадностью брался за все. И Георгий Александрович принял его предложение, дал Толику согласие. Разговор происходил при шоферах, они запрестовали — приехали ведь работать — и потребовали выделить второй экскаватор. Однако Толик успокоил их, заверил, что не подведет, а Георгий Александрович наполедок пошутил: еще поглядим, кто кого!

Возле огромной, с двухэтажный дом, груды перегноя на задах фермы в Никитине и впрямь шло сражение. Когда мы подъехали, один самосвал стоял под ковшом, второй на наших глазах подлетел и стал в очередь; Толик вроде бы проигрывал. Но работал он артистически. Железная морда ковша подбиралась под основание груды перегноя быстро, но аккуратно, свирепо впивалась в рыхлую массу, стремительно ползла вверх и, уже забитая до отказа, не плыла к кузову машины, а летела. Экскаватор подавался вперед, как в тоннель, но ему надо было еще и огребаться вправо и влево.

Георгий Александрович оголил на руке часы.

— Двадцать секунд ковш! Минута — и машина.

Он поднял руку, чтобы увидел Толик, выкинул растопыренные пальцы обеих рук, еще раз выкинул — это означало: на ковш уходит двадцать секунд; выкинул три пальца, поднял руку и резко отбросил в сторону — объяснил: надо сбрасывать три секунды. За стеклом кабины видно лицо Толика, блондин, здоровяк такой, он кивнул: дескать, понял! И ковш, смотрю я, огребаясь, разворачивается стремительнее, раскрывается еще на подлете, над кабиной.

— Семнадцать! — Георгий Александрович, радуясь, как ребенок, показывает Толику большой палец и кричит мне: — Какая реакция у человека!

А Толик побеждал. Наступил момент, когда ковш несколько секунд висел в воздухе, поджидая самосвал, и руки Георгия Александровича сложились под животом. Это были тихие эмоции. Он любовался мастерской работой, засмотрелся, а я с завистью глядел в лицо этого человека, в котором словно бы жил счастливый добрый ребенок. Седые волосы понизу загоревшей коричневой головы, черные брови, вскинутые в восхищении кверху, да так и застывшие. Он соединил ладони перед лицом, откинул руку. Это было просьбой открыть кабину.

Толик высунулся. Это был блондин с правильными чертами лица, красивый, сильный парень. Спокойные голубые глаза.

— Ну как?

— Нормально! — крикнул Толик и захлопнул кабину: подсказывал самосвал.

Вот так я попал на улицу воспрянувших и здесь узнал от Георгия Александровича историю Сереги Мацулова. Новое жилье Сереге, оказывается, не нужно, потому что мать его недавно вышла замуж в соседнюю деревню и колхозный дом, в котором Мацуловы до сих пор жили, опустел. Серега остался в нем хозяином. Но обещанный новый трактор! Сейчас под настойчивое «си» беспечничающей в светлом воздухе птички предстоит объяснение, связанное с последней пьянкой. Будут развешиваться поучительные истории Толика Тужеленкова и Серегиного брата, думаю я и жду. Но Георгий Александрович спрашивает Серегу про какие-то письма от девушки, которые тот когда-то давал ему читать. Что она сейчас пишет? Серега опускает голову, рука Смирнова ложится ему на колено, и так они сидят молча.

— Другая у меня девушка, — сказал наконец Серега. — Та не хочет со мной.

Воцаряется молчание. А птичка заливается, точит и точит на одном звуке. И воздух свеж. И солнце ласково. И комбайны гуркочат на ближнем пригорке.

— Ты что, не хочешь, чтобы тебя кто-то любил?

Серега поднимает голову. В глазах его я вижу другого человека, сжавшегося, теряющего надежды, и мне вспоминается убогий Самсонов. Но секунда — и другой человек исчез, Серега придавил окурок, бросил на землю.

— Ну ладно... — Георгий Александрович встает, опершись о Серегиное плечо. — Если так будешь дальше жить, и эта не захочет. Все от тебя зависит... А насчет нового трактора... бригада будет завтра решать.

Сергея, кивнув, уходит.

— Из пьющей семьи он.— Брови Георгия Александровича чуть вскидываются и загибаются с выражением неиссякаемого терпения.— Страдающая, по существу, личность. А ведь тоже способный! Способный! Отец с матерью на пару пили, втянули Сергея, Виктора. Сергей, понимаете ли, плакал, когда пацаном был,— чтобы не пили, Виктора от матери оторвали, так она за Сергея принялась, любимчиком сделала, приучила. Марья Павловна! Вот уехала, только нам с ним все равно труднее придется, чем с Виктором.

— Почему же? — удивился я.— Прежде против одного непьющего у них было трое.

— Не тот счет. Общая обстановка похужела.

Он сделал губы колечком, легонько отпыхивается, молчит, кажется, изгоняет вместе с воздухом навязчивые мысли. Молчу и я.

— Вы имеете в виду что, Георгий Александрович?

— Очень уж много в повседневности нежелательного появляется. В обычаях... Сам человек, что ли, меняется, тип, по-ученому сказать?

— Ну а что скапливается вокруг младшего, чего не было вокруг старшего?

— Было и вокруг того. Да не в такой концентрации... Поживите, посмотрите, что происходит. Срывов очень много, отягощений не в ту сторону.

Из ближнего проулка выкатил грузовик. Он привлек внимание строителей, и стук конопаток поослаб. Артельщик сошел с лесов. Из кабины на траву выпрыгнул средних лет красавец мужчина, по одежде парень с высоких широт, а по лицу хват из тех, которые умеют торговать мордой не только перед продавщицами дефицитных товаров, а покрупнее.

— Вот пожалуйста! — воскликнул Георгий Александрович, поднимаясь.— По лицу этого человека вижу, что субъектив еще пышнее расцветает.

Приближаясь, красавец мужчина развел руками.

— Двадцать центнеров!

— Да ведь сорок обещали,— недоуменно прошептал Георгий Александрович.—

А шифер?

— Тридцать листов.

— Он что, хохочет? — спросил армянин.

Они отходят в сторону.

— Мы же отправили все, что обещали,— слышу я голос Георгия Александровича.

— Подорожало это дело. Левачок подорожал,— отвечал красавец мужчина.

Ветер доносит их слова, но я не прислушиваюсь. Разговор касается той зоны отношений, в которую у меня нет охоты углубляться. Я сижу, опершись локтями о колени, склонив голову, и невесело ухмыляюсь. Вот они, иллюстрации к разговору о природе безответственности. Уже не один десяток лет строят хозяйства своими силами. Утверждается им план, они развертывают строительство, но получают половину материалов, которые им согласно планам предназначаются. Вторую половину каждый добывает как сумеет. Я считаю не деликатным спрашивать даже у близко знакомых, как, через какие щели они проникают к цементу и гвоздям, попавшим из сферы фондового обращения в свободную, и с чем в руках они туда идут. Я представлял лишь общий ход в обменных операциях «баранина на цемент и гвозди», знал, что материальной доле с годами отводится все большее значение.

Всякому понятно, что это строительство с грехом пополам приводит к безнравственному результату: одни незаконно обогащаются, другие делаются пронырами, становится престижным ловкачество — не сумел вывернуться наизнанку и добить что нужно, значит, ты руководитель несовременный.

Строители принялись разгружать машину, мы с Георгием Александровичем идем в деревню.

— Вот пока эту улицу молодоженов строим,— говорит он,— из моей головы волос повыпадало порядочно. Давит нас субъективный фактор, уж так давит! — Он мило улыбается и помаргивает.— У нас любят все списывать на недостатки планирования — страна огромная, попробуй распредели все точно. У одного излишки цемента образовались, у другого трубы, у третьего леса, вот за счет хозспособа вроде бы, значит, дораспределение происходит, мы выцарапываем кому что надо, кто как сумеет, вроде бы, значит, нивелируем кривые распределения. Но окостенели, что ли, эти

недостатки планирования! Пора бы разобраться и меры принять... Другая причина есть. Вы знаете, что в организациях, ведающих фондами, в министерствах и главках чуть ли не каждый заведующий отделом имеет резерв и он распоряжается им в субъективном порядке? Вот где зарыто! Чиновники-фондодержатели порой искусственно создают дефицит.

РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЬНИЦЕЙ

Думаю о Сергее Мацулове, его «компашечке». Был в его доме, видел застарелую грязь колостяжины: пустые бутылки по углам, замусоленные бычки всюду, даже прижужлькнутые к ножкам стола; давно очерствевшая, разваленная надвое буханка хлеба на подоконнике, ошметок грязи с соломенным усом посреди затоптанного и замусоленного пола.

Что же произошло? Что происходит? Что затянуло парней в грязь? Какие ниточки не протянулись от нас к ним? Или что-то их порвало? Стало мне нехорошо. Думать об этом, думать и думать. Думать, чтобы разобраться.

Видел я во время своих поездок по колхозам Дом культуры, похожий на дворец, торговый центр, радующий обилием стекла, столовую с кружкой пива, которая благодаря доступности расценивается кое-кем как средство, гасящее желание строить за углом. Люди там живут в высоких домах, протянувшихся у шоссе международного класса, и потому им незнакомо чувство оторванности от большого мира, которое, говорят, повергает душу в уныние и пробуждает желание уйти в бутылку. Там рекордные урожаи зерновых и льна, новые условия труда, хорошие деньги, и все-таки там пьют не меньше, чем, скажем, в «Дружбе».

Поглядывая на парней из «компашки» Сергея, я извлек из планшета ученическую тетрадь в желтой корочке с записями, сделанными в этом эталонном хозяйстве области, в колхозе «Мир», и спросил парней, сколько им было лет, когда они первый раз вышли. Парни отвечали, и мы сообща определили, что было им тогда лет по пятнадцать — шестнадцать, и засим я развернул тетрадь. Но Кольцов опередил меня.

— Ну ладно тогда, — как-то по-детски начал он. — Вы нас пытаете, а девчонки ведь тоже пьют. Не верите?

Я молчал. Рука моя, лежавшая на тетради, потяжелела. Парни оживились, называли имена и фамилии.

— И пьют и курят восьмиклассницы, на которых даже не подумаешь, вам назвать их родителей, дак вы уж совсем не поверите.

Я раскрыл тетрадь. В ней были записи, сделанные воспитательницей детского сада в колхозе «Мир» на занятиях, посвященных развитию устной речи, на другой день после праздника. Дети рассказывали, как они провели праздничные дни. Все смотрели по телевизору народные гулянья, некоторые ходили в лес, и все сидели с родителями за праздничным столом. О последнем рассказывали с особым оживлением. Такой крен насторожил воспитателей, они решили выяснить некоторые подробности, и оказалось, что большая часть детей пробовала вино. Ответы были протокольно записаны. Вот они:

«Сережа, 6 лет: «Мне папка водки налил. Вот столько (показал четверть стакана)».

Света, 4 года: «Я чачу пробовала».

Вася, 5 лет: «А я «Слезы Мичурина» пил».

Воспитательница: «А что это такое Вася?»

«А это гнилушка. Из гнилых яблок делают».

Галя, 6 лет: «У нас тоже гнилушка была. Мне тоже дали».

Из 24 детей только 3 пили морс, но при этом чокались с родителями. Наташа Смолкина рассказала, как гонят самогон, что и сколько закладывают в качестве сырья».

Я закрыл тетрадку.

— Да, документик! — Один из парней беспечно, но кислотовато улыбается.

— Помолдело, выходит, это дело!

— От старших все ведется!

— А от кого же еще? Лешка-то, — указал один из «компашки» на атлета-младенца, — мать родную по пьянке чуть не зарубил, дом поджигал, а было время — он из дома убегал, если вино приносили. Лешка, скажи, чего молчишь? Чего он видел-то?

— Одно поколение за другое отвечает или нет? — Это Лешка.

— Вот это уже другой разговор! — отзываются я. — Очень своевременно ставишь вопрос! Ведь и у вас будут дети.

Что же происходит на свете? Осознают ли это они? Я решаю познакомить их еще с одной записью, сделанной в том же детском саду. Вот эта запись от слова до слова:

«Медсестра: «Я родителям, которые выпивают, все время твержу: смотрите, первые дети у вас гораздо развитее, мышленнее, крепче вторых и особенно третьих, у кого есть. Вторые и третьи хуже соображают, хуже усваивают программу, не такие собранные, чаще болеют. Очень нервные. И всем объясняю, отчего это происходит: первого ребенка вы зачали, когда еще ваш организм не был отравлен алкоголем, а к тридцати годам вы им пропитались».

«Как же реагируют родители?»

Медсестра: «Не понимают, что ли. Была в областной газете статья о вреде алкоголизма, но никто не прочитал. Я спросила: вы по телевизору смотрели передачу «Для тех, кто пьет», каких там алкашиков показывают? А мне отвечают: на черта нам смотреть? Те побольше пьют. Нам еще далеко до них».

Сейчас почему-то безответственность нарастает».

Парни слушают молча. Мы расстаемся с таким чувством, что откровенный разговор был полезен обеим сторонам.

...Вдоль рядков, усыпанных желтыми, прячущимися в ботве картофелинами, снуют пестро одетые мальчики и девочки. Школа убирает колхозный картофель. С полными ведрами дети семяток к бурту, согнув ноги в коленях, возвращаются широким шагом. Они серьезные, они само дело. Ни беготни пустой, ни ленивых поз. Картина для подобного рода коллективных работ, надо сказать, необычная. Оказывается, колхоз платит по десять копеек за собранное ведро.

Возле бурта женщина в черном пальто, очках и шляпке и с тетрадькой. Это директор школы Валентина Семеновна Образцова. От нее веет собранностью и воспитанностью. За каждое ведро она ставит крестик.

— Валентина Семеновна, Баукин! Валентина Семеновна, Сорокин!

Иногда она говорит мне такое, что я вскидываю на нее глаза:

— Дети в нашем колхозе хорошие, я могу это твердо сказать. Послушные, прилежные. Я вам больше скажу — желанные дети. Особенно в Меженнике. Потому что там в каждом дворе корова.

Хм, желанные? Хм, такие прямые связи. Желанный значит долгожданный, вожделенный. В каком же смысле она употребила это слово? Я вижу эту женщину впервые, знаю лишь, что родом она из какого-то Репкина, и что в здешней школе она уже двадцать лет, и что половина тех, кто пашет, и сеет, и доит коров на здешней земле, ее ученики. Видимо, думаю я, слову «желанный» она придает тот смысл, какой ему принадлежит в народе, — родной, близкий, способный пожалеть, понять чужую боль. Что ж, ее просторечие объяснимо, она из крестьянской семьи. Но открытые ею столь уж непосредственные связи между достоинствами человека и коровой в хлеву для меня несколько неожиданны.

— Я бывала кое-где и понимаю, что происходит сейчас, — продолжает она ровным голосом спокойного, уравновешенного человека и бесстрастно чиркает крестиком. — Молодые семьи не хотят держать корову и даже поросенка... Сережа, шестидесятое. Ребята, впереди Сережа!.. А в сегодняшней обстановке это крайне отрицательно сказывается на нравственном здоровье деревни.

Вот я снова вскинул на нее глаза.

— Жизнь как-то так поворачивается, что молодые решили, будто быт и уклад их отцов и дедов — это негодный уклад, они грамотнее родителей и им нужно нечто другое. В век техники им зазорно навоз вилами ворочать. В корове и огуречной грядке они увидели врага...

— А что же старшее поколение? — спросил я.

— Оно уже не то... Я Нечерноземье имею в виду. Вы же видите, сколько в электричках вокруг Москвы людей с чемоданами и рюкзаками. Половина из них крестьяне. Они везут из Москвы колбасу и мясо, потому что не хотят держать скотину. Едут из калининских деревень, новгородских, из псковских, вологодских, владимирских и

прочих. И автобусами едут! В основном народ на возрасте, везут пропитание своим птенцам.

По небу плывут стругоподобные облака, старательно работают дети. Валентина Семеновна ставит крестики. В эти минуты она была как наседка. Четвероклассники, закончив работу, собрались возле бурта слегка припотевшие, вполне удовлетворенные собой, словно бы повзрослевшие.

— Вова, не устал? — обратилась она к светловолосому голубоглазому мальчишке, опустившемуся на перевернутое ведро.

— Не-а.— Кончиком языка он слизывал капельки пота с верхней губы.

— Вы же были в Меженинке.— Валентина Семеновна глянула искоса.— Вот так подумаешь: ведь обнажает эта деревня многие наши просчеты.

Хм, а что действительно означает Меженинка, подумал я, они там самоотверженны в работе. 4500 килограммов молока на протяжении многих лет в самых примитивных условиях! Меженинка нам говорит об определенных резервах в масштабах страны. Представить только, если бы везде были такие работники!

Валентина Семеновна позволила себе улыбнуться.

— Но главное надо понять: что их такими работниками сделало? Корова сделала. У них в каждом доме скотину держат. Сынок отцу до колена вырос и уже приучается работать и даже хозяйство вести. Дети вместе с родителями заготавливают корм, у них обязанности по дому. Старшие помогают младшим, отвечают за них. Ребенок, который зреет в таких условиях, быстрее становится гражданином, потому что в нем раньше пробуждается самостоятельность, он вырастает добрым, желанным, потому что трудится.

Теперь улыбнулся я. Как просто в ее изложении этот ход.

— В большинстве крестьянских семей сейчас воспитывают детей в пренебрежении ко всему крестьянскому, готовят к жизни в городе, а коли так, то зачем дитю привыкать к крестьянским заботам, зачем ему вилы и литовки? В семье, где скотину не держат, там подростку заняться нечем, обязанностей по дому нет. Вот и поднимается вверх дитяtko сыт, обут, одет, а делать нечего — и вырастает оболтус и лентяй.

— Да, да,— я не смог удержаться и кивнул.— Вы правы. Такому деревенский труд с его потом и солью, с заботами и о хлебе и о своей корове, конечно же, кажется тягостным.

Валентина Семеновна оживилась, видимо увидев во мне единомышленника.

— А ведь и такие семьи есть! — воскликнула она.— Мать с бабкой на покосе, а дитяtko у дружка в карты играет. Обо всем этом немало уже написано, я слежу, но не все сказано, не до конца. Не сказано самое главное — что все это имеет самое прямое отношение к тому, каким складывается, вырастает, формируется определенное поколение молодежи. Это ведь разговор о том, кто работает на тракторе, на ферме, кому Нечерноземье восстанавливать. И надо признаться, что определенная часть молодежи выросла не такой, какой бы хотелось. Признаваться ради того, чтобы не допускать подобных ошибок впредь.

Далеко на столбовой дороге показались синего цвета «Москвич» и кативший вслед за ним желтой окраски автобусик. Я огляделся и увидел, что земля в световых пятнах. Белые, укрупнившиеся, потяжелевшие, теперь уже баржеподобные облака и между ними синие промоины. Картинно так и броско, но почему-то тревожно. Облака ползут, и передвигаются по земле их тени, и синий «Москвич» с автобусом накрываются гигантским темным платком.

Машина остановилась на краю поля. Из автобуса выпрыгивают дети, вышел солидный, тяжеловатый на вид мужчина в черном пальто — прибыла смена. Георгий Александрович направляется к нам. Он услышал по радио, что к вечеру ожидается дождь, и приехал сообщить.

— Вот платим детям,— решил почему-то объяснить он мне.— Дожди совершенно не дают работать, только в окошки и берем. У нас убрано восемьдесят процентов картофеля, а в районе едва ли тридцать. Нынче в области половина картофеля уйдет под снег, вот увидите. Может быть, меня будут ругать, скажут — развращаю детей деньгами...

— Кто будет ругать?

— Может быть, сама Академия педагогических наук. Не знаю. А мы вот с Валентиной Семеновной решили, что это будет даже педагогично. И райком нас благословил. Пусть дети с малых лет чувствуют вкус настоящей работы.

Мужчина в черном пальто расставлял ребят по рядкам. Застучали первые клубни в днища ведер.

— Кто спорит — домашнее хозяйство требует много времени, — продолжала Валентина Семеновна прежний разговор. — Но ведь оно воспитывает у молодого человека любовь к труду, к земле, способность трудиться. А это очень важно для накопления духовных богатств нации! Я лично так считаю. Человек, который не умеет хорошо работать, постепенно перерождается, развращается, становится безразличным к общему... А что касается интеллектуального развития... Что говорить, у молодого поколения запросы большие, слов нет, оно больше нуждается в свободном времени, всестороннее развитие личности в Конституции заложено. И надо думать о том, как предоставить молодым время. Если колхоз помогает рабочим заготавливать корм для личного скота, значит, и время высвобождает.

— Предоставить! — воскликнул Смирнов. — Человек должен сам его себе предоставить. Человек должен быть хорошо организованным. — Он показал рукой на ребят, спешивших к бурту с наполненными ведрами. — Вот у них будет хватать времени на все. И на книги, и на спорт, и на домашнюю работу... А вот кому сейчас двадцать и двадцать пять, с теми потруднее, их жизнь выстроила на другое. Зачем шуметь: они хотят развиваться! Надо смотреть на вещи здраво. Потребности-то у молодых людей действительно возрастают. Но мы помогаем эти требования формировать? Так это поделовому? Учим использовать свободное время? Организовывать его? Провозгласили: «Свободное время — фактор развития личности». А дальше что? Дальше кто во что горазд. Кое-что вроде бы прочертили — спорт, клуб, самостоятельность, библиотека. Но ведь разговоры только. Запросы-то действительно возросли, а что даем? Для большинства свободное время — это дыра, заткнутая телевизором.

Хм, вот и Георгий Александрович заставил меня вскинуть на него глаза. Под горячую его речь вспомнился мне колхозный клуб (бывшая церквушка), в котором кино да изредка танцы. Клуб-церквушка в лучшем колхозе района!

— Именно только прочертили, — продолжал он. — Попробуйте найдите хорошего, со специальным образованием культработника или тренера по спорту, если я имею право положить им оклад, который в два раза меньше, чем зарабатывает доярка.

Валентина Семеновна как-то грустно наклонила голову.

— Что говорить, духовный труд у нас по некоторым позициям обесценен, — сказала она вполголоса. — Мы, видимо, не понимаем, какой наносится урон обществу от того, что у нас принято вкладывать гораздо больше в тех, кто дает продукцию, чем в тех, кто создает этих дающих. Учитель-то ведь тоже в полтора раза меньше доярки получает.

— За экономическую сторону всех спрашивают, — продолжал свое Георгий Александрович, — а социальное развитие на уровне самостоятельности. Кто хочет — развивает, кто — лишь бы отделаться, крыжик поставить.

— А вы? — спросил я, глядя на него «тяжелыми» глазами.

— Я? Я хотел бы, да вот... не могу, на нужном уровне не могу поднять. — Он не прятал глаза, лишь мило-улыбчиво помаргивал. — Как хотите судите, а не могу в такой-то обстановке на высоком уровне за дело вести, меня хозспособ съел, всего забирает. Жилье-то я хозспособом строю, а каждый гвоздь надо где-то достать. Был бы помоложе, так хватало бы на все.

Ну что же, пусть хоть главное решает, подумал я.

Шофер автобуса настойчиво поглядывал на Валентину Семеновну. Мы договорились с ней встретиться после уроков.

В моем распоряжении четыре часа. Я уже приновился к впечатлениям без роздыху и охотно присоединяюсь к Георгию Александровичу, которому нужно побывать у льномолотки, поскольку после обеда она начнет работу на новом месте.

К пяти часам я подошел к одноэтажному, серому от времени бревенчатому зданию школы. Фасадом оно глядит на рыжую песчаную дорогу, за которой торчит безглавая церквушка цвета пережженного кирпича, а на задах его сад и группа темнокожих низкорослых деревьев. Валентина Семеновна в строгом коричневом костюме и в очках выглядит интеллигентной, подтянутой и энергичной. Мы прогуливаемся под яблонями уже обсытными, с немногочисленными плодами на верхушках. Что мне от этой женщины? Она человек здравомыслящий. Она умна. Она высказывает свои мысли, так сказать, оформленно. За ней преимущество человека, корнями выросшего в тол-

пу народа, она помогла мне понять, как, под влиянием чего происходит формирование душ вот сейчас, в 70-е годы. Но надо уже к концу приближаться в разговоре. Мы с ней все с точки зрения семьи. А школа? Ее роль какова? Что она думает о сегодняшней системе воспитания?

— Система? Какая система, если семья и школа дудят в разные дуды... Я не про наш колхоз. Я говорю вообще. Школа говорит, что надо работать в селе, а родители готовят детей к городу. Семья и школа разговаривают с детьми с разных нравственных позиций. Да, дети заброшены. Прежде в любой крестьянской семье ребенок был с родителями. Он рос их заботами. А теперь семья живет заботами ребенка, собирающегося удрать в город... Когда выбирается место в жизни, то «хочу» формирует семья, а не школа. Школа лишь предлагает, как бы навязывает... Теперь дальше: мне кажется, что мы отрываем детей от каких-то основ. Сейчас дети начисто лишены фольклорного воспитания, потому что мы отдалили бабушек от внуков, большинство стариков живут отдельно от детей.

— А роль учителя? — спросил я. — Что она считает главным для человека, отвечающего за формирование нового поколения?

Она ответила быстро, не задумываясь:

— Достоинство учителя. В деревне учитель — это своего рода уступ, что ли, о который кое-что должно разбиваться. Детей оберегать нужно от очень многого.

— От чего же?

— Ну вот хотя бы... Вы не обратили внимание на то, что люди сейчас очень охотно рассказывают друг о друге все, сосед о соседке, муж о жене, жена о муже, мать о сыне, всякие семейные подробности очень легко выкладываются на поверхность, на всеобщее обозрение?

— О чем это говорит?

— Я могу только сказать, что глубокий человек... с глубокой внутренней сутью не должен выворачивать сокровенное, близкое. Прежде люди умели в себе больше сосредоточивать и хранить. Сейчас ведь сплетни разбираются в семье при детях. Сосед чем-то не понравился, о нем говорят при детях. Также и об учителях. Дети очень рано включаются в такие отношения, и получается сплетенная психика.

В саду глухо стукнуло о землю яблоко.

— А раньше... Раньше даже о соседе не просто было расспросить. От своей мамы я не знала ни об одном человеке и не знала, кто плохой. Какие были с кем у нее отношения в Репкине, я не помню. Я знала одно: ни о ком нельзя говорить плохо. И вот прошло много лет, а у меня такое ощущение, что в Репкине очень хороший народ. Люди не ангелы, у каждого есть недостатки. Но если заглянуть в историю того или иного человека, то всегда можно найти его проступкам какие-то оправдывающие, объясняющие обстоятельства. Но ребенок в эту историю не заглянет. Так лучше не говорить о людях плохо. А то, знаете, как закон — где в семье сплетни, злоязычие, там дети неважные.

— Так надо воспитывать родителей! — поторопился я.

— Стараемся. Но ведь вот что получается... Прежде мы учились у народа народной педагогике, ну вот пример с моей матерью. А теперь мы, учителя, учим народ народной педагогике. Прежде было больше взаимного уважения. А теперь общая обстановка такая, что нам, учителям, нужно очень и очень оберегать свое достоинство... Я только приехала сюда, это двадцать лет назад было, пришла в магазин, встала в очередь за ситцем, а продавщица мне говорит: «Это только дояркам». А в магазине ученики! У меня слезы, уперлась глазами в стену от стыда, а там объявление: животноводы обслуживаются вне очереди. Я пришла немного в себя, пошла к директору школы, потом к председателю колхоза и сказала, что пока этот плакат будет висеть, я в магазин не зайду. А на меня как на белую ворону глядят... Животновод — фигура важная, работа у доярок трудная, в магазине в очереди стоять — это не для них. Ну так и увезите на ферму что им нужно и продайте там. Но зачем публично так разделять народ, ведь вокруг нас дети. У нас у всех должно быть равноуважительное отношение друг к другу, но учитель должен быть поставлен немножко выше. Не ради себя, а ради детей. Хотя бы чуточку.

— Почему чуточку? — возразил я. — Учитель должен быть на голову выше поставлен. Ради детей и ради всего общества! Вещизм, сытость как самоцель, учит история, нередко сопровождаются наступлением бездуховности. И нас эта опасность не миновала. Она усугубляется тем, что в нашей стране блага кое-кому достаются дешево,

не по заслугам, не по эквиваленту умения, образования, не вкладом в основы, в духовный потенциал нации. Учительство — это духотворящая великая сила, и учитель должен стоять на пьедестале; именно в непосредственном общении с ним дети — будущее нации получают первые уроки нравственности, миропонимания, основы знания, он должен быть чист, и положение его должно быть равно его великой миссии.

СЕМЬЯ ЗВОНАРЕВЫХ

Если оценивать по-хозяйски, все в семье Звонаревых было просто. Сошлись любящие друг друга мужчина и женщина, зажили дружно, зарабатывали рублей пятьсот с лишком, нужды ни в чем не знали. Построили дом на высоком месте, купили мотоцикл. Тешились семейными радостями, детьми, любовью. Виктора в деревне любили все. Простецкая его улыбка, участливые глаза, спокойный дружеский голос располагали самых разных людей. Он был уважительный, на огород перегноя привезет, только попроси, дровишки доставит и не возьмет ни копейки, жена любила его за то, что его любили и уважали другие, но и тревожилась; здоровьем он был не крепок.

Как-то повезла Валентина мужа в больницу, он нашарил ее руку и сказал просительно, почти униженно: «Валь, дай мне слово, что не бросишь мать». Она заплакала, и ему пришлось объясниться. Сейчас молодые, сказал он, не очень-то признают стариков, ведь старух, доживающих век в одиночестве, как гороху-падалки на поле. «Ну поклянись!» — настаивал он. «Ерунда какая, — рассердилась она, — что я, тварь бессердечная?.. Ну уж ладно, поклянусь, коль ты кислый».

Однажды Виктор перекрывал сарай. Пришел сосед и попросил отвезти в Холмец. Виктор слез с сарая и завел мотоцикл. Дорога была тряская, и ему стало плохо. В Холмце не успел прийти в себя, как его окружили ребяташки: «Дядя Витя, пока-тай!» Он не сумел отказать, поехали. За деревней на взгорке у него пошла горлом кровь, затормозил, крикнул: «Выскакивайте!» — и... Когда ребята собрались вокруг него в кювете, подходя кто откуда, на губах его была тихая улыбка. «Вы живы! Вот и хорошо, — сказал он, — а я буду умирать». Это были его последние слова.

В краях этих люди не помнят, чтобы простяться с кем-либо, прощая в последний путь, собралось столько людей, как с этим простягой мужиком. Когда меж старых могил вырос рыжий холмик, люди помянули Виктора Звонарева добрым словом. Он был хорошим человеком и хорошим работником, и потому его рекомендовали в партию. Такие люди, как он, понимающие других, работающие, безотказные, должны всегда быть на виду. Говорили вот такое. А на поминках вздыхали: вот что доброта наделала!

После смерти Виктора бабка Анна, мать Валентины, жившая отдельно в старой избенке, перебралась в семью, и возле печки оказались две старухи. В деревне, известно, кто печку топят, тот и продуктами распоряжается. Началась борьба за власть. Валя не могла примирить старух, и пришлось ей самой встать к печке. Но мир в дом не сошел, баба Оля отдельный чугунок стала варить, за общий стол не садилась, ела в уголке на кухне. Исчезала из дома часто. И поползла по деревне ее слова: «Валька поклялась Витьке, что не выгонит меня. Пусть все знают!» Заболев, баба Оля, как уже было сказано, пошла помирать к соседям. Вот этого, что выставила так семью перед людьми, Валя долго не могла простить свекрови. И в доме стало тягостно. Баба Оля охала, уходила лежать в свой угол... Мальчишка часто слышал от материнской бабки, что бабка Оля сживает ее со свету охами и что она вовсе не болеет, а прикидывается. И Вовка решил отцову бабку разоблачить, подумал, что вот, как он плеснет на нее немного из чашки, так она озлится, побежит за ним — и тогда все увидят, что она притворная.

Вовка только что рассказал мне это по дороге к дому. Лицо у него было бледное. Мне было жалко мальчишку. Затолкали ему все ж эту самую сплетенную психику в душу.

Мы с ним немного посидели в палисаднике среди алых маков, астр и веселых колокольчиков, чуть колыхавшихся перед закатом на тонких ножках, я вглядывался в его лицо и теперь-то видел то, чего не уловил прежде. Сквозь природную доброту и радущие проступали растерянность, смятенность и возбуждение.

- А я на колхозной картошке три рубля заработал, — похвастался мальчишка
- Устал?
- Не-а. Не знаю, какжись...

Мы вошли в дом. Был восьмой час. Валентина принесла с огорода последний мешок картошки, ссыпала в подполье. Ушла. Люда в горнице уроки готовит. Баба Аня толчет на кухне мешанку свиньям, а я в прихожей разговариваю с бабой Олей. Она сидит боком к окну, говорит — боится глядеть на улицу: увидит человека с чемоданом — значит, к кому-то приехали, вспомнит, что ей никто не явится, и плачет. Теперь вся ее жизнь во внуках, и очень она за них опасается, боится все чего-то.

— Чего же, — спрашиваю я, — Ольга Константиновна?

— Очень уж они желанные.

Сказала и смолкла, как осеклась, глянула в окно, отвратила взор, продолжает с хрипотцой:

— Никудышный был человек Витька-то, никудышный, хоть и партийный, а характером пустой, любому уважит. О себе меньше всего. Сейчас таких-то дураками зовут. Бросит все свое и пойдет... А ну эти такими же вырастут?

Я понимал, что происходит у Ольги Константиновны в душе: она никак не отыщет места доброте в ряду человеческих качеств, сомневается в ее полезности.

— Дров привезет кому и ни копы не возьмет. Тьфу ты! Я ему: «Этим ноне никому не докажешь». А он мне: «Я ведь партийный».

Люда оторвалась от тетрадей, вышла на кухню, перевалила приготовленную бабой Аней мешанку из чугуна в ведро и понесла скотине.

— Ой, не знаю, что с них будет, оба такие же. Люда всех жалеет. Косить косой научилась в тринадцать лет, матери, говорит, одной тяжело, я, говорит, за папку буду отрабатывать. Всю мужскую работу на себя берет. Нонче все сено с матерью вдвоем поставили! Золотая девчонка! Валька-то хоть как зверь в работе, а... Позавчера в два ночи ушла, в пять вернулась, взяла у соседей коня, пошла картошку проезжать, проехала — на день чтоб хватило копать. В одиннадцать на ферму пошла, вернулась к трем. Потом ей к шести. Вот меж тремя и шестью ей только и доспать... А когда не поспит, так не сдюжит, ночью к Люде идет кланчить. Я ее упредить хочу, в спину ей, вдогон шепчу: «Ва-аля, может, все ж подоишь, жалко девчонку». А она уже шепчет: «Людочка, желанненькая, золотая, помоги». А та уж соскочила! Другой раз ругаемся. «Что ты тройку принесла?» — мать на нее кричит. А я: «Что ты ее будишь, хочешь — тройки, хочешь — доить». Говорит: «Не буду больше по ночам будить»... И Вовка такой же желанный, уважительный. Скажешь — побудь дома, побудет. С колхозной картошки придет, свою помогает. Сено гресть — его работа. В магазин сходить. «Вова, сходи по грибы». Сходит. А то с картошки идет и в грибы завернет. Вот такой желанный. А спать ляжет — как мертвый. Встану над ним и жалею, все думаю: что же это будет с вами?.. Сейчас с колхозной картошки три рубля принес, а сам белый-то!

Люда вносит раскладушку, ставит за печкой. Это для матери. Ей вставать в два. Так, чтобы не беспокоить остальных. Она тут и спит всегда.

— Как Вале без мужа-то, — спрашиваю я, — тяжело?

— У нее нет ничего такого в голове, — не поняла Ольга Константиновна. — Запыхивали вокруг ее кобели откровенные сразу-то. Потом вроде степенные пошли, вторым слоем, с бутылкой совался один, вдовец. Дак с бутылкой! Она молодец. Вот уже два года, а ни одного мужика не приветила. Дети — и больше знать ничего не хочет.

Люда застигает раскладушку, мне надо уходить. Валя провожает меня.

— Сейчас люди живут хорошо, — слышу я в темноте сенцев ее голос, — знают, что вкусно, что невкусно, а вот что стыдно, а что не стыдно, того не знают.

Вечер тихий, теплый. На крыльце ощущаю лицом, всем телом тепло хорошо прогретого за день дома.

— Витя разбился в семь часов, а мы узнали только в час ночи. Один тут приходил и говорил: иди, твой Витя пьяный разбился! Чтобы досадить.

Спускаемся по ступенькам крыльца.

— Ну ничего... — вздыхает она. — В колхозе отнеслись ко мне хорошо. На похороны музыку купили, бригадир сенокс поближе отвела, дрова бесплатно возили два года. Обижаться не могу. Я ведь в партию вступила после смерти Виктора. Георгий Александрович сказал мне: хороший он был среди нас человек, на замену ты ему должна.

Песчаная тропинка, ведущая к обрезным воротцам чуть под уклон, еще отчет-

ливо виднеется в траве под ногами. А за воротцами в пяти шагах внизу — смутное корыто дороги.

— А разве только я одна? Дети должны нас заменять,— слышу я грудной голос, и мне становится понятной суть отторгающего выражения лица этой сильной женщины. — Что было, то было,— продолжает Валя. — А я до сих пор не верю, что его нет. Другой раз обед накрою и оглядываюсь, уже слова свои слышу: «Витя, иди обедать». И до сих пор все жду, жду домой! Так хочется в детях его увидеть.

Под моей рукой проговорила гремучей пружинной решетчатая калитка. Звук жалкий. Женщина, возможно вспоминая простые и прекрасные моменты ее жизни, застыла в темноте.

Стою в корыте дороги, и сердце сжимается. Вот они, сегодняшние тревоги деревни: кто-то боится, что дети вырастут добросердечными, кто-то хочет этого!

Огляделся. Слева деревня однорядная, и сразу за домами и огородами дорога-полевка, невидимая сейчас. Лицом ощущаю всегда таинственный перед ночью полумрак полей, стою недвижимо, пытаюсь осмыслить Меженинку, эту деревню-труженицу. Она собралась у могилы Виктора Звонарева вся, никого еще не ставила она так высоко, так не почтила, как этого парня. Почему? Да потому что он выражает истинно человеческие потребности, самой природы человеческой: доброту, бескорыстие. В желанье ценить это проявились и помыслы и сила Меженинки. Повседневная их жизнь полна примеров облагораживающего влияния, дух Меженинки — в человечности, в умении воспринимать каждого работника прежде всего как человека. Вот почему они и трудятся так безоглядно.

В ДОМЕ У ПЕТРАЧЕНКО

В этот день я собирался ночевать у Смирнова — так договорились. Он должен был вернуться с заседания бюро к обеду, но появился дома к четырем. По дороге из Оленина он, оказывается, заехал на ферму, чтобы посмотреть, как идет взвешивание скота, и, узнав, что «комплексный» бригадир Николай Петраченко сегодня здесь не был, встревожился, зашел к нему домой и застал сидящим у телевизора.

Уставившись в расстроенное лицо Смирнова, я решил, что это вызвано какими-либо осложнениями на бюро.

— Что с рожью, Георгий Александрович? — спросил я.

— Пока еще висит команда: в светлые окошки сеять,— ответил он монотонно.— Завтра вроде бы погода будет, небо чистое.

Удовлетворенно он сообщил, что в районе принято решение создать координационный совет по борьбе с преступностью и пьянством, задача которого увязать действия всех органов правопорядка.

— Теперь в этих органах пробуксовки меньше будет.— Уголки его черных бровок сдвинулись.— А вот дома — пробуксовка!

И он рассказал, как ходил разыскивать Петраченко.

— Вот вам к разговору «все до лампочки»!

Попивая успокоительно-медленно чай, он сказал, что уже не раз заставляли молодого бригадира в разгар рабочего дня, в самую горячку преспокойно сидящим у телевизора и что этого никто объяснить не может. Был Николай парнем, как говорится, растущим — вернулся из армии, сел за свою баранку и сразу же поступил в вечернюю школу, окончил десятый класс. Охотно он выполнял общественные поручения, его приняли в партию, избрали секретарем комсомольской организации, но вдруг стала гаснуть его энергия, стынуть интерес к общественным делам.

— А что же случилось-то все-таки? — спросил я.— Всему ведь есть причины.

Вид у Георгия Александровича был утомленный. Слово бы отпыхиваясь и со-страдавая чему-то, он толчками выпустил воздух — фю-фю-фю-ю-ю — и сказал слова, которые я уже слышал от Валентины Звонаревой:

— Сейчас не знаешь, от чего обороняться.

В голосе его слышалась уклончивость. Я почему-то не стал приставать к нему с расспросами. Спать мы улеглись в одиннадцатом часу.

...Ночь за окном помутнела, водянистей стала. Всмотрелся. Луна рыбьим глазом из-за водорослей. Скрипнуло за спиной. Шаги осторожные. Я вижу, как проскальзы-

вает меж складок драпри человек. Я лежу лицом к стене. Откуда же тогда луна? Оказывается, я спал все-таки.

В кухне загорелся свет. Георгий Александрович тринькает умывальником. Вытаскиваю из-под подушки часы. Три. Ну что ж, это будет даже правильнее, не в выбранный день, а вот так внезапно вклиниться в его жизнь. Отбрасываю одеяло.

Через десять минут на синем «Москвиче» мы катим на ферму. И вот мы в бетонном коровнике. Ярko горит свет. Почти стометровые бетонированные прогоны, кормушки, темно-пестрые тела коров, ритмичное чмоканье и фырканье аппаратов.

Женщина и девочка-подросток возятся с аппаратом возле коровы. Остановился за их спинами. Валя с матерью!

Под монотонное чмоканье аппаратов отправляюсь искать Георгия Александровича и вижу, как по прогону навстречу мне катит толстая женщина. Миновал меня, она выбросила вперед руку.

— Ивановна, это что ж такое — корма-то не сваривши! Чем будем телятишек поить?

Навстречу толстухе спешит молодочка в нейлоновой куртке.

— Нету, я знаю. И на свиарнике нету.

— Басов-то сегодня не сваривши?

— Не сваривши. На КЭС перевели Басова, откуда они будут сваривши! Николай должен был распорядиться.

Толстая женщина бомбой полетела по прогону дальше — навстречу появившемуся из бокового прохода Георгию Александровичу, вернулась с ним. Я глянул на часы. Двадцать пять минут четвертого. Ночь-ноченская, все Нечерноземье спит, а под этими бетонными балками, среди мерно жующих свою жвачку коров кипят такие страсти. Нет, каждый из них тут, конечно, личность! Вот на этом тут у них и держится все! Эта струя взяла силу.

— Знаю.— Григорий Александрович, выставив раскрытые ладони на уровне лица, объясняет женщинам, что вчера правление колхоза приняло решение временно перевести кормовара Басова на ток и бригадир Николай Петраченко, член правления, должен был подобрать ему замену.

— Ну я сама сварю! — вырвалось у молодочки.— Мне уж все равно. Снабжение инвентарем — на мне, скотину взвешивать — Николай опять в стороне, я, зоотехник, пенсионеров собирай! Мыла несчастного выписать...

Толстая женщина махнула рукой и понеслась по прогону.

— Зина,— воскликнул Георгий Александрович,— а ведь ты сама предлагала Николая в бригадиры как секретарь парткома!

— Фух-х! Георгий Александрович, все мы из вас выходцы. Все! А Николай все перепутал! Я говорила уже всем. Совсем другой он, хотя и как мы, как вы. Совсем не тот он, какой есть. Айсберг он оказался... честное слово... А я так от него ждала!

Я прикинулся ничего не знающим и спросил, а кто такой Николай.

— Да комсорг наш,— объяснила женщина.— Петраченко. Такой был парень! Тимуровец наш. Привезет картошку или дров, ни рубля не возьмет, совать будут — так рассердится, старухам так и сложить поможет. Вот душа человек! А говорить умеет! Четыре года избирали его секретарем комитета. А вот оказался айсберг. Как бригадиром поставили, так из него полезло... не то барство, не то лень.

— Да, вот так-то,— горестно вздохнул Георгий Александрович.

— Ну, пойду варить... организовывать чего-то надо.— Крылова пошла, но осталась.— Он о себе высокого мнения стал, для нас, считаем, неожиданно, Георгий Александрович, а на самом деле ожидаемо — много очень уж он говорил на собраниях, а мы не насторожились.

— Где-то я что-то прохлопал,— сказал Георгий Александрович, догнав нас в прогоне.— Когда первый раз увидел его среди дня за телевизором, так думал — случайность. На собраниях, когда обсуждали его кандидатуру в бригадиры, голоса разделились. Большинство считало, что опыта руководящей комсомольской работы будет недостаточно. Барсукова, дескать, иной раз за день куртку не снимает, разве, мол, молодой это выдержит. А я считал, достаточно...

— Ну это еще какой человек,— возразил я.

— Это верно.

Уже рассвело. Наша машина покатила по дороге в утреннем сумеречном небе.

Через несколько дней мне представилась возможность убедиться, что история Николая Петраченко обнажает те стороны нашей жизни, которые, как говорится, на поверхности не лежат.

Я в доме Петраченко. В комнате с тюлевыми занавесками на металлических карнизах, чистой и уютной; молодая белокурая женщина что-то писала за столом. Очки в позолоченной оправе придавали ей интеллигентный вид. Я узнал ее, она работает в бухгалтерии, я брал у нее кое-какие справки, зовут ее тоже Валя.

Перед Валею лежали исписанные листы бумаги и газета, и, заглядывая в нее, она что-то вписывала в текст и что-то вычеркивала. В кухне на столе на тарелке покоились вымытые огурцы. Не только конторские, но, кажется, и все в колхозе знали, кто я и зачем уже полмесяца здесь живу, и женщина встретила меня с любопытством, я бы сказал, напряженным.

Оглядывая комнату, я сказал, что очень уж нравится мне, как живут в молодых семьях, в квартирах уютно так и порядливо.

— Да как же без этого сейчас можно? — Карандаш ее торопливо бежал по бумаге. — Мужчины сейчас к другому сильно тянутся.

У нее были умные и... строгие глаза, не очень-то идущие к светлым локонам.

— Вино вы имеете в виду?

— Вино. И вообще болтаться любят. Коля хоть у телевизора отсиживается. А сейчас тоже выпивать стал.

— Ваши женщины хотят домашним теплом согреть мужей?

— Конечно же, человека должно что-нибудь греть. — Голос у нее был удивительно ровный, без всякой окраски, лился так же спокойно, как ее светлые волосы.

— Ну и есть успехи?

— Живут! Которым повезло, дак и не мучились, а которые уже отмучились, сумели семью наладить, защититься.

— А вы? Говорят, ваш Николай пить стал... Хотя раньше не пил.

— Я? — Она задержалась зрачками в моих зрачках, словно ждала чего-то. — Кабы я знала, что с ним происходит. — Спокойно так глянула.

Склоняя ее к откровенному разговору, мне пришлось долго говорить о благородных задачах публицистов, звать к ее гражданским чувствам. Она работала, что-то вычеркивала в тексте и что-то вписывала, наконец глянула с решительной откровенностью и сказала:

— Коля пить стал. Но как бы я знала, почему!

— Уж кто как не вы должны знать мужа.

— Вот не знаю! Что на свете происходит! — Она глянула по-детски растерянно, но это была лишь секунда. — Не знаю... Я вам все расскажу, если уж вам так надо...

— Вы готовитесь к докладу, может быть, мне зайти в другое время?

— Нет, ничего. Это доклад Николая. В четыре часа у нас комсомольское собрание отчетно-выборное... Вы знаете?

— Знаю... Что вы выписываете?

— Да у него все по верхам. Передовиков выставил, загородился. Что колхоз впереди идет, что комсомольцы на передовых позициях. Вот на это нажимает, а что комсомольцы пьют, что пассивность... ни слова! Сначала я ему сама доклады писала, потом вместе стали писать. А тут я уезжала, дак он вот и оказался... сам весь в этой бумаге.

Я молчал. Она подошла к окну, глянула в засеченную дождем улицу, включила утюг, приготовилась гладить рубашку и галстук.

— Он не старается работать, я же вижу. Когда его выдвигали в бригады, он все крутил, ссылаясь, что семья много в заработке потеряет, а я убеждала, что надо! Ведь я его в десятый класс готовила, потом весь год занималась, говорила — ты коммунист, расти тебе надо. Я готовила его к каждому собранию. На собрание явку обеспечивала как член комитета, с каждым договаривалась, о чем говорить — кто где работает, какие там недостатки. Ему заранее данные к докладу подбирала. Заставлю его писать. Он тянет, тянет, тогда я сажусь рядом. Бригадиром стал, учила азам учета. Он как-то матрасы роздал студентам, бери кто хочет. Потом вместе бежали собирали двух недосчитались. Думала что-то вложить в него, а теперь вижу — бесполезно старалась, не хочет он работать!

Я молчал. Она гладила.

— Вот не хочет. И к вину потянулся. Домой все чаще приходит выпивши. А ведь раньше с пьяницами воевал.

— Что же изменилось?

— Не знаю. Угощения эти! Деньги все у меня, он сам отдает, даже с радостью отдает.

— Значит, на угощения податлив? А шофером был, дак поллитровки не брал?

— Я не понимаю. Я ему внушаю — это нехорошо, угощения принимаешь, значит, ты, руководитель, уже не сможешь быть объективным. Соглашается, а на завтра опять выпивши приходит... Контактков у него нет ни с кем, все от него отвернулись. Вот как что-то умерло в нем.

— Когда умерло?

— Не знаю даже. Вроде когда бригадиром поставили. Какой-то пассивный стал. Что-то с ним происходит.

Выгладив рубашку и галстук, она снова подошла к окну, глянула, ждала, зная, мужа, и принялась за брюки. Опустила голову, вроде взгрустнулось ей, но тут же вскинула, и золотые волосы качнулись...

— Дома ничего не стал делать. Ухожу, все растолкую: воды принести, убрать у свиней, посуду помыть. Ничего! А когда шофером был, все делал. Теперь какой-то напыщенный. И не хочет понимать, что мне тяжело, живой труп совсем. А ведь я доклады ему по ночам пишу! Ребенок, хозяйство. Вечером надо ужин стоговить, а тут ребенка привезут, погулять с ним надо. Пока не заснет, не сядешь писать... До сих пор соломы нет... Я ему говорю: а если б я такая же была, как ты, тебе приятно было бы со мной жить? Он говорит: тогда бы обоим в петлю. А как я тогда с тобой живу? Подойдет, поцелует... Три года живем, а уже надоели друг другу! Мне надоело говорить...

— Бойтесь, что не сможете с ним жить?

— Как же не жить. Ребенок. А с ним самим что будет! Он ведь... добрый.

Она и это сказала флегматично. Такой голос у нее, видимо, выработался, она выстраивала в себе стену, с ее помощью предупреждала вспышки и призывала себя к терпению. А такое премиленькое личико! Сколько было надежд и порывов!

— Тут других мужья бьют, а они живут. Смирнов Михаил свою довел до истощения нервов, а она его не бросила. Так теперь он на нее молится.

— Терпеливей вы, наверное, городских женщин, — сказал я.

— Городские женщины — лишь женщины, а мы еще и бабы. — Она подняла брюки, осмотрела стрелочки и положила доглаживать. — Это моя мама мне говорила. Вы понимаете?

— Приблизительно... Женщина должна терпеть?

Она сказала как-то растерянно:

— Конечно... Женщина должна волочить на себе. Но не в этом дело... — Глаза ее были грустны и серьезны. — Мужчина должен чувствовать, что ей, его женщине, только он нужен, никто больше никогда, что он единственный, он должен постоянно, каждый день, каждый час чувствовать это — ее преданность, привязанность... мама мне говорила. Вот. А что получилось? Вот и значит: волочить я должна. Вот и все.

И она впервые улыбнулась доверительной тихой улыбкой.

— Говорят, была бы любовь, а остальное приложится... Вот видите, как говорят.

В сенцах послышались шаги. Вошел Николай. Мы поздоровались. Валя принялась накрывать на стол, а Николай снял сапоги и в носках уселся на диван читать доклад.

Грустно стало мне. Жалко стало мне эту хрупкую, но сильную девчонку. Женщины по любви, а вот любви уже нет.

...Любви хватило на три года. Что же дальше? Впереди вся жизнь. Неужели так и придется катить тяжелую безрадостную телегу, заваленную обязанностями? Да, такая, как она, будет катить, будет катить и будет пытаться вернуть любовь. Я не собираюсь идеализировать нынешних женщин, но к этой очкастенькой я испытывал огромное уважение за ее упругое противостояние сегодняшним разрушительным силам.

Я догадывался о причинах ее скрытой оторопи. Она не видела главного врага, а я со своей привычкой выводил все из каких-то корней злился, не находя их в этом случае, тоже не видя главного врага. Я представил противоборствующие чувства — растерянность и спесь комсомольского функционера и досаду людей, взрастивших его таким, обманувшихся в своих надеждах. Объяснима его напыщенность, его изолиро-

ванность. Можно было понять его несостоятельность: оказавшись при деле, требующем постоянного напряжения и физического и духовного, он не выдержал, что бывает сплошь и рядом. А люди, взрастившие его, теперь разводили руками.

Но невозможно было понять, почему ничто в нем не отозвалось на чистые движения души любящей молодой женщины, почему он постоянно превращался, говоря ее словами, в живой труп.

Мы порассуждали на эту тему с Георгием Александровичем. Он сказал, что понять психологию сегодняшнего крестьянина очень трудно. На него свалились права и деньги. Права пришли с революцией. Введены паспорта. Человек свободен и волен. И он имеет уж такую надежную опору в лице государства. На нашей памяти засухи страшные, вот хотя бы в 1965 году. До революции в такие годы народ мер с голода, а мы и в ус не дули, государство закупило хлеб за границей, мы сыты, обуты, одеты и нос в табаке, кому хотелось. Мы уж знаем, что при самых тяжких бедах государство нас не оставит.

— Вы говорите о чувстве уверенности в завтрашнем дне? — спросил я.

— Которое перестало у иных в самоуверенность. Сейчас тракторист зарабатывает в два раза больше инженера в городе, доярка в два раза больше врача. И все очень нужны, на всех заборах объявления: требуются, требуются! Хорошо или плохо работает человек, стремится чего-то добиться или не стремится, равнодушен, но все равно он нужен. Напился, прогулял, а его упрощают: Вася, выйди поработай, как опохмелишься. Вот потому люди и живут, ног под собой не чуют, — сват королю, кум министру... Сейчас очень трудно подобрать человека на руководящую должность. Люди не хотят перегружаться, выкладываться. За чужой спиной он будет работать, но чтоб не отвечать. До пяти отработал, свои рубли получил — и все! Домой!.. Николая, наверно, это и грызло — за баранкой-то он почти на сто рублей больше получал.

Отчуждение от общественных интересов, забвение обязанностей под влиянием дешево достаемых благ — вот что такое Николай Петраченко, решили мы. А сколько таких!

СПОР НА ПАШНЕ

Выпало три солнечных дня. Они казались случайными в дождливом сентябре. Робко-светленьким утром я пешком отправился на поле, где пахал зябь Серега Мацулов на новом тракторе, который должен был его спасти. Серегу отдали на воспитание в отряд, работавший на талонах и возглавляемый Василием Егоровичем Крыловым, человеком столь же популярным в колхозе, как и сам председатель, — в «школу Крылова». Георгий Александрович, слегка припевая, с мягкой улыбкой говорил о Крылове как о человеке «большого нравственного, но, к сожалению, по причине старых ран небольшого здоровья физического», и мне хотелось с Крыловым познакомиться.

Меж холмов и холмиков перелески, в отдалении многоверстные леса. По-осеннему тяжелые облака стоят над головою. Иные так низко, что кажутся завалившимися за складки местности. Где-то неподалеку урчит трактор. Поднимаюсь через пахоту межником и вижу впереди колесник, он выбрался из разлога и заголубел под облаками. Тракторист выпрыгнул, гребанул сагогом землю и размашисто замахал руками, кого-то подзывая. Наверху, на увале, еще появился трактор. Теперь там уже три человека. Я пошел к ним. Тракторист, рыхловатый круглолицый мужчина с небольшими светлыми бровками, похожими на приклеенные колоски, сердито, но сдержанно указывал на рыжие полосы, протянувшиеся по пашне в двух местах, сердито, но сдерживая себя, говорил высокому сухопарому человеку:

— Я вкальваю... из кожи... ты — из кожи... а это — пахота? А, Егорыч?

Крылову далеко за пятьдесят. Черты лица правильные. Из нагрудного кармана комбинезона виднеется блокнотик, очки и железная метровка. Черная кепка рябенксом так обрызгнута свежей глиной. В спокойном лице, в глазах внимательных, но не пристальных, светящихся приязнью, трудноуловимое, по сути, но совершенно отчетливое выражение: с легкой грустью и ласковой иронией он смотрит как бы изнутри взглядом много пожившего, все познавшего, доброго, но взыскательного человека.

— Как заглубил, так и попер, не смотрит! На хрена это нужно! А, Егорыч? — указывает на рыжие полосы тракторист.

Ситуация проясняется. Тракторист Круглов приехал культивировать вспаханное, натолкнулся на выволочки и подозвал проезжавшего в это время на другой массив Крылова, а тут и учетчик подошел. Пахал же поле Серега Мацулов. Выясняется, что Василий Егорович держал Серегу при себе два дня, а на третий, видя, что парень старается, послал пахать. И вот он, этот третий день.

— Не прочувствовал он еще. — На лице Крылова улыбка терпенья. — Что уж ты так обостряешься.

— А четвертый талон-то всем рвать будут! — Немудрящее, со светлыми глазами-пуговицами лицо Круглова было растерянно-злым. — К тому идет-то. На хрена мне это нужно! На хрена это понабрали...

Два члена бригады, оказывается, уже наказаны четвертым талоном за брак, и если еще с двоих будет так же взыскано, то вся бригада лишится части премий. Мацулов мог стать третьим. Учетчик, тихий паренек в очках, пошagal с метровкой на плече к выволочке, мы двинулись за ним. Судя по жестам и отрывочным фразам Круглова, он склонял бригадира уговорить учетчика скрыть брак.

— Ва-аня, что говоришь?! — Крылов на ходу резко повернулся к трактористу и встал как вкопанный, ухватившись рукой за поясницу. — Ва-аня, голубь, себя вспомни. Мы твои грехи прятали?!

Я кое-что знал о Крылове. Он коммунист. До ухода на фронт и потом, после войны, был рекордсменом в районе по выработке и заработку, однако без колебаний поддержал новую идею — работать на общий котел. За семь лет, что у них действовала безнарядка, урожай поднялся с 20 до 28 центнеров.

Они спорили-рядили, а я ликовал. Крылов не согласился с трактористом, однако и успокоил его. Он сказал, что брак тут, похоже, не преднамеренный, а по невнимательности и он будет просить, чтобы правление колхоза это учло и «не пошло на четвертый талон», ограничилось другой мерой взыскания. Да, я ликовал. Вслушиваясь в их голоса, я вспомнил о некоторых наших публицистах, схватившихся плакать: крестьянин-де не тот, не такой! Естественно, не такой! Вот он — новый крестьянин!

Круглов этот по лицу так совсем немудрящий, нос лопаточкой, пшеничные бровки, все как бы небрежно наляпано на рыхловатом лице, но не чересчур, природа все же остановилась на грани смешного, и он, раскипятившийся, выглядел серьезным и дельным. И, может быть, оттого именно, что на этом простоватом лице отразилось столько чувств — и злость, и озабоченность, и желание что-то унять в себе, упрек себе, — что не умеет он воспринимать жизнь, как Крылов, мне стало хорошо.

Василий Егорович успокаивает тракториста. Голос у него мягкий, из тех, что глубоко в душу садится. Я люблюсь его спокойным лицом. Круглов отправляется работать, учетчик шагает к Мацулову. Я спрашиваю Василия Егоровича, что волнует его сейчас больше всего.

— Ребята беспокоят молодые, — отзывается он охотно. — Маменькиных да папенькиных много. Эти смотрят, как в ресторан да в кафе сходить, — он улыбнулся еле заметно чему-то своему, — а я вот ни разу не ездил в гости, хотя в Москве брат живет. Сперва некогда было, совсем уработавши были после войны, а теперь ревматизм. Радикулит мучит, поясницу сковало. Руки, ноги болят, по ночам сплю плохо. — Улыбки чуть добавилось в лице. — Ладно, жена — медсестра, так уколы ставит да таблетками пичкает. И аппетита нет... Неустойчивых много, скатившихся много, вот хоть этот Серега. Тяжело парняге придется. В город уезжать хочет.

— Почему? Где еще так нянчиться с ним будут?

— А разве он это понимает? Разве они все такое понимают? Говорит, за меня здесь ни одна девушка не пойдет. Думает, город большой, дак девушки не разберутся. Собрался уезжать, вот так и работает. Ну езжай! Я ему сказал: тут картошка, мясо, молоко — все свое.

— А вы надеетесь, что Серега все же человеком может тут у вас стать?

Мне надо было понять, как все же крепнет человек, каков психический процесс этого: то ли ниточка от сердца к сердцу тянется, то ли такая сила, как доброта, пробуждает ответную силу, то ли настоячивые заботы о тебе пробуждают стыд.

— Ну так, ну так, — кивнул Василий Егорович, — все так. Да еще коллектив, безнарядка, хозрасчет, талонная наша система помогают. Спрос-то с виноватых ведут такие же, как он сам, работяги, а это действует посильней, чем накрутка агронома или председателя. Да и ответственность перед такими, как сам, она тоже чего-то значит, наказывают его — наказывают весь коллектив. Да не поедет он никуда! Могут пору-

читься. Столько о нем забот. Дойдет же. До других-то дошло... Я сначала поежился, когда ко мне с безнарядкой,— продолжал Василий Егорович.— Больше меня никто тогда в районе не зарабатывал, жалко было свои кровные класть в ту же кучу, куда и Круглов клал. — Он кивнул вслед удалявшемуся трактористу. — Мазутный был мужик, затертый, у него в кабине, как в курятнике, было. На такого работать? Вот так коробило, а мозги, чую, уже шевелятся: это я вот так бы сделал, коль сам распоряжаться буду, это вот так... И потянуло! Я еще так рассудил: а ну все начнут мозгами шевелить, как работа-то пойдет! Я теперь-то с вечера каждый стожок обласкаю, который вчера поставил, вижу, как новый ставлю, утром на пашню собираюсь, а поле уже в глазах, и я к нему приравливаюсь... Ну, в общем, согласился. Отряд принял, сам на трактор сел, а Круглова в напарники взял.. Ну, вы его видели, каков мужик теперь!

Только собрался я распрощаться с Василием Егоровичем, как из складок местности выскочил «Москвич» Смирнова, и разговор наш о безнарядке возобновился. Я спросил, чем объяснить, что безнарядная оплата никак не получает широкого хода. Отсутствует у нас еще научно обоснованный подход в решении важнейших социальных проблем, которого требует Центральный Комитет партии.

— Охо-хо! — вздохнул Василий Егорович. — Вот прислали года четыре назад оплату комбайнерам, называется прогрессивно-аккордная. Комбайнер прогрессивно получает за каждую намолоченную тонну. Пятая тонна в десять раз дороже первой, десятая — в двадцать, примерно так. Понятно, каждый стремится к двадцатой, выкладывается. Вроде бы правильно, уборка — время короткое, горячее, человек должен отдать все. И он отдает. Вроде бы то, что нужно, вроде бы хорошо, а на самом деле плохо. Он зарабатывает за сезон рублей шестьсот—семьсот, и обычный заработок его уже не греет, остальные работы ему уже нежелательны, интерес к ним затухает, он даже может выполнять их спустя рукава. И о звене, где деньги надо класть в общий котел, он и думать не хочет.

— Значит, можно сказать,— закончил я,— причина в том, что преобладающей идеей все же остается идея личного успеха. Нужны какие-то другие формы поощрения. И в соревнование надо вводить нечто другое. Нужно поднимать цену идеи коллективно-групповой, мелкогрупповой ответственности, идею общего блага, группы в коллективе.

— Ну а почему в районе безнарядка не идет?

— Так людей не хватает! В звене производительность труда выше, народу на весь объем работ требуется меньше, а воспользоваться не можем. Сейчас-то как? Бросается какая-то одна работа, оставляется недоделанной ради другой, срочной, всякие переброски из животноводства в полеводство и обратно. А звено на это не пойдет. Для безнарядки все же нужен какой-то минимум людской. И насыщенность техникой не такая, как у нас.

Вот и еще один из тех людей, коими сильно наше государство, думал я, прощаясь с Василием Егоровичем, и этот не дрогнет, какие бы мурла ни надвигались, себя не потеряет, да и другим, кто рядом с ним, не даст себя растерять.

В БЛАГОДАТНЫЙ ГОД

Лето 1981 года на тверской земле выдалось благодатное. Утром солнце выберется из-за лесов и целый день одно-одинешенько — ни облачка, ни перышка рядом; иногда нагрянет дождь, светлый, ликующий, видно, как он бродит по полям, лесам и перелескам, насытя землю; и опять небо чистое.

Я собирался приехать в «Дружбу» в сентябре, но случилось так, что побывал там дважды. В конце июля ехал я автобусом в Нелидово и вдруг в Оленине на остановке, когда пассажиры вышли размяться, пришло в голову, что неплохо было бы заглянуть ненадолго в «Дружбу» сейчас — ведь летние хлопоты и заботы от осенних отличаются. Каковы же они?

И вот еду в «Дружбу».

В конторе Смирнова не оказалось, но он знал, что я приеду, и должен был вот-вот появиться. Очкастенькая блондиночка, порадовавшая меня в тот приезд ответственным отношением к жизни, Валя Петраченко, спешила куда-то с бумагами. Столкнувшись с нею в дверях, я набросился на нее с вопросами.

Все шло к лучшему, выходило из рассказов Валентины. Серега Мацулов женился, живет нормально. Михаил Смирнов намолотил больше всех в районе и получил почетную грамоту, правда, пока был на ремонте, срывался, но его обсуждали на общем собрании бригады, человек сто было, и он принародно просил прощения. Народ, значит, решил вступить в борьбу против водки!

Валя подала сидевшему на крыльце мужчине бумажку.

— Прямо на склад? — пряча радость, спросил мужчина.

— Да. А молоко будете брать у хозяйки. За деньгами сейчас зайдите.

Мужчина приехал из какого-то Белослудска и рассчитывал начать в «Дружбе» жизнь заново. А всего за этот год колхоз принял двенадцать человек, сообщила Валя: «Три семьи вполне нормальные и три одиночки».

Поистине жизнь идет, подумал я, по новой поговорке: добрая слава по дорожке бежит. Но опять неустроенные судьбы на горбину колхоза, опять бремя ответственности за людей. Нет, Смирнов, видимо, не может жить, не приподняв участливо брови. Я подумал, что люди расцветают под сенью этого его чувства — оно всегда на его лице, его глазам невозможно не доверять; если даже он осуждает, в них все равно сквозит человеческий интерес и боль за тебя, нагрешившего.

— А где Георгий Александрович? — спросил я.

— На льне он.

Мне нужно было еще узнать у Валентины о ее Николае, но я спросил о другом.

— Ну как тут жизнь идет у вас? — Я улыбнулся.

— Работаем, — ответила она в тон. — Хлеб растет. Коровы доятся. Водку аккуратно подвозят.

— А с Николаем что?

— За баранкой он... Успокоился. Опять свои двести пятьдесят рублей имеет.

Минут через десять в лощине меж двух холмов, на перекрестке увидел я грузовик. Шофер вылез и, помахав рукой, попросил остановиться. Это был тучный мужчина с черными висячими усами. С отчетливым украинским акцентом он спросил, как проехать в Никитино. Он из Донецкой области, здесь на уборке, вот послали его отвезти семена льна, он тут четвертый день, в Никитине уже бывал, но что-то сбился с дороги.

Мне почудилось неладное: с таким-то грузом отправили приезжего! На поле, где шла молотба, люди собирались на обед. Движок заглох. Старик у движка показался мне знакомым. Это был Артемьев! Георгий Александрович на ходу что-то сказал женщинам, потом мы трясали друг другу руки, радовались погоде; настроение у него было хорошее. Участливо вскинув брови, он спросил: «Ну что, с чего начинать будете?» — я поправил: «Будем начинать», спросил, где они хранят семена льна, и почувствовал себя неуклюжим, но слово было уже сказано.

— В Знаменке на складе, — «открыл» он глаза. — А что?

— Мне сейчас машина попала, из Донецка шофер, везет семена льна в Никитино. Может, ошибка какая?

— Это агроном что-то напутала. — Георгий Александрович несколько ступешался. — Значит, все проверить временем?

— Да... Значит, нынче все уродило?

— Уродило.

— А ленок что-то неважный.

— Ленок плохой. Все уродило, а ленок плохой

— А что, напасть какая на ленок?

— Напасть.

Заинтересовавшись разговором, к нам подошел Артемьев. Смирнова отозвали женщины. Старик был великолепен со своим выражением интереса на темном, как кора орешника, лице. Он и раскрыл мне суть напасти.

— Раньше мы волокна брали по семь центнеров, а где дак и по десять, — сказал он, — и номерами хорошими. Деньги большие были. А теперь лен зорит нас, в убыток колхозу. По три центнера ныне сняли, и номера дешевые. В такую-то погоду!

— А почему так?

— Так раньше-то мы сеяли килограмм по сто пятьдесят, а ноне вполовину меньше. А льну надобно густо стоять, чтобы он сам в себе друг перед другом тянулся. А реденько посеешь — он коротенький получается.

Я знал, что прядильный лен требует повышенной густоты посева, что в учебниках и справочниках названа как оптимальная норма высева 110—150 килограммов семян на гектар. А они — по 80.

Смирнов, подойдя, принялся объяснять ситуацию. Да, вот так — по 80. Их заставляют сеять по 80. Обстановка такая. По некоторым причинам семян льна в стране все меньше производится, а на Тверщине из-за дождей, из-за переувлажнения в два последних года вообще не получали семян, и вот почти все завозные они. Дали мало и рекомендовали половинную норму. А половинная норма не выход из положения, она приведет лишь к дальнейшему уменьшению семенного фонда.

— А как бы вы поступили в данной ситуации? — спросил я.

— Посеял бы полной нормой на меньшей площади.

— Но вы получили бы больше волокна и меньше семян. Для семян вроде бы лучше разреженный посев...

Он смолк вдруг, глянул решительно.

— Ладно, я вам сейчас один участок покажу.

Мы поехали, и вскоре он свернул в прогалину, в орешник, еще раз свернул и еще, и мы оказались в лесном заулке. Участок подо льном был небольшой, гектара четыре, разделенный межевой дорогой надвое. На одной половине стоял густой, высокий и тонкий лен, на другой — редкий и короткостебельный.

— Вот эта полоска, — Георгий Александрович указал на высокий лен, — как бы музейная. Тут агротехника, при которой мы в семьдесят пятом году взяли по десять центнеров волокна...

— Но в данной ситуации важны семена, — перебил я, — для семян нужны уменьшенные нормы высева.

— Но мы в семьдесят пятом году к десяти центнерам волокна получили и шесть центнеров семян! А высевали мы тогда по сто шестьдесят килограммов. И нынче примерно столько же будет. А вот эта половина — это нынешний подход. Здесь по восемьдесят килограммов высеяно — центнера так четыре волокна соберем и по два с половиной семян. Вот и прикиньте в масштабах страны, во что обходится в данном случае команда.

— Вы кого-нибудь на этот участок привозили? — спросил я.

— Нет.

— Для чего же тогда этот «опыт» заложен?

— Я хотел кое-кого привезти, да подумал, что сейчас меня не поймут.

Он рассказал, как было дело. Его спросили, сколько он будет сеять льна. «Сколько дадите». «Нет, гектаров?» Он сказал: «Сто шестьдесят» — и тогда на эту площадь отпустили по 80 килограммов семян со всхожестью 84 процента, то есть фактически на гектар приходилось по 64 килограмма. Это был гроб льну.

— Ну, вам бы запросить семян под двести гектаров, а посеять сто шестьдесят.

— Это невозможно! Нам бы двести в план внесли и контролировали бы эту строчку.

— Ну а фактически сколько вы гектаров льном заняли? — Я поймал себя на том, что веду разговор в тоне допроса. — Не сто же шестьдесят?

— Сто шестьдесят.

Я уже научился разгадывать его состояние, знал, что сейчас он копит в себе силы, чтобы на что-то решиться.

— Сто шестьдесят, но по сто килограммов.

Теперь я «открыл» глаза; но тут до меня дошло, что склад в Никитине, куда вез семена шофер из Донецка, был хитрым складом и что не случайно послали человека который через месяц из этих мест укатит.

Лен у них имел свои тайны. Смирнов, зная, разбойничал, заподозрил я, они и в прошлом тут имели кое-что в безучетном запасе, укрывали часть семян от районного ока и нынче вот снова припрятали.

Сложным, наверное, было выражение моего лица, когда я выслушивал признание Смирнова и думал, что все это было, по сути, неизбежно в конфликте здравого смысла с командой и строчкой. Георгий Александрович все рассказал. Да, они утаивают часть семян в хозяйстве, хотя это дело наказуемое. Они вынуждены, потому что иначе «льну был бы полный гроб», в некоторых хозяйствах, выполняя гектарную строчку сеяли по 35 килограммов и получали будылья.

Дома за обедом я спросил, что с прошлогодней сентябрьской рожью, и узнал, что из 300 гектаров, которые посеял колхоз, 180 погибли, как раз вот эти сентябрьские. Морща переносицу и слегка брюзжа, он сказал, что в Нечерноземье по каким-то причинам все еще в ходу стиль руководства, давно осужденный Центральным Комитетом партии, стиль, в основе которого лежит неверие в силы руководителей хозяйств.

— Нас всех стригут под одну гребенку. И всех подстегают. Подстегивать и надо, надо, потому что в общем-то исполнительская дисциплина низка. Некоторые никак не избавятся от привычки раскачиваться, тянуть в посевную, в сенокос, в уборку. Вот их надо подстегивать. Плохо организованных. А других не надо. Я не люблю этого. Я как услышу по телефону: «Товарищ Смирнов, пора пахать! Надо сеять! Сегодня лен начинайте теревить!» — так меня вот так переворачивает. Слушаю, а сам думаю: ну что это за хозяин, который не знает, что когда и как делать.

— Но откуда они берутся, нерасторопные и несамостоятельные?

— А из этой же опеки, из команд, недоверия. Нужно побольше доверять, поменьше опекать и поостроже спрашивать. А получается, что опекают больше, чем спрашивают.

— В чем это выражается?

— Старый больной вопрос. С руководителя хозяйства спрос вот за что должен идти: твое дело сдать то-то и то-то и столько-то. А уж как я буду это делать... мне решать. Если мне предложат ознакомиться с чьим-то опытом, я с удовольствием, но зачем меня тыкать носом: пора сеять, норму высева вот такую-то установи. А теперь спрос. Когда опекают — строго не спросишь, потому что он сразу закрывается: «Я вашу команду выполнял». Опеки не будет — тогда плохому руководителю укрыться нечем будет. Поставили руководить хозяйством — доверий. Если не оправдывает — снимать надо. Нет, не снимают, держат. На уполномоченных надежда. И всех опять же под одну гребенку. В каждом колхозе даже во время зимовки сидит уполномоченный. А сверх того из района наезжают считать, сколько комбайнов в поле, зимой — как отелы идут.

Я терпеливо слушал его. Да, подзадержалась у них давно уже похороненная в других местах практика опеки. Инициатива мест, обмен опытом, опора на науку, четкая организация системы внедрения, строгий спрос — вот современный стиль работы. А на Тверщине что же? Нечерноземье длительное время находилось вне поля главного внимания, да и сейчас жизнь здесь недостаточно энергична, и как результат — консервативность. Было это прошлой осенью. Сейчас-то, после майского Пленума ЦК и его решений по Продовольственной программе, надо полагать, жизнь пойдет по-иному.

Мы ехали в Никитино. Вот улица воспрянувших. Коттеджки, которые в прошлом году строила наемная бригада, заселены. Еще два новых дома заложено, два в лесах, и расстояние между головными деревнями сократилось. Еще три десятка усадеб — и Никитино и Знаменка сольются.

— У нас твердый курс на укрупнение. Молодежи нужно общение.

По перспективному плану в «Дружбе» будет две деревни: Никитино со Знаменкой образуют центр и Меженинка, остальные 9 деревень постепенно ликвидируются.

— Все идет к лучшему.— Георгий Александрович чуть свел брови, сейчас он скаламбурит, я уже знаю. — Но к лучшему могло бы идти лучше... Без загляда вперед как-то двинемся.

— Что вы имеете в виду?

— Мы правдами и неправдами строим пять—шесть новых домов в год и радуемся. Радуемся законно. Но это ведь полумеры!

Он остановил машину и вошел в крайний дом, стоявший уже под крышей, и в просторной пустой комнате широко раскинул руки.

— Светло, просторно, но, в общем-то, примитив — ни ванной комнаты, ни водопровода, ни горячей воды, ни санузла. Отопление печное. Только что газ в баллонах. Такие же мы получаем и от Межколхозлесхоза. Когда я узнал, что в Ржеве строится завод нерудных материалов, то ночь не спал. Завод нужен, ничего не говорю, но при заводе жилье со всеми удобствами, деревенские бросят землю и потекут туда. И текут!

— Надо деревне перестраиваться.

— Попробуйте-ка, если технологическая линия Межколхозлесхоза рассчитана на примитив. Почему нельзя было сразу увязать ее с сегодняшними запросами? Пока

деревня будет ущемлена хоть в чем-то по сравнению с городом, толку не будет, люди сейчас все видят, все знают и вольны в передвижении. Понимаете, сегодняшнее положение с жильем ни в количественном, ни в качественном отношении не соответствует задачам, которые стоят перед Нечерноземьем. Я знаю положение в районе. Даже если Межколхозлесхоз будет выполнять план, если подрядчики будут удовлетворять наши заявки, все равно кризис жилья разрядится не ранее чем к двухтысячному году. Надо круто менять положение.

— В чем же выход?

— Я понимаю, что это утопия, что на это вряд ли пойдут... Но если бы это было сделано, то положение круто переменялось бы!

— Так что за утопия все же?

— Надо на какое-то время направить мощность городского домостроительного комбината на сельские нужды... Ну, это сладкая мечта! А реальность в том, чтобы в каждой зоне области иметь сельский домостроительный комбинат, а не один на всю область, как сейчас. Но ведь это дело нескольких лет... И то и другое — утопия! Но если бы эти утопии превратить в реальность, это был бы исключительно хозяйский шаг. Хотя бы часть городской домостроительной мощности направить года на четыре на село! Вот это было бы предельно рациональное использование возможностей.

— Ну а если утопии отодвинуть, то как выходить из положения? Как конкурировать со Ржевом?

— Мы-то немножко пробили это дело... Пробили. — Он остановил машину в центре Никитина, на взгорке, с которого был виден хоздвор. — Вон там, — он протянул в открытую дверцу руку, — заложена мощная котельная. Она даст горячую воду в дома. И строить хозспособом мы будем дома улучшенной планировки, с полным благоустройством...

Ехать ему, оказывается, было через Оленино, я вернулся с ним к автобусной остановке и через час отправился по своему маршруту.

Еще раз в «Дружбу» я приехал в сентябре, имея в своем распоряжении день. Было тихо, солнечно. Чувствовалась умиротворенность теплой, сухой осени.

За Меженинкой на картофельном поле я увидел скопище людское, вокруг тяжелых грузовиков с наращенными бортами сгрудилось человек сто. Колхоз, догадавшись я, отправлял картофель по наряду за пределы области. Засуха, распространившаяся на большую часть страны, для мочливых тверских мест обернулась урожаем, тепло и влага здесь сбалансировались, природа дала возможность земледельцам показать, на что они способны.

В тени гигантских грузовиков притаился синий «Москвич» Смирнова. Восемь машин, уже заполненных, выстроились на дороге, остальные стояли под погрузкой у картофельных буртов. Все кипело вокруг. Люди помоложе загружали машины из ведер, старики и детишки сыпали клубни на ленточный транспортер. Ни ливневых поз, ни одной расклячившейся фигуры — все прилежны и энергичны.

Я сказал Георгию Александровичу, что он, видимо, обладает искусством поднимать массы на дела, но он не принял моего тона, отмолчался. Да, год нынче такой, сказал он, что каждое хозяйство может показать максимум. Они-то сработали неплохо. Зерна будет около 300 тонн вместо 220 плановых. Сена заготовлено на полтора года. Картофеля получили 410 тонн вместо 340. Большую часть отправляют в пострадавшие от засухи области.

Он глянул на часы. К трем ему на бюро, время еще есть, и он может уделить мне часа полтора, как только отправит караван с картофелем. Наблюдений у меня было достаточно, чтобы садиться за стол. Заехал я, собственно, порасспросить о предполагаемых итогах года, но разве плохо, подумалось, если наложатся еще какие-то штрихи на мои впечатления.

— Что новенького у вас? — спросил я.

Он в мгновение оживился.

— Сейчас я вам кое-что покажу. Озимку распрекрасную покажу!

Минут через сорок, когда картофельный караван тронулся в путь, Георгий Александрович пригласил меня в свою машину, и вскоре мы катили вдоль кочковатой болотины. Смирнов напряженно смотрел вперед и говорил об «искусстве» поднимать массы. В данном-то случае с картофелем дело было довольно-таки простое. Люди по природе своей отзывчивы, а нынче, когда в стране засуха, это прекрасное качество

очень легко форсировать. Мы должны помочь стране — вот что было исходным. По радио была поставлена задача: отгрузить картофель так, чтобы не отразилось на ходе собственных полевых работ, сказали, что нужно собраться всем двенадцати деревням в Меженинку, не отрывая, конечно, механизаторов, и управиться за два часа. И сразу же были объявлены условия оплаты: каждый заработает примерно по четыре рубля.

— Обращение к сознательности и деловой подход — и в таких мероприятиях будет успех! — заключил Георгий Александрович. — Бурты были заранее сформированы, людей свезли на автобусах, оплата обговорена.

Кустарник на болотине раздражал меня противоестественностью форм и окраски, но впереди виднелось некое зеленое море. Это было поле, засеянное озимой рожью, гектаров так на 300 — мы уже ехали вдоль него, — ровно-однотонное, без щербины даже в цвете. Я загляделся на это разливанное море. Была пропащая, гиблая, пыжкаяющая и чавкающая под ногами болотина, теперь она плодоносит. Работает поле нормально, сообщает Георгий Александрович, дренажные трубы, колодцы действуют хорошо, спасибо мелиораторам.

Что-то идет хорошо, что-то туго, что-то еще не стронулось, думаю я и слышу его голос:

— Еще мы вышли из тупика по зяби. Мы же приняли двенадцать человек, и теперь на каждом тракторе у нас по две смены. А в результате — зябь июльская и августовская, убираем и вслед пашем. А это, считайте, центнер прибавки зерна.

Я вспоминаю, что по области коэффициент сменности тракторного парка 1,1, на тракторе — по одному человеку, и даже в это благоприятное лето все равно будет зябь и сентябрьская и даже октябрьская, а часть земли уйдет под весновспашку. Вот как нужны Нечерноземью люди, как нужно жилье.

Радостно-спокойным голосом Георгий Александрович сообщает, что у них вошел в строй и заполнен никитинский комплекс и что на зимовку заготовлено по 16 центнеров кормовых единиц на условную голову.

— А в районе?

— В районе по девять.

— А в прошлом году сколько у вас?

— По десять.

Делать тут больше нечего, все ясно, впечатлений достаточно для публицистических обобщений. И я говорю:

— Знаете что, Георгий Александрович, я, наверное, возвращаться не буду. Уже другие дела ждут.

Он высаживает меня в Оленине у автобусной остановки. Мы прощаемся, и он идет на заседание бюро райкома.

Завтра Калинин, а там рукой подать Москва, три часа самолетом — и родной Омск. Сумасшедшие скорости, умопомрачительный темп жизни.



С. ПОТАПОВ



КАНАДА ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Сегодня Канада продолжает жить страстями, разгоревшимися в этой стране в 1979 году, стране, всегда отличавшейся замедленностью и неторопливостью эмоционально-психологической реакции на события. В мае того года пало правительство либералов во главе с П. Трюдо, а уже в декабре консерваторы, не успев даже опомниться от победы, испили чашу вотума недоверия в парламенте и вскорости потерпели поражение на выборах. Столь быстрая «смена лошадей» отразила неустойчивость политического климата и резкие скачки в социально-экономической области. Концентрация событий как бы вывела на поверхность накопившиеся проблемы, оказала свое влияние на уровень дискуссий о прошлом, настоящем и особенно будущем этой страны, имеющей все объективные материальные условия для быстрого роста своей экономической мощи и политического влияния в мире. Кажется, у Канады есть все для подлинной независимости, не будь одного обстоятельства — соседства с экспансионистской державой, этого дамклова меча, висящего над Канадой.

Непросто складывалась и сама история этой страны. Сначала она была колонией Франции, а затем Англии. Доминионом, последней она формально оставалась до принятия конституции 17 апреля этого года. Львиная доля ее экономики находится в руках американских монополий со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями. Страна за всю свою историю еще не имела возможности распорядиться собственной судьбой так, как бы она хотела. Всегда кто-то решал за нее наиболее значительные вопросы жизни.

Несомненно, такое положение до поры до времени устраивало правящие силы Канады. Южный сосед также был доволен, однако нарастание межмонополистических противоречий, укрепление национальной буржуазии и рост ее аппетита к прибылям и политических амбиций с неизбежностью ставили на повестку дня истории вопрос об экономическом и политическом будущем Канады.

Американские правящие круги в силу несокрушимой самоуверенности прозевали, судя по всему, тот момент, когда Канада обрела реальную возможность сделать практические шаги к независимости. В области экономики канадцы заняты ныне проблемой канадизации нефтяной и газовой индустрии и политикой, направленной на ужесточение контроля за иностранными капиталовложениями. Катализатором, ускорителем канадского экономического национализма послужила идеология континентализма, которую администрация Рейгана начала проталкивать с присущими ей агрессивностью и бесцеремонностью. Рейгановская идея фактической аннексии Канады понудила национальную буржуазию к поискам защитных мер, которые и проявились в форме ускоренного конституционного процесса и экономического национализма. Борьба еще не закончена, исход ее далеко не ясен, но само по себе своеобразие обстановки, когда высокоразвитая капиталистическая страна вынуждена бороться за свою экономическую и политическую независимость, представляет интерес.

...Канада болезненно оберегает свое показное спокойствие и рекламное благополучие. Но в майские дни 1979 года обыватель вдруг заинтересовался политическими новостями. Либеральная партия во главе с П. Трюдо, человеком, взошедшим на канадский политический небосвод яркой звездой, политиком, показавшим себя хитроумным интеллектуалом, опасным полемистом, эта партия оказалась в прострации поражения. Политик, окруженный восторженными, крикливыми почитателями и мрачными ненавист-

никами, вступил в полосу политического угасания. Удивление долго не сходило с лиц политиканов.

Все лето пребывали либералы в грусти, терзая друг друга «семейными» упреками, заслуженными и незаслуженными. П. Трюдо отправился на север покататься на каное по опасным горным речкам, как бы компенсируя этим исчезновение бурлящих политических страстей.

При всей кажущейся неожиданности изменения на политическом «холмике» не потрясли основ традиций и взглядов, не образовали трещин в фундаменте общества, но заставили политиков вновь искать устойчивые конструкции для защиты дорогих вилл, насыженных кабинетов и дармовых окладов.

Летняя жара давно сменилась теплыми, ласковыми осенними днями, природа звала к покою, умиротворению, однако политический котел партии продолжал кипеть, угрожая взрывом. О бывшем лидере стали потихоньку забывать, безжалостная политическая машина конструировала новые варианты власти, ожидая формальной отставки П. Трюдо, что последний и не замедлил сделать. Проамериканская пресса восторженно живописала картины жизни в послетрюдовскую эру.

Но бывший лидер ждал. Опытный политический носорог, как именовали Трюдо противники, в прохладные дни поздней осени зашевелился, отряхнул с себя песок, которм, казалось, был уже засыпан, посмотрел направо, налево, оглядел поредевшие ряды своих сторонников, взял на заметку отступников и равнодушных. Теперь он лучше знал цену каждому, да и о себе узнал больше чем когда бы то ни было, ибо о нем и друзья и враги говорили уже в прошедшем времени. Это была серьезная ошибка многих из политического истеблишмента, она дорого им обошлась.

Свалившим П. Трюдо консерваторам не суждено было стать политическими долгожителями. Удача в мае вскружила голову, притупила политический инстинкт партии, откровенно угнездившейся в американских объятиях. Всего через полгода с небольшим премьер-министр Джо Кларк и его компания получили вотум недоверия. И когда встал вопрос о новых выборах, партия либералов все еще была у разбитого корыта. Ни вождя, ни надежд, ни энергии бороться — все надо было начинать сначала.

Но выход оказался прост. Настолько прост, что не все сразу поняли, что случилось, не ухватили, что сначала уход, а затем возвращение преждевременно осмеянного отставника на арену политики было всего лишь продуманным шагом. Теперь он возвращался уже в роли спасителя не только партии и должностей для ее верхушки, но и в качестве мессии, который, как надеялись, способен вывести страну из того хаоса, в котором она оказалась в результате правления консерваторов.

Говорят порой, что П. Трюдо, отобрав у Дж. Кларка ключи храма, начал свой рутинный бег вокруг тех же проблем и вопросов, которые не в состоянии был решить за прошедшее десятилетие своего премьерства. Едва ли! Пожалуй, вернее утверждать, что канадский премьер-министр вернулся на круги своя обогащенным, имея более сильную поддержку в партии и стране. «Смотрите, — как бы говорил он, — вы отвергли меня, но быстро пришли ко мне вновь. Я готов еще послужить своему народу, но я прошу послушания и верности. Теперь никто не должен сомневаться, что только я могу решить проблемы, которые оказались камнем преткновения на моих политических дорожках, разрубить тернии, опутавшие идеалы, надежды и великие цели, стоящие перед восходящей страной — Канадой».

Но обретенное лидерство еще не означало победы на выборах. П. Трюдо не рисковал, ведь совсем недавно он потерпел поражение от молодого политика Дж. Кларка. Хотя за спиной последнего и была мощная поддержка американских нефтяных монополий в Канаде и других континенталистских сил в политических и государственных кабинетах, все же победа Дж. Кларка не представляла победы какой-то новой философии власти, а скорее демонстрировала недовольство либералами. П. Трюдо смог увидеть воочию, хотя не мог не знать об этом раньше, что американские корпорации открыто поддерживают консерваторов.

Урок был жестокий, безжалостный и требовал действий, программы. И не тех неоконсервативных позывов в деятельности П. Трюдо, доминировавших последние два года перед поражением, не поправления во внешних и внутренних делах, которым аплодировали проамериканская пресса и большой бизнес. Аплодировали, но спасти от поражения не захотели.

Урок прошлого оказался простым: потерял лицо, потерял власть.

Политическая программа была очевидной, обсуждалась годы. С ней кокетничали

многие политические деятели. На ней сломали голову немало честных патриотов. Такой программой был национализм в его канадском варианте, означавшем стремление к независимости от диктата США. И дело, собственно, было не в программе, а в возможностях ее осуществления. Возможность победить — минимальная, возможность потерять все — вполне реальная.

В сущности, на всю эту программу до сих пор смотрят с подозрением, равно как и с надеждой. Одни даже видят в ней антиканадский заговор, долженствующий окончательно доказать тщетность борьбы за независимость и неизбежность победы континентализма, то есть похоронную песню Канаде. Другие — честное намерение достичь цели, диктуемое дальновидностью, пониманием того, что не США, а Канаде принадлежит место под солнцем, если и дальше традиционные ресурсы энергии сохранят сегодняшнее значение. Которую из них исповедуют либералы, утверждать преждевременно. Но в любом случае отбросить национализм в его экономической неотрафовке сейчас уже нелегко. Нелегко потому, что канадцы, как отметила столичная «Ситизен», «глубинами их душ чувствуют», что отдают американцам слишком много, что временами они на краю «полной абсорбции».

Средства массовой информации, по крайней мере наиболее мощные из них, не в восторге от идеи экономического национализма, как, впрочем, и от его апостола П. Трюдо. Но идея пробивается, хотя и медленно, через проамериканские пропагандистские барьеры. И лишь франкоязычная пресса нет-нет да и выпадет из цепи, опутавшей волю и сознание канадцев. Ярким примером прорыва может служить полуторачасовой репортаж, переданный по французскому каналу телевидения весной 1981 года. Журналистка Лиз Бисонет назвала его «Американское засилье». Свой рассказ она начала с культуры как наиболее осязаемого явления, свидетельствующего сателлитное положение Канады и в этой области. Канада — широкий рынок для американской массовой культуры: книг, кино, телевидения, радио, музыки и др. Из всех фильмов, идущих в Канаде, лишь 3—4 процента канадские. Только 8 процентов грампластинок, продающихся в Канаде, — канадские. Жители Торонто ежедневно смотрят 8 американских телепередач и только одну канадскую. Много и других примеров американского духовного экспансионизма.

Как же канадцы относятся к такой несурзности? Большинство пока равнодушно. Это не трогает их, это не цены на бензин. Но есть и резко возражающие. Вот что говорит один из писателей Торонто: американская культура является «враждебной для канадцев», которые «должны выбросить ее за дверь» и бороться за создание своей «собственной национальной культуры». Жизнь в условиях американской культуры — это «настоящая трагедия для канадцев». Только «путем борьбы можно выйти из этого состояния».

Ничего не скажешь, похвальное намерение.

Иное мнение у Ж. Годбу — франкоканадского писателя, одного из отцов «тихой революции» в Квебеке 60-х годов. Канадцы, рассуждает он, получили от США самое важное — научились «свободе» мысли и самовыражения. Американская культура — это и канадская культура: не случайно, мол, канадцы чувствуют себя в США как дома. И плохо не то, что канадцев считают американцами, а то, что канадцы не знают, что они американцы.

Заметим, что подобные настроения свили довольно прочное гнездо, пропаганда этих идей хорошо финансируется, имеет хорошую экономическую базу в виде американского экономического господства в этой стране.

История экономических отношений Канады и США — это не история любви, дружбы и добрососедства, как думают некоторые, замечает Бисонет. Для американцев Канада всегда была резервом сырья, покупателем готовых изделий, филиалом, заемщиком. Экономика Канады сложилась под гнетом США.

Только за тридцать лет — с 1948 по 1978 год — Канада получила 34 миллиарда иностранных инвестиций, из которых примерно 90 процентов из США. За это же время было вывезено из Канады 84 миллиарда долларов в форме процентов, дивидендов, оплаты услуг и др.¹ Иностранные, главным образом американские, компании использо-

¹ Если в 1972—1973 годах затраты правительства на покрытие долгов и процентов составляли 2,2 миллиарда долларов, то через десять лет по бюджету на 1982/83 финансовый год, статья расходов на эти цели увеличена до 16,8 миллиарда долларов; 23 цента от каждого доллара канадского налогоплательщика идет на выплату процентов по государственному долгу, общая сумма которого возросла за последние десять лет с 18 до 122 миллиардов долларов (The Gazette, February 27, 1982).

вали не только свои прибыли, но и деньги канадских банков, чтобы обеспечить колоссальное увеличение своих авуаров, общая сумма которых превышает 100 миллиардов долларов.

По последним данным на конец 1978 года, американские инвестиции превышают 73 миллиарда долларов, что составляет три четверти всех иностранных инвестиций в Канаде. Наибольшая часть из них — прямые инвестиции, что позволяет американцам фактически управлять всей канадской экономикой. Американцы контролируют свыше 4 тысяч различных компаний и фирм, действующих в Канаде. Гигантские суммы американских инвестиций породили качественно новую тенденцию в двухсторонних экономических отношениях. Она проявляется в том, что поток прямых инвестиций уменьшается, а собственность американских корпораций в Канаде увеличивается за счет реинвестиции прибылей.

Канадские бизнесмены, опрошенные Бисонет, были единодушны в своем мнении. Они подтвердили, что засилье американского капитала является губительным для Канады. Спасение от полного поглощения Соединенными Штатами бизнесмены видят в национальном самоутверждении. По их словам, Канада находится в тени сверхдержавы, которая «самым агрессивным образом навязывает ей свою культуру, защищая лишь свои собственные интересы; живя рядом с таким гигантом, канадцы должны быть националистами, иначе они потеряют страну».

В передаче счел возможным принять участие и нынешний министр энергетики, шахт и ресурсов М. Лалонд, один из наиболее последовательных экономических националистов, — свидетельство того, что телепрограмма получила благословение свыше. Этим она и привлекла внимание.

О канадо-американских отношениях министр говорил без уверток. За последние двадцать лет, рассуждал он, заметное развитие получили чувства национального самосознания, «диктующие необходимость борьбы против экономического и политического господства США». Выражая эти настроения, канадское правительство, особенно под руководством Пьера Трюдо, начало проявлять «твердую волю добиваться контроля над экономическим и политическим развитием страны». Наиболее эффективными средствами на этом пути правительство, по словам Лалонда, считает «национализацию иностранной собственности» и создание новых национальных предприятий. Основное завоевание сейчас — это «Петро-Кэнада» (государственная нефтяная корпорация). Важная роль в канадизации экономики отводится учрежденным федеральным правительством Корпорации развития Канады и Агентству по контролю иностранных инвестиций. Но тут же признаётся, что практическая эффективность этих учреждений довольно низка².

О степени накала страстей, когда речь пошла о дележе доходов, говорят заявления американских толстосумов, прозвучавшие в той же программе. Злобность крепостников-господ нашла естественный выход. Американцы не стеснялись, они были наглы в своей искренности и искренни в своей наглости. «Мы, американцы, — гневался один из них, — ожидали, что правительство Трюдо пойдет и дальше по пути канадизации, но мы никак не думали, что оно будет «принимать столь зверские меры». Пслитика канадизации — это «глупая политика, это политика глупцов». Но хозяин не только сердился — он грозил. Канадцы должны помнить, что рядом с ними гигант, который «хочет быть с ними любезен», но «который, если они пойдут слишком далеко, просто их раздавит». США — это «горилла», а Канада — «маленькая мышка».

Другой американец на словах был вежливее, но столь же откровенен в выводах. Он ограничился проповедью о мрачном будущем Канады. Чтобы развивать свою экономику, Канаде нужны инвестиции, но если не будут создаваться благоприятные условия для американцев, они заберут деньги обратно. У Канады нет своих денег, она не в состоянии обеспечить необходимое инвестирование своей экономики. Канадцы хотят взять весь нефтяной сектор, но для этого нужны 1—2 тысячи миллиардов долларов — сумма, которая Канаде не под силу, следовательно, они должны признать: «независимость, о которой они мечтают, невозможна», Канада — это «экономический сателлит США».

Подобные откровения обидели даже Бисонет, хотя ее профессия приучает ничему не удивляться. «Понимаете ли вы, — спросила она одного из самодовольных янки, — что,

² Так, за семь лет своего существования (с апреля 1974 по март 1981 года) агентство рассмотрело 2,7 тысячи предложений инвесторов и только на 9 процентов из них ответило отказом.

говоря таким образом, вы оскорбляете канадцев?» Вопрос не смутил американца. «Возможно,— сказал он,— но канадцы должны перестать быть глупцами. Ведь если американцы закроют свои границы для инвестиций и товаров, то произойдет крах».

А что же министр М. Лалонд? К чести его, он не дал себя запугать, заявив почти дословно следующее:

— Американцы имеют свои интересы повсюду. Они хотят, чтобы Канада была частью США. Сейчас пропагандистская машина в США настроена против нас, и это мы знаем. Но мы должны сами определить свои цели и приоритеты и твердо стоять на своем. Только тогда американцы будут вынуждены считаться с нами.

Представители канадского национального капитала, национальной буржуазии не колебались в поддержке политики канадизации экономики. Один из них заявил:

— Правительство Канады должно проявить твердость, не бояться, что американцы уйдут из нашей страны. Пусть уходят, даже если будут руководствоваться идеологическими мотивами, как было с Кубой. Их уход создаст для нас проблемы, в частности вызовет рост безработицы. Но это временные проблемы. Трагедии не будет³.

Помимо экономического засилья, одно из средств, с помощью которых южный сосед пытается «держать Канаду крепко привязанной к своей колеснице»,— интеграционизм. Американцам помогает, что в США имеется более 10 миллиардов долларов канадских инвестиций⁴, позволяющих контролировать предприятия с общим капиталом в 20 миллиардов долларов. Используя данный факт, американский бизнес через собственную «свободную прессу» постоянно навязывает представление, что для деловых людей «не существует ни США, ни Канады», а лишь широкое поле приложения капиталов, называемое Северной Америкой.

Один из инструментов политики интеграции в отношении Канады — ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле). Уже с 1981 года примерно 85 процентов американских товаров льется в Канаду без таможенных пошлин, а около 95 процентов канадских товаров — в США. Канадцев беспокоят «нынешние и будущие трудности», которые создаст эта «свободная торговля» для экономики Канады: если в общем объеме американской внешней торговли доля Канады составляет около 20 процентов, то в канадской внешней торговле США принадлежит 70 процентов. И здесь канадцы снова проигрывают⁵. Печально знаменитый «автопакт» приносит Канаде только проблемы и хронический дефицит, сумма которого в 1981 году составила 3 миллиарда долларов.

Неоколониальная экономическая зависимость от США безжалостно бьет по политическим амбициям Канады, особенно если учесть, что бесцеремонные американские властители не принимают Канаду всерьез. В своих мемуарах объемом в 1500 страниц Г. Кисинджер отвел анализу американско-канадских отношений всего 50 строк, в частности заявив, что протест Канады против господства США больше символичен, чем серьезен. В этих словах вся трагедия Канады: если для империи Вашингтона отношения с Канадой даже не часть внешней политики, то для Оттавы отношения с США — это почти вся ее внешняя политика.

Американцы рассматривают Канаду «как продолжение Соединенных Штатов». Однако, по мнению американского обозревателя, прозвучавшему с телеэкрана, Канада развивается в совершенно ином направлении, чем США: «Правительство Канады склоняется влево, тогда как США — резко вправо. Совершенно очевидно, что канадский национализм будет встречать твердое противодействие со стороны нынешней американской администрации, опирающейся на крупные монополии. В отношениях между американским и канадским правительствами неизбежны серьезные трудности»,— предсказывает американец.

³ В течение года (с 28 октября 1980 года, когда правительством П. Трюдо была провозглашена политика канадизации энергетической промышленности) собственность и контроль Канады в нефтяной промышленности увеличились с 28 до 35 процентов. За этот период канадцами было выкуплено 11 крупных нефтегазовых корпораций, среди которых такие, как «Петро-Фина» (приобретена государственной компанией «Петро-Канада»), «Конок Инк» (куплена «Домом Петролеум»), «Сан Компани» (приобретена провинциальной «Онтарио энеджи корпорейшн»).

⁴ По данным на начало 1981 года, Канада занимала третье место среди инвесторов в США (после Голландии — 16,2 миллиарда долларов и Англии — 11,3 миллиарда долларов) (Business Life, February, 1982, p. 52).

⁵ Дефицит Канады по готовым изделиям в 1981 году возрос до 20 миллиардов долларов (Summary of internal trade, December, 1981).

В условиях похолодания климата отношений вновь в противовес канадскому национализму развязно звучала идея континентализма — альфа и омега американского империализма на этом континенте. Р. Рейган и его команда, набранная из управляющих или агентов крупнейших корпораций, провозгласили желание США «вступить в союз трех государств». Обоснования просты: Северная Америка — район огромных территориальных, природных, технологических и людских ресурсов, на основе которых можно создать невообразимо мощный и совершенно автономный «общий рынок»; в рамках этого рынка США, Канада и Мексика, объединив усилия, смогли бы добиться небывалых успехов.

Скажем так: чего уж лучше, прибрать к рукам нефтяные и другие природные ресурсы Мексики и Канады и за счет этого попытаться избежать экономических и социальных потрясений, которые с неизбежностью надвигаются на США.

Карлос Пуэнтес, мексиканский поэт и писатель, бывший посол Мексики во Франции, заявил во время передачи:

— Идея Рейгана не нова. Это «империалистическая идея американских монополий», которая совершенно неприемлема для Мексики и Канады. Выдвигая ее, американцы нацеливаются прежде всего на 200 миллиардов баррелей мексиканской нефти. Но ведь США сами имеют большие стратегические запасы нефти, которые, если их объединить с канадской нефтью, составили бы около 700 миллиардов баррелей. Нетрудно догадаться, что американская политика состоит в том, чтобы сохранить свои запасы невосстановливаемых ресурсов, в частности нефти, к 2000, 2010, 2020 годам и затем предстать перед миром монополистами этих ресурсов. Это игра, которую надо учитывать, и не поддаваться американцам. В отношениях с США надо проявлять высокую бдительность, — добавил мексиканец.

Канадский министр М. Лалонд выбирал слова помягче.

— Ни Канада, ни Мексика, — сказал он, — не заинтересованы в осуществлении идеи американцев о тройственном союзе. Интересам Канады и Мексики больше соответствуют двухсторонние отношения с США, а в случае необходимости все три партнера могут прибегнуть к совместным консультациям.

Обеспокоенный канадский обозреватель (большинство из них вздрагивают, когда речь заходит о критике США) заявил, что канадцы «не будут отказываться от добрососедства с США». Ответ Пуэнтеса:

— Я не против добрососедства с США. Кстати, именно благодаря этому добрососедству Мексика и смогла утвердить себя. Мексика обрела свою индивидуальность именно потому, что находится в одной клетке со слоном, являясь по сравнению с ним моськой. Находясь в таком положении, нам надо постоянно утверждать себя, а для этого необходимо быть хитрее слона.

По словам Бисонет, она хотела «показать масштабы существующих и назревающих конфликтов в канадо-американских отношениях в свете нового этапа канадского национализма, или канадизации». Перспективы отношений не дают оснований для оптимизма, ибо канадизация, будучи «естественной реакцией на прямой контроль американцев в экономике и политике Канады», который «столь огромен, что не сравним ни с каким иностранным контролем в любой другой индустриально развитой стране», встречает жесткое сопротивление США. Сегодня трудности увеличились, поскольку у руля правления в США оказался такой охранитель «большого бизнеса», как Р. Рейган. Американские транснациональные монополии, не знающие жалости и не ведающие чувств угрызания совести, могут пойти на крайние меры. Канаду ждут драматические перемены — в ту или другую сторону.

В передаче принимал участие Мел Хёртиг, известный здесь сторонник национальной политики канадской независимости. Бывший активист либеральной партии, он покинул ее, выразив тем самым несогласие с ее «равнодушием к национальным интересам Канады». Я не привел его высказываний в ходе телевизионной программы. Они были резки, возможно, слишком резки, но, как всегда, аргументированы. Кажется, что в его обвинениях порой доминирует раздражение, но идея, которую он отстаивает, вполне извиняет в некотором роде непарламентскую форму его речей. Он упорно и давно защищает концепцию независимости страны. Взять хотя бы его рассуждения, относящиеся еще к 1975 году. В газете «Торонто стар» от 1 июля (день канадского национального праздника) он подводил горестные итоги борьбы за независимость. Национализм стал

«разрешенным», даже «официальным» явлением, но обстановка ухудшилась. Парадокс состоит в том, что «новые националисты» выиграли много сражений, но «проиграли войну в целом». Иностранная собственность растет ускоряющимися темпами, каждую неделю иностранцы скупают по одной компании. Канадские земли и ресурсы распродаются. Каждый месяц появляются новые иностранные корпорации. И ежедневно из Канады улетает в США до 600 тысяч долларов в качестве прибылей и «оплаты за услуги».

За истекшие годы националисты, по словам Хёртига, произнесли тысячи речей, организовали сотни передач по телевидению и радио, издали много документов, приняли участие в десятках дискуссий, отстаивая простую истину: если увеличивается иностранная собственность, то уменьшается канадский контроль, усиливается угроза национальной экономике, ее уязвимость, растет зависимость страны, снижается способность к сопротивлению иностранной экономической и политической интервенции.

Но воз и ныне там. Мел Хёртиг резок. Он пишет, что ждать от федеральных либералов эффективных действий — это равнозначно надежде на то, чтобы Ксавера Холландер⁶ начала бы носить пояс целомудрия. Многие канадцы устали от бесплодных поисков того, кто они такие. Они хорошо это знают и без дискуссий. Пустые риторические упражнения на этот счет служат одному: отвлечь внимание канадцев от куда более важной и жизненной проблемы — борьбы за национальную независимость. Ответственность за распродажу Канады Хёртиг возлагает на правительство. А коль так, делает он вывод, «новые националисты» должны бороться за власть, исходя из того, что все меньше и меньше канадцев согласны с грабежом национальных ресурсов. Надо изменить характер одной из существующих партий или создать новую — таков вывод Хёртига.

Трудно сказать, услышан ли был этот призыв. Скорее нет, тем более в 1975 году. Но через пять лет, когда либералы вдоволь накупались в грязи выборов и унижительного поражения, «новый национализм» обрел и новое дыхание, теперь официальное. Он стал спасительным веслом, вновь повернувшим либералов к вожделенному берегу власти.

И все же был известный парадокс в том, что именно либералы ухватились за древко этого знамени. Ведь это партия С. Д. Хоу (американец, ставший канадским министром), который был особенно активен в продаже канадской экономики американцам, это партия Л. Пирсона, соорудившая удобное канадское гнездышко где-то в складках мощного крыла американского орла, партия П. Трюдо, клеймившая национализм и выступавшая за «свободу торговли и интернационализма в экономике». А еще раньше, в дни своего рождения, она гордилась своей ролью проамериканского лобби.

И вдруг новый словарь: экономический национализм, прагматизм, рационализм, независимость, консервация природных ресурсов, канадизация. И в этом контексте, в этой путанице слов, явлений и позиций в феврале 1980 года к власти пришла та же партия, но в чем-то и другая. Заимствованные либералами у лоялистов лозунги сдвинули консерваторов вправо, а для НДП оставили политическое пространство, где вполне могли развиться радикалы из либералов.

Все было забыто: и то, что национализм приравнивался к сумасшествию, расизму, фашизму; и то, что именно при либеральных правительствах происходила самая активная распродажа канадских ресурсов. Сам П. Трюдо объяснил исторический пируэт довольно просто. Он и сейчас против национализма как доктрины, но в качестве практического императива — другое дело. Когда иностранные компании пускают на ветер канадские фирмы, последние нужно защищать. Словом, программная концепция пришла в противоречие с реальностями жизни. Противоборство родило канадизацию. Канадские и американские интересы теперь уже неидентичны, говорит П. Трюдо. Имеется расхождение интересов по «многим экономическим и политическим вопросам». Задача канадской политики в этой связи — «установить дистанцию между нами и американским гигантом». Другие представители околотрюдовской элиты также объявили себя националистами, как если бы они, а не консерваторы еще в начале нынешнего века носились с лозунгом «нет торговле с янки!».

Итак, партия либералов, идейную платформу которой Маккензи Кинг обвенчал с американской демагогией о свободе, прогрессе, демократии, стала канадской партией. Здесь рассказывают, что после поражения в 1979 году трое из самых близких П. Трюдо людей — К. Дэви, Дж. Кутс, Т. Аксурти — могли оказаться козлами отпущения. Все

⁶ Ксавера Холландер написала известный бестселлер о самой себе в годы недостаточно скромной молодости.

трое относились к числу «яйцеголовых», ярких индивидуальностей. Им не улыбалась публичная порка за просчеты в избирательной кампании. Будучи сторонниками и учениками теоретика современного канадского национализма Уолтера Гордона, изгнанного в свое время за эту «ересь» с поста министра в правительстве Пирсона, они вернулись к старой идее, полагая, что она излечит партию от нетерпимости, от элитизма, приблизит ее к интересам «маленького человека», а заодно спасет и их собственные судьбы. По крайней мере, только они оказались в это время «всеобщего партийного плача» людьми с идеями, пусть старыми, но работающими. Национализм их усилиями стал трансформироваться в «умный бизнес» и «остроумную политику» на базе того, что канадцы, как оказалось, хотели остаться канадцами.

Предштурмовые ветры национализма породили бурные дни в Оттаве и Вашингтоне. Впервые за многие годы эмоции взаимного неуважения и взаимных претензий выплеснулись за искусственные барьеры, сооруженные обоюдным согласием сторон по принципу не выносить сор из избы. Этот принцип долгое время служил целям экономической колонизации Канады. И надо признать, американцы достигли беспрецедентных в современной истории успехов. От 50 до 90 процентов собственности в ряде ведущих отраслей экономики принадлежит американским корпорациям, в то время как канадский «контроль» в экономике США составляет менее 0,5 процента. Распродажа богатейших канадских ресурсов долгие годы шла полным ходом, пока канадцы не обнаружили тот простой факт, что их страна стала экономической колонией США. Возможно, и дальше все шло бы привычным путем, не прояви американцы в последнее время полного и открытого пренебрежения к канадским интересам даже по незначительным вопросам. Американские правящие круги продолжают держаться традиционной точки зрения, отводящей Канаде роль заднего двора: склада природных ресурсов, прибыльных капиталовложений в экономике и услужливой марионетки в политике. Высокомерие и самоуверенность подвели американцев и на сей раз. Просчеты очевидны, и как раз поэтому американцы столь несдержанно наглы в «войне слов» с Канадой, за которой, впрочем, скрываются вполне реальные экономические интересы.

О чем конкретно идет речь?

Что касается канадских претензий, то их можно свести к четырем: а) экономическое доминирование американских монополий, угрожающее суверенитету страны; б) равнодушие американцев к просьбам Канады принять меры по уменьшению катастрофического действия кислотных дождей от американских промышленных предприятий, тех, что на границе с Канадой, уже уничтоживших жизнь в тысячах канадских озер и продолжающих убивать плодородие полей и лесов; в) отказ американцев признать законные права канадцев регулировать рыболовство в районе Джордж-бэнка; расхищение рыбных запасов американцами усиливается, а «рыбной войне», как ее здесь называют, не видно конца; г) администрация Рейгана практически тормовзит выполнение обещания Картера по строительству газопровода с Аляски в США через территорию Канады. Стоимость всего проекта оценивается в 40 миллиардов долларов, значительная часть затрат предусматривается в Канаде. Осуществление проекта продвинуло бы вперед развитие Западной Канады и смогло бы ослабить неприязнь Западных провинций к правительству Трюдо.

Американские претензии, их тоже четыре: а) недовольство программой канадизации экономики Канады, в частности нефтяной и газовой промышленности; Канада хотела бы довести канадскую собственность в этих отраслях до 50 процентов, снизив, естественно, долю американских корпораций; б) обвинения в «дискриминации американского бизнеса» в связи с деятельностью канадского Агентства по контролю иностранных инвестиций; это агентство должно, по замыслу Оттавы, отдавать предпочтение канадским капиталовложениям; в) жалобы относительно того, что канадская энергетическая и инвестиционная политика поощряет канадский бизнес расширять его деятельность в США⁷; г) требования США увеличить канадские военные расходы, которые, по мнению американцев, ниже уровня, о котором ранее достигнута договоренность.

Таким образом, кроме крикливой риторики, которой богата политическая жизнь этой страны, в операции «национализм» есть и реальное содержание. Цитированный выше Хёртиг называет принимаемые меры слишком скромными и запоздалыми. На той же ноте звучат рассуждения и политического советника П. Трюдо Тома Аксуорти: всегда

⁷ С апреля прошлого на начало 1982 года в США было открыто около 300 предствительств канадских нефтегазовых корпораций.

мы «делаем слишком мало и слишком поздно». Многих деятелей посещает ныне бравая идея независимости, но победителем всегда выходит магическая осторожность: порой чтобы прикрыть бездеятельность и трусость, а порой как результат реальной оценки вещей и собственного будущего. В Канаде лучше чем где-либо знают нрав южного соседа, который не моргнув может заживо проглотить страну кленового листа вместе с ее арктическими льдами.

Само обострение отношений часть обозревателей видит в «идеологическом несовпадении», разных философских концепциях двух администраций, особенно их лидеров — Р. Рейгана и П. Трюдо. Сомнений нет, это разные люди и по политическому опыту, и по образованию, и по интеллекту, и по политическому инстинкту с точки зрения степени понимания и анализа той или иной ситуации. Но нет сомнений и в том, что они дети одного класса, политические слуги однопорядковых экономических интересов. В этом плане поиски «идеологических несовпадений» — задача несерьезная.

За нынешними столкновениями стоят экономические интересы. Суть их в осознании канадцами прямой опасности полного поглощения американцами канадской экономики с последующей и неизбежной политической аннексией. К тому же в кругах национальной канадской буржуазии вызрела идея, согласно которой овладение энергетическими ресурсами усилит их конкурентоспособность. Увеличит прибыли, поднимет политическое влияние. Таким образом, путь к дополнительному обогащению найден на путях канадизации Канады. Обнаружилось также, что, несмотря на обстановку «духовного колониализма», полного информационного засилья американских манипуляторов общественным мнением в Канаде, подавляющее большинство населения этой страны согласно опросам высказывается за политику независимости Канады, за освобождение от американского господства.

Американцы, кажется, уловили сам факт перемен, но тактика их осталась прежней — это грубый нажим, окрики, угрозы и т. д. Характер риторики в нынешней «войне слов» хорошо демонстрирует фактическое положение спорящих сторон. Канадцы скорее просят, чем настаивают, уверяют американцев в своей традиционной дружбе, в общности принципиальных ценностей, клянутся в верности, иногда пытаются свести дело к шутке. Например, советуют американцам захватить заложников в канадском посольстве в Вашингтоне, с тем чтобы понудить упрямых канадцев к уступчивости. Предложение о направлении канадского полицейского наряда в Белый дом для защиты канадских интересов — также из юмора подобного рода.

Язык американцев совсем иной. Это язык колонизатора с дубинкой, требующего немедленного наказания непослушного, пожелавшего съесть собственный хлеб. В июне — июле 1981 года перед рабочей встречей Рейган — Трюдо в Вашингтоне (10 июля) американцы провели «силовой прием», организовав в комитетах конгресса обсуждение канадской энергетической программы. Канадцев предупредили о возможности наказания за плохое поведение и за непочтительное отношение к американским нефтяным королям. Грубость и наглость тона американцев по отношению к канадцам вынудила даже некоторые газеты в Канаде, обычно раболепно защищающие американские интересы, прежде всего военно-промышленного комплекса США, «сморщить физиономии» первых полос. Поведение американцев было охарактеризовано как «экономический империализм», а наскоки — обычной американской «патентованной чепухой».

Кажется, что в конце концов обе стороны согласились охладить страсти, дав указание «свободной» печати быть поаккуратнее в ее риторических упражнениях. Оба правительства заменили своих послов. Проблемы, однако, не перестали быть острыми и животрепещущими, особенно для Канады, затеявшей сложную игру, в которую вовлечены многие вопросы внутреннего характера.

Итак, внутренние проблемы преобладают в сегодняшней жизни страны. Но не полностью. В игру включены и международные проблемы: Канада, в сущности, значительную часть своей послевоенной истории плелась в хвосте американской внешней политики, не задумываясь особо о своем пути и своей ответственности. Появились, однако, в последние годы и моменты, свидетельствующие о том, что укрепляется и такой феномен, как национальная внешняя политика. Лидеры страны в последние полтора десятка лет смогли обнародовать и собственное мнение, например, по агрессии США во Вьетнаме, по американской блокаде Кубы, по разоружению и нераспространению атомного оружия. Двусмыслия и лицемерия предостаточно в канадских подходах и к этим и к другим вопросам, однако определенная доля независимости оценок говорила о возраста-

нии роли страны в международных делах. Поездка П. Трюдо в Советский Союз в 1971 году была также существенным вкладом в процесс разрядки международной обстановки, инициативой, имевшей долговременные позитивные последствия.

Кратковременное правление консерваторов обозначило резкий крен в сторону проамериканизма. Позиция канадских стратегов внешней политики была проста до примитивизма: следовать за США везде и всюду и не выдумывать собственную политику. Но как это нередко бывает, примитивизм породил ответную реакцию, он взбудоражил националистов, мобилизовал тех, кто сумел увидеть в американском «жестком курсе» шарлаганское надобье. Иными словами, поворот США ко второй «холодной войне» вызвал настороженность и тех реалистических кругов в Канаде, которые отдавали себе отчет в последствиях такого поворота, разглядели в геополитических оргиях и бредовых заклинаниях американских милитаристов реальное намерение ввергнуть мир в термоядерную катастрофу. В результате проамериканизм тори вызвал первую за всю историю Канады массовую дискуссию о канадской внешней политике. Оказалось, что консерваторы ошиблись, когда уверовали, что канадцы безоглядно поддержат их в безоглядном проамериканизме, поскольку, мол, канадцев никогда не интересовали международные проблемы. Интересовали, однако. Даже «Торонто стар», отражающая интересы большого бизнеса, обеспокоенно заметила, что события последних недель выдвигают Канаду «на передний край новой «холодной войны»...». Канадцы приветствуют тот факт, что международные отношения неожиданно стали предметом обсуждения в предвыборной кампании, но их беспокоит, что ястребиные настроения угрожают «толкнуть Канаду на резкие изменения внешней политики». В этом плане, как сказал Бернард Вуд, директор института «Север — Юг», нам «не следует лезть из кожи вон, чтобы следовать за американцами; ведь речь идет о канадских интересах». Ричард Хармстон, исполнительный директор Канадского совета по вопросам международного сотрудничества, предупреждал, что настроения новой «холодной войны» могут «повредить исторической роли Канады как влиятельной средней державы». «Обычно в том, что касается политического реагирования, следует подождать и подумать», — добавляет Полина Джуитт, критик по внешней политике от НДП и бывший ректор университета Саймона Фрейзера. — Опасно вести стрельбу с бедра, не целясь».

Подобные предупреждения были настойчивыми, но консерваторы игнорировали их, они быстро сползли на марионеточные позиции. Как проговорился Дж. Кларк в интервью 11 января 1980 года, «мы можем использовать деликатную международную ситуацию в игре с общественным мнением, особенно когда в Канаде и без того существуют довольно значительные антисоветские настроения». Дж. Кларк начал униженно обхаживать эмигрантские националистические аудитории в Торонто тирадами против советского «экспансионизма», обещая активизировать участие Канады в НАТО и солидаризуясь с США по всем вопросам. Кларк настаивал: «Мы долгое время опасались США; мы видели тень там, где, быть может, ее и не было». При этом игнорировалась вся фактическая история отношений двух стран.

Первое время недолгой предвыборной кампании лидер либералов П. Трюдо был воплощением осторожности. Но вскоре и он включился в погоню за голосами на основе фразеологии «холодной войны».

Лидер новой демократической партии Эд Бробент тоже не терял времени, чтобы поиграть в ястреба.

Разумеется, все трое отвергли обвинение в том, что они пытаются нажить капитал на внешнеполитических проблемах, но мало кто поверил им.

Казалось полезным, что внешнеполитические проблемы стали предметом активного обсуждения, но предвыборная атмосфера погони за голосами свела все дело к очередному «промыванию мозгов» в плане поддержки внешней политики США. Это, разумеется, не позволяло серьезно рассмотреть ту роль, которую Канада играет или должна играть в мире. Больше того, в избирательной суете все три лидера основных партий вели, похоже, бой с собственными тенями. Например, Дж. Кларк утверждал, что Трюдо подвергал риску безопасность Канады, сократив обязательства перед НАТО и начав «опасное сближение с Советским Союзом». Но в первые недели деятельности своей администрация Кларк занял ту же позицию по разрядке, что и Трюдо, так как именно такая позиция давала Канаде необходимый международный вес. Однако в дальнейшем Трюдо присоединился к союзникам, обязавшись гарантировать ежегодные трехпроцентные увеличение расходов на оборону.

П. Трюдо заявлял, что правительство Кларка «потеряло уважение союзников» из-за тенденции вести «внешнюю политику с обратным адресом». В действительности же антисоветизм Кларка приветствовался многими лидерами Запада.

В целом предвыборная риторика мало что давала для понимания существа дела, она подталкивала людей к размышлениям. Вспомнили, например, что канадская дипломатия 70-х годов пыталась придать более широкий контекст своей внешнеполитической доктрине, стремясь укрепить мосты сотрудничества со странами социализма и развивающимися странами. В 1955 году Лестер Пирсон был первым западным министром иностранных дел, посетившим Советский Союз. Антикоммунизм оставался инструментом внешней политики, но в практическом плане Канада поддерживала идею развития диалога между Востоком и Западом. В первые годы пребывания П. Трюдо на посту премьера такой подход часто интерпретировался как свидетельство ненадежности Канады в системе западного союза. И все же, несмотря на неодобрение со стороны США, Трюдо продолжал политику диверсификации, включая улучшение отношений с социалистическими странами. П. Трюдо сократил количество своих военнослужащих в Европе до 5 тысяч, заморозил военный бюджет. Он заявил, что Канада открывает «третий выбор»: нам не стоит пытаться управлять миром — нам следует попытаться подумать о своей стране, говорил он. Это была попытка заменить фарисейский морализм, характеризовавший отношение Запада к Востоку, прагматической политикой уравнивания национальных и международных интересов. На этом пути Канада завоевала неплохую международную репутацию.

Но линия разрядки международной напряженности, как теперь ясно, пришла в противоречие с интересами американского военно-промышленного комплекса, который начал поворачивать правительственную машину в сторону более агрессивной политики по захвату рынков сбыта и источников сырья. Незэквивалентность обмена сырья из развивающихся стран на готовую продукцию западных держав поддерживает нынешний жизненный уровень значительной части населения Запада, обеспечивает рост прибылей и сверхприбылей монополий. На смену открытому колониальному грабежу пришла неоколониалистская грабительская торговля. В первом Канада участвовала косвенно, по принципу «крохи с барского стола», второе вполне устраивает экономическую элиту этой страны. О том, что социальная стабильность в западных странах решающим образом зависит от грабежа сырья в развивающихся странах, говорит вся история повышения цен на нефть. Уже первые попытки наведения более справедливого порядка в ценах на это сырье вызвали кризисные явления в экономике США, серьезно перепугали американскую plutократию.

Реалистическое понимание общей мировой обстановки существует в определенных кругах Канады, включая и правящие. В стране продолжают признавать необходимость разрядки международной обстановки, которая расширяет поле канадского маневрирования. Но постепенно американская злобная демагогия психологической войны и прямой нажим на Канаду дают себя знать. Воинственным выкрикам дано больше простора, спущены с цепи правозащитные силы из эмигрантского националистического отребья. Но присутствует и другое, а именно то, что нынешняя политика экономического национализма содержит и некий шантаж по ряду вопросов внешней политики. Министр иностранных дел при консерваторе Флора Макдональд пыталась стать звездой дипломатии, размечтавшись возглавить крестовый поход за права человека, разумеется не в Канаде. Теперь никто не вспоминает ее любительские эксперименты во внешней политике. Но наследие фарисейства осталось на вооружении и поныне. Канадцы готовы повторять набившие оскомину угрозы о «советском международном терроризме», «советской военной опасности», но в обмен за послабление «хозяйского» режима в собственной стране.

П. Трюдо на просьбу Р. Рейгана встретиться в Оттаве где-то после рождества (в начале 1981 года) ответил отказом, сказав, что время для него не является удобным. Когда в марте 1981 года Р. Рейган все же посетил Канаду, он был явно обескуражен. Он ждал королевских почестей и коленопреклоненного восхищения. Ничего того, ни другого не было.

Канадцы далеко не в полной мере разделяли провокаторскую позицию США в отношении Польской Народной Республики, отказались от прямого экспансионизма американцев в Карибском бассейне, высказывают неодобрение американским замыслам расширения военной интервенции против Сальвадора и Никарагуа, заявляют о решимости **сохранять нормальные отношения с Кубой, несмотря на милитаристские угрозы США**

кубинскому народу. За всем этим — возможность более широкой и последовательной самостоятельности, что сейчас уже не может игнорироваться американцами.

И все же определенная метаморфоза в канадской внешней политике, когда она чаще стала следовать за американской, не содержит особых загадок. Дело не только в министре иностранных дел М. Макгигане.

Дело в другом. М. Макгиган — жертва функции, роли, которую он должен играть. Факты говорят: играет самозабвенно, не задумываясь о последствиях, но тем самым и спасает своего премьера от риска потерять лицо, престиж, утратить завоеванный образ независимости. Иными словами, на М. Макгигана свалилась неблагоприятная обязанность разыгрывать антисоветскую карту в торговле с американцами, в условиях сложившихся трудностей в отношениях с США, на тернистом пути политики канадизации экономики.

Канада сейчас на трудном перекрестке своей истории. Многолетняя борьба за собственную конституцию практически завершилась. Упорные и многообразные усилия США предотвратить процесс усиления федеральной власти в Канаде не увенчались желаемым результатом. Программу канадизации энергетики канадские лидеры обещают отстоять. От исхода ее осуществления зависит будущее этой страны — или она получит новый импульс в борьбе за независимость и сумеет затруднить аннексию со стороны США, или станет жалким американским штатом по фактической сущности.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АРК. ЭЛЬЯШЕВИЧ

★

УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Поговорим о нравственных исканиях современной прозы на материале городских повестей Владимира Тендрякова. Именно этого писателя потому, что сегодня В. Тендряков один из самых видных представителей нравственно-философского направления в нашей литературе.

Хотя и стал он писателем-философом не сразу.

Не сразу, но и не случайно: путь его к жанру повести-диспута шел через произведения с социально заостренным сюжетом, злободневной проблематикой. Описываемая в них житейская повседневность была насыщена нравственными коллизиями самого широкого характера. С этой точки зрения В. Тендряков сегодняшней, автор «Расплаты» и «Шестидесяти свечей», может быть, не столь уж отличается от В. Тендрякова вчерашнего — автора «Не ко двору», «Тугого узла», «Ухабов», «Падения Ивана Чупрова».

С годами, однако, в драматических историях, которые рассказывал писатель, крепло, постепенно выходило на первый план то, что прежде выглядело всего лишь как некий философский «остаток» повествования. Проблематика постоянно ведущихся в книгах Тендрякова споров о жизни с каждым годом становилась все более обращенной к вечным вопросам бытия, к судьбам человека на земле и его земному предназначению. Однако усиление философского начала в произведениях не отразилось на постоянно присущем творчеству Тендрякова жгучем интересе к социальным конфликтам, на стремлении видеть мир не в гармоническом покое, а в мучительной конфронтации противостоящих нравственных начал — любви и ненависти, добра и зла, альтруизма и эгоизма, творческого и догматического мышления, обычно переплетенных между собой.

Установка писателя на противоборство не только человеческих характеров, но и стоящих за ними нравственных и социальных идей при всей своей ценности чревата опас-

ностью подавления чувственного — рациональным, житейского — логическим. И В. Тендрякову не всегда этой опасности удается избежать. Случается, умозрительная философская конструкция грозит подавить художественную естественность, сюжет становится только как бы способом реализации философского спора, удобной, но не слишком органичной мотивировкой его возникновения. При этом писателю трудно добиться желанного эмоционального воздействия на читателя, которое он сам же провозглашал: «...цель и назначение искусства я вижу в способности возбуждать сильные чувства и через это убеждать».

Впрочем, В. Тендряков сам сознает возможные издержки своего метода, все опасности, тающиеся в жанре повести-диспута, — абстрактность, дидактичность. И как может старается их преодолеть. С этой целью он пытается усложнить и, я бы сказал, затемнить художественный замысел своего произведения, уйти от лобового столкновения сил добра и зла, подчеркнуть неоднозначность разрешения проблем и коллизий, которые выносятся на рассмотрение читателей.

В. Тендряков нередко мистифицирует читателей и критику, словно бы нарочно подсаживая плоское и банальное прочтение своих историй. Заблуждающиеся герои вдруг оказываются у писателя носителями нравственных истин, а «стопроцентно положительные» — тяжко ошибающимися. В. Тендряков любит прибегать к сложным сюжетным ходам, всякого рода психологическим тайнам и загадкам. Он не хочет в своих книгах ни причисывать, ни упрощать жизнь, которая кажется ему всегда необычной и удивительной.

Сложными, запутанными, многоаспектными предстают в интерпретации писателя и вечные философские вопросы. На каждый из них, конечно, можно дать тот или иной ответ. Но одно дело вечные вопросы вообще, другое — их сегодняшнее, конкретное воплощение, взаимодействие с обстоятельствами и реалиями современной повседневной дей-

ствительности. Здесь-то все и требуется решать не по шаблону, а заново, как будто впервые.

Нет, В. Тендряков — писатель положительно трудный. Не для чтения, разумеется, а для верного понимания выдвинутых им нравственных и социальных проблем. Не знаю ни одного современного писателя, чьи книги подвергались бы такому частому и пристрастному обсуждению в библиотеках, школах, вузах. Яростно спорят о том, что хотел сказать В. Тендряков, кто прав и кто виноват из его персонажей, на чьей стороне писательские симпатии. И крайне редко приходят к общему мнению. То же самое в критике: почти ни одна книга В. Тендрякова не получила сколько-нибудь исчерпывающей интерпретации и оценки.

В молодые годы В. Тендряков почти не обращался к теме города и числился среди писателей-деревенщиков. Во всяком случае, деревне были посвящены его наиболее яркие и памятные вещи — «Не ко двору», «Тугой узел», «Ухабы», «Поденка — век короткий», «Кончина», «Три мешка сорной пшеницы». В 70-е годы город начинает занимать в его творчестве доминирующее положение. Последние произведения писателя — повести «Ночь после выпуска», «Расплата», «Шестьдесят свечей» — посвящены жизни современной школы, точнее сказать, взаимоотношениям учителей и учеников. Причем школа интересует писателя как место, где формируются юные души, где закладываются основы идейно-нравственного облика будущих поколений.

Учителя и ученики — каждый, кто знаком с книгами В. Тендрякова, знает, что интересуют они писателя далеко не в равной мере. И даже там, где, казалось бы, в центре сюжета находятся ученики («Ночь после выпуска», «Расплата»), раздумья писателя обращены в первую очередь к тем, кто лепит человеческие характеры, к тем, кто обязан пробуждать в учениках высокие нравственные качества и самостоятельность мышления — два важнейших момента, от которых, по убеждению писателя, зависит едва ли не вся жизнь современного человека и современного общества.

В. Тендряков создает для своих персонажей ситуацию морального выбора и больше всего интересуется тем, какие общественные факторы этот выбор стимулируют и предопределяют. Человек свободен, но он находится в гравитационном поле социальных страстей и вырваться из него ему совсем не просто.

Затмение и прозрение — так кратко можно было бы определить путь, которым сле-

дуют центральные герои писателя. Впрочем, прозревают далеко не все из них. Но даже тот, кто заблуждается, несет в себе скрытые до поры возможности будущего нравственного очищения.

На обсуждениях повести «Ночь после выпуска» в учительских коллективах меня часто спрашивали об одном и том же: почему писатель показывает школьников такими заносчивыми, недобрыми, нечуткими, и если они и впрямь такие, то что могло на них так дурно повлиять? А ведь ответы на эти вопросы даны в самом повествовании. Может быть, только их не так-то уж просто оттуда извлечь.

Дерзкое выступление героини повести Юля на выпускном вечере и обсуждение его обиженными учителями дали основание читателям и части критики толковать замысел повести как призыв теснее связать школьное образование с потребностями науки и производства. Проблема профессиональной ориентации молодежи? Нет, повесть В. Тендрякова «Ночь после выпуска» стремится ответить на вопрос о том, дает ли школа твердое духовное воспитание, учит ли она своих учеников применять нравственный кодекс на практике, воспитывает ли она душевную чуткость, способность понимать друг друга, готовность прийти на помощь в трудную минуту. В ответах писателя на эти вопросы сквозит действительно глубокое беспокойство.

Где же корни нравственной глухоты, поражающей мальчишек и девчонок в момент спонтанного взрыва разделяющих их страстей? У В. Тендрякова есть на этот счет совершенно определенное мнение.

Вспомните, после выпускного вечера школьники отправляются на свою неудачную прогулку, а педагоги собираются в учительской и обсуждают, права или не права Юля в упреках школе. И если права, то кто в этом виноват. Да, кто виноват, что дети не полюбили преподаваемые им науки, не почувствовали склонности ни к одной из них?

Виноватой во всем оказывается скромная труженица Зоя Владимировна. Это она не сумела привить детям любовь к своему предмету. Что толку в ее рвении и старании, в том, что днем и ночью она в школе и нет у нее другой жизни кроме жизни в классе? Горько плачет, уязвленная в самое сердце, обиженная старая учительница. Обиженная? Нет, просто нравственно растоптанная одним из эрудированных и умных своих товарищей.

Безнравственный смысл сцены в учительской несколько приглушен писателем. Ведь

если бы дело было в выборе профессии, Зоя Владимировна и впрямь оказалась бы достойной суровых слов и осуждения. И, может быть, именно поэтому-то читатели не сразу связывают разговоры и взаимные упреки педагогов с ночной прогулкой выпускников. А ведь эта связь не подлежит сомнению. Все мы научили эти вот мудрые преподаватели своих питомцев. Не научили их только любви и уважению к человеку, друг к другу, не научили душевной теплоте и сердечности, потому что этих качеств не оказалось на поверку у них самих. Главное, говорит писатель устами одного из своих персонажей, «научить бы одному: не обижайте друг друга, люди».

Что же будет теперь с молодыми героями повести? Безнадежно ли заражены они душевной черствостью своих педагогов или еще есть надежда на пробуждение? Если судить по финалу повести, то, похоже, дело поправимо. Переживут выпускники свое неприятное им самим нравственное затмение и потянутся к добрым чувствам и добрым делам. Много ведь в них доброты, всегда свойственного молодым бескорыстия и готовности прийти на помощь.

В повести «Затмение» тоже сказалось стремление писателя, раскрывая сложности жизни, уйти от прямолинейного столкновения добра и зла. Студентка Майя — незаурядная, добрая, впечатлительная, но упрямая и взбалмошная — предъявляет и к людям и к себе самые максималистские требования. Есть у нее любящий муж — человек честный, образованный. Но Майя не чувствует себя с ним счастливой. Павел озабочен банальным семейным благополучием. А в Майе бьется неумная альтруистическая энергия. Ей хочется служить людям, нужны какие-то жертвы, душевные подвиги. И вот Майя уходит от добропорядочного Павла к длинноволосому бездомному проповеднику христианской морали Гоше. Этот шаг Майи поражает и родных молодой женщины и ее мужа. Своею неожиданностью и вздорностью с точки зрения здравого смысла он потрясает и читателей.

Что же происходит? — не раз спрашивали меня на читательских конференциях. Как понять этот странный финал повести? В. Тендряков, автор «Чудотворной» и «Апостольской командировки», уж не пересмотрел ли свое отношение к религии? Да нет, не пересмотрел, конечно. Просто у него свой ход рассуждений. Своя логика.

Повесть не случайно названа «Затмение». Автор ведет речь о затмении в Майиной душе. Почему выбирает она Гошу? Да по-

тому, что этот парень показался ей человеком, готовым учить людей добру, любви, истине. А для себя ему ничего не нужно. И вот поэтому Майя хочет служить ему, неухоженному, обделенному лаской, теплом, заботой.

На этот неверный шаг Майю толкают не каприз, не своеволие, не иллюзии, как полагает критик Василь Фащенко, автор интересной в целом статьи «Открыть человека» («Дружба народов», 1981, № 2), а неумная жажда деятельности на пользу людям, жажда, которую она не смогла удовлетворить другим, более разумным и естественным способом.

Беза не в том, что в характере Майи действительно заметно раздвоение, а в том, что она заблуждается в поисках способа утолить свою жажду высокого нравственного порыва. И никто при этом не приходит ей на помощь, никто не может ее понять. Истеричка, выдумщица, фантазерка? Да нет же, интересная, яркая личность. Отчего же затмение?

Пристально вглядывается писатель в жизнь, понимает: молодым людям нужны романтика, большие серьезные цели, они жаждут духовных взлетов и свершений. И не так уж просто в наши размеренно-трудные дни всем и каждому сразу найти себя, «собственное общественное призвание» и способ «конкретного улучшения жизни», о которых пишет В. Фащенко.

О трудности именно этого поиска и написана повесть «Затмение». В идее своей она напоминает, требует особого внимания к своему нравственному, внутренне непростому человеку, говорит о необходимости действительной помощи ему в минуту выбора дороги, если мы в самом деле хотим, чтобы в его судьбе никогда не было никаких затмений.

Две другие повести В. Тендрякова — «Расплата» и «Шестьдесят свечей» — отличаются особой значительностью проблематики и рассчитаны на предельную активизацию читательского сознания. Пробудить в читателе желание вдумчиво интерпретировать текст, сделать читателя соучастником событий, изображаемых художником, убедить, увлечь идеями, которые автор отстаивает, — таков и на сей раз замысел В. Тендрякова.

«Расплата» и «Шестьдесят свечей» — наиболее философичные произведения писателя. Хотя они, как мне кажется, не совсем равноценны в художественном плане. «Шестьдесят свечей» — повесть жизненно более естественная и психологически тонкая, чем «Расплата», в которой ощущается известная механистичность замысла, а иллюстративность и оголенная подчиненность

авторскому заданию порой превышают максимально допустимый художественный риск.

Любопытно, однако, что внешне эти повести имеют немало общего с прежними произведениями В. Тендрякова. Все те же школа, ученики и учителя. Ученики «совершают поступки», а учителя в их свете переосмысливают собственную деятельность и свои педагогические принципы и программы.

Перед читателем опять жанр повести-диспута, где герои несколько нарочито расставлены по обе стороны волнующей писателя нравственной проблематики. В «Расплате» это вопрос о том, должно ли быть «добро с кулаками». Кем должен быть человек — романтиком или реалистом. И всегда ли короче к истине прямая дорога. Можно ли исправить человека и тем исправить мир. Что важнее — долг или любовь, прогресс или нравственность.

Свой круг широких философских вопросов есть и в «Шестидесяти свечах». Снова среди действующих лиц, казалось бы, нет ни правых, ни виноватых. Все по-своему правы и все по-разному ошибаются. Опять читателю необходимо известное напряжение, чтобы понять, на чьей же все-таки стороне правда и кому из героев писатель симпатизирует. Как уже говорилось, на сей раз автор гораздо основательнее подчеркивает глубинный характер своего замысла, его всеохватность, неисчерпаемость содержания произведения одной конкретной ситуацией и этими конкретными героями.

«Расплата» и «Шестидесять свечей» — повесть-параболы, жанр в нашей литературе сегодня отнюдь не редкий. На мой взгляд, просто и точно определяет сущность параболы А. Бочаров: «Обычно под нею понимается такое качество реалистической философской прозы, благодаря которому реальная бытовая картина заключает в себе с точки зрения духовной, философской гораздо большее, чем то, что является непосредственным предметом изображения. Но для этого парабола должна обладать многозначностью, допускающей разные степени постижения мысли в амплитуде от «чистого быта» до «чистого умозрения». Где нет объемного философского вывода, там нет параболы».

Философская проблематика «Расплаты», казалось бы, не нова. Вспоминаются конфликты античных трагедий, философские драмы Ибсена «Бранд» и «Пер Гюнт», роман А. Франса «Боги жаждут», «Преступление и наказание» Достоевского. Однако вечные вопросы как бы примеряются В. Тендряковым на современную колодку, вырастают из современной действительности,

приобретают ту первозданность, когда их приходится решать наново, вне какой-либо исторической подсказки.

Для В. Тендрякова вообще нет простых и навсегда решенных философских проблем. Догматические, устоявшиеся, примелькавшиеся формулы ему чужды. Его волнует конкретность истины, необходимость индивидуального подхода к каждому жизненному казусу, он концентрирует внимание на способности человека к живому творческому мышлению, опирающемуся, однако, на святость и неизбежность основных нравственных законов.

«Расплата» начинается кровавой сценой отцеубийства. Пятнадцатилетний Колька Корякин стреляет в отца, мстя ему за жестокое издевательство над матерью. Убийство в повести В. Тендрякова не эпизод уголовной хроники, а, как и в произведениях мировой классики, повод для возникновения напряженного философского спора. Казалось бы, нет и не может быть ничего общего в фигурах Раскольникова и Корякина. Их разделяют эпоха, среда, конкретные мотивы преступления. И все же переключку «Расплаты» с романом Достоевского, как и образов Корякина и Раскольникова, можно, пожалуй, обнаружить. (Близость Тендрякова к Достоевскому, как это ни странно, до сих пор остается не замеченной нашей критикой, а между тем вне понимания этой близости многое в художественной системе писателя может остаться непонятым и нераскрытым.)

Колька убивает отца из самых, казалось бы, справедливых побуждений. Старуха-процентщица заедает жизнь чужих, незнатных людей. Корякин-отец — живовер и алкоголик — заел, изуродовал, испоганил жизнь Кольки и его матери. Колька, как и Раскольников, мститель за поруганное человеческое достоинство. Но Колька не собирается прятаться. Он сразу же и безраздельно берет вину на себя, отрекаясь от любых попыток снять ее или приуменьшить.

Убивая старуху-процентщицу, Раскольников руководствовался теорией сильного человека. Сильный человек стоит над нравственностью, ему все позволено. Раскольников хочет понять, может ли он считать себя таким человеком, может ли он хладнокровно действовать. Для этого ему нужно решиться на убийство.

Кольке право на убийство отца внутренне как бы предоставила философия его учителя Аркадия Кирилловича: не ждать, чтобы кто-то за тебя справился, воевать с подлостью.

Совпадают не только преступления Коль-

ки и Раскольникова, но и их наказание. Писатели наказывают своих героев не изоляцией от общества, не тюрьмой, не позором, а пониманием трагической ошибочности содеянного, глубоким раскаянием. В тюремной камере Колька приходит к выводу, что он любил отца, и не может найти спасения от жалости к нему и ненависти к себе. Он называет себя палачом и приходит к выводу, не безразличному для понимания повести в целом: «Совсем плохих людей не бывает на свете. Плохих много. Но чтоб совсем — нет».

Можно ли в борьбе за правду заходить так далеко? А если нельзя, что же делать с мировым злом? Все герои повести В. Тендрякова так или иначе стремятся по-своему ответить на этот вопрос. Одни в ужасе от Колькиного поступка, другие считают, что возмездие справедливо, третьи считают ответственными за происшедшее себя.

«Можно прямо сказать, — писал М. М. Бахтин, — что из каждого противоречия внутри одного человека Достоевский стремится сделать двух людей, чтобы драматизировать это противоречие и развернуть его экстенсивно». Парные герои есть и в «Расплате» — Колька и влюбленная в него девочка Соня, учитель Аркадий Кириллович и отец Соны Потехин, Аркадий Кириллович и учительница Августа Федоровна. Спор между ними должен решить главную проблему повести — быть добру добрым или злым, идти ли в борьбе со злом до конца или действовать смотря по обстоятельствам. Но спор этот как бы не завершен. У обеих сторон, как позже выяснится, есть контраргументы.

Прямой авторский голос в произведении отсутствует, хотя повествование ведется от лица автора. Читатель сам должен решить, кто прав, кто виноват, но при этом он отнюдь не лишается в повести идейно-нравственных ориентиров. Он может, разумеется, не пойти за писателем, но писательское мнение в тексте выражено достаточно недвусмысленно.

Колька Корякин отрекается от себя вчерашнего, от кровавого своего поступка. А его соученица Соня Потехина, скромная, тихая девочка, влюбленная в Корякина, готова защищать его перед всеми. Да, он страшное сделал. Страшное, но справедливое. Ради добра. Так думает не она одна. На стороне Кольки весь его класс.

Но школьники сами по себе мало интересуют писателя. Образ новоявленного Раскольникова, Кольки Корякина, лишь по видимости в центре повествования. Истинным героем повести является педагог Аркадий

Кириллович. Учитель в книгах писателя — всегда Учитель с большой буквы, и обучает он своих учеников не какой-либо конкретной науке, а прежде всего искусству жизни. Это духовный пастырь, высшая нравственная инстанция, стремящаяся всех подчинить своему влиянию и за все отвечающая.

Педагог родился в Аркадии Кирилловиче Памятнове в годы войны в разбитом немецками Сталинграде. В одну из ночей он, тогда гвардии капитан, впервые уверовал: «...ни вывихи истории, ни ожесточенные идеи сбесившихся маньяков, ни эпидемические безумия — ничто не вытравит в людях человеческое... Под спудом в каждом неистраченные запасы доброты — открыть их, дать им вырваться наружу!.. Выпустить на свободу из человека человеческое — не значит ли обуздать беспощадную историю?»

Прошли годы, и вот скромный преподаватель литературы Памятнов воспитывает в своих учениках высокие и благородные чувства, учит их правде, бескомпромиссности, решительности в борьбе со злом. Ему верят. И готовы идти за ним. Идет за ним и Колька Корякин.

Преступление Кольки заставляет Памятнова пересмотреть свою, казалось бы, безупречную философию. Он приходит к неожиданному выводу: его педагогические приемы, принципы воспитания были в корне ошибочны. Аркадий Кириллович берет на себя вину Кольки и открыто признается в этом перед Колькиным классом. Крутой перелом в сознании Аркадия Кирилловича почти ни у кого не находит поддержки. Но он упорно настаивает на своем «участии» в трагическом происшествии.

В чем же повинен Аркадий Кириллович? И повинен ли вообще? Теперь он осознает, что вместе с другими учителями старался оберегать своих учеников от «скверны мира», не рассказывал им о дурных и темных сторонах жизни; учил непримиримости ко всякой подлости, умалчивая, что одному человеку справиться с ней не под силу.

Аркадия Кирилловича не понимают ни директор школы, ни следователь Сулимов, ни мать Кольки, ни его коллеги и ученики. У каждого из них свои доводы не только в пользу невиновности Памятнова, но и ложности, общественной вредности занятой им позиции. Директор школы считает, что Аркадий Кириллович просто паникует: ну заблудились, ну далеко до желанной воспитательной цели, признаваться в этом все равно антипедагогично. Отвечать за каждого прохвоста — свихнешься, считает следователь Сулимов. Тогда надо из угрозы ска бежать. Умные люди не докопались до

происхождения зла — разные ученые теоретики, — что же спрашивать с рядового работника милиции?

Особое мнение у старенькой преподавательницы математики Августы Федоровны: несовершенен человек... Сколько тысячелетий об этом вопят. И какими трубными голосами! И сколько крови пролито ради — совершенствуйся!..

Труднее всего приходится учителю в споре с учениками. Они привлекают себе на помощь тяжелую артиллерию исторических аналогий и примеров: а как же Тарас Бульба? Он сына убил. За что? Своим изменил. А отец Кольки не изменил? Он человеку изменил. Да, можно убить во имя жизни! Не зря этой формулой пользовались Желябов, Перовская, Степан Халтурин. Аркадий Кириллович же твердо убежден — счастье на убийстве не построишь. Что же делать? Задуматься, искать, открыть глаза на жизнь и себе и детям, признать ее несовершенство, действовать всем сообща, брать на себя ответственность за все зло мира. Главное — искать «путь друг к другу». Это уже не игра в благородство, в которую прежде играл учитель со своими учениками. Это серьезнее. Аркадий Кириллович Памятнов — герой, на стороне которого сочувствие автора. Но сочувствие не явное. Тендряков не поддерживает учителя открыто и поэтому не дает ему возможности одержать победу в споре с оппонентами. Одержит ли эту победу — в повести сразу бы восторжествовал дидактический элемент: делай и думай так, а не иначе. Но Тендряков пишет не педагогический трактат, а художественное произведение. Он старается верно поставить вопросы и подвести читателей к единственно приемлемому решению. И тем не менее всегда остается альтернатива, остается возможность сопоставлять, анализировать — одним словом, мыслить, решать самостоятельно.

Прав ли Аркадий Кириллович, взвалив на себя ответственность за поступок Кольки, прав ли он в своей проповеди «не убий»? Стремление писателя во что бы то ни стало уйти от односложных ответов и замаскировать свое понимание истины порой ведет к излишнему усложнению обсуждаемых исключительно важных идейно-нравственных вопросов.

В ответственном споре с учениками о роли насилия в жизни и истории Аркадий Кириллович держится стойко, но не всегда рассуждает логично и профессионально. Объяснить, почему нельзя убивать встретившегося на твоём пути злого, страшного человека и почему можно и нужно воевать с

оружием в руках против социального угнетения, защищая родину от врагов, Аркадий Кириллович, как это ни странно, ясно и последовательно не смог. И это делает его нравственную позицию несколько расплывчатой и абстрактной.

Истина конкретна: не всякая борьба со злом должна вести к убийству. Но и не всякое уничтожение зла непозволительно. Как жаль, что подобные достаточно известные положения герой В. Тендрякова оставляет без должного внимания. Впрочем, может быть, в этом неведении или умолчании героя сказались неприязнь писателя к провозглашению бесспорных постулатов и нелюбовь к безгрешным, никогда не ошибающимся персонажам. И все же Аркадий Кириллович — герой, наиболее близкий писателю, и с его гуманистическими взглядами связана важнейшая нравственная идея повести.

Антагонистом Аркадия Кирилловича в принципиальном споре о том, как жить, выступает отец Сони Василий Петрович Потехин, экс-инженер, погоревший на «правдолюбии». Он единственный в повести твердо убежден: беда, случившаяся у Корякиных, от Аркадия Кирилловича. Это он погубил Кольку, как в свое время погубил и его самого. Погубил своим незнанием настоящей жизни, дурацким идеализмом, моральной нетерпимостью. Был Потехин растущим инженером, преуспевал, а сунулся к Памятнову, «известному специалисту по справедливости», — все пошло прахом. По совету Аркадия Кирилловича Потехин обвинил своего начальника — некоего Гордина — в очковтирательстве и расхитительстве на стройке. Начальник устоял. А Потехина «за склоку» перевели на должность прораба. Некоторое время он беслся, развертывал перед Аркадием Кирилловичем далеко идущие планы, грозился запрятать начальника СМУ в тюрьму. Встретившись с учителем после большого перерыва, Потехин поразил его неожиданным откровением: «А Гордин-то прав! Во всем прав!» Позже он объяснил Памятнову: Гордин не только прав, он еще и «святой мученик». Ловчила, очковтиратель, приспособленец, но святой! Потому что о деле думает, когда на ухищрения идет: когда вновь тянет трубы по окрашенным стенам, пробивает паркетные полы, бросает денежки на ветер. А не бросит эти деньги, еще большие кидать придется: трубу-то, когда их ставить пришел час, ведь не было. Не подвели! А рабочий класс ждать не может. Ему прогрессивочку и премиальные подавай. А то разбежится на другие стройки. Кривые пути, наставляет По-

техин Аркадия Кирилловича, в жизни-то короче прямых. Теперь все помыслы Потехина о судьбе дочери Сони. Ее во что бы то ни стало нужно оградить от учителя. Чему он учит детей? Быть всегда и всюду честными, никому не делать зла, не бояться сильных, помогать слабым, отрывать от себя и прочим глупостям. Таких учителей не мешкая хватать надо да под семь замков прятать, чтобы их никто не видел и не слышал.

«Одного хочу,— рассуждает Потехин,— чтоб Сонька моя счастливой была, приспособленной! Чтоб загодя знала, что и горы крутые и пропасти в жизни встретятся... Ежели можно быть честной, то будь, а коль нельзя — ловчи... Хочу, чтоб поняла... что для всех добра и любя не станешь и любви большой и доброты особо от других не жди. Хочу, чтоб не кидалась на тех, кто сильнее, кто легко хребет сломать может, а осторожничала, иной раз от большой нужды и поклониться могла. Хочу, чтобы душой наивной не оказалась».

«Плохо учу, не тому учу, возможно,— соглашается Аркадий Кириллович.— Но вдумайтесь, что вы предлагаете — приспособляться учи, себя спасать, других не жалеть!.. Тут уж всякую надежду, что мир, пусть не сейчас, пусть когда-то, лучше станет, оставь...» На это Василий Петрович отвечает уже в крайней ярости: «Да что мне весь мир!.. Я маленький человек, и она в крупную не вырастет. Нужно мне совсем мало — чтоб дочь родная счастливо жила. А остальные уж пусть сами как-нибудь без меня устраиваются».

Аркадий Кириллович и Василий Петрович — враги принципиальные. Только напрасно Памятник называет про себя Потехина ожесточившимся зайцем. Заяц-то он ваяц, трус, воинствующий обыватель. Но за Потехиным большая сила. Таких, как он, множество. И они знают об этом. Вы, мол, всех в наполеоны зовете. А нам совсем немного нужно. Зачем нам мир? Он был и будет дрянным. Приспособиться к нему означает выжить. Начать его изменять — сломать голову и себе и другим.

Разговор Аркадия Кирилловича с Потехиным — центральная сцена повести. Именно в нем объединяются в целое оба нравственных вопроса: должно ли быть добро с кулаками и как жить — по прямой или по кривой? В. Тендряков стремится избежать односложных ответов. Духовные противники Аркадия Кирилловича не играют с ним в поддавки, они борются ожесточенно, привлекая на помощь жизненные и историче-

ские примеры, выказывая недюжинный ум и способность к логическому мышлению.

Нельзя сказать, чтобы Аркадия Кирилловича ничему не научила исповедь Потехина. Он кое-что из нее извлек. Ведь мысли об излишней прямолинейности, книжности, оторванности его воспитательной программы от жизни возникают у Аркадия Кирилловича именно после встречи с Потехиным.

Школа действительно нередко стремится оградить учеников от скверны жизни, она и впрямь норовит подменить реальных героев книжными. Исправляя жизнь, следует прежде всего видеть ее такою, какая она есть, состоящую не из одних победных реляций и торжествующих сводок. К этому и призывает нас «Расплата». На это направлены идейно-художественные усилия писателя.

Так откуда же все-таки берется зло? Кто должен расплачиваться за преступление Кольки? У зла много источников. Оно возникает не вдруг, а исподволь. И в этом обычно участвует множество людей, иногда даже о том не помышляющих. Приходит час — и люди расплачиваются за то, что долго перекаладывали свою ответственность на других. Писатель показывает жульнические корни социального зла. Он исследует исторические причины человеческих ошибок и заблуждений. Важно понять, что побудило людей на том или ином витке своей судьбы сделать непоправимый выбор. Бремя каких ложных общественных идей и представлений. И в этом еще раз и с особой наглядностью проявляется приверженность В. Тендрякова к подлинному реализму.

Герои В. Тендрякова в большинстве своем люди, способные к катарсису, к нравственному прозрению. К сожалению, в некоторых из них заметны черты излишней заданности, «служебности». И это мешает решению той сложной нравственной задачи, которую ставит повесть.

Черты некоей философской отвлеченности ощущаются, к сожалению, и в образах главных персонажей произведения. Мы хорошо их слышим, проникаем в их образ мыслей, разделяем нравственные искания, но представляем их себе довольно смутно. И с этой точки зрения «Расплата», на наш взгляд, уступает лучшим книгам писателя.

«Шестьдесят свечей» — произведение идейно-художественно вполне самостоятельное, хотя тематически непосредственно продолжает «Расплату» и помогает лучше ее понять.

Снова школа. Учителя и ученики. Жизненная среда, позволяющая автору худо-

жественно убедительно показать, насколько судьба мира зависит от нравственного воспитания подрастающих поколений.

Главный герой «Шестидесяти свечей» всеми уважаемый в городе учитель истории Николай Степанович Ечевин отмечает свой юбилей. Ему шестьдесят. И вот шестьдесят свечей торжественно горят на испеченном в его честь торте. Всю жизнь Ечевин прожил в заштатном городке Карасино, который сейчас переживает период бурного обновления. Николай Степанович гордится своим городом. Так же как город гордится им.

И впрямь у Николая Степановича, как выясняется на первых же страницах повести, множество достоинств. Он скромнен, честен и трудолюбив. Может быть, звезд с неба не хватает, однако именно на таких людях держится мир. Чем-то, очевидно выскальчиваемостью к себе и бесконечной преданностью школе, Ечевин напоминает Памятнова из «Расплаты». Но это все-таки другой человек. Есть в нем черты, заставляющие вспомнить духовного антагониста Аркадия Кирилловича — Потехина: прагматизм, убежденность в том, что безупречная нравственность, четкая однозначность поступков, диктуемых внутренним максимализмом, далеко не всегда обязательны для исторического прогресса. Ечевин вообще-то гораздо сложнее Потехина. Личное его в принципе мало волнует. Главное — правда истории, исторический прогресс, судьбы миллионов. Эгоистической любви к себе и близким в Ечевине нет. Напротив, он гордится тем, что не делает различий между своими и чужими. Ечевин — реалист: история человечества — крестный путь, кровь и жертвы здесь неизбежны; не поймешь логики истории — погибнешь, поймешь — выживешь. В то же время он и романтик: ему хочется служить высоким целям, ради них готов и себя и других на костре спалить.

Ечевин всегда любил историю. Правда, в последние годы он пересмотрел свое отношение к историческим деятелям. Разве лживость, ловкачество, допустим, Ивана Калиты не помогли ему сколотить Московское княжество под татарским игмом? Что же его судить? Нет, историю надо принимать такой, какая она есть, ничего в ней не приукрашивая.

Шестьдесят лет — не много и не мало. Ечевин еще полон сил и энергии. Его окрыляет юбилейная атмосфера. Но в дни юбилея происходит событие, которое неожиданно круто меняет настроение учителя. Он получает анонимное письмо от одного из бывших учеников. Письмо оскорбительное и

угрожающее. Что это — шутка? Но если шутка, то подлейшая. Правда? Но если правда, то горькая и страшная.

Бывший ученик приехал в Карасино, чтобы убить Николая Степановича. За что? Ученик уверяет, что Николай Степанович его духовно искалечил, и не его одного. Бывший ученик хочет помочь людям и доказать, что не зря прожил свою «паскудную» жизнь. Он, «подозрительный философ забегаловок», не может обратиться к людям с криком предостережения: берегитесь! Ему никто не поверит, так пусть суд над убийцей станет судом над убитым. Нет, это убийство не преступление. Разве преступление — уничтожить «многолетний очаг общественной заразы»?

Ечевин долго не знает имени предполагаемого убийцы. Не знает его и читатель. Но может предположить: кто бы он ни был, это Колька Корякин. Он хочет убить, чтобы уничтожить социальное зло. Убить, чтобы оправдать свою жизнь, посмотреть, можно ли еще подняться над обстоятельствами и, главное, над самим собой.

Так кто все же реальный сочинитель анонимки? И в чем так проштрафился Николай Степанович?

«Шестьдесят свечей» написаны от первого лица, как своеобразный внутренний монолог-раздумье героя. Мир открывается здесь через восприятие Ечевина, причем его оценки далеко не всегда совпадают с авторскими.

Нравственная характеристика мыслей и поступков героя в произведении, лишенном «всевидающего автора», сложна и составляет обычно искусно скрытый механизм. От того, как он срабатывает, зависит и идейное звучание книги, ее художественная выразительность. Конечно, писатель может предоставить своим героям полную свободу и устраниваться из повествования, но при этом идейно-нравственная позиция художника может показаться нечеткой, размытой.

В. Тендряков успешно избегает этой опасности. И в его распоряжении не так уж мало средств: логика развития сюжета, «зазоры» между поступками и мыслями героя, с одной стороны, и нормами нравственности, здравого смысла — с другой, самооценки героя и оценки его другими действующими лицами и т. д.

Ечевин не настолько самонадеян, чтобы верить шумному славословию в дни юбилея. Но все-таки говорит он себе: «Я никогда не убил, не обездолил, ничего не украл, не брал взятку, не растлевал малолетних, не морил голодом престарелую тещу. Я... бываю раздражителен, срываюсь без нужды,

нередко поступаю несправедливо, в чем обычно раскаиваюсь. Кто из нас без греха? Уж если мне суд, меня убить, то жить на земле придется лишь каким-нибудь исключительным праведником».

Вновь и вновь обдумывает Ечевин свою жизнь и все больше утверждает в мысли о несправедливости автора письма. Что он, Ечевин, сделал такого? Сорок лет учил, свыше трех тысяч учеников прошло через его руки. А нажил ли он за эти сорок лет себе богатство? Легка ли была его жизнь, счастлива ли? Да что в ней могло быть такое, чтоб ее зачеркнуть? Ечевин вспоминает прошлое: «Круги. День за днем как лошадь в приводе: дом — школа — дом, от воскресенья к воскресенью с перерывами на каникулы, которые выдерживал с трудом, ждал с нетерпением, чтобы начать привычное: дом — школа — дом. День за днем сорок лет... Только теперь, когда остались вдвоем с женой, без особой натуги сводим концы с концами... Легкая ли жизнь? Счастливая ли? Нет, будни».

Очевидно, тайну жизни Ечевина знает лишь тот, кто хочет его убить. Но чтобы разгадать эту тайну, нужно вначале раскрыть другую, которая умело спрятана в сюжете произведения. И непросто оттуда извлекается. Так психологическая тайна дополняется в сюжете повести криминальной и сростается с ней.

Ечевин мысленно перебирает всех, кто мог бы написать анонимку, и долго не может выйти на верный след. Поэтому в повести возникают ложные ходы, боковые линии, побочные сюжеты. Композиция повести привлекает строгой расчетливостью и естественностью.

С острой совестью учитель вспоминает подозреваемых и силится осознать вину перед ними. Но вины вроде бы нет. Ечевин начинает сомневаться. В себе самом.

Перед читателем проходит прошлое героя, разные люди, вспоминаются некоторые не очень приятные Николаю Степановичу истории. Постепенно обнаруживается, что Ечевин не такой уж справедливый и благородный человек. И ему действительно есть над чем задуматься.

Какое-то время Николай Степанович подозревает автора письма в Татьяне Ивановне Граубе. Сорок пять лет назад Колька Ечевин был влюблен в Таню Граубе, дочь директора сельской школы. Иван Семенович Граубе — дворянин, запоздалый народник, брат железнодорожного магната — окончил Сорбонну, добровольно забрался в глухое село и много лет там учительство-

вал, помогал молодежи, обувал и одевал крестьянских ребятишек, клянчил для них пособия. После революции в школу назначили нового заведующего — крестьянского парня Ивана Сукова, героя гражданской войны, человека не менее доброго, чем Иван Семенович: «...для себя он никогда ничего не просил, а для других добивался невозможного».

Суков яростно ненавидел «буржуйских недобитков». Он долго объяснял Кольке Ечевину греховность его влюбленности в дочь прихвостня капитала. Напрасно Колька оправдывался, пытался объяснить, что Иван Семенович — первый друг крестьянских ребятишек, что он ему дороже отца с матерью. Отец Кольки хотя и пролетарий, но алкоголик и ничтожество.

Суков был уверен в своей правоте. Именно против таких, как Иван Семенович, народ и революцию устроил. Хочешь спасти свою девку — скажи ей, пусть выступит против отца. Честно. Напрямому, без приседаний!

Кольку раздрают страшные сомнения — еще недавно он так любил Ивана Семеновича. Он спрашивает у Тани, кто ей дороже — отец или революция. Таня отвечает: если дети станут отказываться от своих отцов, мир выродится.

Теперь, через сорок пять лет, Ечевин вспоминает ее слова и ужасается их пророческому смыслу. Раздумывая над анонимкой, он сам только что пришел к выводу: «...человечество просто перестанет существовать, если ученики начнут разбивать череп своим учителям». А ведь тогда именно Колька Ечевин разбил череп Ивану Семеновичу. Он выступил на собрании учеников с осуждением Граубе. Он был непримирим ко всему на свете, в первую очередь к самому себе. Иван Семенович после собрания покончил жизнь самоубийством. В последнем слове к ученикам он назвал себя банкротом: не научил отличать ложь от правды, не научил ненавидеть зло и уважать добро.

Но нет, думает Ечевин, Таня не могла написать это письмо. Хотя имела на это право. Теперь ему ясно, он действительно убийца. Убийца по неведению!

Перебирая свое прошлое, Николай Степанович начинает нравственно прозревать, но прозрение его неполно и сопровождается многочисленными колебаниями. Ведь не нарочно же он ошибался, ему просто не везло в жизни. И он уже достаточно наказан жизнью, плохо все сложилось у него в семье, с детьми, с любимой дочерью.

В шестнадцать лет дочь Вера закурила

роман с учителем физкультуры. И Николай Степанович сам настоял, чтобы ее исключили из школы. «Да и как иначе? Могла ли она снова сесть за парту? Ученики глядели бы на нее как на воплощенную непристойность, презрительно и вождеденно. Я же должен был как-то показать, что... резко осуждаю поведение беспутной дочери... Как я ее любил! В душу плюнула...»

Вера ушла работать на автобазу, ребенок у нее умер, а учителя физкультуры прогнали из города. Не советуясь ни с кем, она вышла замуж, второй раз родила. Безрадостная жизнь в барачной клетушке, муж-алкоголик толкнули ее к баптистам.

Судьба дочери — позор и непрерывная мука для Николая Степановича. Спасти Веру он не в состоянии. Нужно бы спасать внука, вырвать его из грязи, из бедности. Но отнять его у матери — добить дочь окончательно. Сердце Николая Степановича разрывается, когда он смотрит, как калечат его родного внука.

Разговоры Николая Степановича с дочерью — ключевые для понимания замысла повести. Когда Ечевин пытается объяснить Вере, почему он тогда настаивал на ее исключении из школы, дочь перебивает его рассказом о язычниках, которые задабривали своих богов ритуальными жертвами. «Ты ни к кому не добр, отец, — говорит она ему. — Даже к себе». Любовь не делает людей несчастными, «а ты душишь... от любви».

Дороги к примирению с Верой нет, здесь источник вечной боли Николая Степановича. Так что же я за человек, добрый или злой? — спрашивает он у жены и выслушивает убийственный для себя ответ: «Всю жизнь целишься сделать хорошее, да дьявол за твоей спиной путает, твой мед дегтем оборачивает. Не виню тебя... Но от твоей-то безвинности другим не легче...»

В этом, думается, и есть разгадка психологической тайны Ечевина. Читателям она становится ясной уже после воспоминаний героя о Тане Граубе и судьбе Веры. Но самому Ечевину для окончательного прозрения нужны дополнительные аргументы. И он получает их во время встречи с человеком, готовящимся совершить на него покушение.

Когда бывший ученик представился, Николай Степанович его вспомнил. Сережа Кропотов? Да, был такой тихий и милый мальчик, единственный сын, всегда отужженный, заштопанный, умытый. Сколько прошло с тех пор лет!

История Сергея Кропотова в чем-то перекликается с историей Тани Граубе. Про-

шел в свое время слух, что отец Сергея был полицаем, служил у немцев. Сергей отца защищал, в измену его не верил. Ребята потребовали исключить Сергея из школы. Николай Степанович спасал мальчишку. И спас. Тот благополучно закончил учение. И всего-то надо было для этого выступить на собрании, покаяться, осудить отца. Не осудишь — погибнешь. Осудишь — будешь благоденствовать. Благоденствовать Сергей не стал. Сломался после того случая. Начал пить, впутался в уголовную историю. А отца через некоторое время полностью оправдали. И был он вовсе не полицаем, а партизаном.

Сергей обвиняет Николая Степановича в проповеди спасительного предательства, в забвении совести. Ечевин активно защищает. Он действовал из лучших побуждений, пытался принести Кропотову пользу. Можно ли судить человека за то, что он хотел помочь другому? Помощь иуды? Но какой же Ечевин иуда? Где тридцать сребреников?

«Николай Степанович, — торжественно провозглашает Сергей, — вы не прохвост! Нет! Будь вы обычным прохвостом, я бы и не подумал покушаться на вашу жизнь. Черт с вами, одним прохвостом больше, одним меньше — так ли уж страшно». «Неужели, — спрашивает Ечевин, — искренний, пусть заблуждающийся человек страшной беспринципного прохвоста?» И получает ответ: «Заблуждающийся — да! Заблуждающийся страшной!.. Обычный прохвост делает гнусности, скажем клеветает, но в глубине-то души понимает, что поступает плохо. Он всего-навсего нарушает правила. А тот, кто искренне убежден, что клевета под каким-то соусом или другое что-то в этом роде необходимо человечеству, этот... уже не просто нарушает правила, а уничтожает их».

В споре учителя и ученика есть подлинная жизненная и философская сложность и нет заведомо правых и виноватых. Ечевин и Кропотов по-разному правы в этом споре и по-разному ошибаются. Возьмись Сергей просто объяснить Николаю Степановичу его нравственную глухоту и сделай он это умело, доказательно, верх в споре остался бы за ним. Но Кропотов жаждет отмщения за свою сломанную учителем жизнь и за всех обманутых Ечевинным людей. Так он становится на позицию Кольки Корякина. А эта позиция для В. Тендрякова тоже неприемлема.

Что станет с миром, если житейские заблуждения начнут наказываться смертью? —

спрашивает Ечевин. Разве кто-либо заранее знает, что такое хорошо и что такое плохо? Кто из нас не заблуждался? И кто тягостно не освобождался от своих заблуждений, чтобы принять новые? Не смей заблуждаться — смерть! Страшной духовной диктатуры не придумаешь.

К тому же так ли уж бескорыстен Кропотов, этот самозванный мститель за поруганное человечество, этот доморощенный судья? Он ведь себя норовит спасти от душевной слабости, от самонеуважения, освободиться одним поступком от прошлого. Нет, жертве по призванию быть судьей не дано. Кропотов опоздал. Николай Степанович сам себя осудил. Пусть не до конца, пусть еще многое в себе не разглядел, но возвращения в прошлое для него больше нет.

Пересматривая прошлую жизнь, Ечевин признает за собой одно достоинство: он всегда был честен. С этим вынужден согласиться даже Кропотов. И это хоть в какой-то мере смягчает его ошибки. Учитель не имеет права лишь на ту проповедь, в которую не верит сам. Он не имеет права на сознательный обман учеников. Но ошибиться он может. Правда, когда учителя ошибаются, это трагедия. Трагедия для них самих и в еще большей мере для их учеников.

Хорошо, если учителя способны понять вовремя свои ошибки и спохватиться, но так бывает очень редко. Заблуждающиеся учителя плодят заблуждающихся учеников, а те, вырастая и обретая жизненную силу, несут эстафету ошибок дальше. И заблуждения продолжают распространяться по миру все расширяющимися кругами.

Что будет с миром, если ученики начнут убивать своих учителей? Эта мысль, высказанная когда-то Таней Граубе, спустя много лет становится духовной опорой для Ечевина. Убийство не метод социального оздоровления. Пропагандируя радикальное уничтожение зла, Кропотов стремится возложить ответственность за свои грехи на другого. Перед дулом наведенного на него револьвера Николай Степанович бессилен. Однако в споре с бывшим учеником его аргументы оказались все-таки сильнее. Кропотов вынужден уйти, отдав учителю оружие, которым он собирался его убить: пускай, мол, сам совершит над собой казнь. Ечевина он не жалеет, но жалеет себя. Означает ли поражение Кропотова победу Николая Степановича? Если да, то это, конечно, пиррова победа. И сам Ечевин это отлично понимает. Отсюда его нравственные усилия к пересмотру прошлого и

возникшая неуверенность в своих сегодняшних силах. Может быть, и впрямь все исправит и всех рассудит врученный ему Кропотовым наган?

Сцену встречи учителя с бывшим учеником В. Тендряков строит на фоне ночного зловещего урбанистического пейзажа. Идет холодный проливной дождь. Мокнет, разливается рекой черный траурный асфальт. Освещенные окна домов глядят равнодушно, неприветливо. Улица упирается в ночь. За углами домов притаилась темная сырая мгла с редкими фонарями. И вдруг в темноте звук приближающихся шагов... Убийца настигает убегающего Николая Степановича на многолюдной привокзальной площади, возле ярко освещенных стекол кафе. В спину тихий голос: «Здравствуйте...» Нет, совсем не похож на мстителя, совсем не такой, какого Ечевин ожидал увидеть.

После мрачного уличного пейзажа сцена в кафе, где поздно вечером беседуют Ечевин и Кропотов, выглядит предельно буднично. Человек командировочно-неопрятного вида уныло ест яичницу. Какая-то девица в кричаще канареечном свитере, волосы рассыпаны по канареечным плечам. И в самом убийце нет ничего демонического, даже просто внушительного. В эти минуты Ечевин вдруг вспоминает все связанное с этим человеком, все подробности его истории. Беседа Ечевина с Кропотовым построена так, что при всей подчеркнутой конкретности, обытовленности бывший ученик воспринимается не только как конкретная личность, но и как символическое воплощение некоей идеи.

Недаром Ечевину приходит в голову странная мысль: «...он не человек, а идея, не простой убийца, а жрец, очищающий мир от скверны». И потом, когда настанет момент расставаться, Николай Степанович скажет Кропотову иронически: «Будь здоров, Немезида!»

Сергей Кропотов в известной мере двойник Ечевина. Его «брат по несчастью». Оба всю жизнь отмахивались от противоречий. Оба несносны сами себе. Убивая, Кропотов надеялся освободиться от своего страшного прошлого. И освободить от него Ечевина. И не зря, одержав победу над бывшим учеником, Ечевин считает, что «победил себя».

«Черт» в этой повести В. Тендрякова — глубинная совесть Николая Степановича, его глубинные, внутренние сомнения в себе, в своей философии, в своей жизни. Это он сам с его неписаной моралью «все позволено»: все позволено по отношению к ближ-

нему, если это делается не во имя собственного преуспевания и благоденствия, а, скажем, во славу абстрактных исторических постулатов.

Фантастический план в «Шестидесяти свечах» остается в подтексте, не выступает наружу. Это скорее намек на «второй ярус» образности, его слабое символическое свечение. И все же не заметный условный, ирреальный слой повествования означает художественно его упростить и обесцветить.

Фантастический элемент просматривается у В. Тендрякова в сцене встречи Кропотова с Ечевиним. Вспомним, она происходит ночью в привокзальном, безвкусно оформленном в стугубо современном стиле кафе, где все настоящее и ненатуральное — такое же настоящее и ненатуральное, как и сам бывший ученик: травянисто-зеленый пластик пола, белые стены, крапленые черным под бересту, желтые спинки стульев. Как бы в самом воздухе зала разлиты пошлость, грубость и фальшь. Но самое страшное в кафе — огромная стеклянная стена. Люди здесь «показательно закусывают» и показательно распаивают свои души. Они просматриваются со всех сторон. Они видны всем и каждому во всей своей интимности и на полную глубину. Это, конечно, еще не ад. Но что-то, пожалуй, вроде его преддверия. И недаром ведь это привокзальное кафе должно было стать для Ечевина последним прибежищем, за которым понеслась бы его душа под тревожный крик паровозов, по невидимым рельсам, в дальний путь, туда, откуда уже нет возврата.

Наряду с основной сюжетной линией есть в «Шестидесяти свечах», как и в «Расплате», между прочим, побочная, тесно с ней слитая. Есть особое сюжетное русло.

Взвешивая в руке старый наган, Николай Степанович отвлекается от Кропотова. Его беспокоит класс, сегодняшние ученики. Вот они пишут сочинение об Иване Грозном. Идея его подсказана Николаем Степановичем: борьба Ивана Грозного против родовитых бояр носила прогрессивный характер. Ссылаясь на Костомарова, скромная девочка Зоя Зыбковец пишет о страшных, ничем не мотивированных зверствах царя. И приходит к выводу: «Такой человек не мог желать людям лучшего. Если он и давил бояр, то просто от злобы. Если и был в его время какой-то прогресс, то это не Ивана заслуга».

Как же отнестись Николаю Степановичу к этому сочинению? Зоя думает «старомодно», по устаревшему Костомарову. Но еще хуже, что она думает «не по-нашему». Это

просто опасно. Опасно для Зои. Опасно для общества. Поставить Зое двойку? Но не отобьешь ли у нее тем самым охоту к истории, не восстановишь ли ее против себя? И как поступить Николаю Степановичу с отличницей Леной Шороховой? Стараясь угодить учителю, она, полемизируя с Зоей, задает риторический вопрос: «Что важнее — убийство каких-то дьячковых жен или большие исторические дела?» Как быть с умным, пытливым Левоу Бочаровым? В душе он думает, как Зоя, а сочинение написал, похожее на Ленино. Почему? Да потому, отвечает Лева, что мне наплевать на царя Ивана и не наплевать на отметку, которую вы поставите в журнал.

Лене Шороховой Николай Степанович должен дать характеристику. Еще вчера она была бы хвалебной. А сегодня Ечевин колеблется. Разве не он сам воспитал ее такой? Лена, конечно, не убьет ни «каких-то дьячковых жен», ни кого-то другого. Но бездумно согласится: «Я — за!» И ведь это он сам, преподаватель истории, не научил ее человечности и отзывчивости, не развил у нее чувства самостоятельности, не передал ей отвращения к жестокости истории, проявившейся в прежние века.

У Николая Степановича появилась чуждая ему прежде мучительная раздвоенность. Раздвоенность сознания и поступков. Прозрение Ечевина ставит перед ним множество новых проблем. Это не исправление, а глубокая нравственная драма хорошего человека, чьи заблуждения и ошибки коренятся не всегда в нем самом и присущи не ему одному, а связаны обычно с ложными общественными веяниями, с идеями, господствующими в обществе на каком-то этапе его развития, с якобы не подлежащими проверке социальными формулами, выдаваемыми за единственно верные.

Образу Ечевина свойственна глубокая социальная типичность. Его драма — драма конформиста, конформиста незадачливого и последовательного. Главная беда его в том, что он никогда не знал, что наше и что чужое в идеологии и морали, а поэтому что в жизни хорошо и что плохо, а что можно, а что нельзя. Сила, которая жаждет добра и по недоразумению несет людям зло, — вот нравственная сущность образа Николая Степановича, образа своеобразного и убедительного в своей художественной емкости и обладающего в жизни пока еще, к сожалению, немалым числом прототипов.

Затмение Ечевина было длительным, прозрение поздним, внезапным, но исполненным настоящего раскаяния и сурового осуждения вчерашних ошибок. Он душевно вос-

кресает, когда оказывается способным увидеть в себе то, чего не видел прежде.

Что же теперь делать Николаю Степановичу? Как ему жить дальше? Повесть В. Тендрякова принадлежит к числу произведений с открытым финалом. Точки над «и» сознательно не поставлены. Герой уже сделал нравственный выбор, но реализовать его совсем не просто.

Философская концепция повести В. Тендрякова привлекательна остротой, нестандартностью, сложностью выставленных на обсуждение нравственных проблем. И с этой точки зрения перед нами, вероятно, одно из лучших произведений писателя.

Совместим ли прогресс с безнравственностью, а добро с проповедью духовного предательства? В состоянии ли человек постигать во всех запутанных ситуациях историческую правду и должен ли он стремиться ее отстаивать? Можно ли во имя любви к людям обрекать их на муки? Откуда возникают злое добро и доброе зло? Какие меры стоило бы предпринять для того, чтобы их не было? Эти и другие выдвинутые в произведении вопросы не рассчитаны на односложное разрешение. Их цель — стимулировать сознание, заставить думать.

Повесть говорит об огромной ответственности учителя за воспитание в ученике честности, самостоятельности, любви к людям, нетерпимости к неправде. И одновременно о не меньшей ответственности ученика за все эти духовные ценности перед учителем.

Стилистика «Шестидесяти свечей» кажется читателям В. Тендрякова хорошо знакомой. Этот писатель легко узнается по индивидуальному почерку, удивительно устойчивому на протяжении десятилетий: короткая фраза, раздумчивая вопрошающая интонация, приверженность к диалогу. И не столько к диалогу в подлинном смысле слова, сколько к спору героев с самими собой. Именно такой диалог, а не только внутренний монолог, часто становится у В. Тендрякова основным способом повествования. И с этой точки зрения у повестей «Расплата» и «Шестьдесят свечей» много общего, хотя в одном случае рассказ ведется от лица автора, а в другом господствует точка зрения персонажа. Они близки не только своими стилистическими особенностями, но и тем, что в фокусе изображения каждый раз оказываются проблемы нравственного воспитания, и тем, что обе рассчитаны на максимальную активность читательского восприятия.

Конечно, В. Тендряков не отказывается от вынесения окончательного приговора своим героям, но при этом выступает и как судья

и как защитник. Писатель старается, чтобы читать повести было интересно, а разобраться в идейно-художественном замысле не легко. В этом один из важнейших эстетических принципов В. Тендрякова — ничего ни в жизни, ни в людях не упрощать, не объяснять, ставить проблемы и подводить читателей и героев к их разрешению.

Лучшие произведения В. Тендрякова увлекают глубиной психологизма и острой драматичностью. Человек у В. Тендрякова не зол или добр, а добр и зол одновременно, и доброе или злое побеждает в нем, смотря по историческим обстоятельствам. «Когда-то... — писал В. Тендряков, — я делил весь мир на хороших людей и плохих. Хорошие же стараются сделать жизнь лучше, плохие ее портят. И казалось, что стоит только хорошим не жалеючи навалиться на плохих, как на земле наступит царство свободы и справедливости...» Но со временем ему открылось, что это слишком наивная концепция, чтобы ею объяснить все зло мира: «...как часто люди достойнейшие по натуре, попадая в крутые обстоятельства, вынуждены поступать дурно, порой даже преступно».

Лучшие герои В. Тендрякова — это правдоискатели и правдолюбцы, противостоящие и тем, кому правда недорога, и тем, кто раз и навсегда уверовал в свою непогрешимость. Отсюда и их неизменная внутренняя интеллектуальная и нравственная напряженность.

В. Тендряков не единственный писатель, кто своим творчеством утверждает в нашей литературе тип такого «напряженного» героя, но в художественной разработке его писателю, думается, принадлежит особая заслуга. Его «напряженный» герой чаще всего ставится в исключительную, порой даже не вполне вероятную ситуацию. Измена принципам реализма? Ни в малой степени. Просто В. Тендряков убежден — «художник должен быть более правдивым, чем сам факт. Он обязан не просто показывать то, что характерно для жизни, а, преувеличивая характерное, доводить его до исключительности».

Умный и взыскательный художник В. Тендряков неустанно вглядывается в души своих современников, стремясь смело обнажать свойственные им противоречия и конфликты, а через них и само наше исполненное драматизма время. И каждое новое произведение писателя независимо от принадлежности к тому или иному тематическому региону — еще один шаг в этом важном и плодотворном направлении.

Ленинград.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ким Селихов. Ступени наших дней. — Марина Борщевская. Музыка и слово. — Г. Белая. Не только дорога — все поле.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Каграманов. Путешествие в историю Дикого Запада. — В. Лобачев. «Дом со многими комнатами».

Литература и искусство

СТУПЕНИ НАШИХ ДНЕЙ

Джубан Мулдагалиев. Голос любви. Стихи и поэмы. Перевод с казахского Владимира Савельева. М. «Советский писатель». 1981. 240 стр.

«Его поэзия что раздольная казахская степь по весне: пьянит травами пряными, дразнит нехоженой дорогой к голубому горизонту». Так говорил о творчестве Джубана Мулдагалиева большой русский поэт Михаил Луконин. А он знал настоящий вес поэзии, умел, хитро прищурясь, разглядеть дно глубокого колодца. Его слова я вспоминал не раз, читая новую книгу стихов Джубана Мулдагалиева. «Голос любви» — так она называется. Это произведение глубоких раздумий поэта о нашей жизни, о судьбе своего казахского народа, нашего счастья в содружестве и братстве всех народов социалистической родины.

Порой казах без юрты жил своей.
Но разве смог бы жить он без друзей?

Стихи поэта раскрывают характер народа, его бесстрашие, влюбленность в труд и песню:

Казах бывал без хлеба,
Но, однако,
Без песни нет и не было казаха.

Давно окончилась Великая Отечественная война, память же старого солдата вновь и вновь возвращает к тем далеким дням — таким нелегким и таким героическим. От первого до последнего дня он был не только свидетелем, но непосредственным участником борьбы с немецким фашизмом. Поэт верит, что неисчислимы жертвы нашего народа, принесенные на алтарь отечества, никогда не забудутся:

Нам вечно жить в столетях новых:
Ведь труд и свет,
Ведь мысль и слово
Для будущего — мы спасли.

(«9 мая в Москве»)

Джубан Мулдагалиев — мастер больших поэтических полотен. Его две поэмы «Судьба вдовы» и «Ступени Байконура», вошедшие в новую книгу, каждая со своим звучанием, обращены к разным временам. И в то же время они составляют, на мой взгляд, определенную цельность, диалектическое единство. Их роднит вера в будущее, преклонение перед подвигом во имя родины.

Поэма «Судьба вдовы» посвящена памяти матери поэта — Зерии. Далекое прошлое казахской женщины. Она проходит путь нелегкий, полный утрат. И вместе с тем светоозаренный, праведный, ибо это путь от нищеты и безграмотности к светлым горизонтам новой жизни. Словно заново родился человек на свет, получил большие крылья для полета. Вдова, забитая горем, с годами становится председателем колхоза.

«Ступени Байконура» — это поэма о людях, покоряющих пятый океан. Об их думах и стремлениях, об их поступках и ответственности за все, что делается на земле и в космосе. Космос XX века! В поэме названы знакомые имена, угадываются знакомые портреты. «Ступени Байконура» — это ступени времени. Ступени наших дней.

Подлинный поэт неизменно стремится сказать о самом главном в жизни. Толь-

ко мастеру под силу сделать это действительно интересно, не избегая острых ситуаций, в которых живые и полнокровные характеры говорят о проблемах современности открыто, по-партийному заинтересованно и доказательно.

Симптоматично, что «Ступени Байконура» начинаются именно с раздумья о назначении поэта. Бывший фронтовик Джубан Мулдагалиев и поэзию и саму жизнь воспринимает как вечный бой за справедливость, за правду. Поэт — тот же солдат, тот же воин, самоотверженный в каждом своем дне и деянии:

Когда поэт в борьбе, он на виду.
Он вдаль готов за необычным мчатся.
Поэт — он дарит людям красоту,
Ее дарами пользуясь не часто.

Словно раскрывая душу самого народа, автор знакомит нас с молодым казаком Исакулом еще в ту пору, когда юноша начинал трудовую жизнь на строительстве Турксиба. Герой помнит бесправное существование степного кочевника, когда, по словам Исакула, «конь да скрипучая арба казались нам мечты пределом». Октябрь привел парня на Турксиб. Октябрь дал работу, дело. А еще «дал и тетрадь, и карандаш тебе в мозолистые руки. Пиши в ночи, а вспыхнет день (тогда рабочих не хватало), клади тетрадь, бери кетмень, веди Турксиб за перевалы»... Так шел по жизни Исакул, похожий «острыми плечами на беркута, готового к полету». Таким увидел его поэт на Байконуре.

Тут не только судьба человека сама по себе — с образом Исакула возникает еще и тема прошлого, всего того, что пережито народом в веках. Дух этого прошлого — вечный скиталец Коркут, который, как гласят легенды, долгие столетия блуждал по степям в поисках земли обетованной, напоминает Исакулу о всех невзгодах бывшего существования. А внук Исакула, малыш, только-только делающий по земле первые шаги, упрочивает в деде убеждение, что только жизненная активность помогает человеку разумно торить свою тропу в жизни, помогает крепнуть характеру, ведет в будущее, где нет места трусливым и слабым. Хотя при этом и понятно, что «идуший словно бы крупней, бьют до идущему верней»...

К победе ведет атака! — к такому выводу поэта привела прежде всего его фронтовая судьба.

Казахстан, Байконур — сегодня для нас эти два понятия неразрывны. Как неразрывно между собою и другое: Казахстан и целина. Не удивительно, что в доме Иса-

кула автор встречает и «космического» генерала, и секретаря райкома партии, для которого земля, хлеб — самые главные в жизни заботы. Неспешен и поначалу будничен разговор у самовара, завязавшийся между этими людьми. Но чем дальше, тем острее ощущаешь: они связаны не только общей причастностью к нашим большим и малым земным заботам, но и устремленностью сердец к неразгаданным высотам космоса.

Вот так же зримо и психологически убедительно на другом сюжетном повороте поэт воссоздает обстановку той знаменательной ночи, что предшествовала легендарному апрельскому дню 1961 года. Джубан Мулдагалиев делает нас как бы свидетелями бессонных размышлений Главного конструктора, тактично и бережно воссоздавая детали обстановки, саму атмосферу, в которой работал Королев. Этой достоверности способствует счастливо найденный литературный прием: доверительная, исповедальная — но лишь мысленная! — беседа ученого с матерью накануне полета. А потом вслед за Королевым мы словно бы вступаем и в другой дом — тот, где в эту ночь спит первый космонавт Земли, покуда еще никому не известный:

Удел его и Королеву не ведом.
Что — слава? Мгновенье?
Но, избран судьбой,
Он спит, чтобы стать величайшим

полпредом
Планеты Земля во Вселенной самой.

И вот он — исторический расцвет. Навсегда оставшееся в нашей памяти гагаринское «поехали!». По-сыновьи гордый взгляд издалека: «Не блеском Солнца, не ландшафтом лунным — тобою любовался он, Земля!» Вместе с автором вторишь тому, что тревожит сердце каждого честного жителя планеты: «Но вечно мы ложиться в землю будем, как вечно будем жаждать высоты. Земля жива — и оградите, люди, ее от бед, отчаянья, нужды».

Вечная жажда высоты. Она обрела особый смысл в нашу эпоху, претворяющую в реальность великие ленинские прозрения. Достижения советского народа в космосе — вслед за победой над фашизмом — заставили все человечество по-иному взглянуть на нас — с пристальным вниманием и несомненным уважением. Памятно то место в поэме, где советский и американский генералы в недалекие дни, 70-е годы XX столетия, сойдясь в Байконуре во имя укрепления научных контактов, вспоминают — и это весьма знаменательно! — не беды «холодной войны», а встречи на Эльбе весной 1945-го. Стремлением к миру и взаимопо-

ниманию была вызвана и встреча ученых и космонавтов двух стран на советском космодроме.

Садовый ли цветок под ветром мечется,
К степному ли губами ты приник?
Не русский, не английский —
Человеческий
Доносится из космоса язык.

Язык человеческий. Язык мира. На этом языке стремятся говорить все народы. Этот язык обретает новую силу, его обогащает взаимоуважение разных стран. И трудно не согласиться с поэтом, когда он утверждает:

Америка — великая держава.
Народ ее — талантливый народ.
Стань другом нам, Америка, в делах,
Которым ныне место в сердце каждом.

А уж ветеранам ли Великой Отечествен-

ной не знать, как дорого стóбит мир на планете, как многое зависит от воли самих народов!..

Вот мысли, возникшие у меня над страницами книги Джубана Мулдагалиева «Голос любви», над особенно дорогими строфами поэмы «Ступени Байконура». Она очень показательна для творчества поэта, эта художественно цельная, масштабная поэма, глубоко гуманная по содержанию, партийная по позициям, на которых стоит поэт. Ее интернационализм, мягко оттененный казахским колоритом и освещенный мечтой о том времени, когда в космосе побывает и собрат наш казах, делает это произведение не только общечеловечным, но и вместе с тем обращенным словно бы к каждому из нас.

Ким СЕЛИХОВ.



МУЗЫКА И СЛОВО

Давид Самойлов. Избранное. М. «Советский писатель». 1980. 448 стр.
Давид Самойлов. Залив. М. «Советский писатель». 1981. 144 стр.

«И всех, кого любил, я разлюбить уже не в силах...» Эта строка могла бы стать эпиграфом к статье о Давиде Самойлове лет десять назад.

Или другая строка: «О, горе! Я не помню зла!» — одновременно и разгадка самоейловского мироощущения той поры и новая загадка «Не помню»? «Какое прекрасное свойство уметь отрешиться от зла...» Зло неталантливо, мелко, оно рифмуется скорее со «злобою дня», чем с подлинной сущностью жизни... — может быть, так?

Как забывается дурное!
А память о счастливом дне,
Как излученье роковое,
Накапливается во мне.
Накапливается, как стронций
В крови. И жжет меня дотла...

В стихотворении примерно двенадцатилетней давности («Красота») Самойлов откровенно формулирует: «И отрешась от распрей и забот, мы слушаем в минуту просветленья то долгое и медленное пенье и узнаем в нем высшее значение...»

Не распри и заботы, не горе и зло, не повседневное течение жизни, а жизнь, преобразованная художественным просветлением... Другое дело, обнажается ли при этом ее подлинная глубина.

Стихи Самойлова были сродни тому древнему легендарному чуду, по которому вода легко превращалась в вино. Смерть из нелепой для всякого живого трагической необходимости — в музыкальный звук, в гармонический аккорд: «И два бес-

памятства — начала и конца — меня обнимут музыкальным кругом»; зимний холод — в таинственное облако женственности; житейское непостоянство чувств — в верность, которую хранит уже само стихотворение: «У зим бывают имена. Одна из них звалась Наталья. И было в ней мерцанье, тайна. И холод, и голубизна. Еленою звалась зима, и Марфую, и Катериной...»

Даже нелюбовь превращалась в стихах Самойлова в любовь: «А легкая любовь вдруг тяжелеет. Даже война! «Я выбежал из блиндажа, и выюга плечи обнимала, так простодушна, так свежа».

Зрение Самойлова 60-х — начала 70-х годов (книги «Второй перевал», «Дни», «Равноденствие») так устроено, что он видит свои «предметы» одухотворенными уже в силу самой их причастности к жизни и, что особенно важно для Самойлова, к искусству.

Тот, кто помнит хотя бы самоейловский «Выезд», согласится, что, помимо естественной радости детства, другая радость, радость самого стиха, приподнимает и гонит его строки:

Помню — папа еще молодой.
Помню выезд, какие-то сборы.
И извозчик — лихой, завитой.
Конь, пролетка, и кнут, и рессоры.

Выезд, начатый в довоенной Москве, на ее конкретных улицах, все более одушевляясь и упиваясь собственным ритмом («Звонко цокает кованный конь...»), перестает распадаться на подробности, а там и вов-

се взмывает над бытом, над конкретностью: над пролеткой уже не то, «временное» небо Москвы 20—30-х годов, а вечное — «свечи созвездий». И кажется, этому ликующему выезду не будет конца. Только чуточку щемит сердце оттого, что «папа молод и мать молода» в каком-то ином, своем времени и пространстве...

«Шумит, не умолкая, память-дождь, и память-снег летит и пасть не может...» — вот что делалось с жизнью, когда она включалась в раму самоейловского искусства.

У Гёте есть примечательное высказывание, зафиксированное Эккерманом: «Кто хочет сделать нечто великое, тот должен достигнуть такого развития, чтобы быть в состоянии... возвысить ограниченную природу до высоты своего духа и сделать действительным то, что в явлениях природы... осталось на степени намеренья». Не являются ли самоейловские метаморфозы интуитивной попыткой реализовать такие намеренья? «А легкая любовь вдруг тяжелеет»...

Интересно, что Самойлов в книге «Волна и камень» чуть ли не цитирует Гёте: «Природа плетет без развязки один бесконечный сюжет. Но надо включить его в раму, и это искусства залог, когда бесконечную драму врубают в один эпизод».

Эпизоды Самойлова всегда счастливые: молодость родителей никогда не кончается, прекрасный снег «летит и пасть не может», «память о счастливым дне» накапливается, «всему, всему — благодарень!».

Но откуда среди этого блеска радости такое, например, заклинание:

Не смей, не смей из глуби доставать
Все то, что там скопилось и окрепло!
Пускай хранится глухо, немо, слепо.
Пускай! А если вырвется из склепа,
Я предпочел бы не существовать,
Не быть...

Откуда это? Не от недоверия ли к реальности? Реальности, посягающей на суверенность внутреннего мира личности. Спрятать, укрыть, зарыть, похоронить на самом дне души, пока синяя тлпца не превратится в обыкновенную, серую. Правда, страхи эти пока еще очень подспудны, мимолетны, «всему, всему — благодарень!».

Если внимательно следить за метаморфозами самоейловского мироощущения, в нем обнаруживаются своеобразные кульминационные точки.

В стихотворении «Весенний гром» (книга «Дни») Самойлов, как это мастерски показала критик Ирина Роднянская, впервые слил две темы-линии — мир родных лесов

и мир отечественной истории «в один природно-исторический космос». Историческое чувство пробуждалось в этом стихотворении не листами старинных книг, а листьями деревьев. Стихотворение «Березняк» было едва ли не покушением на самые основы «ясного» Самойлова: «Так березняк беспечен, словно он к российским бедам не причастен...» Если в «Громе» русская история (в данном случае эпоха Екатерины), вернее, ее неуловимый эстетический аромат, растворенный в красоте весенней земли, извлекался поэтом и восходил «облаком славы», то содержание «Березняка» — дисгармония, мучительное несоответствие природного, естественного и — рукотворного: «Перед бесчинством царского меча как колокол березовый непрочен»...

Красота березняка, когда-то вызывавшая «какие слезы», теперь вроде бы несет ответственность за «русские беды», красоте предъявляется обвинение в беспечности и причастности: «О жаркая, о снежная березка! Мое поленце, венчик и розга!»

Чуть ли не языческое «о, горе! Я не помню зла», как и «Красота превыше дарований», пройдя некий цикл, оборачивается своей крайностью, вот-вот готовым сорваться вопросом: а возможна ли радость, когда есть страдания, зло? Если же прочитать это стихотворение в контексте помещенных рядом стихов, где Самойлов откровенно публицистически формулирует: «Российский стих — гражданственность сама», — где подчеркивается: «Мужицкий бунт — начало русской прозы», — где дважды говорится о той самой пользе, любезной толпе, но ненавистной поэту, которую Самойлов неожиданно для своего читателя ставит в один ряд с «восторгом ума» и окончательно для себя реабилитирует в заключительных строках: «И сочинителей российских мучит сознание пользы и мужицкий бунт», — тогда иск, предъявленный красоте, помимо общего философского смысла («не спасла», «не спасает»), оборачивается и иском к себе, художнику. Не потому ли в последних книгах Самойлова так много стихов о стихах, о сути поэтического слова.

А слово — не орудье мести! Нет!
И, может, даже не бальзам на раны.
Оно подтачивает корень драмы.
Разоблачает скрытый в ней сюжет.

(«Весть»)

Я сделал вновь поэзию игрой
В своем кругу. Веселой и серьезной.

(«Залив»)

(Вообще в «Заливе» стихов о стихах, рефлексии по поводу творчества, может

быть, чуточку больше, чем «допускает» поэзия.)

Но где же это слово, которое подтачивает и разоблачает, слово-откровение?

«Не подсказал», «и сочинителей российских мучит», «тянем, тянем слово заложало», «все есть в стихах — и то и это, но только нет судьбы поэта», «там незаносчивое слово, в котором тайная беда»... Самойлов выражает сегодня какую-то общую для всех нас неудовлетворенность самой работой поэтического слова, его и впрямь заметной залежалостью, едва ли не исчерпанностью каких-то его ресурсов. Порой кажется, что слово и самого Самойлова мечется в поисках своего смысла, скользая по всему, что открывается взгляду, — ночному городу, пустынной ноябрьской роще, снежному берегу залива... Зримый мир, прежде цельный, дававший слову Самойлова всегда нечто большее, чем может взять даже самое зоркое зрение (аромат и обаяние жизни), и в «Вести» и в «Заливе» как будто распался на фрагменты, отяжелел, застыл. Возникает образ города, где вода — «не текучая», снега — «непечатые», сосны — «недвижны», где — «немота», а если и дуют ветры, то это «ветры пятнадцатых этажей», «в них нет ропота листьев, посвиста заборных прогалов», всего того теплого и земного, к чему мы привыкли в стихах более раннего Самойлова. И только где-то на окраине (стихи так и называются «На окраине») орет себе в синеве петух — «развеселый, дикий, горластый, рябоперый и огневой»... Единственное во всей книге «Весть» стихотворение, где по-самойловски шумно, ветрено, счастливо, правда, с нотками угаданной печали: «Будь что будет — живи и здравствуй! Пой, петух, куда живой!»

Значит ли это, что слово Самойлова утратило прежнюю силу? Всякий, кто читал его стихи последних лет, наверняка подтвердит, что это не так: виртуозность и гибкость его стиха, особенно в поэмах, завидны. Но вся мастерски — ярко, зримо, обязательно! — рассказанная история о легендарном пушкинском прадеде (поэма «Сон о Ганнибале»), о его первой неудачной женитьбе, существует едва ли не ради последних тридцати строк, глубоко сокровенных, по-видимому. Пенистое кружево задорного пятистопного ямба с аукающимися по соседству строчками («И для устроинства крепости Пернов им послан был майор Абрам Петров...»), плетущими жизнь яркую и легкую (экзотический страстный арап, еще петровский воздух очнувшейся

России, «бледное море», лениво грезящая наяву — детством и халвой! — молодая гречанка...), к концу поэмы как бы прорывается, продырявляется. Легкое таит под собой страшное. Жестокость, роковую слепоту к ближнему, двадцатилетнее заточение — коварный заговор жизни против самого простого счастья. Это данность, ее ни преодолеть, ни разгадать. (Но в этом и позиция художника, достаточно мужественная...)

Почти во всем, что пишет в последнее время Самойлов, мне видится скрытый (в значении недекларируемый, упрятанный глубоко), но не менее от этого мучительный поиск какого-то ускользающего смысла.

Самойлов, для которого раньше сама жизнь, одухотворенная художническим пафосом, и была смыслом, сегодня, словно не попадая в резонанс с ее «музыкой» (Блок), то ищет этого слияния, отстаивает свое (вспомним его, условно говоря, пейзажные стихи — холодноватые, несколько риторичные), то сомневается в самом существовании этой «музыкальной» творческой сути жизни, в самой гармонии. Это особенно ощутимо в его последних поэмах, где Самойлов ставит своих героев перед последней чертой. Это и в драматической поэме «Старый Дон Жуан» и в «Цыгановых».

В «Цыгановых» Самойлов как бы моделирует жизнь, себя осознающую. Чтобы быть ближе к истине, рискну сравнить поэта с господом богом, на наших глазах упражняющимся в сотворении мира.

Вот появились три фигуры: коня, Цыганова, Цыгановы — пока всего лишь «три могучих тела». Цыгановы в начале поэмы — «простой осколок стихии». И вот они начинают обживать свой космос — и все вокруг них уже зримо, пахнуще, вкусно, дразняще чувственно («Гость у Цыгановых»). Потом рождается сын — рождаются потрясение самим фактом жизни и первые вопросы к ней. Где и когда это происходит? В поэме нет конкретных реалий, ни временных, ни пространственных. Зато объектив ее подчеркнуто укрупняющ: «Так Цыганов, казавшийся гигантом над низким горизонтом, шел с женой и нес ребенка позднею весной». Критики упрекали Самойлова в нецельности Цыганова, к концу поэмы по-интеллигентски рефлектирующего, не замечая, однако, что Цыганов — лицо обобщенное, это, если хотите, персонифицированное человечество, сама жизнь, как понимает ее здесь автор, пытающаяся себя осознать.

Вот тяжело, со скрипом начинают ворочаться в Цыганове «на дне его рассудка» немудрящие мысли («Колка дров»). Вот мысль становится смелее, сосредоточеннее, большее: «Зачем я хлеб свой ел и воду пил? И сына породил — зачем все это? Зачем тогда земля, зачем планета? Зачем?»

В Цыганове, как и в Дон Жуане, на первом плане, повторяю, родовые черты, и потому этот рывок из косности речи и сознания, неправдоподобный в чисто психологическом сюжете, здесь естествен: все происходит в спрессованном времени поэмы.

«Неужто только ради красоты живет за поколением поколение? — размышляет в конце поэмы Цыганов. — И лишь она не поддается тленью? И лишь она бессмысленно играет в беспечных проявленьях естества?»

И вот такие обретя слова,
Вдруг понял Цыганов, что умирает...

Усомнившись не только в самом смысле естественно текущей жизни, но и в смысле и власти красоты, он тем самым «подвел черту» под определенным мироощущением. Интересно, что Самойлов здесь еще упрямо стоит на своем: не с миром что-то происходит — с художником, который видит мир «неприятным». Он, художник, «слеп», потому что видит только то, что видит...

Гений у Самойлова «прощает мир»: «А Ганнибал не гений, потому прощать весь мир не свойственно ему». Но разве гений прощает? В отношениях гения с миром вряд ли присутствует этот оттенок уступительности. Такого рода уступительность скорее свойство самого Самойлова, вернее его таланта.

...Ибо путь наш был слишком горек
И ужасен с временем спор.
Но есть дней и садов здоровье,
И поэтому я с любовью
Размышляю о том, что есть,

Но можно ли поэту на самом деле отнестись с полувниманием к трагизму жизни, не заплатив за это никакой цены? «О, как я поздно понял, зачем я существую! Зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься...» Одно из лучших, самых что ни на есть самоеловских стихотворений! И все-таки: можно ли представить, скажем, Блока уговаривающим себя не беречься?! Сопоставление, пожалуй, и некорректное, но по-своему необходимое для прояснения каких-то координат. К тому же Самойлов сам на него и провоци-

рует. «И должен ли при сем беречься гений?» — спрашивает он в другом стихотворении из книги «Залив». Вопрос по отношению к гению все-таки более чем риторический...

И должен ли при сем беречься гений?
О страхе должен думать тот, другой,
Когда перед глазами поколений
В запал курок спускает нетугой.

Как ни жаль признать, но стихи рассуждающие, обезличенные и в то же время характерные: сам материал — трагическая судьба гения — по-видимому, сопротивляется, не поддается Самойлову-художнику...

Еще раз, еще раз вернемся к «ясному», самому самоеловскому Самойлову: «Довольно, память! Помолчи! Пускай свечу задувши, я слюнку сладкую в ночи почую на подушке». Разве жест энергичного отстранения не его естественный жест? «Забудем заботы о хлебе!», «Аленушка, не возвращайся...», «Не смей, не смей из глубины доставать...». Последнее стихотворение, кстати («И всех, кого любил, я разлюбить уже не в силах»), характерно своей противопоставленностью (вольной или невольной) опять-таки блоковскому:

Убей меня, как я убил
Когда-то близких мне!
Я всех забыл, кого любил,
Я сердце вьюгой закрутил,
Я бросил сердце с белых гор,
Оно лежит на дне!

Сами понятия «беречься» — «не беречься» в системе блоковских координат смотрятся, говоря его же словами, всего лишь как «грустная земная жалость...». Тут с жизнью совсем иные отношения.

«Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая». Кому принадлежат эти строки?

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

Тут поэзия пересеклась с жизнью с поистине драматической вспышкой. Но вот что интересно: как только появляется драматизм (стихи эти давние, из «Второго перевала»), пропадает... Самойлов. Подчеркнутый прозаизм, житейски-доверительная интонация, не атмосфера, а мысль, доведенная до художественной объемной формулы... Кто здесь перед нами — Борис Слуцкий? Нет, речь не о подражании, показательное другое. Острый драматизм не свойствен самой поэтике Самойлова, ее духовно-формальному строю. Мир, созданный лучшими самоеловскими стихами, устроен и уравновешен.

Но эта устроенность и уравновешенность мало похожи на пушкинскую гармонию (Самойлова часто «выводят» из Пушкина), гармонию, обнимающую собой жизнь во всех ее проявлениях — высокого и низкого, реального и таинственного, почти запретельного. Пушкинская поэзия умела переплавлять этот полный объем бытия — это был Пушкин, это был XIX век, когда все, как в солнечном сплетении, еще сходилось и уравновешивалось в человеческой личности, которая еще ощущала свое место и роль в «мировой жизни» (может быть, как естественный долг перед ней?).

В фундаменте самойловской уравновешенности изначально, на мой взгляд, была трещинка, которая теперь, в свете его последних книг, все отчетливее проступает. Уравновешенность, «ясность» Самойлова держалась, по сути, на примирении непримиримого, на устранении неустранимого. Гармония? Нет, скорее прекрасная... утопия гармонии.

На змелях сегодняшней поэзии есть самойловская территория. Это — залив, вернее его прибрежная полоса; это почва, возделанная, а точнее преображенная, духом артистизма:

Была туманная луна,
И были нежные березы.
О, март — апрель, какие слезы!
Во сне какие имена!

Именно во сне и именно туманная! И именно была (что пройдет, то будет мило), всегда была, а не — сейчас...

Мне дорога эта пядь поэтической земли легким счастьем, негорькой печалью, весомостью невесомого. И даже тем, что все это уже вряд ли вернется в самойловские стихи. «Ведь все равно невозвратима незамутненность бытия», — писал он когда-то.

Но есть возвышенная старость,
Что грозно вызревает в нас
И всю накопленную ярость
Приберегает про запас,
Что ждет назначенного срока
И вдруг отбрасывает щит.
И тычет в нас перстом пророка
И хриплым голосом кричит.

Нет, я вовсе не веду к заключительному аккорду, что время это как раз и наступает для поэта. Тем более что слово про рок слишком ответственное. Но круг, как мне видится, сомкнулся, а точка, на которой поэт сейчас пребывает, не может быть неподвижной.

...Характерны названия самойловских книг «Ближние страны», пожалуй, не в счет: книга первая, вот и название нейтральное (по поэме, входящей в книгу). Но «Второй перевал» и в большей степени

«Дни» и «Равноденствие» достаточно красноречивы. Названия удивляют точностью самойловского самоощущения на каждый данный отрезок жизни. «Труды и дни», «Дни»... Величавость, спокойствие, ясность... И «Равноденствие» — своеобразный итог. Избранное тех лет — все тот же пик жизни, ее зенит. В сочетании же волны с камнем (книга «Волна и камень») слышна некоторая дисгармония: камень камнем, а волна уходит и сливается с морем: «До свидания, камень, и да будет волна!» Неизбежность отпадения от устойчивого, неизбежность движения... Только куда? После равноденствия свет, как известно, убывает... «Весть» — название неожиданное в этом ряду. И точное! Оно ничем не заполнено Оно в отличие от предыдущих сама неопределенность: далекий привет, молва, слух. И все это действительно выражает характер книги, неопределенность, нецельность которой объясняется не просто холодовато-странной ориентацией (на «поэтику сборника, а не книги», например, как считает С. Чупринин), а естественной нецельностью поэтического мира и сознания.

Можно вспомнить, конечно, и об изначальной в русском понимании близости слов «весть» и «совесть». И в этом применительно к книге Самойлова действительно что-то есть.

Стих Самойлова пытается стать ближе к контрастам жизни, к ее трагизму, пытается впустить в себя все то, что изначально не было ему свойственно, — и вот он уже трещит и задыхается:

Высочил из окружения.
Ушел.
Бежал, задыхаясь, захлебываясь,
Чуя спиной отдаление выстрелов.
И вдруг неизвестно как выплутал
К знакомым кочарникам...

В «Окруженце» видна попытка расширить само поле собственного зрения через героя, отделенного от автора, через подробности быта. Лирическое как бы пытается подчинить себя эпическому, объективному. Однако художественного преодоления материала, катарсиса в этих стихах, на мой взгляд, нет (Д. Самойлов, кстати, опубликовав «Окруженца» в книге «Весть», не включил его в «Избранное»).

Курс на эпизацию был, как видно теперь, заявлен еще в «Волне и камне» — в странной драматической сцене «Поэт и старожил», где какой-то выпивоха, местный старожил, встречается с заезжим поэтом в пивной и поэт под звон грубых стаканов рассказывает случайному собутыльнику историю человека, попавшего в плен

к фашистам. «Ты это видел?» — спрашивает старожил. «Это был не я», — явно невпопад, но впопад самойловской задаче отвечает поэт. «Не я» — главное, на чем сосредоточен автор «Дневника», своеобразного жизнеописания молодого русского поручика, участника военной кампании 1812 года. Идет нащупывание каких-то иных жанров в сторону своеобразной новеллистики.

В «Вести» Самойлов демонстрирует еще одну из возможностей обновления (жанрового в том числе) поэтической системы.

Смеркалось. Светомаскировку
Она спустила Подала
Картошку и полулитровку
Достала. В рюмки разлила¹.

И смешно и жутковато... Два времени совмещены в этой своеобразной пародии. Жизнь предстает в неожиданном ракурсе. Здесь, по-моему, лежат интересные возможности, тем более что классический самыйловский стих уже в самом естественном (в силу длинного шлейфа культурной традиции за каждым «таким» словом) содержит готовность к «передразниванию», перифразу. Тут, кстати, могут открыться и какие-то новые ракурсы самыйловского историзма...

Поэма «Снегопад», на мой взгляд, самая органичная вещь из написанного Самойловым в последние годы — вся держится на дразнящей, пародийной языковой игре, которая создает здесь эффекты достаточно неожиданные:

...И к ней приблизился.
— Не надо,—
Сказала. Сделалась бледна,
Он отступился. Вот досада!
...Его несло. Она внимала.

На этих ухабах стиля Самойлов не только подтрунивает над милым его сердцу молоденьким лейтенантом — тут что-то и другое происходит. И я не могу согласиться со Станиславом Рассадиным, укоровшим Самойлова по поводу «Снегопада» в злоупотреблении «ритмико-мелодической пушкинской интонацией», пушкинской лексикой. Тут ведь все дело в своеобразном сопряжении. «И рот, искусанный блаженством» — это совсем другая, не пушкинская художественная логика.

Время как бы двойится, вибрирует в поэме. Что-то творится и с изображением.

¹ Сравним с известными пушкинскими строками из «Евгения Онегина»:
Смеркалось: на столе блистая
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.

Как от зеркального новогоднего шара, по нему бегут блики: по пустынным улицам военной Москвы, по жалкой, бедной каморке, куда приводит случайного встречного случайная женщина. И все эти смешные, старомодные «внимала», «сделалась бледна», все эти «она кругом была объята летучей сетью снеговой» и есть блики этого детского праздничного шара... Это Клава и это вечная женщина, она здесь, сейчас и она — всегда и никогда.

...Я постарел, а ты все та же,
И ты в любом моем пейзаже...
...Летел, летел прекрасный снег,
Струился без отдохновения.

Знакомый самыйловский — снег ли, дождь ли, тот, что «летит и пасть не может», здесь, в мерцающем, мигающем свете поэмы, предстает как нечто мучительно недостижимое. Эта поэма в отличие от малоудачных пока попыток объективизации самыйловского зрения как раз принципиально, заведомо неэпична.

Что я мечтал изобразить?
Не знаю сам. Как жизни нить
Непрочная двоица связала,
Чтоб скоро их разъединить?
Нет, этого, пожалуй, мало.
Важней всего здесь

снегопад

Игра света и теней, тишина порхающих как бы в замедленной съемке старых прекрасных слов, старых прекрасных понятий: покой, утешение, отдохновение, музыка, блаженство, вдохновение...

Как я хотел бы с нею рядом
В тот переулочек завернуть!

Вот где Самойлов равен себе, вот с чем мучительно прощается, вот без чего не может существовать.

...Самойлов сумел когда-то доказать, что артистическое, художническое вдохновение может оборачиваться не меньшей реальностью, чем реальность физическая — чем лес, птицы или ветер... «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь. И птицы-память по утрам поют. И ветер-память по ночам гудит, деревья-память целый день лепечут...»

Кто одолеет: вдохновение или проза, память или жизнь?

И все-таки это было, это останется (в нас-то уж наверняка останется):

Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата...

Марина БОРЩЕВСКАЯ.



НЕ ТОЛЬКО ДОРОГА — ВСЕ ПОЛЕ

И. Дедков. Во все концы дорога далека. Ярославль. Верхне-Болжское книжное издательство. 1981. 200 стр.

Выступления И. Дедкова всегда отличаются весьма определенной позицией по отношению к современной литературе. Есть эта определенность и в его новой книге, вышедшей недавно в Ярославле. Критик жестко очерчивает «круг предпочитаемой жизни» — провинция; он ценит преимущественно только один принцип изображения — плотную художественную конкретность письма; он отдает явное предпочтение литературе, в которой просвечивает личный опыт автора, почти открытый автобиографизм. Такова модель художественного мира, который оказывается ему наиболее близок, как бы ни разнились между собою В. Астафьев и В. Семин, К. Воробьев и Ю. Куранов, Л. Воробьев и В. Леонович и другие писатели — герои его книги. Все, что за пределами избранных параметров, критиком отвергается как искусственное, умозрительное и потому упрощенное изображение жизни.

Жесткость этого счета смягчается отношением к литературе как к урокам «нравственности и красоты». И постепенно понимаешь, что в позиции критика есть своя правда, вырастающая из опыта современной литературы.

Дедков ценит изображение «первичной действительности» — действительности, «увиденной в упор»: такова, на его взгляд, современная военная проза, такова и проза деревенская. Проявив себя достаточно полно и выразительно в творчестве В. Астафьева и В. Шукшина, В. Распутина и Ю. Куранова, К. Воробьева и В. Быкова, эта проза предложила новое зрение, новый счет, «восприняв как бы в новом прочтении, неискусенно и цельно, важнейшие непреходящие черты... и связи» земного бытия. Позади осталась проза другая, ярче всего представленная В. Овечьим, — та литература, которая еще не обладала «поэзией живого характера», но многое предопределила в состоянии нынешней прозы.

«Круг предпочитаемой жизни» оказался для литературы значащим обстоятельством уже тогда, то есть в овечьинском пору, считает Дедков. В очерках Овечьина, которые сегодня чаще всего воспринимаются как историческое свидетельство общественных процессов, характерных, казалось бы, только для 50-х годов, критик увидел более сложное соотношение проблем и времени, людей и проблем и в занятом делом овечьинском герое высоко оценил строй мысли, «пытающийся по-

стичь, открыть за преходящим, текущим устойчивое, закономерное, подвергнуть его честному анализу, понять его механику и тенденции». Поэтому в отличие от многих других Дедков не только не видит принципиальных отличий современной деревенской прозы от прозы В. Овечьина, но считает, что именно от той честности слова, от той связи слова и действия ведут свое начало лучшие черты современной прозы: действенность слова, внимание к драматизму повседневной жизни, отсчет всего «от действительного положения вещей, от реального самосознания и самочувствия людей».

Как некогда для В. Овечьина, российская провинция стала для критика знаком России обширной и глубинной, неброской и серьезной. Образ провинции в его статьях — «это образ народной жизни, но с пространственным оттенком, с указанием ее местоположения на административной карте. Этот оттенок кажется несущественным, — замечает Дедков, — ничего не меняющим, но это обманчивое впечатление». И он прав.

«Круг предпочитаемой жизни» оказывается в истолковании критика тесно связанным с той точкой зрения, откуда ведется обзор народной жизни. Она внутри этой жизни. И потому изображение человека, изображение российской действительности потребовало от этой прозы и новой поэтики. Ее защите, интерпретации, воссозданию Дедков отдает много сил. Слова «новая конкретность народного исторического бытия» наполняются у него весомым и убедительным смыслом.

Критик многократно возвращается к доказательству той мысли, что особая плотность художественно-конкретного изображения — знак нашего времени. Он аргументирует свою мысль, то идя от самых общих истин («Чем огромнее, абстрактнее цифра, тем больше она обращена к нашему разуму; вся боль, все страдание и страдание — из единичности и конкретности»), то апеллируя к убедительности «твердого, созревшего, страстного слова» («На холеном, гладком слове ничего не выстоит, сползет»), то объясняя плотную художественную память особой судьбой избранных им для анализа писателей: это книги их личной судьбы. «Может быть, личный опыт, давший нам многие прекрасные страницы «деревенской», и особенно «военной», прозы, действительно неисчерпаем? — пишет Дедков. — Или настолько

драматическим, иногда трагическим было его содержание, что оно не могло не подчинить себе понимание литературной задачи? Это не какое-то тотальное изменение в составе опыта, но оно заметно. И в творчестве В. Астафьева (рожд. 1924) заметно, и в творчестве К. Воробьева (рожд. 1919), и ряда их сверстников, на чью долю пришлось и свершения и испытания исторического масштаба. Не приходится, например, ждать эпического спокойствия. Или удивляться частому повествованию от «я». Или явному сходству судьбы героя с судьбой писателя. Или сильной примеси очерково-документального или публицистического материала. Или возросшей роли образа автора и его этической позиции...»

Высоко ценя в литературе «историческую достоверность, честность, художественную значительность» изображений жизни, Дедков обладает особым умением — даром воспроизведения художественного мира писателя. Рассказывая о В. Астафьеве, Ю. Куранове или В. Семине, «тщательная художественная память» которого стала основанием его ни на что не похожей прозы, критик понимает непомерную сложность своей задачи: воссоздать художественный мир в «прямом слове» немислимо, почти невозможно, и в то же время это метод его работы, испытанный и при анализе прозы Астафьева, и при попытке дать читателю представление о трагическом видении мира В. Семиным...

В немалой мере это заслуга самой прозы. И все-таки ненаметанному глазу многое в ней могло бы и не открыться. Критик прав, обращая наше внимание, например, на то, сколько внимания уделено Астафьевым не только людям, но и собакам, лошадям, коровам, птицам, рыбам, перезимовавшему воробью. «Астафьевский способ названия всего, из чего состоит жизнь, — пишет критик, — буквально ошеломляет своей сухой и жесткой конкретностью». Но также ошеломляет нас и то, как умеет это увидеть в астафьевском тексте и довести до читателя Дедков. Это особое дарование. И во многом убедительность позиции критика обязана именно способности его слуха и глаза, художественной конкретности его слова, столь созвучного строю современной прозы.

Вот и в статье о Ю. Куранове критик выходит к основной своей идее: современная проза, считает он, упорно извлекает «из действительности, из-под покрова готовых, расхожих истолкований и определенных ее подлинный драматический образ, исполненный человеческого смысла и зна-

чения». В живописной пластичности изображаемого мира — начало и конец, вопросы и ответы, пафос исследования и напряженных размышлений о смысле жизни, свойственные сегодняшнему периоду развития литературы. Вне «неопровержимо точной, зримой и ощущаемой конкретности» их просто не существует.

У Дедкова есть концепция, есть аргументы. И все-таки за его бесспорными, казалось бы, рассуждениями, за его точным анализом, где все ложится, как в хорошей кирпичной кладке, одно к одному, мы неизменно слышим и другие ноты: это отзвуки какого-то другого гула, иногда явного, а чаще скрытого спора, глухого раздражения. Понача́лу кажется, что спор идет о словах и затрагивает только поверхность: Дедков не любит, когда говорят о духовности, вечности. Ему чудится в этих словах, действительно, надо сказать, имеющих тенденцию к инфляции, некое противостояние «существенному, насущному в жизни современников». Чуткий к силе живописания словом, он настороженно относится ко всему, что может обернуться, выражаясь его словами, «преднамеренностью, умственностью».

Но альтернатива ли перед нами? И так ли уж она неизбежна, если говорить о современной прозе применительно к ее нынешнему состоянию?

...На одной из страниц Дедков цитирует — как программное для современной литературы — стихотворение Л. Григорьяна:

Разумных и глупых, немых и речистых,
Все то, что сказалось, не метя в сказанье,
Всех чистых и всех безнадежно нечистых
Спрессуй до зерна и включи в описание...

«Спрессуй до зерна и включи в описание...» — это метафора излюбленной Дедковым художественной конкретности. Но почему она для него исключает взгляд поверх земли? И нет ли противоречия в том, что, ратуя за изображение, где все «спрессовано до зерна», критик отказывает писателям в праве на поиски художественных форм, выходящих за рамки жесткой конкретности? Между тем сама идея «спрессованного» образа предполагает непривычно большую, выходящую за рамки обычного реалистического описания емкость слова и образа, емкость художественной мысли; в этом убеждает и развитие современной прозы, где есть не только В. Семин, но и Ч. Амиразжиби, не только В. Шукшин, но и В. Распутин: с идеей живописной пластичности изображаемого мира художественные принципы первых совпадают только отчасти, а наряду с

этим велика роль образности, поднятой до символики и столь же прочно связанной с землей.

Задуматься над этим заставляют разборы и размышления самого критика, в частности его анализ прозы В. Астафьева. «Проза В. Астафьева изменяется, развивается у нас на глазах», но «изменения не касаются чего-то основного», пишет критик. Постоянство писателя он видит прежде всего в последовательной сосредоточенности на изображении сущности человеческой жизни, предельно точном и достоверном.

Все это правда, все это так: художественная достоверность изначально была присуща творчеству В. Астафьева. Но нельзя не заметить того, что менялась и она. Уже в «Последнем поклоне», замечает сам же Дедков, появилось нечто новое, что позволяет понять жизнь все того же, казалось бы, героя, маленького детдомовского мальчика, «в связи с прочим миром, с его идеалами, нравственными законами, практическими задачами и решениями». Эта сосредоточенная энергия не могла не коснуться и поэтики Астафьева, не могла не запечатлеть в ней страстных поисков ответа на вопрос, что есть мир и что есть человек. Появляется соотнесение отдельной человеческой жизни с ее же местом в ином, более широком ряду. И тогда намечаются в творчестве Астафьева «выходы в мировое историческое пространство», и они, как признает сам критик, не инородны.

Не инородны они, заметим и мы, потому, что сотканы из тех же реалий, но «спрессованных до зерна». Эта плотность художественного письма многосоставна, в ней есть прежняя живописность Астафьева и есть нечто такое, что в понятие пластичной образности не вмещается. Мысль писателя бьется над поисками философского ответа на вопрос об изначальных ценностях, определяющих смысл человеческой жизни, а критик сводит этот поиск к плоской публицистичности и видит в этом направлении художественной работы писателя только проигрыш. В результате целостное и напряженное единство астафьевского мира разрывается на противостоящие друг другу полюса. «Главное достоинство астафьевской прозы,— пишет Дедков,— не в риторических попытках объяснить современный мир через «вечное», «природно-библейское», фатальное, не в публицистически-сатирических обличениях, а в самих художественных изображениях вчерашней или сегодняшней российской народной жизни — будь то сибирская крестьянская изба, игарский барак, детский дом, фрон-

товой окоп, госпитальная палата, привал у рыбацкого костра, охотничье блуждание в тайге. В исторической достоверности, честности, художественной значительности этих изображений, в нравственном уроке, который они несут, в том народном мироощущении, что столь естественно — несформулировано — живет в них. И они — живут им».

Этот вывод критика мог родиться только из настороженного отношения ко всему, что несет на себе печать вечного: обесценить, выхолостить, девальвировать можно любое слово, но в словах ли дело? А между тем из-за априорной боязни всего, что не укладывается в излюбленную критиком поэтику, отвергнутыми оказываются чрезвычайно важные для творчества Астафьева стороны его художественного мира. Так произошло у Дедкова с оценкой повести «Пастух и пастушка», где критик принимает все, что несет на себе печать «конкретного астафьевского письма, знающего толк в земных мелочах, из которых-то все состоит», и решительно не принимает самой идеи реквиема, самой стилистической тональности, действительно романтической и мерно-торжественной, которая обрамляет в повести «земной» сюжет. Невозможно согласиться с тем, что многозначная стилистика повести «Пастух и пастушка» может быть разъята и анатомирована в целях ее приведения к некоему изначальному основанию. Да и вся проза, которую так ценит Дедков, интересна именно тем, что путь художественно-образного обобщения неотрывен в ней от той исторически достоверной конкретности, которую она с таким трудом и мукой обрела в боях с иллюстративностью и умозрительностью. Это не отменяет, на мой взгляд, множества путей к уплотнению и повышению емкости художественного слова и образа, свойственных современной прозе.

«Во все концы дорога далека» — да будет так, коль скоро речь идет о чувстве жизни, о правде литературы, о скрытых, еще не познанных нами возможностях. Воюя против отвлеченных схем, Дедков ратует за то, чтобы не «притушилась сама способность жить и воспринимать жизнь полно и естественно». Трудно, да и незачем с этим спорить, тем более что о достоинствах такого способа жить и писать рассказано в книге талантливо и убедительно. Но не будем сами же себе перекрывать дороги, и тогда окажется, что их больше, что они не всегда там, где мы их видим привычным глазом.

Г. БЕЛАЯ.



Политика и наука

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ ДИКОГО ЗАПАДА

Ирвинг Стоун. Достойные моих гор. Открытие Дальнего Запада, 1840—1900.
Перевод с английского. М. «Прогресс». 1981. 622 стр.

Есть исторические события и целые эпохи, настолько обросшие легендами, что пробиться к правде бывает непросто уже хотя бы по причинам психологического порядка: воображение находится во власти образов литературы, кино и т. д. Так, в частности, обстоит дело и с историей покорения Запада в США, вокруг которой сложилось особенно много всяких домыслов.

Книга Стоуна — честная попытка показать, как оно было. Известный американский романист, мастер биографического жанра, выступает в ней как историк-эссеист. Превращение достаточно редкое, но в данном случае оно не кажется неожиданным. Покорение Запада было делом не столько военных отрядов или каких-то организованных масс людей, сколько одиночек, пробивавшихся вперед на свой страх и риск. Поэтому в поле зрения историка оказываются прежде всего отдельные люди, характеры, а изображение характеров всегда больше удавалось не ученому, а художнику.

Возможно, кто-то прочтет книгу Стоуна просто как книгу приключенческую. Что ж, действительность Дальнего Запада, пожалуй, не уступает вымыслу. Для приключений тут были созданы, так сказать, все условия: дикая, полная контрастов природа, индейцы, интриги соперничающих держав, вольный и зачастую беспашанный пришлый народ, «прослоенный» к тому же криминальным элементом. Эпопею покорения Запада американцы иногда называют своей одиссеей: это такой же, как у Гомера, kaleidoscope открытий и почти невероятных случаев. Строгая муза истории не помешала Стоуну быть занимательным: к этому его обязывал материал, который в свое время привлек многих писателей — от Брет Гарта, Марка Твена и Джека Лондона до тех, кто никогда не бывал на Дальнем Западе или даже вообще не видел Америки. И все же «Достойные моих гор» далеко не приключенческая книга, ее жанр и смысл гораздо шире.

Открытие и покорение Запада — нечто большее, чем красочный пролог к современной истории США. Сами американцы придают особое, зачастую преувеличенное значение этому периоду — периоду фронта (начальная стадия освоения новых земель), как его принято называть в исто-

рической литературе. Еще в 1893 году, то есть примерно тогда же, когда закончилось распределение новых земель, американский историк Ф. Дж. Тёрнер опубликовал свою работу «Фронтир в американской истории», впоследствии поставленную в США чуть ли не в ряд с Библией и Декларацией независимости. Опыт фронта, объявил Тёрнер, решающим образом повлиял на основные убеждения американского народа, предопределив самый характер американского мышления. Они, эти убеждения, развивал свои идеи Тёрнер, не были завезены в Америку на борту «Мэйфлауэра» или «Сары Констант» (корабли, доставившие в Новый Свет первых поселенцев); не были они также плодом мысли рационалистов-просветителей. Они могли возникнуть только в процессе покорения Запада. По Тёрнеру получалось, будто люди, попавшие в условия фронта, чуть ли не заново рождались. Чем дальше уходил пионер на запад от атлантического побережья, тем более оказывался он в некоей нулевой человеческой ситуации: один на один с природой — своим другом и врагом одновременно (индейцы в счет не принимались). Пробиваясь на запад, общество расплывалось на предоставленных самим себе индивидуалистов, которым фронтир диктовал собственные суровые законы. Это-то атомарное сообщество и стало основой американской демократии, отмеченной «печатью исключительности».

В концепции Тёрнера фактор географии гипертрофирован в ущерб другим историческим факторам, важнейший из которых — развитие капитализма. Общество, складывавшееся «на голом месте», не было столь атомарным, как то полагал Тёрнер, буржуазные отношения становились его связующей основой. Недооценил он и идеологические, культурные факторы, привязывающие Новый Свет к Старому. Это, однако, не означает, что опыт фронта не оказал влияния на ход американской истории. Оказал, и весьма значительное: определил своеобразие капиталистического пути Америки и наложил определенный отпечаток на психологию американцев как нации.

Открытие и покорение Дальнего Запада, о котором рассказано в книге Стоуна, — это лишь один, заключительный, этап в истории фронта, насчитывающей без ма-

лого три столетия. Но это самый яркий, самый динамичный и самый близкий к нашему времени ее этап, ее бурное заключительное крещендо.

Вторая треть XIX века. Поток переселенцев устремился от Миссисипи дальше на запад. Впереди были величественные горы, глубочайшие каньоны, выжженные пустыни и долины, напоминающие райские кущи. Волыны упряжки и крытые фургоны упрямо просачивались сквозь установленные природой заслоны, «попутно» истреблялись индейцы. Потом толщу гор пробили железные дороги — это был решающий бросок вперед. Еще позади оставалась пространства, где никогда не ступала нога белого человека, еще в горах случались перестрелки с индейцами, а на побережье Тихого океана уже росли как на дрожжах шумные новые города. На этой стадии «марша на запад» цивилизация особенно быстро догоняла переселенцев, а порою и опережала их, отчего игра контрастов становилась особенно эффектной.

Какие-то стороны этой эпопеи не могут не вызывать уважения. На запад шли, нередко расплачиваясь за это жизнями, отважные исследователи, первопроходцы. Далее, это была также и производственная эпопея: освоение новых земель зачастую оказывалось делом крайне тяжелым, требовавшим большого упорства и трудолюбия. Хорошо, что Стоун уделил этому аспекту достаточно внимания, а то ведь в американских фильмах-вестернах, очень по-своему интерпретирующих историю Дальнего Запада, герои, как правило, не труженики, а, так сказать, «чистые» авантюристы, люди того типа, о которых Стоун пишет, что они могли заниматься лишь тем, что можно было делать, не слезая с седла.

Можно согласиться с автором: то, о чем рассказано в книге, — сага «о продвижении рода человеческого по Земле», точнее одна из таких саг. Более важен, однако, конкретно-исторический смысл описываемой эпопеи: прежде всего это была экспансия капитализма вширь. Именно капитализм мобилизовал переселенческие массы, побудил их сняться с насиженных мест и отправиться на «поиски счастья» и далее продиктовал им их образ действий. Откуда бы ни являлись переселенцы, каждый из них стремился отхватить свое, выйти в собственники. Наиболее беззастенчивые из них шли напролом, не брезгуя никакими средствами, поклоняясь только одному богу — Маммоне, богу наживы. Сами горы

были для них (цитируя Стоуна) лишь «грудами злорадно набросанных богами камней с единственной целью скрыть от людей золото и серебро».

Встречались, правда, среди переселенцев и бессребреники, смотревшие на горы совсем другими глазами. Среди них были альтруисты, «чудаки», которых даже золотая лихорадка оставляла равнодушными, были среди них и сектанты. Стоун иногда сам выносит своим героям окончательный приговор: те оказались достойными гор, эти — недостойными их. Читатель, имея свое суждение, не во всех случаях согласится с автором. Вообще же, как правило, однозначные моральные оценки здесь неприменимы — в большинстве случаев имеет место специфическое сочетание света и теней. Согласимся со Стоуном: человеческий характер бесконечно противоречив и весьма интересен.

Но какова бы ни была эта естественная противоречивость человеческих характеров, фактом является то, что капитализм пробуждал в людях — в условиях Дальнего Запада настойчивее, чем где-либо еще, — худшие инстинкты. Юмор нередко позволяет Стоуну обходить острые углы, но от этого острые углы не исчезают. Основным законом Дальнего Запада было право сильного, осуществлявшее себя в самых откровенных формах. Нельзя было рассчитывать на то, чтобы застолбить за собой участок, не владея шестизарядным кольцом; вакханалия вокруг золотого тельца свершалась под непрерывный револьверный лай. Насильственная смерть была обычным явлением в этих местах. Актеры театральных трупп, приезжавшие сюда с Востока, учились натурально умирать на сцене, наглядевшись на то, как это происходит в жизни. Не случайно Дальний Запад окрестили Диким: не столько дикой природой или «дикарям»-индейцам обязан он этим именем, сколько дикости нравов, воцарившихся здесь с приходом белого человека, — так считают сами американские историки.

Культе силы, обособление по принципу каждый за себя — традиции эпохи покорения Запада, которые, как хорошо известно, живы в сегодняшней Америке. Это неофициальная, непризнаваемая часть наследия фронта. Есть и официальная, признаваемая, она заключается в сочетании энергии преобразования (ныне практически исчерпанной) с частнобуржуазными надеждами (искусственно поддерживаемыми в эпоху госкапитализма); в фильмах-вестернах ее окутывает романтический флер: му-

жественные красивые люди, одолевая всевозможные опасности и препятствия, закладывают основы единственной и неповторимой американской демократии. Так легенда работает на вполне актуальные мифы об «американской исключительности», о «неисчерпаемых ресурсах» американского буржуазного общества и т. п.

Легенда о покорении Запада имеет и внешнеполитический аспект. Расширяясь в западном направлении, Американская республика сталкивалась с внешним врагом — индейцами и затем мексиканцами. Кстати говоря, в тех местах книги, где речь идет об отношениях с индейцами и мексиканцами, Стоун не вполне объективен, хотя и далек от односторонней шовинистической позиции официальной историографии. В ходе экспансии на Западе оттачивалась агрессивно-силовая манера отношения ко всему неамериканскому, позднее перенесенная на страны и народы, далекие от

границ США. Уже с конца XIX века понятие фронта (с легкой руки того же Тёрнера) приобретает широкий, геополитический смысл. И сегодня внешнеполитические действия США зачастую осмысливаются в этой стране в терминах времен Дикого Запада — достаточно вспомнить об истории с задержанием американских заложников в Тегеране, когда американские ура-патриоты призывали поступить с иранцами так же, как их предки поступали с индейцами.

Вообще же о всех последствиях, какие имела эпопея покорения Запада для современных США, и о том, какое место занимает в американской жизни символика фронта, можно было бы написать целое исследование. Но прежде всего надо знать факты истории. Книга Стоуна в этом смысле представляет собой ценное подспорье.

Ю. КАГРАМАНОВ.



«ДОМ СО МНОГИМИ КОМНАТАМИ»

А. Г. Глухов. ...Звучат лишь письма. Судьбы древних библиотек. М. «Книга». 1981. 207 стр.

Книгу составили научно-художественные очерки о традициях книжного дела и — уже — библиотечного. Древний мир и средневековье — Восток, Европа, Русь. Например, говоря о древней библиографии, А. Глухов приводит рассказ Авиценны о посещении самаркандского книгохранилища: «Я вошел в дом со многими комнатами, в каждой комнате были сундуки с книгами, положенными одна на другую. В одной комнате были книги арабские и поэтические, в другой по законоведению. В каждой комнате по одной из наук. Я прочитал список книг древних авторов и спросил то, что мне было нужно».

Тот, кому приходилось работать в наших крупнейших библиотеках, поневоле испытает зависть. Как все просто, как уютно: прочитал — спросил. Сундуки да список. Ныне библиографические указатели сами по себе составили целые библиотеки. «Стоит человек по горло в воде, пить хочет, а напиться не может» — это загадка из букваря трехсотлетней давности. Речь идет, понятно, о неграмотном среди книг. Но в наши дни и жаждущий грамотный может оказаться в той же ситуации. Листаются погонные метры картотек; трясутся по вибрирующим лентам транспортеров тяжелые тома, усталые кипы журнальных подшивок, мелькают белые пятна малотиражных брошюрок; хрупкие девушки-библиотекари перетаски-

вают за день тонны печатной продукции с транспортера на так называемые бронеполки и обратно — и все это часто ради нескольких строчек в работе исследователя, и не самых главных, может быть, строчек, ради уточнения какого-нибудь частного факта или чтобы выяснить, что сведений о нем нет...

Чтобы разрядить атмосферу современного информационного бума, гремят залпы тяжелой артиллерии энциклопедий — универсальных и отраслевых. По замыслу редакции третье издание БСЭ — в отличие от одно-двухтомных энциклопедических словарей и даже от Малой Советской — дает как раз предварительные и направляющие справки, адресовано читателям, которые пойдут дальше статьи энциклопедии. То есть речь идет не столько о создании свода знаний, сколько о подборе дополнительных ориентиров в книжном океане, в том числе о библиографических отсылках как таковых. Но даже в последнем издании БСЭ, по оценкам редакции, содержится не так уж много — миллион — фактов (считая фактом, например, и название реки, и дату рождения, и название общественной организации). Идет прилив, вода уже поднимается к губам, а напиться все никак не удается.

Известно, однако, что изобретены компактные системы хранения информации и с помощью компьютерного поиска можно

будет «вызвать» любую необходимую страницу книги на экран монитора (и даже на домашний телевизор), без труда зафиксировать нужный абзац и так далее. Это искомый уровень развития библиотеки, пока еще не реализованный, но грядущий неизбежно.

Но что же станет тогда с книгой в ее традиционной форме — стопа ровно нарезанных страниц, убранный в изящный переплет? Останутся ли только в памяти ученых и популяризаторов истории культуры библиотеки того типа, о котором пишет А. Глухов? Традиционные «комнаты с сундуками» — то, что ныне вроде бы переживает период вырождения или, во всяком случае, почти полного перерождения?..

В книге А. Глухова судьбы библиотек переплетены с историей письменности вообще, распространения грамотности, просвещения. И такое построение мне кажется концептуально правильным. Библиотеки тогда понимаются как этапное явление в развитии письменности и грамотности. Поэтапно цепь явлений в истории книги коротко можно представить так. Первые письменные своды. Первые книжные собрания (появление понятий «библиофилия» и почти одновременно с ним «библиомания» — как побочного, кривозеркального явления). Затем, уже за пределами очерков А. Глухова, гутенберговская революция сделала не редкостью сами библиотеки. И наконец, уже в последнее столетие, распространение грамотности и полиграфические мощности создали целую цивилизацию библиотек — гигантских и скромных, переполненных читателями и пустующих, национальных, ведомственных, частных, ценнейших и бесполезных.

Этот последний этап в истории книги и чтения шел параллельно с информационным взрывом (что естественно) и, видимо, не случайно совпал со взрывами демографическим, экологическим, с социальными катаклизмами и, скажем, с такими явлениями, как музейный бум. Книга прожила с человечеством долгую жизнь, ее история следовала всем причудливым изгибам истории цивилизации. Собственно, без книги и цивилизацию-то нашу представить себе трудно. И думается, что библиотечный кризис в истории человечества должен завершиться, как любой иной, не только перерождением книг и библиотек, не только приобретением нового качества, но и своеобразным возвращением на круги своя.

«Рыться в книгах» молодой Карл Маркс считал любимым занятием. Общение с книгами, перелистывание их, рассеянное движение от полки к полке так необходимы любому исследователю в моменты разду-

мий. И если сейчас мы выбираем для работы библиотеку побольше, побогаче, где есть все, то рыться мыслимо только в относительно компактных собраниях, определенным образом подобранных. (Ведь сколько книг — именно книг — может прочесть человек за жизнь? Да немного — «несколько комнат».)

«Приюты мысли», «аптеки для души», «дома мудрости», «книгохранительные палаты» — такой ряд определений библиотек находит А. Глухов в мировой истории. Эти функции библиотеки несомненно понадобятся и в будущем, должны быть сохранены, а точнее, возрождены. Но на какой основе?

Мне приходилось читать письма в различные учреждения о том, что вот-де ученый или работник культуры оставил после себя редкое собрание книг по своей специальности и родственным дисциплинам — не подскажете ли, куда такую библиотеку пристроить?.. Или горестные сообщения о том, что вот уже и пропала, разошлась по рукам, а то и просто погибла такая-то личная библиотека, ибо владелец ее при жизни не смог найти адрес, по которому его дар сумели бы разместить в целостности, сохранности и общедоступности. Большинство подобных коллекций в лучшем случае раскассируется. А ведь у стеллажей такого собрания какой-нибудь молодой аспирант способен наглядно представить себе, как развивалась его наука, каким прямым или зигзагообразным путем шли к цели его предшественники. Как серенькая брошюра или скромная статья в журнале совершали научные революции. Или в какой огромный свод материалов, в какой многотомник обращался простой вроде бы замысел о приведении в порядок и систему некоторых разрозненных данных... Не говоря уж о том, что библиотека — интересная, хорошая личная библиотека — неизбежно несет на себе яркий отпечаток личности ее владельца. (В библиотеке С. М. Эйзенштейна, например, том Гегеля стоял вверх ногами, показывая положение, в котором диалектика пребывала до Маркса. Шутка чисто эйзенштейновская.) А ведь по-разному, по-своему интересна с этой точки зрения и библиотека известного шекспироведа, и оригинальное собрание книг, так сказать, просвещенного дилетанта — спектр интересов интеллигента той или иной поры (разве только досужее любопытство привело бы нас в библиотеку Евгения Онегина, будь возможна ее подробная реконструкция, с пометами на книгах, по которым Татьяна «прочла» своего героя?).

Не берусь предлагать рецепты, действуя по которым мы непременно сохраним «аптеки для души». Это вопрос, требующий подробной и детальной разработки. Замечу, что Всесоюзное добровольное общество любителей книги, которое означено как издатель на титуле книги А. Глухова «...Звучат лишь письмена», пока только знает в принципе об этой проблеме и вряд ли вообще способно решить ее в одиночку при всем своем стремлении. Я же хочу подчеркнуть, что ценность оригинальных книжных собраний со временем повысится — то, что мы упустим, будет невозвратимо. Ибо меняться будет не только время, унося с собой свои книги и свои библиотеки, но и сама материальная природа книжного дела.

Здесь уместно задаться вопросом: а какие типы книг уйдут, какие останутся с компьютеризацией информационного дела? Я уже говорил, что энциклопедии ныне как бы пытаются отчасти компенсировать отсутствие в широкой читательской практике компьютерного поиска информации. Но если предполагать, что со временем не исчезнет общественный смысл традиционных «приютов мысли», библиотек с анахроническими стеллажами, то, может быть, и энциклопедия в ее «фолиантовом» варианте не будет вытеснена электроникой напрочь?

В книге А. Глухова внимание читателей то и дело приковывается к судьбам письменных сводов энциклопедического толка. Неудивительно — ведь речь идет о превосходных для нас источниках знания прошлого земной цивилизации. Ибо даже специальные своды — известные медицинские папирусы Древнего Египта (фармакологический и хирургический) или хронологоматематическое сочинение Кирика, новгородского ученого XII века, — несут информацию не только о специальных знаниях своего времени, но и об уровне просвещения, культуре изложения фактов и т. д. А. Глухов, скажем, подробно останавливается на истории находки, раскрытия источников и комментирования в течение последних двух столетий средневековой арабской мореходной энциклопедии. В результате советский востоковед Т. Шумовский пришел к выводу, что «давнее и систематическое арабское мореплавание, освоившее практически все районы Средиземного моря и Индийского океана с частью Тихого, является бесспорным историческим фактом, требующим переоценки роли арабов в истории культуры».

Кстати сказать, недавно, в 1980 году, ста-

рейший архангельский краевед Ксения Петровна Гемп опубликовала с комментариями и приложениями памятник того же рода — поморскую лоцию XVIII века, ценный источник для истории русского мореплавания. Удивляет емкость и выразительность этой сугубо деловой прозы, инструкции. Кроме того, давно замечено, что специальная лексика Беломорья, Каспия совпадает с терминологией славянских поморов Адриатики. Славяне пришли на Балканы в VI веке — стало быть, поморские лоции, которые и по сути и по языку преемственны в отношении более ранних, что, кстати, характерно для произведений энциклопедического жанра, доносят до нас голоса еще докнижной Руси. Поистине «звучат лишь письмена», как сказал Бунин.

Внимание нынешних историков и издатель к сводам былых веков, какими бы устаревшими и специфичными они ни казались, и полезно и поучительно. Мы видим, какие энциклопедии остаются на века, охраняются и изучаются потомками: емкие, оригинальные, которые даже при безымянности своей словно бы имеют автора, а при зафиксированном авторе немислимы без десятков его предшественников.

Надо сказать, что наряду с изданиями, заполняющими брешу после информационного взрыва, современное энциклопедическое искусство дарит нам такие книги, которые, видимо, не будут безытересными в будущем. Назову здесь хотя бы энциклопедию «Москва» (М. «Советская энциклопедия», 1980). Редакции удалось отразить в этом томе не только уровень наших знаний и представлений о столице, но и — что мне кажется важным, непреходящим для справочной книги — дать представление об интересе нынешних советских людей к Москве, о конкретных реалиях этого интереса. Помоему, в словнике, в подборе фактов проявился даже собственно московский интерес к Москве, виден современный москвич.

Я уже говорил, что первые письменные своды (а в числе их, разумеется, энциклопедии и хроники были прежде всего) этапны для книжной культуры. И похоже, что всякое этапное явление в истории книги и чтения имеет дату рождения, но не имеет даты смерти. Оно возрождается в виде все более совершенном. Об этом невольно размышляешь, читая очерки по истории «домов мудрости».

В. ЛОБАЧЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСАНДР КУЛЕШОВ. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Заколдованный круг. М. «Детская литература». 1980. 432 стр. Т. 2. Как же быть? М. «Детская литература». 1981. 415 стр.

Двухтомник избранных произведений А. Кулешова включает романы («Заколдованный круг», «Как же быть?», «Счастливычки с улицы Мальшанс»), повесть («Мартини» может погаснуть»), рассказы («Талисман», «Разговор за стеной», «Случай на мосту» и др.). В свете такой многожанровости хочется сказать, что единство двухтомника держится не на жанровом принципе, а на ином, более глубинном, тематическом, проблемном. Проблема же — в постижении нравственно-эстетического идеала в самых разных его проявлениях.

Важно отметить, что проза А. Кулешова пронизана чувством интернационализма, неотступной мыслью о тех юных, кому предстоит жить в новом тысячелетии. Писатель думает о том, как объединить молодежь мира в ее созидательных устремлениях, и в этой исходной его позиции — полемика с теми буржуазными пропагандистами, которые пытаются разобщить юных.

В двухтомнике мы не найдем точных географических примет. Страны, где происходит действие, как бы обобщены, а тем не менее узнаваемы. Кулешов хорошо знает зарубежный мир, побывал во многих странах в качестве писателя, журналиста, переводчика. Горький когда-то говорил о необходимости привлекать к созданию книг для юных читателей бывалых людей, то есть людей, много повидавших до того, как они стали профессиональными писателями. Именно к такому типу литераторов принадлежит А. Кулешов. Участник Великой Отечественной войны, бывший офицер Советской Армии, спортивный обозреватель, редактор, он умеет рассказать о виденном свободно, эмоционально, его авторский вымысел базируется на знании реальных фактов.

Соблазнительно сказать о произведениях, включенных в двухтомник, что они остро сюжетны, и протянуть нить дальше, к детективности в сюжете. Кажется порою, что развязки сюжетов у Кулешова предрешены уже самими завязками, как в детективных романах. Но это кажущееся сходство. Детективное строение сюжета обычно предполагает предрешенность итога: преступник рано или поздно попадает в сети, расставленные детективом-героем. А Кулешов стремится исследовать, а не преследовать, показать, а не наказать, рассудить, а не осудить. Главное для него — человек, возможность выбора, способность на выбор того или ино-

го пути. Поэтому даже в романе «Заколдованный круг», который вроде бы самим заглавием настраивает на восприятие «закрытой» ситуации, нет сюжетной замкнутости и предрешенности. По А. Кулешову, не замкнутость — отличительная черта жизни в буржуазном обществе, не простая повторяемость зла, а умножение зла, новый виток его, новый круг нравственного падения. Герой романа Дон раздавлен вращением машинного колеса, героиня Тер духовно раздавлена психологическим воздействием на личность. И физическая гибель и нравственное уничтожение — все это предопределено, продиктовано законами буржуазного мира.

Но есть отсюда и выход. Это борьба. За человека в себе. За переустройство мира на началах социальной справедливости.

Мы остановились на романе «Заколдованный круг» (к нему примыкает и повесть «Мартини» может погаснуть») как наиболее характерном для творчества писателя, всесторонне исследующего судьбу молодого человека в современном буржуазном обществе.

Произведения его внушают читателю мысль о том, что настоящим человеком можно стать только тогда, когда твое «я» сольется с устремлениями общего «мы», когда борьба за счастье других станет смыслом твоей жизни.

Евгения Зубарева,
кандидат филологических наук.



В ПОИСКАХ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБРАЗНОСТИ. Проблемы советской режиссуры 20—30-х годов. Сборник. М. «Наука». 1981. 374 стр.

Главные герои сборника — К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, В. Э. Мейерхольд, Е. Б. Вахтангов, А. Я. Таиров. Авторы — известные театроведы и критики А. Н. Анастасев, М. Н. Стрובה, Ю. А. Дмитриев, Б. И. Зингерман, вверившие свои работы ответственной редакции К. Л. Рудницкого. Книга включает материалы о репетициях Станиславского и Мейерхольда, а также текст сохраненного в грамзаписи живого рассказа выдающегося актера М. А. Чехова «О пяти великих русских режиссерах».

Всем знакомо противопоставление искусства науке по тому признаку, что научные истины безличностны, а произведение искусства всегда хранит на себе печать индивидуальности своего создателя. Но по отношению к науке об искусстве это различие далеко не всегда безупречно, особенно если речь идет о конкретном худо-

жественном анализе. В рецензируемом сборнике каждая из составляющих его статей явственно несет отпечаток личности своего автора. Именно по этой причине сборник воспринимается как явление текущей литературы, и не только потому, что в нем режиссерская практика неизменно освещается в ее прямой взаимосвязанности с драматургическим процессом, как неотъемлемая часть становления и развития социалистической культуры. Авторы книги — опытные и одаренные литераторы, обладающие собственным стилем. И не случайно в этой книге театроведение сливается с публицистикой, властно требует от нас и душевного отклика на творческий поиск авторов. Сказанное относится ко всем статьям сборника. К темпераментной статье М. Строевой «Герой и среда», охватившей огромный период от «Мистерии-буфф» Маяковского и Мейерхольда до «Города на заре» Арбузовской студии. К богатой интересной информацией статье Ю. Дмитриева «Поиски формы комедийного спектакля», где идет речь о пьесах Л. Леонова, Н. Эрдмана, Б. Ромашова, В. Шкваржина, В. Масса, В. Титова в постановке Н. Форрегером, Д. Гутманом, А. Грипичем, Ф. Кавериним. К содержательной статье Б. Зингермана «Классика и советская режиссура 20-х годов».

В статье безмерно ушедшего от нас А. Анастасьева убедительно показано, как в творчестве корифеев режиссуры, по-разному пришедших к революции, при всей несхожести их художественных воззрений чем дальше, тем энергичнее проявлялись некоторые общие черты, присущие социалистическому реализму на театральной сцене.

Вероятно, не всякое суждение участников сборника будет принято без возражения, изредка встречаются и разногласия между ними. Так, А. Анастасьев отказался от термина «актерский театр» ввиду его неопределенности применительно к изучаемому времени, а М. Строева утверждает, будто в конце 30-х годов «режиссерский театр постепенно сменялся театром актерским», чему приводятся два доказательства: «Таня» А. Арбузова в Театре революции и «Машенька» А. Афиногенова в Театре имени Моссовета. На мой взгляд, прав все-таки Анастасьев. К примеру, «Таня» с великолепным исполнением Бабановой главной роли была неподражаемо режиссерским спектаклем, изобретательно и талантливо выстроенным А. М. Лобановым по законам сценического психологизма, со множеством тончайших нюансов. Нечто подобное можно сказать и о «Машеньке» с Марецкой в постановке Ю. Завадского.

Но примеров такого внутреннего «разнобоя» немного в книге. Она отличается единством методологических установок авторов, их любовным интересом к прекрасным детству и юности советского театра, вдохновенно развивающегося под знаком постижения и правдивого отражения новой действительности.

Вл. Блок.



ГЕВОРГ ЭМИН. Избранные произведения в двух томах. Перевод с армянского. М. «Художественная литература». 1979. Т. I.

Стихи. 342 стр. Т. II. Проза. Семь песен об Армении. 222 стр.

ГЕВОРГ ЭМИН. Стихи. «Литературная Армения», 1981, № 7.

О значении творчества одного из крупнейших поэтов современной Армении, Геворга Эмина, для всей многонациональной советской литературы говорить не приходится. Его произведения о жизни родного народа, проникнутые духом интернационализма, идеалами человечности и мира, стали известны далеко за пределами страны, переводились на многие языки. За десятилетия литературной деятельности Эмин утвердился в сознании читателей и как мастер лирики, философской и любовной, и как автор многих ярких лирико-публицистических стихотворений. Несколько лет назад мы познакомились и с его прозой.

Двухтомник избранных произведений, выход которого совпал с шестидесятилетием писателя, дает широкому читателю достаточно полное представление о его творчестве. Если Эмин-поэт на русском языке существует давно, то проза его, хотя она и публиковалась в переводах, все же впервые представлена всеобщей читательской аудитории столь полно. «Избранные произведения» убеждают: проза и поэзия автора — единое художественное целое, в них находит воплощение образ мира, живущий в сознании писателя. Не мною первым замечено, что поэт, берущийся за прозу, как бы переходит на иной, непривычный для себя психологический ритм, он вынужден по-новому работать над словом. Лучшие поэты неоднократно доказывали: понятие «проза поэта» не просто термин, оно означает высокую степень литературного мастерства. Эмин не случайно назвал свои прозаические произведения песнями. Каждое из них — своеобразное эпическое повествование автора о судьбе своей великой и многострадальной земли, о судьбе народа, сквозь тысячелетия своей истории пронесшего неколебимую любовь к жизни, труду, созиданию культуры, к сотворению красоты — в камне, песне и стихе... Проза Эмина вместила большой фактический материал, собранный автором в поездках по стране, в цехах, на стройках и в архивах. Элементы публицистики, социологического исследования умело вводятся в ткань «Песен», придавая им дыхание большой достоверности. И все же основой прозы Эмина остается лирико-эпическое, художественно-историческое повествование, исполненное запахов, красок и звуков живой земли.

Будучи, несомненно, итогом, обобщением сделанного за десятилетия, избранием показывает перспективы дальнейшей работы автора. Читая стихи и прозу Эмина, убеждаешься: они принадлежат художнику, который еще многое хочет и может сказать, который мучительно размышляет и над судьбой отдельного человека и над будущим планеты. Горячее сострадание к людям, жизнеутверждающий пафос — вот позиция автора. Голос его звучит надеждой:

Но каждое зернышко этой пшеницы —
Не целое ль поле?

И сеять каждый — тугая пружина,
И сила, и воля...
И горстка семян, и горстка народа,
Сквозь кровь прошедшие,
Сквозь невзгоды,
Пережившие все испытания на свете,
Вернут себе все,
Что утратили в тысячелетях!

Так от лица родной земли обращается поэт к людям. В двухтомнике читатель найдет немало сильных и высоких образов лирики, страстные и темпераментные строки о любви...

Поэзия Эмина многогранна, и чтобы найти даже самым основным ее чертам достойный эквивалент в переводе, требуется не только большой и вдохновенный труд равного по дарованию коллеги, но и широкий диапазон видения, обширная «корневая система» собственной поэтики у того (или у тех), кто перелагает поэта на другой язык. Можно, конечно, понять автора, который, составляя избранное, включил в него переводы, выполненные многими русскими поэтами. Однако для книги такого масштаба возможен и другой путь. Автор, думаю, должен заботиться не только о широте, но и о целостности своего художественного облика в переводе. Первый том избранного не всегда оставляет впечатление такой цельности: попросту не всегда сочетаются творческие манеры столь разных по духу и уровню дарования многих переводчиков... Будем надеяться, что в новых книгах Эмина на русском творческий облик писателя предстанет более целостным. Ведь работа писателя продолжается.

Ст. Золотцев.



А. УДАЛЬЦОВ. Поезд надежды. Экологические меридианы и параллели. М. Политиздат. 1981. 214 стр.

«...грянет он или нет — грозный экологический кризис?.. чем больше вникал в эту проблему, тем все больше удалялся от однозначного ответа» — так пишет А. Удальцов в своеобразном предисловии к своей книге, озаглавленном «В начале пути». Сложная диалектика проблемы, убедительно раскрытая автором, увлекательный поиск ответов на весьма непростые вопросы, который проводит автор, ведя за собою читателя, информационная насыщенность текста, хорошая литературная форма — все это делает книгу «Поезд надежды» заметным явлением в нынешней обширной экологической литературе для широкой публики.

Разумеется, ни один человек не может самостоятельно разобраться во всем многообразии нынешних сложных экологических проблем. А. Удальцов, по-моему, нашел удачный метод их изучения и изложения, дополняя авторский монолог беседами с крупными специалистами в этой области. Он интервьюирует знаменитого исследователя океана Жака Ива Кусто, академика М. Стыриковича, профессора Жана Доста (автора книги «До того как умрет природа», переведенной у нас), председателя Госкомитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды Ю. Израэля...

Исключительно важный аспект экологических проблем — взаимосвязь экологии и экономики. Эта тема одна из центральных в книге А. Удальцова.

Для выбора оптимальных (наилучших) решений с позиций интересов общества в целом нужно соизмерение эффектов капиталовложений. Неумение вести учет экономических потерь от загрязнения природы приводит на практике к поразительному экологическому легкомыслию, когда гигантские промышленные и прочие проекты совершенно не учитывают возможных экологических сдвигов, не говоря уж о вторичных экономических последствиях этих сдвигов. К примеру, сейчас в нашей стране есть ряд специалистов, которые, зная известные результаты строительства Байкальского целлюлозного комбината, тем не менее настаивают на возведении Удоканского медеплавильного завода в Чарской котловине. Настаивают, хотя их оппоненты, на мой взгляд, вполне убедительно доказали, что в здешних условиях недопустимы значительные дымовые выбросы в атмосферу, что даже бытовое энергоснабжение надо полностью перевести здесь на электроэнергию, доставляемую из других районов.

Наверное, кардинальное решение подобных споров — в развитии научных исследований и совершенствовании прогностических методов. Они, конечно, несовершенны. Однако мне трудно согласиться с таким вопросом-утверждением автора: «Разве возможно достаточно точно и полно выявить и подсчитать все наиболее существенные виды ущерба, вызванные, например, загрязнением атмосферного воздуха в каком-либо регионе?» Возможно, если за такой анализ взяться всерьез. И думаю, с не меньшей точностью, чем оцениваются, скажем, залежи полезных ископаемых. Причем прогнозы и расчеты должны иметь достаточно глубокую перспективу. Ведь понятно, что тот же Байкальский целлюлозный завод и с экономической и с экологической точки зрения будет выглядеть совершенно различно в оценках на десять или, допустим, на сто лет.

Да, по некоторым вопросам с автором можно спорить (правда, это, как правило, те вопросы, по которым и у специалистов нет единого мнения). Можно также пожалеть, что автор приводит сравнительно немного отечественных экологических данных (вообще экскурсы в нашу действительность мне, например, показались менее интересными, чем разделы, посвященные действительности зарубежной). Но главное в ином: хочется, чтобы книга А. Удальцова была прочитана внимательно, вдумчиво, особенно молодежью — ей придется заботиться об экологической чистоте Земли больше, чем всем предыдущим поколениям.

Несмотря на сложность экологических проблем, общий вывод автора оптимистичен. Лучше всего он, как мне представляется, может быть выражен словами академика М. Стыриковича: «Серьезное беспокойство, обоснованные надежды». Думаю, что читатель, познакомившись с книгой А. Удальцова, согласится с этим мнением.

В. Переверденцев.



Г. П. КУРОПЯТНИК. Россия и США. Экономические, культурные и дипломатические связи. 1867—1881. М. «Наука», 1981. 374 стр.

«Америка обязана России во многих отношениях, и особенно за бескорыстную и твердую дружбу в моменты ее тяжелых испытаний... Только безумец может вообразить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе враждебным высказыванием или действием». Так считал Марк Твен в 1867 году. Слова американского писателя созвучны многим высказываниям его соотечественников, произнесенным в адрес СССР уже в XX столетии, в годы, когда страны антигитлеровской коалиции вели смертельную борьбу с общим врагом. Ныне в официальном Вашингтоне, захлестнутом антисоветской истерией, об этом предпочитают не вспоминать. Истоками взаимосвязей двух великих стран в прошлом официальный Вашингтон интересуется теперь лишь в одном плане — пытаться найти нечто якобы исторически укоряющее Россию во всевозможных грехах и подтверждающее антинаучную концепцию извечных драматических столкновений России и Америки. Советские исследователи много сделали для опровержения таких взглядов, объективно и трезво оценивая все стороны истории русско-американских отношений.

Вот почему особенно актуален труд Г. Куропятника, посвященный экономическим, культурным и дипломатическим контактам России и США в последней трети прошлого века — проблеме, в специальной литературе недостаточно разработанной. (Из этой книги и взяты приведенные в начале рецензии слова Марка Твена, посетившего Россию вскоре после окончания Гражданской войны в США.) Автор проанализировал и обобщил весьма обширные материалы отечественных и зарубежных источников — фонды и коллекции 10 советских и 5 американских архивов, многочисленные документальные издания в России и США, мемуарную литературу, прессу и т. п. Благодаря этому книга насыщена зачастую неизвестными читателю интересными и поучительными фактами. Перед нами основательное научное исследование, показавшее объективные исторические условия, которые способствовали развитию дружественных связей между народами России и США. Падение рабства в США и отмена крепостного права в России, почти совпавшие по времени, общее противодействие «крымской системе» Англии и Франции, угрожавшей обеим странам, выгоды экономических и дипломатических контактов — все это сближало Россию и Соединенные Штаты. В острых международных

конфликтах той поры обе державы занимали в целом благожелательную позицию по отношению друг к другу. США поддерживали Россию в ее стремлении избавиться от унижительных условий Парижского мира — Россия, со своей стороны, содействовала США в пресечении враждебных заокеанской республике акций Великобритании. В лице дипломата и переводчика Ю. Скайлера, генерала Х. Бердана, журналиста Дж. А. Мак-Гахана, первого военного атташе США в Петербурге Ф. В. Грина Россия нашла верных друзей.

Книга Г. Куропятника свидетельствует, что общение русских и американских моряков, инженеров, ученых, деятелей литературы и искусства приносило взаимную пользу. Одним из самых интересных эпизодов такого общения несомненно было участие России, прочно ставшей на путь капиталистического развития, в филладельфийской выставке, приуроченной к 100-летию США, а также совместная разработка технических усовершенствований в кораблестроении, оружейном деле (мало кому известно, скажем, что знаменитая берданка — результат сотрудничества русских и американских специалистов). Передовые люди России — революционеры-демократы проявляли живой интерес к развитию США, старались установить прямые связи с деятелями социалистического движения по ту сторону океана. К этому стремились А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, члены народнического кружка чайковцев. Широкий резонанс в США имели произведения Тургенева, Толстого, Достоевского. Американцы с энтузиазмом встречали представителей русского музыкального искусства, восхищались русской оперой. Важными моментами в развитии научных связей стали согласованные астрономические и метеорологические наблюдения ученых двух стран, поездка в США Д. И. Менделеева. Регулярный книгообмен между Россией и США, увеличение числа журнальных и газетных публикаций в одной стране о другой — эти факты также говорили о росте взаимного интереса.

С тех пор прошло более ста лет. За это время власть имущие Америки не раз нарушали верность былой дружбе «враждебным высказыванием или действием». Марк Твен ошибся. Может быть, правда, писатель имел в виду иную Америку, вернее ее народ. Тогда он, конечно же, прав, потому что желание народов двух великих стран жить в мире, сотрудничая и взаимно обогащаясь достижениями друг друга, остается неизменным. Эту истину фактами истории подтверждает и книга Г. Куропятника.

А. Преображенский
доктор исторических наук

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Во время работы XIX съезда ВЛКСМ в Кремлевском Дворце съездов Знамя Победы в зал вносил один из тех, кто водружал это знамя на рейхстаге. Его имя Мелитон Кантария. В нашей редакционной почте много писем, в которых читатели просят рассказать, как сложилась жизнь Кантарии после войны, как он живет сейчас.

Его навестил в гостинице Герой Советского Союза, главный редактор «Нового мира» Владимир Васильевич Карпов. Ниже приводим запись его беседы с Героем Советского Союза Мелитоном Варламовичем Кантарией.

Кантария среднего роста, очень подвижный, несмотря на свои шестьдесят два года. Он не носит традиционные для грузин усы — гладко выбрит. Светлые глаза его улыбки и приветливы. Необыкновенно контактен. Может быть, потому, что мы оба бывшие войсковые разведчики, и по годам почти ровесники, и Звезды Золотые у нас на груди. С первой минуты заговорили на «ты», как давние знакомые.

С естественным для него и приятным для слушающего акцентом Кантария стал свободно и весело рассказывать:

— Как жил после войны? Сам знаешь, дорогой, после войны нелегко было. Я вернулся в Очамчира, откуда ушел служить в армию. Радостное и горестное было мое возвращение. Радостно — победили! Горестно: мои односельчане, ушедшие на фронт, — их было шестьдесят один — погибли.

— Как налаживалась жизнь?

— Хорошо налаживалась! Женился я на кубанской казачке Анне Илларионовне. Росли дети — сыновья Резо и Шота и дочка Циела. Сыновья водителями работают. Дочка замужем. Давно уже дед! У меня шесть внуков!

— А какая у тебя мирная профессия, кем работал?

— У меня самая хорошая, самая прекрасная профессия. После войны на родную землю вернулся — пять лет пахал и сеял. Потом пять лет в шахте работал в Ткварчели. А шестнадцать лет на стройках — плотником. Работать надо было. Я люблю работать. Меня за это уважают. За труд орденом Ленина наградили. Депутатом Верховного Совета Абхазии меня избрали. Вот так, дорогой.

— Не потерял после войны связь с боевыми друзьями, переписывался?

— Как можно потерять связь с друзьями! Не только переписывались — много раз ко мне в гости в Сухуми приезжали: командир нашей дивизии генерал Шатилов Василий Митрофанович, командир полка Зинченко, командир батальона Неустроев, разведчик Егоров. Все были. Все Герои Советского Союза. Еще ко мне в гости в Сухуми придут. И ты приезжай, другом будешь. Запиши адрес.

— А сам, Мелитон, много ездешь?

— Очень много! В Москве часто бываю. В ГДР больше десяти раз был — я почетный гражданин города Берлина. Немецкие друзья наградили меня орденом Карла Маркса. Вот приезжал по приглашению комсомольцев на съезд. Я ведь был комсомольцем, когда знамя на рейхстаг поднимали. В партию позднее вступил, а тогда шел на купол комсомольцем.

— О чем думал, когда взял в руки знамя и понес его в зал съезда?

— Волновался очень, много думал! Очень... Пожалел, что нет в живых Егорова. Вспомнил, как мы на рейхстаг в дыму, в огне поднимались. Кругом пули, осколки, понимаешь, летят. А меня не зацепило! Четыре раза я был ранен до этого. А тут все мимо пролетели! Повезло, дорогой! Ну еще вспомнил себя молодым. Я ведь на съезд пришел в военной форме. Специально новую форму сшил. Погоны младшего сержанта надел.

— А какое у тебя сейчас воинское звание?

— Младший сержант.

— Но после войны, когда числился в запасе, должны были повысить тебя в звании.

— Я сам просил, чтобы не повышали.

— Почему?

— Понимаешь, когда я шел на рейхстаг, был младший сержант. Так это всюду и записано. Пусть и останусь для всех младшим сержантом Кантарией.

— Как сейчас здоровье, ранения не сказываются?

— На здоровье не жалею. Здоров, слушай, сам удивляюсь! И тут ранен, и тут, и тут,— он быстро показывает на руку, ногу, спину,— а все равно здоров! Гвардия, дорогой, не болеет!

Мы говорили еще о многом. Мелитон был весел, шутил, энергично жестикулировал. Я смотрел на него и думал о том, что таким же он был и в дни войны и на параде Победы. Я вспоминал своих фронтовых друзей, и мне думалось: все войсковые разведчики чем-то похожи друг на друга. Много я их видел на фронте — разных национальностей (русские, украинцы, грузины, татары, сыны других народов), внешне разные и в то же время, как братья, наделены чем-то общим. Может быть, вот этой, как у Кантарии, открытой душой, веселым нравом, готовностью ради друга на все. Недаром же среди военных любой профессии, будь то летчики, танкисты или моряки, высшей оценкой человека служили слова: «Я бы с ним пошел в разведку».

Вот и Мелитон Кантария из таких — верный, надежный, добрый, прочный человек!



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 142 стр. Цена 20 к.

В. Ерашов. Преодоление. Повесть о Василии Шелгунове. («Пламенные революционеры») 397 стр. Цена 1 р. 50 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. Изд. 6-е, дополненное. 784 стр. Цена 1 р. 50 к.

Конституция СССР. 398 стр. Цена 1 р.

Семья Ульяновых. Очерки. 512 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Е. Богат. Урок. Очерки. 472 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Борин. Громкое дело. Рассказы, очерки, повести. 407 стр. Цена 1 р. 60 к.

Э. Радзинский. Беседы с Сократом. Пьесы. 375 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Тендряков. Расплата. Повести. 607 стр. Цена 2 р. 70 к.

Г. Фиш. В Суоми. Роман. Очерки. 509 стр. Цена 1 р. 70 к.

Ю. Черниченко. Про картошку. Очерки. 351 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Бомарше. Драматическая трилогия. Перевод с французского. 351 стр. Цена 1 р. 80 к.

Т. Драйзер. Джени Герхард. Роман. Перевод с английского. 268 стр. Цена 1 р. 70 к.

Я. Козак. Гнездо аиста. Роман. Перевод с чешского. 538 стр. Цена 2 р. 70 к.

Н. Маниавелли. Избранные сочинения. Перевод с итальянского. 503 стр. Цена 2 р.

Повести и рассказы. Переводы с финского и шведского. 558 стр. Цена 2 р. 80 к.

Скандинавские сказки. Переводы с датского, шведского, норвежского, исландского. 318 стр. Цена 5 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Адыгов. Каракура. Повесть. 63 стр. Цена 20 к.

И. Гуро. Невидимый всадник. Роман. 336 стр. Цена 1 р. 30 к.

С. Кремнев. В степи рассветы ранние. Повесть. 176 стр. Цена 55 к.

В. Пахомов. Лесные яблоки. Стихи. 64 стр. Цена 25 к.

Р. Якобсен. Избранная лирика. Перевод с норвежского. 63 стр. Цена 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

В. Ардаматский. Первая командировка. Роман. 319 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Бек. Волоколамское шоссе. Роман. 573 стр. Цена 1 р. 10 к.

Е. Воробьев. Капля крови. Повесть и рассказы. 400 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Танн. Прочитай и передай другому. Стихи, поэма. Перевод с белорусского. 528 стр. Цена 1 р. 80 к.

Л. Татьяничева. Мне бы только успеть. Стихи. 239 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Хорунжий. Неоконченный полет. Повести, рассказы. Перевод с украинского. 303 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Анфиногенов. А внизу была земля. Фронтовая повесть. 221 стр. Цена 55 к.

В. Баснаков. Кружок на карте. Повести. 160 стр. Цена 25 к.

Д. Гранин. Эта странная жизнь. Документальные повести. 254 стр. Цена 65 к.

К. Ковальджи. Кольца годовые. Стихотворения. 126 стр. Цена 55 к.

Л. Решетников. Благодарение. Книга стихов. 128 стр. Цена 65 к.

В. Цыбин. Травы детства. Стихи. 189 стр. Цена 1 р.

«ПРОГРЕСС»

И. Во. Мерзкая плоть. Возвращение в Брайдсхед. Романы.— Незабвенная. Повесть.— Рассказы. Перевод с английского. 651 стр. Цена 4 р.

А. Мэрдон. Море, море. Роман. Перевод с английского. 527 стр. Цена 3 р. 10 к.

Л. Немет. Траур. Вина. Романы. Перевод с венгерского. 511 стр. Цена 4 р.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

М. Геттуев. Человек на марше. Короткие повести. Перевод с балкарского Нальчик. «Эльбрус», 295 стр. Цена 1 р. 10 к.

Зульфия. Лишь любовью одной... Лирика. Перевод с узбекского. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 74 стр. Цена 4 р.

В. Рецелтер. Представление. Стихи. Лениздат. 111 стр. Цена 45 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов
(зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко,**
Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь), **А. Е. Ре-**
кемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеля

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Пугинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 19.04.82 г. Подписано к печати 3.06.82 г. А 08915.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. Тираж 350 000 экз. Зак. 1426.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 02837.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1982, № 7, 1—272